

Русская литература

№ 3

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1979

Год издания двадцать второй

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. В. Бузник. След на земле (о «нравственной философии» романа Ю. Бондарева «Берег»)	3
В. М. Акаткин. Перед дорогой (стихотворения А. Т. Твардовского 20-х—начала 30-х годов)	17
Н. Г. Кузин. Навстречу будущему (к 80-летию Андрея Платонова)	30
С. В. Заика. В предощущении нового искусства (Жуковенко и Горький в литературном движении «рубежа веков»)	45
А. В. Самышкина. К проблеме гоголевского фольклоризма (два типа сказа и литературная полемика в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»)	61

ПОЛЕМИКА

А. А. Морозов. Извечная константа или исторический стиль?	81
Л. Я. Резников. Бессмертный Сулакадзев	90

ИЗ ИСТОРИИ ПУШКИНСКОГО ДОМА

В. Н. Баскаков. История создания Пушкинского Дома и его деятельность в 1905—1917 годах	97
Л. Е. Косячкова. Кабинет-библиотека академика В. В. Виноградова в Пушкинском Доме	111

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Г. Н. Моисеева. Из архивных разысканий о Ломоносове («Сокращенное описание дел государя Петра I»)	123
Д. С. Бабкин. Радищев и Академия наук	138

(См. на обороте)

ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

П. С. Краснов. Две записки А. С. Грибоедова	147
М. И. Рыжова. Творчество М. Ю. Лермонтова в восприятии словенских поэтов XIX—начала XX века	149
Б. В. Мельгунов. К литературной «родословной» стихотворения Некрасова «Еще тройка»	163
В. П. Мещеряков. Две судьбы (В. В. Берви-Флеровский и М. Н. Катков в годы первой революционной ситуации в России)	172
Новые материалы о Герцене и Тургеневе (публикация М. Д. Эльзона)	184
И. И. Мочалов. Л. Н. Толстой и В. И. Вернадский	193
К. Н. Григорьян. Из неизданной переписки Андрея Белого	205
В. М. Тамахин. Поэтика картин природы в «Тихом Доне»	210

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Л. Ф. Ершов. Новые рубежи польской русистики	217
В. А. Ковалев. Литература в школе	224
И. Н. Крайнева. Полезная книга бельгийской исследовательницы	227
И. С. Чистова. Английский автор о Лермонтове	231
Д. М. Буланин. Древняя белорусская литература в «Истории белорусской дооктябрьской литературы»	234
Памяти Н. И. Пруцкова	237

Редакционная коллегия:

В. В. ТИМОФЕЕВА (главный редактор)

В. Г. БАЗАНОВ, А. С. БУШМИН, П. С. ВЫХОДЦЕВ (зам. главного редактора), **А. А. ГОРЕЛОВ, Н. А. ГРОЗНОВА, Л. Ф. ЕРШОВ, А. Н. ИЕЗУИТОВ, В. А. КОВАЛЕВ, А. М. ПАНЧЕНКО, Ф. Я. ПРИЙМА**

Отв. секретарь редакции **М. Д. Кондратьев**

Адрес редакции: 199164, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

Журнал выходит 4 раза в год

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1979 г.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

(О «ПРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ» РОМАНА Ю. БОНДАРЕВА «БЕРЕГ»)

Известно мнение, что мысль и чувство альтернативны и принадлежат поэтому разным сферам человеческого сознания. Выдающийся деятель современного шведского кино Ингмар Бергман, например, считает: «Если вы философ, вы должны говорить об архитектуре мыслей, об этом огромном храме интеллектуальных конструкций. Но если вы художник, который творит искусство, призванное передавать чувства, вам не нужно храмов».¹

Трудно судить, что стоит за столь категоричным разграничением: то ли стремление к максимальной внутренней дифференциации видов и форм искусства, то ли желание оправдать иные его иррациональные тенденции. Во всяком случае, оно вызывает на спор. Можно припомнить множество примеров, когда искусство успешно вторгалось в область высокой философии. И если говорить о советской литературе, то, отличаясь с самого начала острой философичностью (М. Горький, Л. Леонов, М. Пришвин, М. Булгаков), она сейчас, как никогда может быть, настойчиво и целеустремленно стала добиваться права на вполне суверенные философские раздумья о человеке и действительности. Авторы художественных произведений, играющих наиболее видную роль в текущем литературном процессе, нескрывая озабочены задачей воссоздания «храма интеллектуальных конструкций», хотя нужен им этот храм не сам по себе, а для помещения в нем живого и буйного, вечно мятущегося мира страстей человеческих.

Тяготение к познанию жизни в философском аспекте по-своему отразилось на всем художественном строе современной нашей литературы. «Мне кажется, — пишет сегодня Ю. Бондарев, — давно в литературе наступила пора соединения двух художественных диктатур — образа и интеллекта».² И если обо всей литературе наших дней нельзя, наверное, сказать, что в ней торжествует единство образа и интеллекта, то произведения самого Ю. Бондарева, а также большинства писателей его поколения действительно выделяются согласием живописующего и философского начал.

Правда, «Берег» по многим своим параметрам существенно отличается от классических образцов философского романа. Подчеркнутым лаконизмом он контрастирует с величественной протяженностью повествования М. Горького, Р. Роллана. Пластической образностью стиля не похож на воссоздающие процесс формирования идей романы Т. Манна. Свободным движением во времени и пространстве — мир, война, Россия,

¹ «Искусство — реальное чудо...» Ингмар Бергман о своем творчестве. Интервью. — Лит. газ., 1978, 18 янв., с. 15.

² Бондарев Юрий. Человек несет в себе мир... — Лит. газ., 1977, 30 марта, с. 4.

Германия — расходится с локальной замкнутостью сюжетов У. Фолкнера. Однако в литературе, по выражению Ю. Бондарева, «нет и не может быть гениальных стандартов». Одни и те же «вечные» проблемы человеческого бытия «ставятся и решаются в современном искусстве другими методами, с иной интонацией, с иной окраской. Да и само жизненное содержание этих проблем стало другим».³

Каковы же творческие открытия «Берега», без которых, по мнению автора, не существует серьезной литературы? Что послужило истоком и одновременно стало сущностью философских концепций этого романа, предопределивших всю его жанровую структуру?

Подобными вопросами — прямо или косвенно — уже задавались критики, литературоведы (В. Дементьев, И. Козлов, Ф. Кузнецов, О. Михайлов, В. Романенко и др.). Но однозначные ответы на них, по-видимому, невозможны. Как уже было замечено, «Берег» «наитончайше, тысячами каналов включен в реальное течение жизни». И движение самой жизни рождает, таким образом, «движение романа, как и необходимость все новых его прочтений и осмысления».⁴

У каждого исторического времени, как сказал поэт, «свои колокола, своя отметина». И свой счет искусству, свои «больные вопросы». У наших дней едва ли есть более острая и важная проблема, чем та, на которую еще в начале 60-х годов обратил внимание Л. Леонов, призвавший художников планеты задуматься над тем, отчего столь тревожно, настойчиво стали «дрожать стрелки манометров, определяющих духовное благополучие в мире». Напоминая, что при высоких скоростях современного научно-технического прогресса «любая песчинка может взорвать хрупкие шестерни турбины цивилизации», крупнейший советский писатель говорил о первостепенном значении личностной и общественной нравственности. «При таком напоре, — подчеркивал он, — только строжайший всечеловеческий самоконтроль, абсолютная моральная чистота, как в полупроводниках, могут предупредить многие нежелательные и, к несчастью, уже обозначившиеся последствия».⁵

Специальное внимание к нравственному содержанию «Берега», а точнее, к своеобразной «нравственной философии» (Ю. Бондарев) романа тем более оправданно, что идея нравственности, как считает сам автор, впервые после войны была поднята в нашей литературе именно тем поколением, к которому принадлежит Ю. Бондарев, — созвездием писателей, рожденных Великой Отечественной войной.

Автор «Берега» много раз высказывался в печати о нравственности как теме литературы. Понятие это богато у него разными смысловыми оттенками. Это и «свободы и запреты»,⁶ возникшие на земле едва ли не вместе с человеком; это и «социальная совесть», в виде которой выступает ныне Нравственность рядом с такими героями нашей литературы, как «Личность, История, Борьба, Время»;⁷ это, наконец, просто готовность людей «понять друг друга».⁸

Но как ни многообразно конкретное наполнение этих и некоторых других бондаревских определений нравственности, в них непременно присутствует ощущение границ между Добром и Злом.

Ю. Бондарев, разумеется, прекрасно знает, что в реальной жизни эти границы бывают «зыбки», они «не охраняются таможенными».⁹ Тем не ме-

³ Бондарев Ю. Поиск истины. М., 1976, с. 42.

⁴ Романенко В. Движение романа. — Лит. газ., 1977, 5 окт., с. 7.

⁵ Леонов Леонид. Литература и время. М., 1976, с. 294.

⁶ Бондарев Юрий. О нравственности в литературе. — Лит. Россия, 1977, № 21, с. 3.

⁷ Бондарев Ю. Поиск истины, с. 83.

⁸ Бондарев Юрий. О нравственности в литературе, с. 4.

⁹ Бондарев Юрий. Человек несет в себе мир..., с. 4.

нее он не сомневается, что, несмотря ни на что, в мире все же существует и действует некий этический абсолют. Это «живая совесть как-дого», это «ощущение прекрасного и доброго» в жизни и осознанное «сопротивление тому, что окрашено зловещими тонами равнодушия, холода, жестокости, античеловечности».¹⁰

Этими этическими представлениями во многом обусловлено понимание писателем общих задач литературы. Важнейшей из них он считает такую, как художественная гармонизация духовной жизни людей, привнесение в нее средствами искусства прочных ценностных критериев Добра и Зла, т. е. «опровержение стихии в мире».¹¹

Осуществление этой высокой функции для автора «Берега» менее всего сопряжено, однако, с установлением неких дидактических рядов, кодекса морали. Ю. Бондарев вообще далек от мысли о какой бы то ни было заданности, регламентированности нравственных идеалов. Напротив, по его убеждению, здесь «каждому суждено пройти долгий путь познания».¹² В великих художниках-моралистах прошлого он не случайно ценит превыше всего неустанность их нравственного поиска, размышленья «о качествах добра и зла», об «экзистенции веры и нравственности».¹³ И «Берег» оказался написан как книга, пронизанная идеей духовных исканий, которыми наполнена жизнь почти всех ее персонажей.

Однако, определяя своеобразие бондаревского произведения как философского романа, необходимо обратить внимание на то, что автор не только ведет нравственный поиск, но и твердо знает, чего он ищет, не только задается вопросами человеческого бытия, но и по-своему убежденно отвечает на них.

Ю. Бондарев принадлежит к числу литераторов, для которых крайне важна общая концепция, главная идея книги. Недаром еще в процессе творчества ему так необходимо ясное ощущение ведущей мысли создаваемого произведения, знание «общего течения ее». «Без этого, — признается он, — не могу сесть за стол».¹⁴ Властная роль мысли проявляется не только в полной продуманности сюжетного действия, вплоть до последней фразы финала. Мощной логикой авторской мысли определяется само построение «Берега», которое несет в себе черты развернутого нравственно-философского спора на идеологически острые темы современной действительности.

Имеется в виду не одна лишь наполненность романа — в особенности начальной и заключительной его частей — открытыми идейными полемиками. Подразумевается, что все содержание книги — это по существу художественно развернутый диспут, целью которого является «терпеливое выяснение истины».¹⁵

Идея нравственных рубежей, составляющая главную истину, ради «терпеливого выяснения» которой развивается в «Береге» интеллектуальная дискуссия, эта идея не раз на протяжении романа меняет свои аспекты и уровни. О ней думают и спорят советские солдаты весной 1945 года и — посетители изысканных светских салонов современного Гамбурга. Она входит в мир интимных переживаний бондаревских героев и — ею измеряет художник уровень духовного здоровья современного мира в целом. Соответственные изменения претерпевают и формы,

¹⁰ Бондарев Ю. Поиск истины, с. 75—76.

¹¹ Бондарев Юрий. Еще раз о «секретах» мастерства. — Лит. газ., 1977, 2 ноября, с. 5.

¹² Бондарев Ю. Поиск истины, с. 15.

¹³ Время, жизнь, писатель. Юрий Бондарев. — Иван Козлов: диалог с короткими отступлениями. — Лит. газ., 1972, 1 ноября, с. 4.

¹⁴ Бондарев Ю. Поиск истины, с. 16.

¹⁵ Бондарев Юрий. Человек несет в себе мир..., с. 4.

в каких эта идея выражается. Меняется система аргументации, самый стиль повествования. Так, в «Береге» можно обнаружить по меньшей мере два резко непохожих стилевых пласта. Насколько первая и заключительная части, повествующие о сегодняшней Западной Германии, написаны публицистично, местами плакатно, настолько же центральная часть, возвращающая героев романа в их далекую фронтовую юность, отличается образной пластикой и тонким психологизмом.

Однако вся структурная многосложность «Берега» крепко спаяна воедино общими творческими принципами романа как произведения философской прозы. И вне этой жанровой определенности книги не понять ни ее логики, ни ее философии.

Критики, писавшие о «Береге», не сразу оценили его романную форму как «выраженную мысль» (Ю. Бондарев) автора. Только в последних статьях оказалось преодолено мнение о разнохарактерности бондаревских глав как о простой будто бы «неровности повествования».¹⁶ Но и признавая обусловленность структуры романа специальными и собственно художественными соображениями писателя, исследователи подчас слишком локализируют последние непосредственно сюжетными ситуациями. На публицистическую «обнаженность доводов и аргументов» Ю. Бондарев, действительно, пошел в некоторой мере оттого, что открыто навязываемые нам противниками социализма идеологические дискуссии побудили художника не менее открыто «вскрыть первооснову этого противостояния».¹⁷ И все-таки художественные соображения, повлиявшие на форму «Берега», представляются более широкими, связанными с задачей не столько публицистического, сколько философского отражения жизни и ее проблем.

Ю. Бондарев едва ли ставил перед собой сознательную цель написать роман, выдержанный в стилистике и правилах философского диспута. Скорее это сама масштабность волновавшей ее коллизии «добро и зло» привела к тому, что повествование оказалось близко к формам, которые заставляют вспомнить чуть ли не классическую гегелевскую триаду в познании истины: тезис, антитезис, синтез. Хотя ни о какой причастности к идеалистической философии, конечно же, здесь не может быть и речи.

Так или иначе, но первая часть, несомненно, исполняет в романе роль своего рода исходного положения, чем и можно объяснить некоторую декларативность ее стиля, символическую обобщенность отдельных сцен, а также то, что ряд персонажей предстает в ней не столько живыми характерами, сколько условными образами — силуэтами определенных идей. Здесь словно бы художественно сформулированы основные идеи «Берега», которые в дальнейшем изложении автор собирается утверждать или оспаривать уже не тезисно, но во всеоружии конкретной образности, типических характеров и обстоятельств.

Первая часть романа знаменательно озаглавлена — «По ту сторону». Так или похоже именовались когда-то ранние советские романы («Два мира» В. Зазубрина, «По ту сторону» В. Кина), пафосом которых была революционная идея социально-классовой полярности бытия. Чувство расколотости мира на враждебные друг другу общественные образования не потеряло своей остроты, значительности и для героев «Берега». Разделяющей стеной стоит между ними и кровоточащая память о минувшей войне, и трезвое понимание непреодолимых социальных контрастов современности.

¹⁶ Кузнецов Ф. Переключка эпох. М., 1976, с. 151.

¹⁷ Дементьев Валерий. Берег добра и правды. — Комсомольская правда, 1977, 1 окт., с. 2.

Однако художнику-гуманисту важно знать не только то, что разделяет людей, но и то, что способно привести их к согласию, взаимопониманию, миру, соединить в человечество. С этой целью Ю. Бондарев проецирует социально-классовые проблемы, как он сам говорит, на «экран нравственности». Он заставляет своих героев высказать или выразить собственные представления о сущности человеческой личности, чтобы из столкновения этих представлений извлечь искру истины о Добре и Зле, непререкаемую, как сама жизнь.

Равнодушие к идеалам и идеальности — вот что, по мнению гамбургского журналиста Дипмана, определяет внутренний мир «среднего» человека послевоенной действительности. Понятия «родина», «народ», «ответственность», уверяет он, «давно претерпели инфляцию». Вместе с тем утратились простые человеческие чувства, охраняющие взаимопонимание и счастье людей, — сопричастность чужой радости и боли, доверие, доброта. Любые «прямые слова и чувства» кажутся бессильными и смешными в этом мире скомпрометированных истин. Другой герой, западногерманский книгоиздатель Вебер, считает, что людям «необходима ирония»¹⁸ как единственное средство обрести душевное равновесие в мире растоптанных иллюзий и относительных нравственных ценностей.

Эти суждения, имеющие в виду прежде всего «современного западного человека», но претендующие тем не менее на констатацию некой «общечеловеческой истины» (с. 78), поначалу, кажется, не встречают в романе достаточно убедительного возражения. Советский писатель Никитин, являющийся главным оппонентом Дипмана, не углубляется в спор, старается дипломатично обойти «острые углы». Возражения его соотечественника Самсонова, строящиеся на жестком разделении людей по принципу «с кем кто был — с палачами или против палачей» (с. 77), выглядят чересчур прямолинейными. Их «неумеренную резкость» (с. 76) не принимает даже Никитин. И все же скептицизму Дипмана, Вебера в романе с самого начала противостоит убеждающая своей неопровержимой жизненностью противоположная идея. Ее выражает не кто-либо из героев «Берега» и даже не сам автор с его правом публицистического вмешательства в текст. Она заключена в теме «Никитин — Эмма Герберт», звучащей сперва неотчетливо, негромко, но уже к концу экспозиционной части становящейся ведущей мелодией всей полифонии бондаревского повествования.

Ю. Бондарев сказал однажды, что его «Берег» — «роман о любви».¹⁹ Любовная история составляет фабульную основу произведения. Содержание первой части определяет рассказ о встрече Никитина с фрау Герберт, состоявшейся только потому, что нежная любовь-признательность к советскому лейтенанту Вадиму Никитину, вспыхнувшая, как безумие, в сердце немецкой девочки Эммы Герберт далеким маем 1945 года, не погасла за все прошедшие с тех пор почти тридцать лет разлуки. В этой связи трудно согласиться с О. Михайловым, который считает, что в «новой Эмме» почти ничего не осталось от Эммы прежней, от ее молодой любви: «погасли романтические огни», «полудетское чувство ушло на дно души», потому что, дескать, оно «и не могло выжить в этом мире бешеных скоростей, сытого благополучия...».²⁰ Фрау Герберт, действительно, во многом другой человек, чем юная Эмма военной поры. Когда-то насмерть перепуганная и обездоленная войной немецкая фрейлен, она стала теперь уверенной в себе и внешне

¹⁸ Бондарев Юрий. Берег. М., 1975, с. 77. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

¹⁹ Время, жизнь, писатель, с. 4.

²⁰ Михайлов О. Юрий Бондарев, М., 1976, с. 124.

благополучной женщиной, владелицей трех магазинов, «мерседеса», дома. Ей довелось пережить новые привязанности, иметь мужа, семью, познать материнство. Даже внешность Эммы изменилась так сильно, что Никитин при первой встрече не узнал свою давнюю знакомую. Но при всем том неизменным в героине «Берега» осталось главное ее сокровище — любовь к Никитину. Писатель показывает, как «виновато», «мягко светящимися глазами» смотрит Эмма на своего «Ва-ди-и-ма» после более чем четвертьвековой разлуки; как «в робком замешательстве» она молчит, опасаясь показаться навязчивой в своем стремлении вернуть прошлое; как «несмело улыбающимся взглядом» благодарит Никитина за пустяшную любезность. И нетрудно заметить, что всеми деталями автор оттеняет именно нетленность чувства героини, которое, вопреки всем обстоятельствам, чудом сохранилось не только таким же, как прежде, сильным, но и таким же детски чистым и робким, исполненным самоотреченного восхищения и беззаветной преданности. Словом, время как бы остановилось для Эммы Герберт в тот день 1945 года, когда, «подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо», она в последний раз просталась с Никитиным.

Впрочем, вся предыстория любви Эммы по-настоящему раскрывается позже, во второй части «Берега». Здесь же жизнеспособность ее чувства становится наиболее очевидной тогда, когда рядом с ним писатель рисует в самом деле угасшую любовь Никитина.

Никитин ничего не забыл из прошлого. Голос Эммы «душно ожег его знойной волной» (с. 87). Но для него все, что было когда-то между ним и Эммой, осталось на другом берегу его жизни. Оттого он боится самих воспоминаний. Ю. Бондарев дает увидеть, как «испугался» его герой «мучительной жадности медленного узнавания» (с. 86), как, сопротивляясь своей памяти, «решительно солгал» Эмме, будто не узнает ее. И тяжело переживая эту свою ложь, «точно был миг совершенного им предательства» (с. 86), все же не смог найти в своем сердце ничего, кроме воспоминаний. «Мне трудно поверить, Эмма» — вот все, что говорит он, в смущении «не глядя ей в глаза» (с. 88).

О. Михайлов очень верно заметил, что «в каждой клеточке, в каждом мгновении — напряженных и нежных, исключительных и естественных — отношений Эммы и Никитина», какими были эти отношения в юности героев, заключен некий «потенциальный протест против бездуховной жизни будущего, еще неведомого им Западу».²¹ Однако любовные отношения бондаревских персонажей еще острее несут в себе заряд подобного протеста, когда они получают свое продолжение в их новой, современной жизни. Теперь протест перестает быть потенциальным. Он направляется уже не в неведомое будущее, но в окружающее героев вполне реальное настоящее послевоенной Европы. Протест этот прямо соотносится с дискуссией о человеческих потенциях, идущей на первых страницах романа, и в общей композиции «мирных» глав «Берега» открыто противостоит теориям фатальной бездуховности современного мира, развиваемым Дицманом и другими буржуазными интеллектуалами.

Не признавать отношения Никитина и Эммы в 70-е годы как высокую драму страстей человеческих тем более невозможно, что поступать так — значит вольно или невольно преуменьшать смысл центральной, «военной» части «Берега» или даже исказить его. Ведь если все нравственно возвышенное, что было в юности героев «Берега», ушло в небытие, не оставив по себе следа, значит изображение тех событий придется считать не больше чем данью памяти. Иначе придется прийти

²¹ Там же, с. 123.

к вовсе уж невероятному выводу о согласии писателя с холодной дицмановской идеей поступательной инфляции человеческих чувств в послевоенном мире.

Для Ю. Бондарева минувшее всегда не только воспоминание, но и средство познать настоящее, потому что настоящее, по его убеждению, — это «сумма социальных явлений, счет которых начался не сегодня».²² Оттого роман, в представлении писателя, не только «исследование», но одновременно и путешествие по «реке времени», которое совершается «не вниз по течению, а вверх, к истокам и первоистокам», позволяющим «постигнуть в движении секунду настоящего и как бы закрепить его между прошлым и будущим».²³

Вторая, центральная часть «Берега», возвращающая его героев в победный май 1945 года, начинается фразой: «Что же было тогда?..» (с. 91). Но поведанная затем история о том, как на суровой и бескомпромиссной дороге войны случилось почти невозможное — встретиться и полюбили друг друга русский офицер Вадим Никитин и немецкая девушка Эмма Герберт, волнует не только драматизмом изображенной ситуации. Эта история служит художнику как бы пробным камнем, на котором он испытывает человеческие характеры и отношения своих героев, чтобы понять и оценить их нравственную состоятельность. И здесь-то выявляются главные аргументы Ю. Бондарева в том споре о Человеке, его достоинстве, смысле его жизни, который ведется на протяжении всего романа.

«Берег» позволяет словно воочию увидеть быт войны, ее героиню, ее жертвы. Роман знакомит с участниками великих и грозных событий, которые, вопреки жестокости обстоятельств, оставались людьми, любили, ненавидели, мечтали, страдали, искали правды. Но за всей этой жизненной конкретикой у Ю. Бондарева явственно проступает поединок Добра и Зла, которым напряжены все изображенные в романе события и факты.

Вторая часть «Берега» называется «Безумие», что оправдано ведущими эпизодами ее сюжетного действия. Безумием была какая-то ослабленность, преждевременная вера «в последний срок войны», обманчиво, как наваждение, овладевшая нашими воинами в «уютненьком немецком городке Кенигсдорфе», где майскими победными днями для всех «кончилась и коварно не кончилась война» (с. 268), убившая лучшего среди них — лейтенанта Княжко. Безумием была родившаяся тогда любовь Никитина и Эммы, рискованно и опасно коснувшаяся своими крыльями двух раскаленных электродов, двух насмерть воюющих общественных станов. Безумием, «бессмысленным риском» (с. 226) был и поступок лейтенанта Княжко, когда во избежание ненужного кровопролития он отдал приказ прекратить неравный бой, один-на-один вышел к врагу с белым платком в руке и — был убит.

Однако во всем этом безумии имеется своя гордая логика. Она в утверждении человечности, естественной и необходимой людям и миру.

Ю. Бондареву принадлежит мысль, что одним из принципиально новых качеств послевоенной советской литературы является то, что нравственные категории добра и зла перестали быть для нее «только назывными, заданными для геометрического разделения персонажей на „положительных“ и „отрицательных“». Писатель считает, что в современной литературе утвердилось «иная измерительная категория: человечность».²⁴ И эту категорию он рассматривает как незыблемое и живо-

²² Время, жизнь, писатель, с. 4.

²³ Бондарев Юрий. О нравственности в литературе, с. 3.

²⁴ Бондарев Ю. Поиск истины, с. 39.

носное ядро нравственности, сохраняющее себя, несмотря на то что разные общественные обстоятельства подчас меняют последнюю «в пропорциях добра».²⁵

Именно человечность является тем признаком, который жестко разделяет одних героев «Берега» и, напротив, соединяет других.

Как туго сжатая пружина, стремительно «раскручиваются», разворачиваются во второй части романа трудные взаимоотношения основных героев: лейтенанта Никитина, одержимого совестью и какой-то самоистязающей готовностью «пройти через свою кару» (с. 282), сержанта Меженина, исповедующего циничную мораль вседозволенности («Если польза от чего есть, с какой стати ушами хлопать?» — с. 110), и молоденькой немки Эммы, которая, как испытание и судьба, встала между ними со всей своей женской незащищенностью и вместе силой. И главное в этих отношениях — открытие высокого рубежа, рубежа человечности, неизменно проходящего между людьми, независимо от их общественной принадлежности, жизненного положения.

Это только Меженину кажется, что между ним и Никитиным пролегла та граница, которую образует, с одной стороны, «опыт потертого обо все жизненные углы человека», а с другой — юношеская незапятнанность таким опытом. И оттого он с чувством превосходства говорит своему молодому командиру: «Речка между нами протекает... Вы на этом берегу, а я — на том. Давно перешлыл я ее... А вы еще не поплавали. Не хлебнули сполна. По травке, как в детстве, бегаете, хоть и воюете, как штык... Малец вы против моей жизни» (с. 183). Но в действительности между этими людьми другая пропасть. Ее образует недоступная пониманию Меженина первородно нерушимая нравственная чистота Никитина.

Житейский багаж юного лейтенанта, вчерашнего московского студента, конечно, невелик по сравнению с многоопытностью Меженина. Но зато его духовный мир изначально полон добра и света. Оборванное войной детство вспоминается Никитину неизменно как нечто «летнее, солнечное», бывшее в той, довоенной, «особенно прекрасной, едва начавшейся жизни» (с. 254). Поэтому изначально светлыми, чистыми сложились и нравственные принципы этого героя, для которого подлость — всегда подлость, так же как честь — всегда честь. Никитин по-мальчишески, «с тайным восторгом» (с. 161) завидует непреклонности своего друга Андрея Княжко. Сам он не всегда способен принять неколебимое решение. Но непреклонность не сливается для него с жестокостью, бесчеловечностью. И там, где Меженин действует с оголенной простотой инстинктов, уверенный, что если перед ним немец, значит позволительна по отношению к нему любая низость, там Никитин вместе с Княжко поступают как люди, для которых справедливость и человечность неуко-снительны. Никитин без колебаний бросается защитить от Меженина совсем неизвестную ему пока немецкую девушку Эмму, как и позже, уже после трагической гибели Княжко, он решительно не допускает, чтоб разыгралось «неожиданное кровавое безумие» (с. 236) самосуда, слепой мести поверженному противнику.

Поверяя людские характеры и отношения эталоном человечности, Ю. Бондарев на особенно высокий пьедестал поднимает любовь как чувство, от природы своей исполненное добра, исключаящее жестокость, эгоизм, не говоря уж о подлости или цинизме. Писатель не прощает своим героям малейшего прегрешения против любви. Единственным сомнительным моментом в безупречном строе поступков Андрея Княжко показаны его отношения с Галей. Цепью трагедий оборачивается, хотя и объяснимое особой юношеской щепетильностью, но тем не менее про-

²⁵ Бондарев Юрий. О нравственности в литературе, с. 4.

творечащее высокому и прекрасному естеству жизни отрицание любви в условиях военной страды. Растоптанной женской судьбой расплачивается за этот аскетизм Галя. Низко роняет себя Гранатуров, человек сильный и крупный, но неумеренный в страстях, не устоявший перед соблазном воспользоваться черным часом в жизни женщины, которая его не любила.

Из романа хорошо видно, что главным препятствием на пути нежных человеческих чувств является сама война, ее суровые законы. Это сознают герои «Берега», воспринимающие свою любовь по меньшей мере как невозможность, в лучшем случае — как бабочку-эфемериду, подобную той, что случайно залетела под крышу мансарды, приотвешней Никитина и Эмму. Глубокий духовный кризис, полное смятение чувств переживает Никитин после первого свидания с Эммой. Ему кажется, что с ним «происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенное во сне» (с. 180). Его мучает ощущение «границы неполной справедливости», которая теперь будто бы «разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Межениным» (с. 181). В растерянности он не раз задается вопросом: «Что же мне делать?.. Я тоже нечист, я тоже в чем-то замешан... Со мной тоже случилось какое-то безумие?..» (с. 186).

И все же в романе Ю. Бондарева любовь торжествует.

В отличие от своих героев автор «Берега» с самого начала убежден, что их отношения возникли из чистого источника. Любовь родилась из благородного протеста против насилия, из желания вступить за слабого, из ответной признательности за доброту. И эту чистоту побуждений писатель делает главной защитой любви Никитина и Эммы, ее оправданием.

В романе дурно думают об отношениях молодых людей только циничный Меженин и Гранатуров, которому уязвленное мужское самолюбие мешает воспринять поступок Никитина иначе, чем как банальную и преступную «связь с немочкой» (с. 260). Все остальные, в ком живо чувство справедливости, сознают наблюдаемую драму и сочувствуют ей. Детски бесхитростный боец Ушатиков стережет последнее свидание лейтенанта. Пожилой, «степенный, серьезный» сержант Зыкин старается деликатно успокоить Никитина, убедить его, что дурно поступил не он, а Меженин, преступивший закон чести.

Сама природа, живая жизнь освящает любовь бондаревских героев, своим благословением словно очищая ее от напрасных подозрений и наветов.

Ю. Бондареву, видимо, по-особому дорога известная мысль Энгельса, что «человек — частица природы, познающая самое себя».²⁶ И на страницах его произведений природа всегда солидарна с человеком, если тот верен ей, а стало быть и самому себе. Природа, по мнению писателя, отнюдь не равнодушна к добру и злу. Напротив, она «извечно нравственна, мудра, гармонична»,²⁷ ибо чужда предумышленной жестокости и пропитана доброй энергией непрекращающегося жизнетворения.

В «Береге» окружающая людей природа так же отвергает ненависть среди них, как покровительствует любви.

Как уже не раз отмечали критики, в «Береге» оказалась передана вся «артистическая сила ненависти», вся «пугающая ярость схватки» (с. 189) с смертельным врагом. В этой связи по достоинству высоко оценен лейтенант Княжко как герой, в своей безупречной воинской «ловкости, офицерской хватке, щегольском и страшном для противника владении холодным оружием»²⁸ не уступающий самым блистательным

²⁶ Бондарев Юрий. Человек несет в себе мир... с. 4.

²⁷ Бондарев Ю. Поиск истины, с. 85.

²⁸ Михайлов О. Юрий Бондарев, с. 116.

из созданных отечественной литературой образов русского воина, офицера. Вместе с тем нельзя не заметить, что человеческое обаяние Княжко, являющего собой поистине «само воплощение благородства, рыцарства, чести»,²⁹ словно сникает в момент, когда все физические и духовные силы героя напрягаются одной лишь ненавистью, диктуемой яростными правилами войны. И что знаменательно, не только лицо лейтенанта становится тогда «страшным, искаженным злостью, свирепой одержимостью напора», одновременно как бы меркнет вся жизнь вокруг. «В один миг» тускнеет все «зеленое, солнечное» на веселой «зеленой лужайке» (с. 188), когда Княжко начинает обучать там своих бойцов искусству штыкового боя.

Совсем другие параллели проводит писатель между живым миром природы и человеческими переживаниями, когда последние одухотворены любовью. Та же самая «зеленая лужайка», которая безжизненно темнела, оттеняя клокотание смертной ненависти, озарялась теплым светом, едва появлялся на ней Никитин с его мучительными и счастливыми мыслями об Эмме. Теперь она выглядела иначе, вокруг «зеленела трава, везде грело солнце, весенние запахи обогретой травы, цветущей вдоль забора сирени, белых яблонь то прохладными, то теплыми волнами ходили в утреннем воздухе». И это очарование природного мира было настолько дружественно, родственно герою, что заставляло и его словно бы очиститься в окружающей красоте, приобщиться к вечному, обрести душевный покой. «И эти запахи, — подчеркивает Ю. Бондарев, — будто обмыли Никитина» (с. 187).

Но самым ответственным и решающим моментом нравственного испытания для Никитина и Эммы, своего рода катарсисом, явился в «Береге» эпизод, когда любовь героев сама защитила себя, доверчиво и потому по-особому неоспоримо раскрыв свою глубокую человечность.

Сомнения Никитина в своем праве любить Эмму достигают, кажется, предела, когда погибает Княжко. Переживание непоправимой этой утраты и своей как будто даже вины в случившемся завершается страшным сном, в котором Никитин видит себя заживо похороненным, и чувство смертного одиночества повергает его в крайнее отчаяние. Эмма кажется Никитину чуть ли не виновницей беды, почти как врага гонит он ее от себя («Уходи отсюда! Weg!») и отказывает ей в праве на малейшее себе сочувствие, на общую печаль. «Traurig? — зло переспрашивает Никитин плачущую Эмму. — У тебя печаль? Какая? Ты может, скажешь, что тебе жалко русского офицера? Ну, что тебе до него? Что? И какое отношение ты имеешь ко мне? Я сказал тебе — уходи! Weg!» (с. 250).

По-видимому, должно было произойти какое-то чудо, чтобы и это недоверие, и эта неприязнь рассеялись. И такое чудо совершилось. Его сотворило чувство сопричастности чужой боли, которое вдруг резко обнажилось как самая суть Эминой любви. Своим «детским испуганным плачем, каким-то страстным порывом сочувствия» Эмма словно вырвала Никитина из его «бредового отчаяния одиночества». И он впервые подумал с облегчением: «Нет, нет, я никого не предал. Нет, я умер бы, если бы кого-нибудь предал!» (с. 250).

Никитина еще будет посещать «мучительное чувство бессознательно случайного, ничем не оправданного», что совершили он и она «в беспамятной отрешенности от всего, что было вчерашней и сегодняшней действительностью» (с. 256). Он еще будет сомневаться, неужели «мог так ошибиться и не понять», что, может быть, «в действии самосохранения она лгала и притворялась» (с. 263). Но отныне в романе уже

²⁹ Там же, с. 115.

будет неукоснительно осуществляться исполненный человечности закон самоотверженной любви.

Автор заставит своего героя еще много раз обратиться к этому уроку, как возвращаясь памятью в прошлое, так и двигаясь по жизни вперед. Перед мысленным взором Никитина пройдут те случаи, когда он по-человечески должен был, но почему-то не смог, не сумел, не захотел кому-то помочь, кого-то спасти, уберечь, взять на себя чье-то горе. Он вспомнит и санинструктора Женю, убитую возле него при выходе из вражеского окружения; и молоденького связного Штокалова, на его глазах утонувшего в проруби с жалобным криком о помощи: «Дяденька!»; и лейтенанта Княжко, не остановленного им от гибельного шага навстречу фашистской пуле. Неизбывной мукой будет для Никитина воспоминание о крохотном его сыне, трепетный огонек жизни которого он не защитил от смертного дуновения. И хотя во всех этих жертвах Никитин фактически неповинен, он не перестанет терзаться чувством до конца не исполненного долга, неосуществленной помощи.

Пройдут в памяти бондаревского героя и такие случаи, когда он еще и еще раз испытывал на себе чье-то милосердие. Глубокий след, оказывается, оставила в его сердце почти посторонняя ему женщина, чужая мать, с которой ранее не обмолвился «ни одним искренним словом». «Существо доброе, стеснительное, краснеющее от любого грубого слова» (с. 60), она не просто вызволила Никитина из-под чудовищно несправедливого ареста, но всем своим отношением показала ему, что помимо злобы и равнодушия в мире активно действует другая, жизнотворная сила — сила доброго сочувствия и сострадания. «Как же я раньше ... не знал ее?» (с. 61), — думает Никитин, упрекая себя и восхищаясь случайно открывшимся ему душевным благородством женщины.

И совсем уже близкой нравственному уроку, преподанному Эммой, точно зеркальным отражением его, станет в романе другая любовь, встретившаяся на жизненном пути Никитина, — любовь его жены Лиды. «Ну отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай... Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня!» — почти как Эмма когда-то, жалеет Никитина Лида уже в другую, но по-своему тоже бесконечно горькую минуту его жизни. И от этого «отрепешенного порыва родственного соучастия» в сердце Никитина, тоже как давным-давно, поднимается ответная волна «знобящей нежности» (с. 408).

Убежденность в том, что «взять боль другого» — это «самое главное, что живет где-то в нас», «самое человеческое» (с. 408), является основным итогом испытания личности, проведенного Ю. Бондаревым в экстремальных условиях жизни, в условиях войны, которая, по убеждению писателя-фронтовика, «обостренно и предельно обнажает характер человека».³⁰ С этим выводом автор «Берега» и возвращается в обстановку гамбургской дискуссии, чтобы подвести окончательную черту под спором о человеке, его достоинстве, о смысле всей его жизни на земле.

В третьей, заключительной части романа логически продолжается действие, прерванное путешествием художника вверх по течению жизненной реки. Снова Гамбург, встречи с уже знакомыми Дицманом, Самсоновым, Эммой Герберт и другими. Но многое в картине повествования теперь принципиально меняется.

Резче становятся тени, подчеркивающие социальные контрасты, наглядно-обобщеннее изображается нравственный смысл последних. Символом бездуховности буржуазного мира предстает уже не примитивный портовый притон с его мелочно-деловитой торговлей человеческими страстями. На этот раз зловещее бездушное жизни демонстрируется в образах и сценах почти гротескных. Таковы и поставленная на широкую ногу, по

³⁰ Время, жизнь, писатель, с. 4.

выражению О. Михайлова, «секс-индустрия» современного Запада в виде улицы-витрины, где порок цинично украшен, ухожен и заботливо выставлен напоказ; и развеселый кабак некоего Алекса, пытающегося создать своим посетителям жалкую иллюзию радости и счастья, наглухо отделив их стенами своего заведения от клокочущего снаружи трагизма реальной жизни.

Гораздо громче, в полную силу звучит мелодия Эммы, со всей непреклонностью и до конца раскрывается драма ее немеркнувшей любви: «Пусть несчастья, пусть катастрофа, но пусть будет то, пусть повторится то... Это безумие, безумие, но я ничего не могу поделать, простите меня!..» (с. 385).

Но, самое главное, в новом, более ярком свете становится виден Никитин и сопряженная с его образом «нравственная философия» бондаревского романа.

Отвечая на вопрос, почему третья часть «Берега» названа «Ностальгия», Ю. Бондарев сказал: «Потому что, думая о прошлом, Никитин осознает лучшую пору своей жизни, своей молодости и понимает, что он не может вернуть ее и вернуться в прежнее состояние, и тоска по прошлому не проходит». Однако это не единственный смысл понятия «ностальгия», передающего «не одно состояние, а комплекс чувств, мыслей, настроения, переживаемые Никитиным».³¹

Среди таких настроений едва ли не первое место принадлежит неизменно волнующему Никитина чувству, связанному с воспоминаниями его детских лет: «теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах, и тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди» (с. 411). Но этот вожделенный образ берега как образ счастья для бондаревского героя не только воспоминание, но и мечта. И оттого он существует не только в его прошлом, но и в будущем. К прекрасному «берегу» Никитин постоянно тянется душой, словно надеясь в конце концов все же достичь его.

Так в настоящем героя писатель открывает будущее, возможность и необходимость движения к какой-то новой и по-новому манящей высоте. Реальность такого движения видна уже из того, каким изменившимся, непохожим на себя прежнего выступает Никитин в заключительной части романа.

Отмечая эволюцию бондаревского героя, критики высказывали мнение, будто Никитину в его «последние минуты» открываются «более глубокие гуманистические ценности», которые «несовместимы с прежними связями и отношениями» героя, чем и объясняется, дескать, «трагический финал романа».³²

Однако вряд ли возможно найти в «Береге» какие-либо признаки переоценки нравственных ценностей. Думается, что, при всей автономности автора, к Никитину вполне относится признание, которое сделал как-то Ю. Бондарев, сказав о внутреннем родстве своих произведений: «Смею надеяться, что я остался самим собой в понимании человека, поставленного на градь „или — или“ в момент самой высокой и тяжелой проверки на человечность. Это понятие включает в себе все: мужество, товарищество, любовь, ненависть, смысл жизни, теплоту патриотизма».³³

Перемены с Никитиным действительно происходят, но говорят они вовсе не об отказе от идеалов и принципов, связей и отношений военной молодости героя. Все это лишь подвергается более глубокому осмыслению. «Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувство-

³¹ Бондарев Юрий. Человек несет в себе мир..., с. 4.

³² Воронов Вл. Земное счастье или прощание с иллюзиями. — Лит. газ., 1977, 23 ноября, с. 4.

³³ Бондарев Ю. Поиск истины, с. 199—200.

вать после сорока лет... какое наслаждение в самой этой мысли...» (с. 409). Так размышляет Никитин в конце романа. Пришедшая к нему духовная зрелость проявляется в способности видеть и понимать мир философски, с позиций высоких, глобальных. С таких позиций расценивает он добро и зло, не столько ужасаясь последнему или негодуя, сколько расценивая его как уязвимое звено в длинной, сложной цепи отношений человека с окружающей действительностью, с людьми, с самим собой. Глядя на убитых и тут же скормленных собакам красавиц-белок, Никитин задумывается не над жестокостью охотника, но над тем, что тот «убил и нарушил равновесие прекрасного мира, как если бы убил ту ночь, студёный запах воды, костер, погасил звезды, сжег тайгу — великую и хрупкую целесообразность земли» (с. 402).

Никитин задается вопросом: «Мог ли я подумать так в годы войны?» (с. 402). Из романа видно, что не мог. Слишком категоричны были тогда и жизненные обстоятельства, и действующий в них герой с его юношеской нетерпимостью и ригоризмом. Только теперь, в мирное время и по прошествии лет, приходит к нему понимание того, что миг, когда охотник стрелял в безобидных зверьков, по-своему «был мгновением какого-то смысла жизни». Одновременно проясняется и другая, более широкая истина о том, что мгновение жизненного смысла еще не есть весь смысл. «А где весь?» На этот вопрос писатель вместе со своим героем как будто не решается дать полный ответ. «Нигде нет полных ответов, — думает Никитин, — и нет прочных для всех, исчерпывающих истин» (с. 402). И тем не менее к финалу «Берега» бондаревскому герою становится внятна одна из несомненно прочных истин. Ему открывается «святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, вера в то, что ничто не исчезает бесследно» (с. 409).

В согласии с этим законом и судит послевоенный, сегодняшний Никитин об этическом содержании понятий добра и зла. В его смягчившемся отношении к некогда ненавистному Меженину проявляется вовсе «не всепрощение, не толстовство, не христианство».³⁴ Проявляется жизненная мудрость, философичность взглядов, позволяющая жалеть человека, который жил недобро, отчего зло, творимое им, оседало в его собственной душе, чтобы со временем уничтожить его самого. В этой связи Ю. Бондарев заметил: «Сила наглости, лицемерия, грубости иной раз стремится подавить добро, которое представляется злу слишком мягким, сентиментальным, воспитанным, лиричным. Но жизнь, связанная со злом, непрочна, ненадежна, так как построена на принципе бумеранга: в любой момент зло может вернуться назад, нанести удар насмерть и наступит возмездие».³⁵

И наконец: живое понимание, сочувственная боль, пронзившая Никитина при расставании с Эммой, — это тоже проявление мудрой осознанности героем того, что в мире все имеет свой след. Именно эта осознанность уязвила сердце Никитина болью утраты и обеспокоила чувством вины, и обогатила ощущением ответственности.

Ю. Бондарев вспоминает, что в дискуссиях на Западе ему «часто говорили: стоит ли задумываться над смыслом жизни, если человек слаб и одинок, бессилён перед смертью, если он физически исчезает, уходит с земли?» Говорили также, что вообще «невозможно понять, куда исчезают человеческое сознание и человеческая память, которые несут в себе колоссальный заряд энергии. Куда и зачем исчезает энергия ненависти или любви, страдания, гнева или огромнейшей потенции творчества?».³⁶

Однако автор «Берега» — художник оптимистического миропонимания. И его оптимизм не беспочвен. Он питается верой в бессмертие

³⁴ Бондарев Юрий. Человек несет в себе мир..., с. 4.

³⁵ Там же.

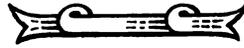
³⁶ Бондарев Ю. Поиск истины, с. 34.

духовных накоплений, нравственных уроков человечества. Ю. Бондарев знает, что посеянные людьми «зерна добра» «могут или не могут стать колосьями мгновенно». Но притом он не сомневается, что рано или поздно процесс этот все же совершается. И тогда утверждается столь необходимая для человеческого благополучия связь времен, а «все конфликты войны и мира объединяются в главную проблему, суть которой, наверное, все же в том, чтобы оставить после себя след на земле».³⁷

«Берег» завершается сценой, когда помертвевшему от сердечной боли Никитину кажется, что, «прощаясь с самим собой», он плывет «на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде», плывет, приближаясь и все же никак не в силах приблизиться «к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди» (с. 412). И этот метафорически развернутый образ неустанного человеческого стремления к прекрасному и доброму предстает в финале романа как итог его «нравственной философии». Небеследно прошла для бондаревского героя его гамбургская поездка, ставшая своеобразным путешествием в юность. Пережив всю бурю сложных чувств, разочарований, надежд, Никитин словно прощается с самим собой, каким он был прежде. Впереди его снова ждет и манит к себе берег естества жизни, берег мудрости и добра, ибо, как сказал Ю. Бондарев, «мы живем будущим».³⁸

³⁷ Там же, с. 13.

³⁸ Там же, с. 35.



ПЕРЕД ДОРОГОЙ

(СТИХОТВОРЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО 20-х—НАЧАЛА 30-х ГОДОВ)

Ранние стихи А. Твардовского — особая тема, особая потому, что речь идет не только о первых шагах поэта, так или иначе известных исследователям, но и о таких произведениях, которые не вспоминались ни самим автором, ни его критиками на протяжении многих лет.

Большинство литературоведов относятся к ранним стихам Твардовского как к сугубо черновым и подготовительным, причем подкрепляют это отношение высказываниями самого поэта. По свидетельству О. Бушко,¹ он считал все свои произведения до «Страны Муравии» неудачными. В автобиографии поэт безоговорочно утверждал: «... писал я тогда очень плохо, ученически беспомощно, подражательно».² Что же касается изучения творческого пути того или иного художника, то он был убежден, что «можно и должно не знать никаких „ранних“ и т. п. произведений, никаких „вариантов“ — и написать на основе общеизвестных и общезначимых вещей писателя самое главное и самое существенное».³

Собственно говоря, с изучением Твардовского так и вышло. В работах о нем речь, как правило, идет об основном вкладе поэта в литературу, «о самом главном». Думается, однако, настало время для неспешного вчитывания в строки, написанные рукою ученика, чтобы увидеть становление большого художника слова.

Правда, сделать это не просто. Кроме неопубликованных произведений, есть много напечатанных, но малодоступных даже для специалистов; не говоря уже о массовом читателе. В комментариях к первому тому нового собрания сочинений Твардовского сказано: «... на протяжении многих лет в издания его поэзии попадали только произведения, относящиеся ко второму, зрелому периоду: ни одна из вещей, написанных ранее 1933 года, не переиздавалась вовсе» (I, 396). Только в 1960 году в четырехтомнике появилось несколько его ранних стихотворений. Неизменной остается ситуация, о которой писал А. Кондратович: «... по крайней мере девять десятых творчества юного Твардовского почти никому не известно: не перепечатывалось, не издавалось, погребено в подшивках смоленских газет и в других местных изданиях двадцатых—начала тридцатых годов. Он и сам-то многого уже не помнил и совсем не ценил написанное в то время... Как видим, сам Твардовский по крайней мере десять лет своей жизни считал ученическими».⁴

Десять лет ученичества — не слишком ли большой срок?

Твардовский вступал на литературное поприще в переходный период, когда революционная романтика проверялась буднями социального строительства, в период смены поколений и даже поэтиче-

¹ Бушко О. Путь поэта. — В кн.: Край наш Смоленский. Смоленск, 1954.

² Твардовский А. Т. Собр. соч. в 6-ти т., т. I. М., 1976, с. 22. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

³ Вопросы литературы, 1977, № 8, с. 215.

⁴ Наш современник, 1974, № 12, с. 175—176.

ских имен. Происходил трудный переход от «всероссийских масштабов», от романтических деклараций к реализму мышления и психологической аргументированности переживания, от глобального и массового (150-миллионный Иван) — к реальному и обыкновенному строителю новой жизни. Начатый еще в поэзии Маяковского («Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе»), этот поворот к индивидуальному и конкретному стал явлением общим. Ищут своего героя Тихонов и Багрицкий, примеривает себя к новому Луговской, зорко всматривается в Русь советскую Есенин.

Однако представления о действительности, в особенности о будущем, нередко оставались абстрактными. Чувствовалось, что такого героя, как в «Левом марше», теперь явно недостаточно. Он мог шагать поверх частностей прямо в социализм. Теперь же герой не «разворачивался в марше», а шел по «Мясницкой». Поэзия была озабочена тем, чтобы на ее страницах появился реальный герой дня со своими новыми реальными заботами и делами.

В автобиографии А. Твардовский вспоминал: «Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой» (I, 20). Примерно в 1923 году он показал свои первые стихи «одному молодому учителю»: «Ничуть не шутя, он сказал, что так теперь писать не годится: все у меня до слова понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано, — таковы современные литературные требования» (I, 21). Естественно, такая оценка обескуражила юного Твардовского. Нередко к простоте приходят с годами, Твардовский с нее начинал. Очевидно, это была еще бедная простота, чем отчасти и вызвана оценка учителя. «Какое-то время, — вспоминал поэт, — я упорно добивался в своих стихах непонятности. Это долго не удавалось мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое сомнение в своих способностях» (I, 21).

Нам этот период исканий юного Твардовского неизвестен. Ни самых ранних, чрезмерно простых, ни более поздних, «заумных» стихов его мы не знаем. Несомненно, это период настоящего ученичества. Перед нами человек без серьезного образования, деревенский мальчишка, знавший поэзию больше со слуха, выше «Капитанской дочки» ценивший романы Г. Данилевского. Углубленное самообразование, чтение серьезной литературы, жизненные наблюдения быстро взрослеющего юноши выводят его из первого кризиса, и с середины 1925 года Твардовский начинает активно выступать в смоленской печати. Это второй, селькоровский период его творчества, продолжавшийся до начала 30-х годов. Для Твардовского 20-е годы — это сборы в дорогу, в большой и дальний путь в поэзию.

Примерно до конца 20-х годов стих Твардовского сохраняет свою стабильность как традиционно-лирический, а затем начинает усиленно сближаться с прозой, что получило предельную завершенность в стихах и поэмах начала 30-х годов. В ранних стихах поэта чувствуется трогательная наивность и неровность, порой неумелость и неуклюжесть, но одновременно удивляешься их серьезности, точности и верности избранному направлению. В них нет энергичного, волевого формирования темы, нет сосредоточения на одной мысли или чувстве, юношеской страстности и максимализма, что обычно наблюдается в творчестве начинающих. Он примеривается к жизни, приглядывается к людям и не спешит сказать решительное «да» или «нет». Он испытывает полное доверие к жизни, ловит ее краски, запахи, звуки, слушает ее мощный и таинственный ход:

Воздух горьковатый, как миндаль,
День, как море — полон и просторен.

Никогда, никто мне не повторит
Ни строкой, ни краской эту даль.

(I, 41)

Молодой поэт дорожит объективной деталью, хочет убеждать фактами, а не декларациями. Это давало многочисленные поводы критике обвинять его в бытовом восприятии действительности, в холодности и чрезмерном объективизме.

В атмосфере пафосного газетного слова стихи Твардовского в самом деле могли показаться холодными и объективистскими, лишенными «лирического подъема, эмоциональной страстности и зажигаемости».⁵ Видимо, какое-то внутреннее чутье удерживало Твардовского от звонкой риторики, вело его путем лирического освоения нового.

В самом первом критическом отклике (для нас это неожиданно) отмечается именно лирический талант поэта: «Песни о новой советской деревне, борющейся с темнотой и невежеством прошлого, ее трудную „страдную“ работу, ее отдых за „крестьянской газетой“, красные комсомольские вечеринки, самопокушение и неисчислимый ряд отрицательных и положительных, теневых и световых сторон — Твардовский передает лирическим ладом и художественными образами».⁶ Но лирический пафос ранних стихов Твардовского направлен не в глубины собственного «я», а на изменяющуюся действительность. Здесь уже заложены крупицы того лиро-эпоса, к которому он придет позднее.

Любопытно, что первое опубликованное стихотворение Твардовского называется «Новая изба». Переезд в новую избу — символ эпохи (недаром здесь звучит обобщенное «мы» народа). Детали (новый дом, запах свежей сосновой смолы, желтоватые стены) становятся знаками нового жизненного уклада — советского. Автор словно спешит подкрепить подобный смысл деталей: «Хорошо заживем мы с весною Здесь на новый, советский лад». Люди уже на пороге нового дома, построенного революцией, но они еще не простились со старым, с прежними привычками и богами, они еще не знают, какой будет новая жизнь, знают только, что хорошей.

Новое повсюду окружает человека, ибо создается его руками. Урожай, извечная цель крестьянского труда, — тоже новый. Новый — это не только очередной, но и возвращенный свободным трудом человека-хозяина. В заскоруженных руках мужиков зашуршала «Крестьянская газета», подобная вороху дум, — не фактов, новостей или даже мыслей, а именно дум, т. е. более важного и значительного. Мужики еще в смятении, в неясности: какой путь выбрать? Отсюда «ворох» дум. Выразительна здесь деталь «дорог израненные спины» (I, 32). Эти дороги — как долгие, мучительные думы, как сам труд на земле. И все же радостно при виде огней избы-читальни, улыбок мужиков, читающих газету. Радость новой жизни, устремленность к высотам, желание петь от счастья слышны в стихотворениях «Помню — ветер пригонял на крышу», «Весенние строчки», «Урожай», «На пашне», «Песня урожая», «Стихи о всеобуче» и др. Интересно, что в наивных, неловких «Стихах о всеобуче» — ростки той мысли, которая пробьется и найдет законченное выражение в поэме «За далью — даль» и особенно в цикле стихов «На сеновале»:

И сюда
Ребят больших и малых
Соберется школьный коллектив,

⁵ Горбатенков В. Несколько замечаний о стихах А. Твардовского и литературных добродетелях. — Наступление, 1934, № 7, с. 99.

⁶ Осин Дм. Александр Твардовский. (Литературно-творческий этюд). — Юный товарищ (Смоленск), 1927, 27 апр., № 30.

Тех,
 Которым места не хватало,
 Тех,
 Которым начинать сначала
 Грамоту, все сразу захватив.

(I, 56)

А рядом с приметамы нового проступает жизнь всегдашняя, приметы вечности: птицы-кочевники летят постоянным маршрутом «в тишь чуткое болот», так же, как и всегда, приходит весна, встает солнце, и человек занят извечными заботами о земле, о хлебе насущном. Постепенно в стихах молодого Твардовского образуются два полюса, два состояния жизни и сознания — новое и старое. Проясняется ощущение рубежа, границы между ними. Но у Твардовского это новое и старое — не на губительном разрыве, не в кричащем раздоре, как у Есенина, а осознаются им как необходимые звенья истории. Человек предстает на переходе, на переломе, он еще живет старым, но ходит уже возле нового («Гость», «Бубашка», «Он до света вставал...», ранние поэмы и др.).

Уже в самых ранних стихах Твардовского его герои не собираются возводить новое на обломках старого — в их облике, в самой их жизни всегда чувствуется весомость опыта, страстное, заинтересованное отношение к традициям. Даже у М. Исаковского, чье влияние на себя Твардовский постоянно подчеркивал, старое, как правило, — однозначно плохое. В таком случае облегчается принятие нового и прощание с тем, что было. Твардовский, устремляясь к новому, не забывает и не перечеркивает старого. У Исаковского переход к новому зачастую мгновенен: появилось радио, свет, пришел в деревню трактор — и жизнь переменялась, все стало другим. Его младший земляк изображает этот переход как явление многослойное, трудное, порой мучительное:

Я мечтой вперед не забегаю
 И скажу, что услышал вчера:
 Это в нашем недалеком крае
 Сходятся в артели хутора.

Мы еще порой на что-то ропщем,
 Сомневаясь — многие из всех.

Но ведь поле наше будет общим,
 Будет общим яровой посев.

Много дней в труде перемололось,
 Многих утомленьем опыля.
 Но зато — не каждая ли волость
 Перестраивает поля? ⁷

(«Весенние новости»)

Твардовский не довольствуется общим планом (страна, крестьянство), он вникает в душу отдельного человека, слушает его ропот, сомнения. Он и сам как бы внутри этого перелома. В стихах 20-х годов он, в отличие от Исаковского, почти всегда серьезен, у него словно нет повода для шутки и юмора.

Герой этих стихов, как правило, — человек молодого поколения, комсомолец, петерпеливо ожидающий прихода нового. «Я для дум и слов твоих — чужой», — заявляет решительно сын отцу.⁸ Ему тесны рамки размеренной в трудах деревенской жизни, он рвется к иному, горит жаждой неведомого боя: «И нервы, и кровь ожиданьем горят» («Костер»)⁹ Любимой он признается в том, чего не сказал бы матери: «Я жду грозу над тишью нив».

Уйду в сраженья и бои,
 Уйду, забыв глаза твои.

⁷ Рабочий путь (Смоленск), 1928, 30 мая.

⁸ Юный товарищ, 1927, 16 марта, № 49.

⁹ Там же, 5 окт.

Любовь и ласку — не должны
Мы помнить в строгостях войны.¹⁰

(«Любимой»)

Перед нами настоящая «романтика боя и риска» (А. Прасолов). Порой промелькнут и у Твардовского балладно-романтические стихи «под Багрицкого»:

Ленивые космы
Костровых волос
Услужливо в сторону
Ветер отнес...

Дружище! Глаза мои
Мне не солгут,

И я — ни уснуть,
Ни молчать не могу.

Сплетается пламя
С моею мечтой —
Я в пламени вижу
Невиданный бой.

(«Костер»)

Однако слишком многое связывало его с домом, матерью, семьей, всей крестьянской жизнью, иного темперамента были его глубинные, подлинные чувства:

Но не брошу никогда другое
И с собою в жизни унесу:
Будешь ты стоять передо мною
Русою березкою в лесу,¹¹

(«Матери»)

— обращается поэт к матери. Даже там, где он жалуется на скуку деревенской жизни, он не отвергает эту жизнь, а примеривает к себе, к своим духовным запросам. И тут он — в самом стихе, в настроениях и деталях, — не столько юноша-романтик, сколько зрелый наблюдательный человек.

Проходит день, как дальний пешеход,
Сосет тоска без табаку и книжек,
А дождь окошки неустанно лижет
И за порог мне выйти не дает.

Забыла ты, как нестерпимо здесь,
Как нас по избам запирает осень,
И зависть поднимающую весть
Мне иногда почтарь приносит.¹²

(«В глуши»)

По мере того как зримее становится новое, Твардовский все чаще сопоставляет его с прошлым. Эти параллели-контрасты между новым и старым становятся проблемными узлами его стихотворений. «Было и стало», «было и будет» входят в его поэтические сюжеты, в них движение времени и грани его души. Старое у него — характерное, детализированное, элегическое, новое часто предстает в лирико-публицистической, риторической оболочке. На первых порах сопоставления старого и нового нередко ведут к авторскому резюме, он словно боится оставить стихотворение без проясняющего финала, без логического вывода. Однако безоговорочные выводы получались не всегда, материал как бы противился однозначному умозаключению. Более того, с победой нового уклада, когда уже возврата к старому быть не могло, Твардовский показывает издержки нового («Гостеприимство», «Четыре тонны», «Братья» и др.).

В ранних стихах Твардовского на чаши весов положены вековечное горе, тяготы прошлого и волевая жизнедеятельность нового хозяина жизни. Старое — это осень, болотная глушь, сумерки, тишина, тьма, новое — весна, дорога, коллективный труд на поле, яркий, открывающий

¹⁰ Там же, 23 ноября.

¹¹ Там же, 28 мая.

¹² Там же, 1928, 15 февр.

дали свет дня. Старое поначалу побеждается рассудком, теорией («Доклад продуманный застелет Старинку темную в селе...» — I, 32), лирическим порывом героя. В глуши, в болотном неживом полукруге заперт герой, откуда «до заморозка в город не пробиться», куда редко ходит почта (характерная для Твардовского точность: «и на два дня запаздывает почта»), где «вестей нетерпеливо ждешь» (I, 33) и не знаешь, ждут ли их от тебя, нужен ли ты кому-нибудь. Как ни тяжело, медленно изживается старое, но уже забрезжило над ним новое. И вот эту переходную пору на рубеже 30-х годов и осваивает молодой Твардовский. Куда пойдет жизнь? Далек ли новый путь? Многих его героев новое просто наступает, и они словно вынуждены жить по-новому.

Люди пошли в колхозы,
Что ж, за людьми и я.

(I, 91)

Жить по-живому надо,
Раз уж в колхозе жить.

(I, 92)

В самом деле, как иначе отнестись к этому новому, если не знаешь его? Старики осторожничают, приглядываются, владельцы хуторских усадеб боятся все потерять. Неопределенность и замкнутость давят человека, он начинает искать выход. Разрывая пределы малого мира, он пускается в дальнюю дорогу. Сплошь и рядом это выходы и в новое время, в новые жизненные отношения. Как только человек на практике, в труде и борьбе, узнает новое, как только он испытает себя в его защите, он признает его кровно своим. «Мужик тверезый», выдержав атаки односельчан, пытавшихся растащить общую рожь, чувствует себя другим человеком.

Двором гордиться мечтал,
А вот, брат, горжусь колхозом.

(I, 94)

Найдет ли свое счастье человек в большом мире? Назовет ли его своим? В 30-е годы Твардовский нередко давал утвердительные ответы: «И велик, да не страшен Белый свет никому. Всюду наши да наши, Как в родимом дому» (I, 209). Но память о малом мире не оставляет его никогда. И вот что интересно: если дорога сначала пролегла только в одном направлении, из малого мира в большой, то со второй половины 30-х годов поэт часто говорит о дороге, ведущей из большого мира в малый. При этом как-то грустнее, пронзительнее становятся его чувства, словно что-то дорогое безвозвратно потеряно, ушло навсегда. Образ старухи, что-то ищущей на старом дворике, чего уже нельзя отыскать, до боли волнует поэта. Как будто это он сам ищет свое ушедшее детство, свою весну и свои надежды (I, 198—199).

И в 20-е годы прощание с малым миром было для его героя не простым. В стихотворении «На пашне» (1928) трактор режет межи, превращая маленькие полосы в большое поле. Пашня здесь — словно большая сцена, на которой происходит поединок машины с крестьянином-единоличником (отцом лирического героя). Конфликт на исходе, отец не может остановить трактор, полоски исчезают у него на глазах. Во весь голос звучит тут авторское «я». И вмешивается оно не в конфликт мирового масштаба, а участвует в семейном споре. Происходит это не в беспредельности космоса, а на пашне, к которой навечно привязан человек. Это «я» обращается к реальному человеку, для которого три лемеха плуга и свободный ход трактора в гору убедительнее всяких слов о преимуществах нового, обращается на высокой ноте, почти на крике, боясь не убедить. Этим и объясняется обилие восклицаний-обращений:

Эй, отец мой!
 Был батрак ты
 У скупой сухой земли!
 Глянь-ка, батя, —
 В гору трактор
 Поднимается вдали!

Глянь-ка, батя,
 Вон как режет,
 Лемехов-то, видишь, — три!..
 Славно пахнет!
 А за межи —
 Ты не спорь, не говори...¹³

Распахнулось пространство вокруг человека, но не просто ему в новых пределах. Недаром отец не произносит тут ни слова — то ли ему нечего сказать, то ли его возражения тонут в гуле трактора и ликования лирического героя.

В «Тракторном выезде» (1931) Твардовский выразит весь могучий и наивный восторг крестьянина перед машиной, веру во все возможное и невозможное. Для единоличника плуг резал межи, как по живому телу. А теперь поле общее, и трактор пришел сюда навсегда.

Не только в то, что по земле пойдет,
 Что полетит — готовы были верить.

(I, 57)

В «Песне урожая» (1929) рассказывается о прощании со старой жизнью, скудной землей, тяжким трудом, бесхлебицей, грустными песнями. Новая песня «шумит машинами И голосами сел... В ней ни тоски, ни жалости, Ни грусти о былом».¹⁴ По сути это рассказ о первом, еще пробном коллективном урожае, о работе впервые «на общей полосе», о голосах машин, слившихся с традиционными голосами деревни. Тема и словесный строй стихотворения — скорее очерково-разговорные, нежели обобщенно-песенные. Твардовскому важно узнать время в лицо и рассказать о нем. В жанровом отношении это прообраз будущих лирических хроник Твардовского.

Попытки прозаизировать стих, насытить его конкретными бытовыми деталями, разговорами особенно участились к концу 20-х годов, когда Твардовский задумал свою первую поэму «Путь к социализму». «Я» поэта уступает место «мы» народа. Возьмем, к примеру, стихотворение «Мишка ниоткуда». Тут интересны сами участники разговора, паузы, жесты. Особенно нагляден старик, хотя ни одной его портретной детали не дается. Твардовский уже умеет, не прибегая к описаниям, дать характер человека.

Старик спросил:
 — Издалека ль, мальчишка?
 И как тебя
 в колхозе кликать будут?..
 Ответил мальчик:
 — Называй хоть Мишкой,
 но, дедушка,
 я просто ниоткуда...
 — Но! Шевелись!

И дед стегнул кнутом
 упитанную
 молодую лошадь.
 А сам решил:
 — Посмотрим... Поживем...
 А с виду мальчик
 будто бы хороший.¹⁵

Мы видим, как поэт хочет преодолеть инерцию стихового ритма, подчинить его текучему жизненному содержанию, ситуации, человеческой характерности. Прозаизация заметна и в стихотворениях «Новый работник», «Лето в коммуне» — психологически точных, приметливых на детали. Особой психологической емкостью отличается стихотворение «Каникулы», которое можно развернуть в целую повесть. Причем повествование Твардовского редко приобретает фабульный характер — он со-

¹³ Там же, 10 марта.

¹⁴ Рабочий путь, 1929, 8 февр.

¹⁵ Курдов С., Твардовский А., Шурыгин В. На стройке новой деревни. М.—Смоленск, 1930, с. 19.

здает скорее атмосферу жизни, за которой угадываются многие подробности, чем дает эти подробности в стихе.

Герой Твардовского почти всегда в пути, дорога уводит его из одного дома-уклада и приводит в другой. Это движение по жизни отнюдь не безмятежно, не идиллично; стремление остановиться, окопаться на каком-нибудь рубеже, обрести постоянство и уверенность в стенах родного дома у человека не менее сильно, чем зов пути и жажда перемен. Этим, видимо, объясняется столь сильный мотив памяти у Твардовского, уважение к прошлому, порой благоговение перед ним (исключая некоторые стихотворения, в которых пробивается юношеская запальчивость в отталкивании от него). Три времени у него в союзе: он не отворачивается от прошлого, любит настоящее и готов идти в будущее.

Прошлое у Твардовского разное. Если за ним собственничество, несправедливость, неуважение к личности, безграмотность и забитость, поэт решительно отвергает его и жаждет, чтобы новое навсегда победило старое. «Голытьба тебя вот-вот обгонит, Этим и дышу я и живу»,¹⁶ — обращается сын к отцу-кулаку. Сын готов порвать с родным отцом, потому что отец разбогател на соседней «помоге», а у сына другие интересы («Отцу-богатею»):

Нам с тобой теперь не поравняться,
Я для дум и слов твоих — чужой,
Береги один свое богатство
За враждебною межой.¹⁷

В «Избятных стихах» Твардовский показывает, как отец и сын не ужились в одном доме, как «Новый шум со стариной заспорил — Захотел былое изменить».¹⁸ Новое, веселое и жизнерадостное, уходит в другие дома, чтобы жить только собою. Отсюда и максималистские призывы, которые позднее Твардовский не раз пересмотрит.

Не жалея ты хату —
Старую, слепую...
О гнилом и старом
Нынче не тоскуют.

Не муди ты сердце
Грустью непутевой.

И шагай с улыбкой
По дороге новой.

Мы построим хату —
Новую, большую...
О гнилом и старом
Нынче не тоскуют!¹⁹

В «Сердечных стихах» он говорит о душевных драмах, неизбежно происходящих в эпоху размежевания нового со старым.

Я ушел за Комсомолом —
Далеко, а ты — осталась.
Ты осталась в старой хате,
Где в глазах темно и мутно,

И теперь готовишь платье
На приданое кому-то.
Ты живешь, где сердцу тесно,
И не видишь ясных далей...²⁰

(«Невеста»)

Но старое, не мешающее человеку жить, всегда у Твардовского как-то трогательно и уютно. Он не спешит отказаться от извечного в крестьянском обиходе, от опыта, накапливаемого веками, даже если этот опыт отвергается новыми поколениями. Как бы ни относился Твардовский к хуторянам, он не отрицает их умения хозяйствовать, их изворотливости и энергии. И хотя живут они «по закону отошедших лет»,

¹⁶ Твардовский А. Т. Собр. соч. в 4-х т., т. I. М., 1959, с. 31.

¹⁷ Юный товарищ, 1927, 16 марта, № 19.

¹⁸ Там же, 27 марта, № 22.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же, 18 мая, № 35.

в них таятся многие возможности человеческой особи, а их усадьбы — выражение крестьянской культуры. Другое дело, какой ценой это достигнуто. И цену эту — эксплуатацию батраков — Твардовский решительно не принимает. В стихотворении «Кулак», словно продолжающем «Отцу-богатею», запечатлена та противоречивость, та многомерность действительности, которую не исчерпать однолинейной оценкой. В самой картине кулацкого хозяйства много такого, что способно вызвать восхищение и даже зависть у бедного крестьянина. И Твардовский, зная мечты бедняка о своей «бубочке», показывает, какого «идеала» и какой ценой добился бы он в своей жизни:

Под опрятной крышей новый двор,
Заслоняет окна шумный сад,
На околицу через забор
Ветви обомлевшие висят.

Яблоки краснеют напоказ,
Пчелы беспокойные гудят.

И внимательный хозяйский глаз
За свое, за нажитое рад.

Хорошо похаживать, глядеть,
Да покуривать, не торопясь.
Так отец, наверное, и дед
Здесь похаживали...²¹

Поэта упрекали в объективизме, а ведь здесь его позиция ясна и недвусмысленна: есть в этой картине достатка нечто чрезмерное, самодовольное и одновременно настороженное, злое: обомлевшие ветви, лезущие через забор, краснеющие напоказ яблоки, беспокойные пчелы, внимательный глаз хозяина, берегущий нажитое, «свое». Как идеал будущей жизни Твардовский это не принимает, но ведь и лучшего на селе пока нет. Как тут быть? Позднее Твардовский будет размышлять над сложной судьбой и характером отца, словно вобравшего в себя противоречия крестьянской жизни. В 1960 году в набросках к роману «Пан» поэт писал об отце: «В сущности, он разделял взгляды и понятия о мировом устройстве, самые распространенные в этом мире, хотя был убежден, что никто так не постиг хорошо законов этого устройства. Нельзя и ни к чему желать, чтобы все в мире были равны в имуществе и власти, а следовательно, и в уме, — это все равно, что желать, чтобы зимой было лето и наоборот. А раз это так, то нужно быть богатым и знатным... И добрым богатым быть удобнее».²² Не говорил ли Твардовский нечто подобное об идеалах отца-крестьянина еще в 20-е годы? Он не преуменьшает, но и не преувеличивает нравственные возможности человека, определяемые временем. Перескочить в новое каким-то мгновенным рывком невозможно. Человеку трудно расстаться даже со своими заблуждениями, а что же говорить о том, что составляло смысл его жизни, во что он вложил свой труд и свою душу?

Твардовский уважительно относится не только к бесспорным ценностям старой жизни, но и к тем явлениям, которые уйдут в прошлое. Сложное чувство выражено в стихотворении «О затихшей церкви» (1927). Сельского попа как-то занесло на дороге «метелицей злою», а без него и «церковь затихла устало». Не о возврате к прошлому говорит поэт, а рисует трудную смену укладов, когда на место старого еще не пришло новое, — поэтому так непривычно и пусто вокруг.

За оградою — с третьей весной —
Стало как-то пустынно и голо,
И в разбитое кем-то окно
Залетает с подругою голубь.

Все бурьяном густым поросло
За беспечностью легкой людскою...
Перестало сливаться село
С колокольною долгой тоскою.²³

Не барабанной дробью встречает Твардовский новое, не улюлюканьем провожает старое, а пытается вникнуть в ход жизни, понять то

²¹ Рабочий путь, 1928, 13 дек.

²² Кондратович А. Александр Твардовский. Поэзия и личность. М., 1978, с. 53.

²³ Юный товарищ, 1927, 27 апр., № 30.

и другое. Жизнь разворошена, сдвинута с места, но обойдется ли она совсем без того, что было? В годы формирования Твардовского как поэта прошлое представлялось либо как память о страшных днях, либо как навсегда ушедшая идиллия. Твардовский не признавал ни огульного отрицания прошлого, ни его идеализации людьми, «потерявшими привычные жизненные связи и видевшими в будничных заботах и призывах времени лишь „будничность“, „прозу“». ²⁴ В поэзии, по словам Твардовского, «как бы по инерции, нерушимой оставалась деревня вчерашняя, с одними ее „пригорками и ручейками“, „ветхими крышами“, „кипенью черемух“ и прочим условно-поэтическим реквизитом старозаветности». ²⁵ Надо было всмотреться в реальную деревню, которая была «охвачена жизнедеятельным порывом», тянулась к знанию, к городу, быстро привыкала к новинкам и уже стояла на грани великого перелома.

Одна из особенностей Твардовского — это его постоянные обращения к основам жизни, к тому, что навечно остается в душе человека. Он начинал в эпоху практической работы революции, в эпоху решаемых и уже решенных вопросов. Герой многих стихотворений Твардовского 20-х годов — хранитель разумного порядка в жизни и в человеческих отношениях, он хорошо понимает, что «сторожить и стынуть надо, Чтоб сделать кто беду не мог» (I, 37). Ночной сторож охраняет не столько данную постройку, сколько установившийся новый «порядок». Охраняет порядок на перевозе паромчик, «блюдут» порядок и традиции старики и старухи, которых мы во множестве встречаем в стихах Твардовского 20—30-х годов. О соотношении стихии и порядка, свободы и необходимости поэт будет размышлять всю жизнь, вплоть до последних стихотворений («Как глубоко ни вбиты сваи...», например), в которых слышны отголоски его мыслей начальной поры.

Одно из его ранних стихотворений называется «Уборщица» (1928). Героиня одушевлена стремлением навести порядок и чистоту, ей приятно, когда «все на месте, предупредительно и опратно» (I, 39). Кто другой из поэтов рискнул бы писать на столь прозаическую тему? Бунтарство, излом, порыв, нарушение устоявшегося порядка — сколько угодно, в этом выделась своя романтика и даже героизм. А тут бумага, окурки, спичечные коробки, сдвинутые стулья. Но для уборщицы в кабинете начальника все одушевленное, живое, потому-то порядок здесь не мертвый и гнетущий, а предупредительный, отзывчивый (как потом в «Доме у дороги»), это порядок для человека, а не сам по себе.

Интересна сама мысль о порядке, нередко возникающая у раннего Твардовского. Ее словно подсказывает новое время, заставлявшее Твардовского искать в этой жизни корневое, незыблемое, основы, которые дают нам право говорить о традициях национальной жизни, о единстве истории. И он напряженно думает о доме, о семье, о малом мире человека, о тех нравственных началах, которые уберегут человека от опустошения, механического перемещения во времени и пространстве. Удивительно, но этот малый мир у Твардовского всегда в дороге! Иметь его всегда при себе значит «быть самим собой», чего бы это ни стоило...

Новое интересует Твардовского не само по себе. Он хочет понять, какие ценности утверждаются в жизни, что значит теперь богатство — извечный показатель силы и процветания мужика, насколько изменился нравственный климат повседневности. Тревожный некрасовский вопрос «Кому живется весело, вольготно на Руси?» получает у Твардовского достойный нового уклада ответ: «Хорошо тому живется, Кто хороший человек». ²⁶ Не деньги, а общий труд — вот главное богатство людей.

²⁴ Твардовский А. О литературе, М., 1973, с. 154.

²⁵ Там же, с. 155.

²⁶ Твардовский А. Сборник стихов (1930—1935). Смоленск, 1935, с. 64.

Нищий «мужичок горбатый» может почувствовать себя сильным, отнюдь не маленьким. Вчерашний батрак с лошадиной кличкой Бубашка вдруг замечает, что его уважают больше, чем он сам себя. Идеал старой жизни — «Двор. Лавка. Мельница. Достаток». Всю свою энергию трагично тратили на то, чтобы опередить соседа, урвать лишнюю копейку. В «Стихах со слета» снова идет спор сына с отцом. Последний, прочитав какую-то книгу, вывел верное средство стать богачом: у него будут родиться яблоки «как раз в безъяблочный год». И это средство он тайл ото всех, чтобы побить на рынке любого садовника. Однако новая жизнь перетряхнула ценности старой, изменила нравственные нормы отношений людей:

И люди впервые на свете
Совместно мечтают о ней,
И вовсе не держат в секрете
Основы удачи своей.²⁷

Но и в самых смелых начертаниях нового у Твардовского неизменно присутствует старое. На пути в колхозную жизнь мы чаще всего видим у него сомневающегося единоличника, пытающегося сохранить свой малый мир в беспредельности нового. Как ни хорош колхоз, а решиться трудно. Как ни привлекательно новое, а бросать старое не хочется: «И черные — с построек старых — бревна Меж новых хорошо легли в забор» (I, 63). Это, можно сказать, формула перемен, которую нашел для себя Твардовский: и эти сомневающиеся единоличники, подобно старым бревнам, войдут в новую жизнь, не надо их отбрасывать.

Как осторожно, как тонко решает поэт трудную тему, каким нравственно сложным предстает у него раскулачивание уже в ранних стихах! Активисты пришли в дом кулака дать по разверстке задание, а их напоили молоком, встретили по-доброму (I, 54). Так же не просто отношение к хозяину в «Гостеприимстве» (1929). Перед нами малый хуторской мир. Любовно описан этот уголок, созданный неусыпным трудом и заботой человека. И трудно представить, что скоро тут будет пустое место. Ничего не может сказать заезжий корреспондент, не знает он, как утешить хозяина. Поэтому и тянет он «одно-единственное „Нн-да“». А что тут скажешь? Твардовский всякий раз ставит очень сложную психологическую задачу, верное решение которой критики его времени не всегда находили, а решений поэта не принимали.

Много позднее поэт писал: «Главное и основное, что... нужно понять при рассмотрении книг, посвященных коллективизации, это вот что. Наиболее общий их... изъян в том, что авторы решали вопрос о вступлении мужика в колхоз, исходя из необходимости самого единоличного хозяйства (скажем, среднего). Мол, „из нужды не выйти“ и т. п. ... И это тогда, когда мужик имел Советскую власть, получил землю, построил хату из панского леса, пользовался с.-х. кредитом и т. п., но главное, конечно, земля... Короче, суть в том, что колхозы явились не из потребности единоличного (среднего) хозяйства, а из общегосударственной необходимости (отсутствии товарного хлеба с ликвидацией крупного помещичьего хозяйства, диктат кулачества и т. п.)».²⁸ Не вдаваясь в анализ и оценку этих мыслей Твардовского, следует сказать, что его ранняя поэзия подводит к ним читателя, подводит безо всякой подсказки со стороны.

Сложность и объемность правды той переходной эпохи в стихах Твардовского критики почувствовали еще в 30-е годы. Для многих она оказалась нежелательной, неудобной, хотя действительность была на-

²⁷ Рыленков Н., Твардовский А., Фиксин С. Стихи о зажиточной жизни. Смоленск, 1934, с. 57.

²⁸ Кондратович А. Указ. соч., с. 93—94.

много сложнее, чем произведения начинающего поэта. М. Завьялов в статье «За большую культуру» писал: «У нас (речь идет о Смоленщине, — В. А.) особая обстановка, особые условия создания колхозного строя. Превратить область из хуторской в колхозную — чрезвычайно сложная и трудная задача... Страшно много трудных, сложных, необычных, запутанных вопросов».²⁹

Причиной многих нападков критики была, несомненно, та объективная, аналитичная манера, которая казалась странной в произведениях молодого поэта. А ведь почти за всеми наблюдениями, по признанию Твардовского, стояли реальные люди, перипетии их судьбы. И главное — эти наблюдения делались человеком глубоким и дальновидным. Возьмем мотив переселения в новую избу, с которого Твардовский начал поэтическое освоение действительности. Мотив этот станет одним из главных в его поэзии до конца жизни (вспомним «В краю, куда их вывезли гуртом»). В 20-е годы с ним связана неизменная радость людей, обретающих новый дом. Однако и она осложнена прощанием со старым, какой-то неясной тревогой и даже болью. В стихотворении «Новоселье» (1929)³⁰ почтальон удивлен переездом семьи, недоумевает, как это внезапно и быстро случилось. Грустно ему терять знакомых, почти родных людей, в его душе «квартирный мир закончил разговоры». Грустен и сам этот переезд — будто на слом, на свалку вывозится обжитое имущество. Стронутое с мест, оно выглядит смешно и даже уродливо. Но что впереди? Прощание долгое, трудное. И не случайны здесь строки: «От слез посклеились в отчаянье немом Родные обитатели альбомов». Дверь в новое открыта, но переезд — не ликование, а необходимость. Причем не просто в новый дом, а в новый жизненный уклад, «где мы должны к столу привыкнуть И обряжать рождение и смерть». Странно звучит на новоселье «смерть», странно это «немое отчаянье», но в этом — правда жизни, увиденная и прочувствованная поэтом.

Ранние стихи Твардовского, при всей их неровности, дают серьезный повод для большого разговора. Они помогут лучше понять творческое развитие поэта, увидеть, как, у кого и чему учился поэт, обнаружить подвижное и постоянное в его поэтическом мышлении. Зримее проступит система его творчества, которая начала складываться с первого же стихотворения «Новая изба», а не со «Страны Муравии». Яснее обозначатся конфликты его произведений, понятнее станет его гражданская позиция, сложность и драматизм его творческого пути. Ранние стихи окажут неоценимую услугу и при создании научной биографии Твардовского. В этих стихах, наконец, — та правда времени, которая не позволяет их забывать.

Всю свою жизнь Твардовский думал о переменах, происходивших в конце 20-х—начале 30-х годов. В конце пути он не раз убеждался, что в юношескую пору почти не ошибался в оценке происходящего. Не это ли заставило его подобрать к своим ранним стихотворениям? В четырехтомном собрании сочинений, начавшем выходить с 1959 года, он публикует 18 стихотворений 1926—1933 годов. В эти же годы Твардовский настойчиво обращает свою память к 20-м годам, и не затем, чтобы переоценить прошлое, а чтобы додумать те мысли, которые беспокоили его в сумятице тех лет.

И невдомек нам было вроде,
Что здесь, за нашей спиной,
Сорвется с места край родной
И закружится в хороводе
Вслед за метелицей сплошной...

(III, 188)

²⁹ Наступление (Смоленск), 1934, № 5—6, с. 80.

³⁰ Юность, 1975, № 7, с. 70.

Круг как бы замкнулся, Твардовский вновь подошел к тому, с чего начинал в 20-е годы. Не случайно и то, что его произведения последних лет — по преимуществу лирические, как и в самом начале пути. Беспощадная, трезвая, порой пугающая правда в понимании жизни и себя самого дышит в стихах 60-х годов. Но к этой правде вела та, далекая правда детства, которая стучалась в стихи начинающего поэта.

В молодом Твардовском, вспоминает А. Македонов, «поражало именно стремление к истине в ее живой исторической конкретности, более того — сегодняшней ее насущности. Трезвость, зоркость взгляда, упорное стремление ясно отличать зерно от половы. Благодаря этому он остро, иной раз слишком остро чувствовал всякую фальшь, показуху и всякое, как он выразился в одном из последних своих писем ко мне, „пустоутробие“». ³¹ Твардовский изначально стремился к естественности и простоте стиха, однако не ценой отказа от сложности. И уже тогда, по мнению А. Македонова, «определилось главное в этой сложной простоте — сочетание жизненности, даже деловитости, практичности, вплоть до, так сказать, селькоровской злободневности, с пафосом больших ожиданий, великих идеалов, „завидных далей“ — и своей личной, и общенародной судьбы». ³²

Поэт увидел эти «дали», ибо всерьез готовился к своей большой и трудной дороге, говорил правду о том, о чем знал «лучше всех на свете». Настоящая дорога есть только у правды. . .

³¹ Македонов Адриан. Будущий Твардовский. — В кн.: День поэзии. 1972. М., 1972, с. 202.

³² Там же, с. 201.



НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

(К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА)

1

Интерес к творчеству выдающегося русского советского писателя Андрея Платоновича Платонова (1899—1951) непрестанно растет.

Новейшая литература о Платонове (начиная с 60-х годов) — весьма солидная и многообразная: это статьи С. Залыгина, С. Бочарова, Л. Шубина, В. Д. Дорофеева, В. Турбина, М. Лобанова, Ф. Сучкова, В. Скобелева и многие другие, положившие начало изучению творческого наследия писателя. За последние годы появилось немало новых работ, среди которых в первую очередь можно назвать монографическое исследование Виктора Чалмаева «Андрей Платонов» (1978), впервые, пожалуй, освещающее все этапы творческих исканий художника. Нельзя не упомянуть исследования М. Лобанова, А. Горелова, В. Васильева,¹ в которых рассматриваются проблемы народного характера, патриотизма, соотношения технического прогресса и нравственности в платоновском творчестве. В статье В. Эйдиновой «К творческой биографии А. Платонова»² предпринята попытка систематизации раннего творчества писателя.

Следует отметить, что в большинстве названных работ художественный мир писателя исследуется во всей его философской целостности, и это открывает путь к еще более углубленному изучению оригинального творчества крупного художника нашего века.

В настоящей статье мы стремились проследить некоторые особенности платоновской трактовки темы труда, психологической и нравственной эволюции человека-труженика в условиях революционного преобразования общества, осветить актуальность этой трактовки для наших дней. Названная проблема в той или иной мере затрагивалась некоторыми исследователями, довольно подробно касается ее, в частности, В. Чалмаев в своей книге «Андрей Платонов», но она и ныне остается, пожалуй, наименее раскрытой.

Концепция человека-труженика всегда неотрывна у Платонова от его общей философской и этической концепции человека, поэтому автор данной статьи ставил задачу не столько «вычленить» тему труда в творческих исканиях писателя, сколько обратить внимание на своеобразное воплощение ее Платоновым на разных этапах социально-нравственного обновления жизни.

Андрей Платонов начал пробовать свои силы в литературе (в стихах) очень рано, еще в дореволюционную пору, когда 14-летним парниш-

¹ Лобанов М. Надежда исканий. Литературно-критические статьи. М., 1978, с. 145—159; Горелов Александр. Соединяя времена. М., 1978. (Глава «Лишь с подвига начинается человек» — с. 191—216); Васильев Владимир. Сопричастность жизни. Литературно-критические статьи. М., 1977. (Глава «... Без меня народ неполный» — с. 5—70).

² Вопросы литературы, 1978, № 3, с. 213—228.

кой был вынужден идти работать: сначала в конторе воронежского страхового общества «Россия», потом литейщиком на трубном заводе, затем помощником машиниста на локомотиве. Но подлинное ощущение себя как личности и свое истинное творческое признание он обрел с победой Великого Октября. «Я жил и томился, потому что жизнь сразу превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности. До революции я был мальчиком, а после нее уже некогда быть юношей, некогда расти, надо сразу нахмуриться и биться... Фраза о том, что революция — паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе. Были во мне тогда и другие — такие же слова (из детского чтения):

В селе за рекою
Потух огонек...

Эти стихи... сразу объяснили мне уют, скромность и теплоту моей родины — и от них я больше любил уже любимое. Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции»³ — так вспоминал в 1922 году о своем взрослении писатель в письме к будущей жене М. А. Платоновой.

Примечательнейшее признание: «слова о революции-паровозе» и строки из пушкинского стихотворения как бы одновременно помогают Платонову найти свое место в жизни — место «взрослого человека». Такое двуединое⁴ восприятие обновляющегося мира и себя в этом мире (через революцию и любовь к слову) Платонов сохранит и в годы первого практического участия в революционном преобразовании общества, совмещая службу в отрядах ЧОНа, работу в железнодорожном депо, в Воронежском губернском земельном управлении с активной журналистской деятельностью, сохранит и во все последующие годы профессионального писательского подвижничества.

Правда, были моменты, когда гармония двуединства нарушалась волею обстоятельств. Так, например, в автобиографии 1924 года писатель говорит, что в трудную для народного хозяйства страны пору (1922—1924 годы) он почти целиком ушел в практическую работу: «Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой».⁵ Об этом же он писал и непосредственно в период засухи: «Но какая скука только писать о томящихся миллионах, когда можно действовать и кормить их. Большое слово не тронет голодного человека, а от вида хлеба он заплачет, как от музыки, от которой он уже никогда не заплачет. Огненные наша жалость и кипение души будут остывать не в форме искусства, а в форме работы, преобразующей материю, скручивающей мир...»⁶ В эти и последующие три года Платонов действительно целиком уходит в громадную работу по мелиорации и электрификации сначала в Воронежской, а затем в Тамбовской областях, но не прекращает и «созерцательного» занятия, ибо прекрасно сознает свою неостановимую «страсть к размышлению и писательству», ставшую, по его же признанию, «основным и телесным» делом...

Сотни корреспонденций, статей, опубликованных на страницах газет и журналов, ряд рассказов, среди которых ныне широко известные

³ Волга, 1975, № 9, с. 161.

⁴ Это двуединство, разумеется, вычленено нами отнюдь не в противовес нерасторжимому триединству платоновского мировоззрения (народ, поэзия, революция), о котором очень точно сказал критик В. Васильев в своей книге «Сопричастность жизни», а для того, чтобы подчеркнуть благотворную равновеликость воздействия на писателя художественного слова и революционного дела.

⁵ Волга, 1975, № 9, с. 176.

⁶ Вопросы литературы, 1978, № 3, с. 222.

«Потомки солнца», «Маркун», «Бучило», наконец, сборник стихов «Голубая глубина», изданный в Краснодаре и замеченный «самим» Брюсовым, свидетельствовали о незаурядных литературных данных молодого Платонова, говорили о рождении самобытного художника слова и оригинального мыслителя. Конечно, в ранних творческих опытах писателя еще много неловко-шероховатого, декларационного, абстрактно-назывного, а не художнически выстраданного (писатель в ту пору разделял некоторые умозрительные программы поэтов «Кузницы», что убедительно показано в книге В. Чалмаева), но в них отчетливо проглядывает то, что определило неповторимость Платонова, которого мы знаем нынче: масштабность философской концепции, страстный гуманизм, напряженная «мыслеемость» образа, исключительное своеобразие стиля.

Уже в первые годы революционного переустройства жизни молодой инженер из потомственных пролетариев и начинающий художник слова угадал в «великих героях, мучениках и гениях терпения и труда», т. е. в рабочем люде России, огромную творческую мощь, созидательное начало. Следует сказать, что платоновская вера в силу пролетариата носила в ту пору несколько отвлеченный характер. Давали о себе знать историко-философские заблуждения писателя: он рассматривал весь дооктябрьский период как царство эмоций, а в послеоктябрьском видел торжествующую поступь разума. Абсолютизация профессиональных знаний в человеке, чрезмерное возвеличивание «вселенского человека», оторванного от традиций прошлого, от родной почвы, а в связи со всем этим — художественно-публицистическая проповедь рационализма, приоритета научного знания над законами природы — тут, видимо, сказалося увлечение Платонова идеями оригинального русского мыслителя-утописта Н. Ф. Федорова (1828—1903), автора «Философии общего дела», выдвинувшего, в частности, идею регуляции природы средствами науки и техники (известно, что федоровские философские воззрения оказали заметное влияние не только на Платонова, а, например, и на Н. Заболоцкого). Впрочем, отношение к диктату науки у Платонова было довольно сложным, хотя общий пафос федоровской концепции (проповедь всеобщего объединенного и добровольного труда во имя управления природой) окажется очень длительное время созвучным философским устремлениям писателя.

Влюбленный в технику, горячо веривший в неисчерпаемые возможности и силы науки (об этом свидетельствуют те же рассказы «Маркун», «Потомки солнца» и несколько более поздние, написанные во второй половине 20-х годов, — «Лунная бомба», «Эфирный тракт»), Платонов, однако, никогда не фетишизировал голый научный техницизм, наоборот, развенчивал его однобокость, предупреждал, какой губительный урон он может принести, если оторвется от жизни, встанет над человеком. Не случайно писатель признавался в одном из писем: «... Я люблю больше мудрость, чем философию, и больше знание, чем науку».⁷ И герои названных выше его ранних произведений (а они в подавляющем большинстве одержимы научными идеями) тоже разнятся, если воспользоваться выражением П. В. Палиевского, «мерой научности».

Инженеры-изобретатели Матиссен и Михаил Кирпичников («Эфирный тракт») самозабвенно верят в великую преобразовательную силу научных открытий. Однако вера их питается отнюдь не одинаковыми источниками. Технократ Матиссен оторван от окружающего мира, хотя и жаждет властвовать над ним, ему чуждо всякое чувство сострадания (испытывая свой способ «управления миром», он устраивает крушение трех пассажирских теплоходов), для достижения своей научной цели он вытравил из себя все человеческое, и только достигнув этой цели, «он

⁷ Волга, 1975, № 9, с. 162.

понял, что ему неинтересно и то, чего он добился... Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум».⁸ Слишком позднее прозрение. В отличие от Исаака Матиссена Михаил Кирпичников и в периоды наивысшего научного «заболевания» не утрачивает способности оставаться земным человеком («Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке»)⁹, и это помогает ему не бездумно-апологетически воспринимать все научные открытия, но видеть в них и нечто противоестественное и даже страшное. Примечательна в этом смысле реакция Кирпичникова на изобретение, которое ему показал Матиссен («обстреливание мозгом Вселенной»): «Кирпичников почувствовал горячую жгущую струю в сердце и в мозгу — такую же, какая ударила его в тот момент, когда он встретил свою будущую жену. И еще Кирпичников сознал в себе какой-то тайный стыд и тихую робость — чувства, которые присущи каждому убийце даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насилывал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех веков».¹⁰

Как видим, демаркационная линия научных миров обих ученых обозначена довольно четко. Бездушный (а значит и безнравственный) технизм, насилующий природу, может быть, и способен преобразовать мир, но такое «преобразование» антигуманно в своей основе.

Каков же тогда путь осуществления мечты по превращению жизни в «чудо и свободу»? Путь этот — в творческом и одухотворенном труде миллионов людей (а не избранных одиночек). Конечно, миллионы — тоже не безликая масса, а коллектив разных индивидуальностей, неповторимых личностей, великолепно сознающих свою особую миссию в переделке мира.

В 20-е годы Платонов создает ряд художественных произведений, основными героями которых являются рядовые представители этой многомиллионной армии. Разумеется, далеко не сразу с победой Октября пришли платоновские труженики к осознанию себя творцами истории. Не сразу многие из них пришли и к пониманию великой силы коллективизма, хотя в некоторых рассказах («Родина электричества», «О лампочке Ильича», «Луговые мастера») «прелести сущей жизни» вывываются непосредственно как результаты слаженной деятельности содружества людей. Большинство платоновских тружеников из произведений 20-х годов («Происхождение мастера», «Сокровенный человек», «Ямская слобода» и др.) в первую очередь озабочены поисками правды жизни в условиях революционной взвихренности, душевным самопознанием в «хорошее революционное утро». Миросозерцание их в основе своей пока резко индивидуалистично, ибо выросли они в предреволюционные годы, в «темноте далеких родин», когда, как говорил позднее Платонов в статье «Павел Корчагин», «еще не было взаимного ощущения человека человеком, столь связанных общей целью и общей судьбой».¹¹

Все они, и Фома Пухов — герой повести «Сокровенный человек», и Захар Павлович из повести «Происхождение мастера», и Филат из «Ямской слободы» — превосходные умельцы-мастера, хранящие в душах своих тайное очарование рабочего ритма, но в жизни своей они по преиму-

⁸ Платонов Андрей. Потомки солнца. Повести и рассказы. М., 1974, с. 82.

⁹ Там же, с. 73.

¹⁰ Там же, с. 68.

¹¹ Платонов Андрей. Размышления читателя. Статьи. М., 1970, с. 96.

ществу знавали не радость работы, а ее подневольную необходимость, ее «истязательные щупальцы», высасывающие из человека физические и нравственные силы. Революция застала платоновских тружеников как раз в состоянии душевного разлада между жаждой деятельности и бесперспективностью практических результатов этой деятельности, озарила светом превращения каждого из них в полноправного члена общества. Может быть, именно потому эти люди после победы революции бродят по дорогам России, чтобы глубже познать «теплоту родины», т. е. разобраться в самой сути революционных преобразований.

Путешествуя, «странные» платоновские правдоискатели постепенно преодолевают индивидуалистические барьеры настороженности и даже неприятия окружающей действительности, начинают даже усваивать (чаще пока стихийно) мысль о необходимости связи отдельного человека со всем человечеством («Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя»), и самое основное — пытаются осмыслить и свое духовное возрождение в условиях обновляющегося общества. «Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как рождение. Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, невероятной в тишине и в действии. Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза, — нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение. Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко преодолевая опустевшее счастливое тело. . . Свет и теплота утра напрягались над миром и постепенно превращались в силу человека».¹²

Другой платоновский «чудак» Захар Павлович («Происхождение мастера»), сначала «ради безошибочности» отвергающий революцию, потом желающий вступить в такую партию, которая бы сразу установила «земное блаженство», еще не приходит к пуховскому ощущению революции как хранительницы «родственности всех тел к своему телу» (к этому пришел его приемный сын Саша Дванов, поверивший, что «революция — это конец света», т. е. смерть всему, что убивало в человеке человеческое), но подспудно чувствуется, что человеколюбие, пылкий ум старого мастера непременно должны привести его в лагерь тех людей, у которых «нечаянное в душе».

«Нечаянное в душе» у платоновских правдоискателей — это не просто стихийная вспышка-озарение, а пробуждение в себе высокого гуманистического сознания. Человек, преодолевая эгоцентрическую замкнутость (виной тому чаще всего были социальные условия прошлого), начинает сознавать практическую пользу и необходимость своих усилий для других, начинает понимать смысл своего существования не только в житейском, но и, если так можно выразиться, в философском плане. (Вспомним, что в написанной годом раньше «Сокровенного человека» повести «Епифанские плюсы» Платонов на примере судьбы английского инженера Бертрана Рамсея Перри, приглашенного Петром Великим для руководства строительными работами, показывает, как человек, горячо любящий свое дело, но лишенный ощущения «родственности. . . тел», гибнет в тоске и одиночестве).

¹² Платонов Андрей. Течение времени. Повести, рассказы. М., 1971, с. 184.

В сознании влюбленных в работу героев Платонова происходит переоценка ценностей: раньше казалось, что они любили технику, орудия труда больше человека (и Захар Павлович, который знал, «что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека», и Фома Пухов), а теперь постепенно, но коренным образом они меняют свое мнение. Недаром один из героев очерка «Первый Иван» (1930) электрик Гюли (киргиз по национальности) горячо верит, что в скором времени «всякий киргиз будет электрик и механик, — от них пустыня зарастет, а человек останется».¹³ Конечно, отношение человека к труду остается главным критерием в оценке личности, только отношение это перерастает простую профессиональную добросовестность. Платоновские умельцы вообще-то и на ранней стадии революции непрестанно бились над непростым вопросом: ради «хлеба насущного» совершенствует человек свое рабочее мастерство или есть тут более возвышенные причины? . .

Отгремели бои гражданской. Революция встала на мирные рельсы. «Чудные» платоновские труженики в своих периферийных уголках продолжают искать свое предназначение, продолжают мучиться над проблемами бытия. Уже появляются первые ростки новых социалистических отношений, но вместе с ними выплывают на свет и сорняки, грозящие притормозить завоевания революции. Это приспособленцы всех мастей и рангов, пытающиеся не только примазаться к новой жизни, но и стать, так сказать, ее идеологами, «интеллектуальным» авангардом времени. К числу таких «теоретиков» принадлежит герой повести «Город Градов» Иван Федотович Шмаков — фигура в некотором роде непреходящая в смысле бюрократического усердия и лицемерия. В гротескной форме лепит Платонов этот тип философствующего бюрократа, ухитрившегося прийти к такому спекулятивному умозаключению: «Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расплывшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей».¹⁴

Демагогические разглагольствования Шмаковых можно было бы и не принимать всерьез, если бы за ними не скрывалась опасность, именуемая обывательщиной. Именно на обывательскую (а также мелкобуржуазную) психологию и рассчитаны шмаковские «Записки государственного человека» — этот «революционный» кодекс бюрократии.

В «Городе Градове» Платонов смеется. Но это не пустое зубоскальство, свойственное некоторым сатирическим произведениям той поры. Платоновский смех сродни гоголевскому «смеху сквозь слезы» — писатель остро переживает то, что «шмаковщина» может помешать пробуждению «нечаянного в душах» дорогих писателю беспокойных тружеников-правдоискателей, с большим трудом нащупывающих жизненную тропу в социализм.

К счастью, реальные социальные преобразования общества развивались с такой стремительностью, что рассеивали или почти рассеивали опасения писателя относительно «градовщины». Под влиянием этих преобразований коренным образом менялась нравственно-психологическая сущность человека труда.

2

Медленно, сначала нередко интуитивно, но постепенно все более осмысленно постигая течение жизни, приходят герои-труженики Платонова к тому пониманию труда, которое писатель концентрированно оха-

¹³ Октябрь, 1930, № 2, с. 163.

¹⁴ Платонов Андрей. Потомки солнца, с. 340.

рактиковал в статье «Пушкин — наш товарищ»: «Риск искусства художника любого рода оружия — от поэта до машиниста — всегда был. Задача социализма — свести этот риск на нет, потому что творческий, изобретательный труд лежит в самом существе социализма».¹⁵

Стремление к практическому, «творческому, изобретательному» труду свойственно всем героям-труженикам платоновских произведений, но есть и существенные различия, скажем, между странствующими искателями правды 20-х годов и их духовными братьями, любовно выписанными Платоновым в рассказах 30-х годов, — различия как психологического, так и мировоззренческого склада. И те и другие без остатка растворены в народе, их мировосприятие является неотъемлемой частью народного мироощущения. Крепка и нерушима их связь, вернее, слитность с природой, делом. Как справедливо отметил В. Васильев, «герой писателя весь, целиком внутри жизни, внутри народа, внутри природы, внутри дела. Это обстоятельство неоднократно подчеркивается даже названиями произведений — „Среди народа“, „Среди животных и растений“».¹⁶ Неизменной в известной степени осталась и их приверженность к философичности (любомудрию), к некоторой своеобразной парадоксальности в толковании жизненных явлений.

Но герои платоновских произведений 30-х годов теперь уже мало похожи на тех чудаковато-наивных наблюдателей, что несколькими годами раньше, хоть и с тайной радостью, но все же и не без сомнения вглядывались в «конец света», сотворенный Октябрем. Теперь платоновские мастера труда чувствуют себя активными преобразователями общества, твердо знают свое значение в общем деле народа и страны, что и позволяет машинисту Петру Савельичу (рассказ «Жена машиниста») сказать такие горделивые слова: «А без меня народ неполный!»

А пришли они к такой высоте самосознания через горнило первого послереволюционного десятилетия, сыгравшего исключительную роль в мировоззренческой и нравственной перековке человека из народа. Преодолевая рукотворным трудом косность стихии, освобождаясь от ее диктата, этот человек под воздействием новых форм жизни, опирающихся на принципы равноправия, товарищеской взаимовыручки, сознательной и одухотворенной устремленности к преобразованию мира, энергично возвращает себе отнятое вековым социальным гнетом чувство хозяина земли не в номинальном, а в действительно-практическом смысле. Возвращает он себе и право на дерзновенное соревнование со временем, и чувство личной ответственности за этот захватывающий поединок. Вот почему и приходит к нему теперь уже не интуитивное, а осознанное понимание своей кровной неделимости с народом и своей независимости в этом возрожденном усилиями революции слитке. Этот человек и становится теперь главным героем произведений Андрея Платонова.

Но писатель стремился не просто зафиксировать рождение, становление и развитие новых нравственно-мировоззренческих форм в сознании человека, но дать художественное и философское обобщение тех сил, которые способствовали укреплению в людях чувства обязательности «дороги к друг другу» и ликвидации «провала между истиной и действительностью», чувства прочного стояния на земле. Одной из таких сил, укрепляющих дух, гордое сознание своей великолепной, по словам Горького, должности человека, является труд. В условиях социалистических преобразований общества, революционизировавших сознание рабочих людей, труд становится для платоновских умельцев радостным смыслом жизни, магистральным маршрутом движения по ней. В сущ-

¹⁵ Платонов Андрей. Размышления читателя, с. 22.

¹⁶ Васильев Владимир. Сопричастность жизни, с. 43.

ности, это стало тем самым «открытием нового центра внутри человека», ради которого и вел писатель свой подвижнический поиск.

Некогда вечно торопившиеся «познать всю вселенную», платоновские герои, не утрачивая активности и неуемной любознательности, предпочитают теперь разобраться в проблемах бытия не спеша, ибо установившийся размеренный лад жизни уже не терпел суетливости. В превращении неусидчивого и говорливого правдоискателя-индивидуалиста в раздумчивого, уверенного в своих силах коллективиста, не потерявшего, однако, «своеобычнички», Платонов видит не какой-то феномен, а закономерную и типичную диалектику психологии человека труда в обществе, покончившем с классовым антагонизмом.

Такие изменения в образе жизни рабочего человека, в его характере, психологии порождались всеми социально-общественными формами, в том числе и бурным развитием техники. Симпатии самого писателя неизменно оставались на стороне научно-технического прогресса, хотя он и очень своеобразно представлял себе и этот прогресс, и задачи науки в целом. «... Наука родилась в тот момент, когда человек почувствовал себя отделенным от вселенной, когда природа извергла из себя это существо и человек захотел снова слиться с ней для своего спасения... Все научные теории, атомы, ионы, электроны, гипотезы, всякие законы — вовсе не реальные вещи, а отношения человеческого организма ко вселенной в момент познающей деятельности...»¹⁷ — такие рассуждения находим мы в платоновских письмах к жене в 30-е годы. А в одном из писем 1936 года писатель сообщает, что он «нечаянно открыл принцип беспроводной передачи энергии». Затем уточняет: «Но только принцип. До осуществления — далеко. Будет время — напишу статью в научный журнал... страсть к научной истине не только не умерла во мне, а усилилась за счет художественного созерцания».¹⁸

«Страстью к научной истине» в ее практическом, техническом воплощении наделены и платоновские труженики. Отмеченная выше любовь их к технике, к машинам растет, но в произведениях 30—40-х годов она уже не носит самодовлеющего характера. Герои писателя, может быть, более, чем когда-либо, понимают необходимость благотворного союза человека и техники в нравственном аспекте.

Платонов был свидетелем и участником ранней стадии технической революции, которая нашла в его лице восторженного поклонника и поэта-летописца. Как и в наше время повсеместного научно-технического прогресса, так и в годы его зачаточных форм остро вставали проблемы глубинного, нравственного содержания, многие из которых прямо или косвенно зависели от главного человеческого предназначения: способности трудиться по душевному порыву. И надо сказать, Платонов оказался одним из самых пронизательных художников слова, сумевшим не только высокохудожественно, психологически убедительно раскрыть характер человека, одухотворенного творческим трудом, но и предвосхитившим авангардное место темы труда в будущем. Недаром и в наши дни многие из затронутых писателем проблем, касающихся, так сказать, «производственной» жизни, остаются исключительно животрепещущими. Платонов, как неоднократно отмечалось в нашей критике, превосходно умел описывать самую механику этой производственной жизни, но никогда не упускал из поля зрения главного — человека, нравственно-психологического климата его души.

Герои-труженики Платонова уже тогда прекрасно сознавали, что духовную наполненность труда не возместить никакими «мозговыми» техническими усовершенствованиями. Можно трудиться простым землеко-

¹⁷ Волга, 1975, № 9, с. 172.

¹⁸ Там же, с. 173.

пом, когда вся «техника» — обычная штыковая лопата, можно управлять новейшим мощным (для своего времени) паровозом, ощущая в себе, как машинист Мальцев из рассказа «В прекрасном и яростном мире», «отважную уверенность великого мастера», но и в том и в другом случае чувствовать великую радость и сердечный смысл труда, гордость рабочего призвания.

В чем тут секрет? В общем-то секрет, по Платонову, лежит опять же в «сокровенности» человека, хранящего «нечаянное в душе». В новых условиях жизни на первое место среди этого «нечаянного в душе» выходит чувство сопричастности и чувство ответственности перед всем народом. Но чувства эти не являются «свыше», они откристаллизовываются в сложных жизненных коллизиях «прекрасного и яростного мира», в мучительной порой борьбе с честолюбием, равнодушием, вызванным душевными невзгодами (Ольгина тетка и частично Лиза из рассказа «На заре туманной юности»), эгоцентрической замкнутостью (вспомним раздвоенность Фроси и ее нетерпеливое ожидание немедленного счастья из великолепного рассказа «Фро», или нравственное прозрение пятерых сыновей умирающей старухи в другом платоновском шедевре — в «Третьем сыне», или скрипача Сарториуса из рассказа «Скрипка», жаждущего испытать душу «во всей многообразной судьбе нового мира»). Но зато какую полноту мировосприятия испытывают платоновские герои, когда в сердца их прорывается выстраданное чувство спаянности с сердцами других! Это сродни тем переживаниям писателя, о которых он говорил в 20-е годы: «И теперь исполняется моя долгая, упорная детская мечта — стать самому таким человеком, от мысли и руки которого волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей, и из всех людей — я каждого знаю, с каждым спаяно мое сердце».¹⁹

Такая спаянность и была ядром одухотворения труда. В рассказе «Свежая вода из колодца» Платонов выявляет психологическую суть подобной спаянности, когда бригада землекопов так наладила трудовой ритм, что за короткий срок каждый рабочий увеличил выработку в три-четыре раза. И все это достигается без каких-либо технологических усовершенствований, без «давления свыше» и, на первый взгляд, даже без особого энтузиазма самих землекопов. Да, при не очень внимательном чтении может создаться впечатление, что герои рассказа относятся к работе довольно безразлично. Однако не будем торопливы и прочитаем рассказ, воспользовавшись советом его автора, «бережно и медленно». Давайте внимательнее не только в идею произведения, но и в его поэтику, ибо даже в ней можно обнаружить отражение сокровенных платоновских раздумий, сливающихся часто с мыслями его героев.

Герои Платонова — люди дела, поэтому не любят праздных разговоров. И писатель, видимо, для более резкого выделения именно этой черты начинает повествование без всяких преамбул: деловито, по-информационному сухо сообщает о получении землекопами задания. «Нашему прорабу была поставлена задача: ему приказали усилить грунты в ложе пруда, чтобы предупредить поглощение вод сухими песками... Прораб сказал нам, что для усиления грунтов в ложе водоема надобно столько же сделать работы, сколько было сделано для постройки всего тела плотины, и даже немного больше».²⁰ И следом идет живая сцена: разговор прораба с рабочими. Все это подано исключительно сжато, лаконично, но за каждой репликой мы сразу чувствуем характер. И видим, что землекопы из бригады Бурлакова не механические исполнители, а мыслящие работники.

¹⁹ Цит. по: Платонов Андрей. Голубая глубина. Книга стихов. Краснодар, 1922, с. VI.

²⁰ Платонов Андрей. Избранные рассказы. М., 1958, с. 139.

Прораб, ставя перед рабочими задачу, сам сомневается в реальности ее выполнения.

«— А вдруг да не справитесь и не закончите под снег? — встревоженно сказал прораб. — Лучше я затребую тогда добавочную силу через район. . .

— Кого потребуешь? Землекопов? — спросил Зенин. — Откуда вам их дадут, из какой области-губернии? Везде же работа идет. . . Чего зря говорить!

— Ну, а что делать?

— Как чего? Работать будем! — ответил Бурлаков прорабу.

— А рук мало, как тут быть? . .

Здесь объявился молчавший Альвин.

— Так и быть, чтоб лучше было, — сказал он. — Работа большая, а мы ее начнем делать — и сами из маленьких большими станем.

Прораб недовольно поглядел на Альвина.

— Чего ты, Георгий? — обратился он к Альвину. — Ты знаешь, сколько кубометров придется на каждую душу?

— Это я понимаю, я сосчитал. . . Так мы же не без сознания станем работать. . . Мы не без смысла живем! . . »²¹

Слова Альвина не вызывают возражения, и можно предположить, что и всем другим членам бригады внутренне свойственно такое же понимание важности работы.

Но вряд ли достаточно только одного понимания, чтобы трудиться с максимальной отдачей. И тут как бы на помощь своим героям приходит сам автор с идеей важности вдохновения в работе. Вдохновения, которое может прийти не сразу, но и не обойдет человека, живущего «не без смысла». И тогда даже труд «по обязанности» становится если не любимым, то по крайней мере ничуть не тягостным. Егор Альвин, выполняющий ежедневно четыре-пять норм задания, является проводником авторской идеи вдохновения. Повествование в рассказе ведется от первого лица, однако мы словно бы забываем об этом. Зато непроизвольно замечаем, как авторские раздумья «переселяются» в его героев. Всюду ощущаешь, что платоновские герои ни на минуту не прерывают своих напряженных раздумий о судьбе других, о связях с народом. Мышлению их присуща тяга к философскому осмыслению действительности, как и у героев 20-х годов, но обобщения их всегда конкретны, неотрывны от насущных проблем времени и психологически точны.

«— В работе лучше всего, — смущенно и тихо произнес Альвин, — будто со всем народом и с природой говоришь. Мне, бывало, всегда кажется так.

— А что тебе кажется? Что тебе народ говорит?

— Слов не слышно. Это не такой разговор.

— А ты ему?

— Я ничего не говорю. Я люблю его. Сказать нечего и нехорошо, работаешь — и все.

Бурлаков удивленно смотрел на Альвина. . . »²²

Да, на первых порах для членов бурлаковской бригады альвинские признания, что он за работой ведет речь «будто со всем народом и природой», т. е. всегда помнит, что он составная часть народа (это ведь, в сущности, сокровенная авторская идея), кажутся удивительными. Но постепенно и сам Бурлаков, и другие землекопы, тоже хранящие «нечаянное в душе», не только воспринимают альвинский «секрет» вдохновения, но и естественно овладевают им как нормой рабочего поведения,

²¹ Там же, с. 140.

²² Там же, с. 149.

суть которого и выразил тот же Бурлаков: «У каждого, дорогой, своя душа, а свежую воду мы все пьем из одного колодца».²³

Мы видим, как задушевная авторская идея вдохновения и ее философское ядро (чувство «неделимости человека со всем народом») ненавязчиво обретают психологическую плотность, и понимаем, что альвинское «желание вывести равнодушного человека из его скупого оцепенения, чтобы он увидел не видимое им — людей и природу в их истине, прелести и в их усилении к будущему времени — и соединился с ними своим сердцем и своей силой» есть не что иное, как обретенный маршрут духовного прозрения убежденного коллективиста, прозрения, которого, к слову сказать, так часто недостает многим «героям» современных произведений на рабочую тему.

Среди этих последних мы нередко встречаем вроде бы и очень умелых, инициативных работников, тоже вроде бы любящих свое дело, но почему-то не вызывающих полного доверия именно из-за их духовной «ущербности» (либо они возвышаются над массами, вроде липатовского Прончатова или Чешкова из известной пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны», либо замыкаются в гордом одиночестве, так сказать, непонятые товарищами, как, например, Анатолий Юсин из романа Ю. Скопа «Техника безопасности», герой некоторых произведений А. Блинова, М. Колесникова и других прозаиков, обращающихся к производственной тематике). Правда, герои названных произведений чаще всего не из рядовых рабочих, а дипломированные инженеры, но суть не в этом. Суть в том, что знакомство с такими персонажами почти не оставляет надежды, чтобы кто-то из них был в состоянии «вывести равнодушного человека из скупого оцепенения», и тут, пожалуй, есть над чем поразмышлять. . .

3

Герои Платонова живут всегда в реальном мире, который сам писатель называл «прекрасным и яростным», отстаивая тем самым право на изображение этого мира и человека в мире во всей сложности, минуя и отвергая утвердившиеся в литературе условные формы, которые, по мысли писателя, зачастую «не способны дать той глубокой радости, которая равноценна помощи в жизни». Известно, что Платонов довольно критично оценивал творчество таких писателей-романтиков, как Паустовский и Грин, хотя и отдавал должное их художественному дару. В отвлеченном романтизме Платонов усматривал «стерилизацию действительности», подмену искусства искусственностью и даже пренебрежение народными чаяниями, что для Платонова было равнозначно измене писательскому предназначению.

Свою рецензию на рассказы А. Грина Платонов заканчивал следующими словами: «Но ведь мир устроен иначе, чем видит его Грин в своем воображении, и поэтому сочинения Грина способны доставить читателю удовольствие, но не способны дать ту глубокую радость, которая равноценна помощи в жизни. Удовольствие, которое приобретает читатель от чтения Грина, заключено в поэтическом языке автора, в светлой энергии его стиля, в воодушевленной фантазии. И за одно это качество автор должен быть высоко почитаем. Но было бы гораздо лучше, если бы поэтическая сила Грина была применена для изображения реального мира, а не сновидения, для создания искусства, а не искусственности».²⁴

А в статье о Паустовском, отмечая большой дар писателя как художника «неодушевленной» природы, Платонов пишет: «В том же случае, если Паустовский будет работать лишь в этом направлении, то, по

²³ Там же, с. 152.

²⁴ Платонов Андрей. Размышления читателя, с. 128.

нашему убеждению, писатель будет находиться, так сказать, в предыстории своей творческой судьбы. Перед ним останется еще благодарная и трудная задача — изображение человека; этой задачи никто из писателей обойти не может, хотя каждый из них подходит к ней своим путем: центр литературного дела всегда будет заключаться в существовании человека, а не возле него». ²⁵

Не соглашаясь в чем-то с чересчур категоричными и резковатыми оценками, которые дал Платонов писателям-романтикам, мы все-таки должны признать и его неоспоримую правоту в главном: для всякого истинного художника, если он действительно жаждет служить народу, центр творческих исканий — всегда «в существе человека». И сам Платонов всегда искал и находил такой «центр» прежде всего в «существе человека» — своего современника. Даже в произведениях, сюжетно-событийная канва которых проходит, казалось бы, вне окружающего писателя, современного ему мира («Епифанские шляпы», в какой-то мере «Такыр», «Джан»), или в мире, сотворенном фантазией художника (уже упоминавшиеся научно-фантастические рассказы 20-х годов «Лунная бомба», «Эфирный тракт», а также «Мусорный ветер» и отчасти «По небу полуночи», написанные в конце 30-х годов), писатель подходил к проблеме человека с позиций самой что ни на есть жгучей современности.

Платоновские мастера, как уже было показано, необратимо приобщаются к коллективному труду, видя в нем аккумулятор творческого вдохновения. Но ничуть не утрачивают они и свой индивидуально-творческий почерк. Для героя рассказа «В прекрасном и яростном мире» машиниста Александра Мальцева, водившего состав «с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и потому властвующего над ним», для другого машиниста (более старшего поколения, чем мальцевское) Петра Савельича из рассказа «Жена машиниста», не шутя заявлявшего, что плохое масло он лучше сам съест, а в машину даст «чистое и обильное», для старого механика-пенсионера Евстафьева из рассказа «Фро», ежедневно «в неистовстве одинокого энтузиазма» с волнением ждущего, что его снова вызовут в поездку, и для многих других платоновских умельцев преданная любовь к своей профессии сочетается с государственным, как принято нынче говорить, отношением к порученному делу.

Тот же Петр Савельич, утверждающий, что без него «народ неполный», в то же время отлично понимает: незаменимых людей нет. И поэтому он заботится о подрастающей смене, передавая младшим свой богатый профессиональный и житейский опыт. Помощника машиниста Кондрата Петр Савельич усыновляет не только потому, что сердечно полюбил его, но и для того, чтобы воспитать настоящего преемника и продолжателя своей жизненной программы. «Ну ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так вы нам все машины покалечите!» — любовно, но в то же время строго говорит Петр Савельич. Мастер не хочет доверять технику равнодушному человеку, его забота о продолжателях дела своего в первую очередь направлена в область нравственную, и акт усыновления должен служить как бы первым препятствием безразличию. Применительно к нашим дням Петр Савельич — самый настоящий наставник, и его отношение к этой проблеме шире простого профессионального учительства, что опять же делает рассказ Платонова «Жена машиниста» исключительно современным и актуальным.

Андрей Платонов полагал, что «творческий, изобретательный труд лежит в самом существе социализма». А творчество всегда в конечном итоге — радость. Потому-то платоновские герои и в драматичных, даже

²⁵ Там же, с. 124.

трагичных ситуациях сохраняют крепкую веру в торжество добра и света. Но оптимизм их очень далек от того бодрячества, которое было свойственно героям некоторых произведений предвоенных лет, или самоуверенной напористости (зачастую эгоистичной в самом корне), коей нередко наделяны «положительные» деловые люди современных произведений. И снова приходят на память напумевшие Чешков, Алтунин и им подобные. Да, можно позавидовать энергии, целеустремленности того и другого, но вот оптимистами их, пожалуй, не назовешь. Есть в них элемент какой-то *натужной деловитости*, совсем не похожей на *вдохновенную убежденность* платоновских героев, убежденность, выстрадавшую всей жизнью и ставшую своего рода регулятором морального состояния.

В работе Егора Альвина непрестанно ощущается «разговор со всем народом». Стрелочник Сергей Семенович Пучков (рассказ «Среди животных и растений») — из той же альвинской породы: он умеет сострадать, проникнуться сочувствием чужой беде и радости. Все это внутренне подготовило его к подвигу, который он совершает: рискуя собственной жизнью, предотвращает аварию, спасая десятки жизней других людей. И семнадцатилетняя Ольга, спасая от гибели подразделение красноармейцев (рассказ «На заре туманной юности»), — тоже из той же когорты одаренных высокой душевностью людей, для которых гуманизм дела всегда опережает гуманизм слова.

В рассказе «В прекрасном и яростном мире» Платонов проводит одного из таких гуманистов дела через сложные сцепления тревожно-трагедийных ситуаций, когда в жизни временно возобладали жестокость «роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека» (в реальном мире не исключены и такие состояния). Главный герой рассказа машинист Мальцев — человек сложный, несколько самоуверенный, но в характер его писатель вложил лучшие черты рабочего человека — пытливый ум, талантливость, сознание силы своего мастерства, одухотворенный профессионализм. Но вот он попадает в беду: во время грозы временно потерял зрение, что чуть не привело к крушению пассажирского состава. Мальцев был отстранен от работы и осужден. Ради восстановления справедливости друзья активно встают на защиту Мальцева, но «роковые силы» не менее активно препятствуют этой справедливости: машиниста подвергают жестокому эксперименту, в результате которого он по-настоящему слепнет. И все-таки зло вынуждено отступить перед солидарностью, товариществом и взаимовыручкой. Помощник Александра Мальцева по работе (он же — рассказчик) говорит: «Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, — я чувствовал свою особенность человека».²⁶ Ощущение «особенности человека» является, в сущности, развитием «нечаянного в душе», свойственного любимым платоновским героям, только здесь оно сконцентрировано вокруг идеи неборимости человека-коллективиста «внезапными и враждебными силами нашего прекрасного и яростного мира», вокруг идеи слитности отдельного человека со всем народом.

И снова не лишне обратить внимание на тот факт, что в ряде современных произведений эта исключительной важности идея (выдержавшая труднейшие испытания временем, и в первую очередь в годы Великой Отечественной войны) нередко оттесняется новейшими конструктивными концепциями, в основе которых — «суперменские» деяния волевых индивидуалистов. Конечно, время внесло свои коррективы в психологический склад человека, и платоновские труженики, наверное, кажутся иным поборникам «деловитости» милыми, но наивными проста-

²⁶ Платонов Андрей. Течение времени, с. 366—367.

ками. Но не будем забывать, что именно эти «простаки» сумели отстоять Отечество от коричневой чумы фашизма прежде всего потому, что им в высшей степени было присуще чувство слитности с народом. И тот коллективизм, который выработался в них на попрание мирного «творческого, изобретательного» труда, обернулся практическим подтверждением несокрушимости советского человека в боях с врагом. Об этом писатель с присущей ему художественной силой поведал нам в таких произведениях, как «Броня», «Офицер и солдат», «В сторону заката солнца», «Одухотворенные люди» и мн. др. Потому-то не представляются отвлеченными воспоминания-размышления «труженика и война», полковника Назара Фомина из рассказа «Афродита», познавшего силу общности людей на тернистом жизненном пути (они, эти размышления, сливаются и с авторскими мыслями): «Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтоб иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни».²⁷

Назар Фомин, убежденный, как и сам писатель, что «лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек»,²⁸ сумел сберечь в себе сокровенное (в отличие, скажем, от другого воина из рассказа «Возвращение», Алексея Иванова, которому для возврата этого сокровенного потребовались психологические «стрессы») именно потому, что постоянно чувствовал возле себя дыхание единомышленников.

В рассказе «Афродита» затронут, между прочим, тот пласт зарождения коллективистского мирочувствования в душах людей, который неподвластен никаким «научно-техническим» деформациям, — он опирается на социально-нравственное прозрение человека, ощутившего себя «не посторонним прохожим» на земле и «исполнителем своего долга перед народом» одновременно. И тут опять есть над чем задуматься тем современным литераторам, которые предпочитают выдвигать на первое место хозяйскую хватку того или иного волевого производственника и забывают о его нравственном долге перед народом. . .

* * *

Судьба отпустила Андрею Платонову не так уж много календарных лет (он скончался на 52-м году жизни), и это были весьма нелегкие годы не только в смысле житейской неустроенности, но и в творческом плане.

Читая полные оптимизма, света и жизнестойкости произведения Платонова, мы нынче естественно удивляемся чуть ли не единодушию современной писателю критики, видевшей в его творениях нечто сумрачное, а то и вовсе безысходное. Можно, конечно, упрекнуть критику в недальнорзости, конъюнктурности, недоброжелательности и оказаться недалеко от истины. Но надо помнить и другое: Платонов, в сущности, двигался в своих исканиях по целине, был одним из первопроходцев, а понять и осмыслить всю значительность совершаемого первооткрывателями удается далеко не всем и не сразу.

Очень многое у Андрея Платонова в исследовании темы труда, например психологии рабочего человека, носило действительно первопроходческий характер: это прежде всего глубоко последовательное проникновение в душу разбуженного революционными преобразованиями чело-

²⁷ Там же, с. 111.

²⁸ Там же, с. 119.

века-труженика (открытие «нечаянного в душе» и тончайшие психологические наблюдения над развитием этого «нечаянного» в ритме эпохи) и целостная философская концепция труда как первоосновы ликвидации человеческого одиночества.

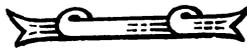
Писатель не только выявлял то новое, что нарождалось и развивалось в человеке, но и непременно наделял этого человека способностью хранить «в себе, хотя бы в скрытом, свернутом состоянии, зерно будущего, как элемент личного характера»,²⁹ и это обстоятельство в первую очередь делает платоновский пафос неповторимо своеобразным и действенным. . .

Справедливо и точно сказал о Платонове В. Чалмаев: «Андрей Платонов принадлежал к подлинно художественным натурам, которые самой природой были созданы для творческого подвига. Достоинства таких людей опережают их возраст, самое стремительное накопление знаний, мудрости. Само время идет им чаще всего навстречу, мир обнажает перед ними свое „прекрасное“ и „яростное“ начало».³⁰

Да, наше время идет навстречу Андрею Платонову, и прежде всего потому, что сам писатель неустанно шел навстречу будущему, шел не в наглухо застегнутом сюртуке, а, если воспользоваться его же выражением, с «обнажившимся сердцем».

²⁹ Платонов А. Навстречу людям. — Литературный критик, 1938, № 11, с. 171.

³⁰ Чалмаев В. Пламя познания. — Литературная учеба, 1978, № 2, с. 141.



В ПРЕДОЩУЩЕНИИ НОВОГО ИСКУССТВА

(КОРОЛЕНКО И ГОРЬКИЙ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ДВИЖЕНИИ «РУБЕЖА ВЕКОВ»)

В дневнике за 1896 год Л. Н. Толстой, заметив, что «ни в чем так не вредит консерватизм, как в искусстве», пишет далее: «... в каждый данный момент оно должно быть — современное — искусство нашего времени. *Только надо знать, где оно.* (Не в декадентах музыки, поэзии, романа). Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем».¹ Запись, сделанная примерно за год до непосредственной работы над трактатом «Что такое искусство?», имела далеко не личный характер. Раздумья гениального художника соотносились с устремлениями литературно-общественного движения «рубежа веков». Вопрос «где оно?» — краеугольный камень идейно-эстетических дискуссий того времени. Ответы на него нередко носили взаимоисключающий характер, каждая из группировок пыталась доказать спасительность для судеб литературы своей концепции. Спорящие стороны рассудила история, выделив — как магистральное — направление социалистического искусства, основоположником которого стал М. Горький.

Сегодня вопрос «где оно?» звучит для нас иначе, чем в ту переломную эпоху. Общими усилиями литературоведов решается насущная проблема: как вызревало, складывалось «в настоящем» творчество писателя нового типа? Понятие «настоящего» глубоко и многомерно. То, что мы называем взаимодействием творческой индивидуальности с впечатлениями современной ей действительности, включает в себя и такой важный фактор, как влияние на молодого писателя выдающихся литературных предшественников.

«Настоящее» для творческого дебюта Горького — это напряженная и противоречивая атмосфера идейных, философских, эстетических исканий; чтобы обрести свой идеал, он должен был разобраться в разнородности противоборствующих идейно-художественных верований. В то же время есть основания говорить о весьма благоприятном сочетании обстоятельств, сопутствовавших его росту как художника. Горький не только успел застать выдающихся представителей (и завершителей) классического периода русской литературы Л. Толстого, А. Чехова, В. Короленко, но имел счастье личного общения, дружбы, переписки с ними.

В творческом развитии Горького Короленко принадлежит особая роль. Она определяется не только художественными достижениями этого писателя, которые, при всей их значительности, не претендуют на то, чтобы сравниться с вершинными завоеваниями Толстого и Чехова. Речь идет о воздействии, исходящем от всей личности художника, поразившего молодого Горького органической слитностью своих литературных и общественных позиций, человеческих и гражданских качеств. «Среди

¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 53. М., 1953, с. 81. Курсив наш. — С. З.

русских культурных людей, — вспоминал Горький о Короленко много лет спустя, — я не встречал человека с такой неутолимой жаждою „правды-справедливости“, человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь... Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой... страсти».² «Эпохой Короленко» назвал Горький десятилетие 1886—1896 в жизни Нижнего Новгорода (т. 16, с. 184). Остается уточнить, что это был период, в котором протекало творческое формирование самого Горького. Писатель-современник, который остался для Горького «самым законченным человеком из сотен... встреченных» и к которому он испытывал «чувство непоколебимого доверия» (т. 16, с. 557), находился рядом в самый ответственный для начинающего литератора момент. Именно ему А. Пешков принес в 1889 году на суд свое юношеское сочинение — поэму «Песнь старого дуба». Через несколько лет они снова встретятся на нижегородской квартире Короленко, где не единожды будет проходить «семейный совет» по поводу дальнейших шагов начинающего автора.

В то же время В. Г. Короленко неоднократно подчеркивал, что он не был «учителем Горького». Последний пришел к нему «уже готовый»³ и «стал писателем благодаря большому таланту».⁴ Эти высказывания лишней раз подтверждают характерную черту Короленко — зоркий, трезвый взгляд на истинное положение вещей и скромность самооценки. Действительно, ко времени второй встречи с Короленко Горький имел уже несколько опубликованных в газетах рассказов; молодой автор входил в литературу со своим кругом жизненных наблюдений, тем и образов. Однако очень важным было, с какой долей человеческого понимания и поддержки пройдет писатель первые, самые трудные шаги своего утверждения в литературе. И здесь совет В. Короленко, человека доброго, чуткого и вместе с тем строгого и нелицеприятного, был незаменим.

В период 1893—1895 годов, до переезда Короленко на жительство в Петербург, творческие начинания Горького неоднократно получали напутствие опытного художника слова. Само собою разумеется, Короленко не ограничивался знакомством с рукописью и прилагал немало усилий к ее опубликованию. Но при этом заботился, чтобы всяческие редакционные препятствия автор проходил с наименьшими для себя моральными издержками. По письмам в «Русское богатство» и «Русские ведомости» видно, как заинтересован был Короленко в незамутненности этических отношений «поэта» и «издателя», как стремился он оградить своего подчиненного от возможного равнодушия, формального отношения к присланной рукописи. Отсюда просьба к Н. К. Михайловскому, редактору «Русского богатства», написать «два-три словечка» о рассказе «Ошибка», который был возвращен Горькому «без ответа».⁵ Неудачи литературного дебюта Горького Короленко воспринимал как свои личные, но стремился извлечь из них урок для автора, настраивая последнего на упорный труд.⁶

На правах старшего Короленко проявляет заботу об А. Пешкове и в чисто житейском плане: советует «переменить обстановку», т. е. оста-

² Горький М. Полн. собр. соч., Худ. произв. в 25-ти т., т. 16. М., 1973, с. 258. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

³ Бояновский В. Владимир Галактионович Короленко. — Жизнь искусства, 1922, 17 января, № 3.

⁴ Короленко В. Г. Избр. письма, т. III. М., 1936, с. 256.

⁵ Там же, с. 90.

⁶ См. письмо В. Г. Короленко брату от 25 ноября 1893 года в кн.: М. Горький и В. Короленко. Сборник материалов. М., 1957, с. 202—203.

вить Нижний Новгород, рекомендует Горького редакции «Самарской газеты» и т. п. Благодаря хлопотам Короленко Горькому была оказана материальная помощь со стороны Литературного фонда, что позволило писателю выехать в Крым, поправить сильно пошатнувшееся здоровье. В 1898 году, посылая Короленко первые свои книги, Горький напишет: «Вы были моим учителем и много сделали хорошего для меня, этого я не забыл и не забуду».⁷

Сходство ряда отправных моментов творчества Короленко и Горького несомненно. Оно — в пристальном внимании к миру отверженных, изображении крупным планом представителей низов, преимущественном интересе к «выламывающейся» личности, к человеку с «чуждинкой», сохраняющему «душу живу» даже в условиях «дна». Проницательное замечание Н. К. Михайловского, что горьковские босяки «даже не столько отверженные, сколько отвергшие»,⁸ в определенной мере подходит и для характеристики «бывших людей» — героев Короленко, которые «предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать... Среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма».⁹

Однако при всей очевидности идейных созвучий не менее явственно проступает различие в общей атмосфере произведений Короленко и Горького.

Следует заметить, что акцент на определенной непохожести этих близко стоящих друг к другу художников делался в первых же сопоставлениях их творчества. О контрастности выражаемых ими настроений шла, например, речь в литературном обзоре, опубликованном в январском номере журнала «Русская мысль» за 1898 год. Настроение Короленко определяется в статье как «философски спокойное, мягкое, грустное», Горького — «всегда беспокойное, всегда преисполненное волнения, страсти, часто ненависти...»¹⁰ Об этом же писали и другие критики, правда порою с целью показать якобы имевшее место идейное противостояние писателей. Так, А. Басаргин, усмотрев в рассказе Короленко «Смирные (картинка с натуры)» любованье кротостью живущего «во грехах» русского народа, делал вывод о направленности этого произведения против рассказа Горького «Канн и Артем».¹¹ Столь же своеобразно перетолковывалось и отношение писателей к так называемой «босяцкой теме». По мнению А. Скабичевского, Короленко, обратившись к проблеме «антагонизма оседлого и бродячего типов» (рассказ «Маруся записка»), считает в отличие от Горького, что и оседлый и бродячий типы «одинаково необходимы для жизни».¹²

Забегая вперед, можно сказать, что, судя по позднейшим работам,¹³ анализ творческих взаимосвязей Короленко и Горького нельзя строить как на некритическом выведении одной писательской манеры из другой,

⁷ Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 28. М., 1954, с. 48.

⁸ Михайловский Ник. Литература и жизнь. О Максиме Горьком и его героях. — Русское богатство, 1898, № 9, с. 70.

⁹ Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. 2. М., 1954, с. 14—15. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

¹⁰ Русская мысль, 1898, № 1, с. 40.

¹¹ Московские ведомости, 1899, 20 февр.

¹² Русская литература конца XIX—начала XX в. Десяностые годы. М., 1968, с. 430.

¹³ О контрастирующем своеобразии облика Короленко и Горького еще в начале 20-х годов писала Р. Люксембург в статье «В. Короленко» («Красная новь», 1921, № 2); теме творческого притяжения и отталкивания двух писателей посвящена одна из глав книги Г. Бялого «В. Г. Короленко» (М.—Л., 1949, с. 342—368).

так и на абсолютном их контрасте. Но при этом важно подчеркнуть: для литературного развития 90—900-х годов имело значение сближение Короленко и Горького в силу не идентичности, а непохожести писательского облика. Именно в диалектическом дополнении, в исторически обусловленной переключке их творчества, когда концепция старшего воспринимается младшим не подражательски, а как стимул к поискам нового уровня гуманистического идеала, — секрет их целенаправленного воздействия на общественное сознание своего времени.

В своих реалистических вещах Короленко-художник до конца выдерживает объективный тон повествования, к дурному и доброму в жизни подходит с меркой беспощадного, в духе Толстого, реализма. Вытекающий из его произведений вывод отрезвляюще суров: жизнь пока — море несправедливости с одинокими островками добра, создаваемого теми, кто от природы наделен даром человечности и не растерял его в тяжелых условиях борьбы за существование («Убийец», «Не страшное», «Федор Бесприютный», «В дурном обществе» и др.). Конечно, наряду с этим в рассказах и повестях Короленко звучит оптимистичная нота, но порыв к светлому, гуманистическому идеалу проступает скорее в авторском заключении, лирической концовке, нежели в сугубо реалистической ткани произведения. Горький же, обратившись к изнанке жизни, стремится фокусировать внимание исключительно на ней, ищет обнадеживающие начала для своей идеи в сердцевине кричащих противоречий.

* * *

За исключением первого, нижегородского периода знакомства и дружбы Короленко и Горького встречи писателей носили спорадический характер. В своем идейном развитии Горький все быстрее приближался к пролетарскому пониманию развернувшихся событий, Короленко продолжал оставаться защитником гуманизма с общедемократических позиций. В то же время в крайне противоречивой литературно-общественной ситуации их сближало выполнение единой задачи — непримиримая критика институтов буржуазного правопорядка.

Общность этических и гражданских принципов особенно наглядно проступала во взглядах Короленко и Горького на роль писателя. Главное здесь — убежденность в неразделимости творческой и гражданской позиции художника, в том, что в формировании определенного общественного мнения кодекс личного поведения писателя имел не меньшее значение, чем его произведения. Называя Короленко «неутомимым возбуждателем этических чувств и правосознания»,¹⁴ Горький, конечно, имел в виду не только его вклад в русскую культуру как художника слова, но и общественное подвижничество, благодаря которому «он становился центральной фигурой... и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей» (т. 16, с. 181). Авторитет Короленко зиждился на удивительной цельности его натуры. Рассказы и очерки периода сибирской ссылки, организация помощи крестьянам Поволжья в «голодный год», публицистические выступления периода 90—900-х годов — все эти разные грани деятельности писателя объединяет сквозной движущий мотив: борьба со злом жизни теми средствами, какие представляются наиболее эффективными в данный момент. Когда в 1902 году Короленко в знак протеста против объявления недействительными выборов Горького в академики заявил вместе с А. П. Чеховым о выходе из состава Российской академии наук, то такой шаг был продиктован не только желанием «вступить». Отмена «по высочайшему повелению» выборов была очередным примером своеволия царизма, и Короленко не

¹⁴ М. Горький и В. Короленко. Сборник материалов, с. 119.

преминул возможностью привлечь к нему внимание. Кроме того, сознательное обострение Короленко «академического инцидента» являлось и личным вызовом: писатель, в свое время отказавшийся от присяги Александру III, вновь продемонстрировал отрицательное отношение к самовластью.

Антисамодержавный пафос, свойственный общественной деятельности Короленко и Горького, с особой яркостью проявился в годы первой русской революции. Факты, побуждавшие их братья за перо, говорили сами за себя: расстрел рабочих у Зимнего дворца, зверства карательных отрядов над восставшими крестьянами, черносотенный разгул, но, засвидетельствованные авторитетом выдающихся художников, они обрели силу обвинительных актов, становились известными всей Европе. Тем более что некоторые статьи, не имея доступа на страницы легальной русской прессы, публиковались за границей. Если, например, «Сорочинскую трагедию» Короленко удалось поместить в «своем», «Русском богатстве», то его статья о кишиневских событиях («Дом № 13») впервые появилась в печати за рубежом, так же как и заметка Горького на ту же тему («По поводу кишиневского погрома») и горьковское воззвание «К рабочим всех стран». Две последние вещи распространялись в России в виде списков-копий и литографированных прокламаций.

В общественном поведении Короленко и Горького отражена характерная особенность литературной жизни переломной эпохи. Вовлеченный в водоворот событий, участник литературного движения «рубежа веков» испытывал потребность личного вмешательства в ход событий, был не просто зорким свидетелем происходящего, но активным действующим лицом. Ни одно значительное событие 90—900-х годов не проходит не замеченным для Льва Толстого; на антинародные акции правительства великий писатель отзывается гневными статьями, заявлениями, письмами, усматривая в этом свой главный писательский и гражданский долг. Чувство личной причастности и ответственности за исход борьбы двигало Горьким, когда он отказался в 1902 году от предложения В. Поссе выехать за границу. На доводы своего корреспондента о том, что за рубежом якобы открывались легальные возможности пропаганды революционных идей и агитации против режима царской России, Горький ответил: «... к тебе поеду лишь тогда, когда окончательно потеряю возможность работать здесь... Мое искреннейшее убеждение можно выразить так: если бы в данный момент некто Горький был убит где-нибудь во время уличной драки, — этот факт был бы более полезен для так называемого русского общества, чем если б тот же Горький задумал играть в Герцена, даже при условии успешного исполнения этой роли».¹⁵

Понятно, трактовки Короленко и Горьким долга писателя в современной им схватке не могли быть тождественными. Считая царский режим обреченным, Короленко в то же время не был последовательным сторонником радикальных мер, и в этом расходился с Горьким — приверженцем решительного революционного действия. Но оба они верили, что прогресс, движение к лучшему будущему возможны только при пуклонном возрастании активности масс, пробуждении всех таящихся в народе сил. Отсюда взгляд на художника как своеобразного озонатора общественной атмосферы, способствующего накапливанию в ней идей свободы, жажды справедливости и изменения условий жизни.

Показателен в этой связи взгляд Короленко и Горького на общественную деятельность Л. Толстого. Само собою разумеется, оба писателя единодушны в негативном отношении к проповедуемой Толстым теорией «непротивления злу». Впрочем, в 900-е годы критика толстовского учения велась довольно широко, и если говорить о своеобразии позиции Ко-

¹⁵ Архив А. М. Горького, т. VII. М., 1959, с. 37.

роленко и Горького, то она, прежде всего, в глубоком преклонении перед творческим гением великого современника и вытекающем из этого стремлении разобраться в мотивах, движущих действительностью Толстого — непротивленца и идеолога патриархального уклада. При анализе воспоминаний, оставленных этими писателями о Толстом, бросается в глаза одна примечательная деталь: независимо друг от друга Короленко и Горький акцентируют внимание на одних и тех же чертах противоречивого облика писателя. Поразительно близки сами характеристики поведения Толстого. Короленко, как и Горький, обращает внимание на нередко доминировавшее в настроении Толстого желание «пострадать» за свои убеждения (т. 8, с. 132), на определенную ограниченность, догматизм его этико-философских воззрений, чуждый «живой, смятенной, страдающей и противоречивой жизни» (т. 8, с. 130—131). В то же время писатели говорят об открытости души художника болям и невзгодам действительности, что приводит Толстого к скептическому отношению к своей же пропаганде (Горький, т. 16, с. 288), одобрению насильственных общественных акций и др. (Короленко, т. 8, с. 139—140).

Знаменательно, что самая развернутая часть воспоминаний Горького о Толстом — это незаконченное письмо автора к Короленко. Вспомним историю его возникновения: оно написано «вдогонку» за только что отправленным письмом к тому же адресату, когда Горький, чувствуя себя еще «не разъединенным мысленно» с ним (т. 16, с. 287), снова берется за перо. Короленко в данном случае для Горького — не просто предполагаемый единомышленник: как увидим ниже, он имеет прямое отношение к затронутой теме.

«Письмо» — наиболее соотнесенная с ходом времени часть горьковских воспоминаний. Здесь ставятся жгучие вопросы литературно-общественной и политической борьбы.

Личность в ее больших и малых измерениях — такова направленность горьковской мысли. Воспринимая Толстого как проявление русского национального гения, Горький не хочет мириться с тем, что заблуждения гениальной личности могут быть в такой напряженный момент истории использованы во вред делу пробуждения многомиллионных масс. Рассуждения о «пассивизме» и активности — двух противоположных тенденциях общественного развития — писатель подкрепляет как примерами художественных обобщений, так и бытовыми фактами: в «свидетели» призывается не только Толстой, но и его герои, фольклорные образы, персонажи Гончарова и... самого адресата.

В представлении Горького, Толстой как личность, реализовавшая себя, заставившая прислушиваться к своему слову весь мир, и Тюлин, герой рассказа Короленко «Река играет», человек из низов, представитель множеств, несущий в себе «зачатки» личности, но личностью пока не ставший, нерасторжимо между собой связаны. Они — контрастные части целого. Обязанность первого из них — помогать развитию второго, а не подвергать сомнению перспективу социального развития. Пропаганда Толстым теории непротивления расценивалась Горьким как ложное понимание лучшим представителем нации своего долга перед народом, перед бесчисленными Тюлиными.

Образ Тюлина привлек внимание Горького задолго до работы над воспоминаниями о Толстом: речь об этом герое шла еще во время первых встреч начинающего писателя с Короленко (Горький, т. 16, с. 241—242). В конце 90-х годов Горький, жалуясь в письме к И. Е. Репину на умозрительно-книжный характер современной беллетристики, выделяет по контрасту Тюлина как пример глубокой типизации, правдивого отражения человеческого характера.¹⁶

¹⁶ Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 28, с. 100—101.

Оценка Горьким короленковского героя не оставалась неизменной. Сначала это — восприятие Тюлина как «героя на час, — в котором активное отношение к жизни пробуждается только в моменты крайней опасности и на краткий срок» (т. 16, с. 423). Увлекаясь, Горький не избегал крайностей, когда расширительно толковал образ Тюлина и, обращаясь к истории народных движений, соотносил его с реальными историческими лицами — Мининым, Болотниковым, Пугачевым — типичными, по мнению писателя, примерами однократного подвига.¹⁷ Раздумья такого рода особенно были характерны для Горького в годы реакции 1908—1910 годов. Абсолютизируя «пассивизм» как отрицательный принцип поведения личности, Горький готов был признать его главной причиной поражения первой русской революции. Виновниками выступали тот же Тюлин и главный герой романа Гончарова «Обломов». «Эти двое, — замечает Горький в одном из писем, — и провалили 905 год».¹⁸

Преувеличение здесь, несмотря на фигуральность выражения, очевидно. Вместе с тем примечательно доверие Горького к выдающимся художественным обобщениям, стремление проникнуть с их помощью в суть исторических процессов. В рассказе Короленко Горький открыл «своего» Тюлина, пошел в выводах дальше автора, который, судя по всему, сдержаннее, скромнее оценивал потенциал главного героя.¹⁹

Правдивое изображение Короленко в «Река играет», «Сне Макара» и других произведениях жизни крестьян пореформенной поры противостояло одностороннему подходу к изображению крестьянства, характерному для писателей ортодоксально-народнической ориентации. В «осторожном, но решительном разрыве с традициями народнических акафистов мужику» Горький видел главную заслугу Короленко перед русской литературой, рассматривал его творчество как необходимое звено в литературном развитии, «без которого невозможны „Мужики“, „В овраге“ Чехова, невозможны рассказы Бунина».²⁰

О попытке Горького «объяснить» Тюлиным причины поражения первой русской революции мы уже сказали. Но с этим же образом у Горького связано и оптимистическое осознание перспективы народного движения. Только в последнем случае писатель делает акцент не на кратковременном геройстве, а на пробуждении созидательных сил, росте самосознания. «Тюлин, — писал Горький, — это удачливый Иванушка-дурачок наших сказок, но Иванушка, который уже не хочет больше ловить чудесных Жар-птиц... не верит Василисе Премудрой...» Не хочет, ибо, как многие ему подобные, он уже заявил «о своей способности к сопротивлению... к бою за свою цель»;²¹ наконец — «сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле» (т. 16, с. 426).

Заметный след образ Тюлина оставил и в собственно художественном творчестве М. Горького. Литературоведы неоднократно обращались к сопоставительному анализу рассказа «Река играет» и произведений Горького,²² анализу, раскрывающему дальнейшее, порою в контрасте

¹⁷ Там же, т. 29, с. 311.

¹⁸ М. Горький и В. Короленко. Сборник материалов, с. 187.

¹⁹ См. воспоминания М. Горького о В. Г. Короленко (т. 16, с. 241—242).

²⁰ Письмо А. М. Горького К. Чуковскому от 1920 года. — Литературная учеба, 1940, № 6, с. 20.

²¹ Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 24, с. 52—53.

²² См.: Бялый Г. А. М. Горький и В. Короленко. — В кн.: Труды отдела новой русской литературы. Институт литературы (Пушкинский Дом). М.—Л., 1948; Гладковская Л. Рассказ Горького «Ледоход». — Доклады и сообщения филологического института ЛГУ, 1949; Тиховодов А. А. Молодой Горький и Короленко (К вопросу о творческих связях писателей). — В кн.: О творчестве Горького. Горький, 1956; Келдыш В. А. Идеино-художественная проблематика сборника «По Руси». — В кн.: Горьковские чтения 1953—1957. М., 1959.

с предшественником, развитие Горьким темы народа. В меньшей степени освещено известное тождество взглядов, солидарность писателей-современников в осмыслении этой темы, о чем и пойдет речь.

Движение народной жизни, процессы, происходящие в низах русского общества, в равной степени волновали и Короленко и Горького, так же как и проявления стихии человеческого поведения. Особенно характерен для них интерес к герою, в котором определенная стихийность мирозерцания сочетается с врожденной пытливостью, пробуждающимся самосознанием, самопронией, стойческим, философским отношением к невзгодам своего существования, способностью не терять в тяжелые минуты присутствия духа и верить в лучшие начала жизни.

Прототипы таких характеров Горький искал и находил преимущественно в низах городского населения. Жизненные наблюдения писателя были, разумеется, значительно шире: странствуя по Руси, он имел возможность близко соприкоснуться и с миром русской деревни. Известно, что, расходясь во взгляде на крестьянство в либеральным народничеством, Горький, однако, допускал субъективизм в своих суждениях, не всегда был исторически точен в оценках. В частности, писатель порою преувеличивал консерватизм, инертность крестьянской массы. Но следует заметить: логика развития художника, вышедшего из народных глубин, вела к поискам не столько подтверждения субъективно-критических выводов, сколько аргументов для их опровержения. Рассказ Короленко воспринимался в этой связи как художественное откровение, созвучное собственным творческим поискам. Горький словно получает первотолчок к работе над знакомым, но практически не затрагиваемым ранее материалом. В 1898 году в журнале «Жизнь» появляется его рассказ «Кирилка».

Тему человека из народа автор развивает в своем, горьковском ключе. Вместе с тем он, не боясь прослыть подражателем, едва ли не нарочито идет на переключку с предшественником. В качестве фабульной основы использован тот же мотив разыгравшейся реки. Подзаголовок короленковского рассказа «Эскизы из дорожного альбома» соответствовал подзаголовку «Из записной книжки», стоявший в первой публикации рассказа Горького. Такой прием требует минимального участия рассказчика в действии, но позволяет взглянуть на происходящее со стороны. Горьковский Кирилка похож на Тюлина не только своими достоинствами (талантливость в мужицкой работе, бесстрашие и героизм в критических ситуациях) и греховными страстями (винопочитание), но и разговорной манерой, привычкой тянуть с ответом на прямо поставленный вопрос.

Известно, что повторение Горьким приемов другого писателя зачастую было вызвано полемическими задачами. В данном же случае можно говорить об исключении из правила. Автор «Кирилки» открыто стремится вызвать у читателя ассоциации с рассказом Короленко, желает подтвердить своим произведением важность предпринятого творческого поиска.

Со временем идея выявления огромных, скрытых в народе сил, включения их в целенаправленный процесс переделки бытия и сознания получит у Горького все более глубокую трактовку. Среди творческих решений, не отмененных ходом жизни, было и то, которое привлекло Горького в рассказе Короленко. Оно получило поддержку не только в «Кирилке». К «тюлинской теме» через много лет возвращает нас и рассказ Горького «Ледоход».

«Из впечатлений проходящего» — так, почти по-короленковски,²³

²³ «„Проходящий“ — Ваше слово из рассказа „Река играет“, — это любимый мой рассказ», — напишет Горький Короленко в 1913 году при отправке писателю

назывался рассказ Горького в первой публикации. Определенные ассоциации с произведением Короленко вызывает и кульминация «Ледохода» — опасный момент переправы через тронувшуюся реку и все та же символическая метаморфоза: на глазах рассказчика и читателя плотник Осип превращается из ленивого артельщика в изобретательного, смелого, решительного вожака, перехитрившего не только природную стихию, но и околоточное начальство.

Мотивы, побудившие Горького к вторичному идейному и сюжетному сближению с Короленко, нельзя понять без учета его общественной позиции во второй половине 900-х годов. Для борьбы с упадочничеством и пессимизмом, проникшими в литературу в годы столыпинской реакции, писатель стремился объединить усилия литераторов, ориентированных на отражение здоровых, действенных начал народной жизни. В противостоянии реакционным веяниям большое значение имело творчество старших представителей демократической литературы, среди которых после смерти Чехова и Толстого на переднем плане оказался Короленко. Для Горького, захваченного идеей убыстрения социального процесса, весьма важным было художественное свидетельство этого писателя.

Творческая переключка, разумеется, не могла повредить горьковским рассказам как самостоятельным художественным творениям, несущим в себе черты принципиально иной историко-литературной ситуации. Написанный в 1912 году «Ледоход», наряду с другими, вошедшими в цикл «По Руси» произведениями, был отражением нового этапа в эволюции Горького, утверждавшегося на позициях марксистского понимания истории. Отсюда ярко выраженный оптимистический настрой «Ледохода», а главное, бросающийся в глаза по сравнению с рассказом Короленко примат сознательности в поведении главного героя — плотника Осипа.²⁴ Но сближение, безусловно, повышало функциональную роль произведений Короленко и Горького в борьбе идейно-эстетических концепций в 90—900-е годы.

Обострением этой борьбы объясняется следующий знаменательный факт. Если в письмах и отчасти в публицистических выступлениях Горький говорит о теневых сторонах народного характера, то в художественном творчестве он делает акцент на тех вдохновляющих моментах поведения человека из народа, когда за внешней непримечательностью вдруг проявляется талант и недюжинная смекалка уверенной в себе личности. Иными словами, хорошо осознавая, сколь труден путь преодоления инертности, художник тем не менее предпочитает заострять внимание на перспективе, когда спорадическая активность одного человека перейдет в постоянную и станет нормой для всех. Это была мечта и Короленко и Горького; она сказывается в созвучии заключительных аккордов их произведений. «Я не знаю, — замечает автор-рассказчик, — правится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно, — хоть бы снова через реку, по льду, ускользящему из-под ног» (т. 14, с. 178). Двадцать лет назад сходное чувство испытывал автор рассказа «Река играет», которому «тяжело было... среди „умственных“ мужиков и начетчиков и так легко, свободно... с этим стихийным, безалаберным», но «таким близким и хорошо знакомым» Тюлиным (т. 3, с. 236). Грядущий вскоре исторический переворот подтвердил обоснованность такого оптимизма.

своих книжек, в числе которых были «Записки проходящего» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 29, с. 311).

²⁴ См. работу В. Келдыша «Идейно-художественная проблематика сборника „По Руси“».

* * *

Общепризнанным, устойчивым стало определение писательского облика Короленко как «ясного и гармоничного».²⁵ Но, видимо, потому и пленяет нас цельность натуры этого художника, что обреталась она в борьбе с самим собою, в преодолении тяжелых, даже кризисных состояний. Наделенный обостренным чувством времени, Короленко постоянно стремился к оптимальному согласованию чисто литературной работы с практически осязаемым, реальным действием. По собственному признанию, добиваться органического сопряжения этих двух задач ему удавалось не всегда.

Следует заметить: драматические ситуации, в которых оказывался Короленко, — типичная особенность творческого бытия писателя «рубежа веков». Здесь менее всего подходят рассуждения о возможных потерях, которые понес Короленко-художник, часто «уступавший» своему второму, публицистическому призванию. Он делал так, как подсказывало ему чувство долга, как делали лучшие представители его поколения, среди которых особенно ярким примером был для него Глеб Успенский. В конечном итоге и художественная и публицистическая линии подчинены поискам ответа на насущные вопросы жизни, связаны с борьбой за духовное раскрепощение народных масс; в их взаимообусловленности, определенном единстве — своеобразии вклада Короленко в литературно-общественное движение начала XX века.

В формировании представлений Короленко о должном сказывалось воздействие литературного и общественного развития 60—70-х годов: «возвышенное понимание значения и роли литературы» (т. 8, с. 214) выдающимися представителями критического реализма XIX века, влияние творчества Тургенева и Некрасова, заветы революционных демократов, идеи радикального народничества. Высокие принципы русской классики вдохновляли Короленко в его, проходившем в неблагоприятной обстановке 80-х годов, творческом дебюте, были для него путеводной звездой в последующие, «подъемные» периоды литературно-общественного развития.

Знаменательно, что Короленко отнюдь не понимал верность классической традиции как безынициативное повторение ее в изменившихся условиях. Более того, следование традиции в иной историко-литературной ситуации означало, в его представлении, настойчивый поиск продолжения, опробования новых приемов и подходов к действительности.

Утверждая, что творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя — вершинные достижения русской литературы, что имена этих художников живы, «пока будет звучать русская речь» (т. 8, с. 8), Короленко писал: «...до Толстого, Тургенева и т. д. мне, как до звезды небесной далеко, и никогда мне не достигнуть их силы и полноты их развития».²⁶ Что же остается? Ответ спокоен и прост: лучший путь поддержания славы русской литературы — участие в «жизненной работе», и не столько с целью достичь художественного совершенства «наших корифеев», сколько «затем, чтобы в изменившейся среде вызвать со временем к жизни... новые формы искусства».²⁷ Таково, по Короленко, требование «исторического процесса». Уподобляя современное творчество «взволнованному чирканью воробьев во время затмения», Короленко считает усилия «молодых художников» оправданными, если они возвещают «скорое наступление света».²⁸

²⁵ Русская литература конца XIX—начала XX в. Девяностые годы, с. 181.

²⁶ В. Г. Короленко о литературе. М., 1957, с. 452.

²⁷ Там же, с. 453.

²⁸ Там же, с. 454.

В суждениях подобного рода нетрудно заметить и сугубо личную интонацию В. Короленко, желание найти аргументы в пользу собственной позиции. Суть мысли писателя не в оправдании некоего среднего уровня современной ему литературы, но в отстаивании ее права на освоение новых принципов обобщения действительности, хотя чисто художественный результат в ходе таких поисков будет уступать достижениям предшествующего этапа.

Литературная судьба оказалась справедливой: именно Короленко, писатель, прочно связанный с традициями классического периода, передовыми идеями XIX века, не только один из первых ощутил необходимость нового поворота в развитии реалистического искусства, но и дал его теоретическое обоснование. Сегодня трудно себе представить исследование об идейно-художественных исканиях в литературе «рубежа веков» без раскрытия эстетической концепции Короленко. Ее слагаемые — переосмысление принципа «верности действительности» и «беспощадной правды», вывод о «крайностях» реализма и романтизма и необходимости их синтеза, идея активной личности, требование изображения «возможной реальности» и др. — нашли подтверждение в процессе формирования и развития литературы нового типа.

Несомненно, истоки взглядов Короленко на задачи литературы берут начало в его произведениях. В то же время формирование эстетических воззрений писателя шло как бы в некоем отдалении от художественной практики. Точнее было бы сказать, что развитие воззрений на «должное» в творчестве опережало самое творчество. Явного противоречия здесь не было. Отсюда «слитность» рассмотрения в некоторых исследованиях художественных и эстетических исканий Короленко. Тем не менее все обстоит сложнее: несомненная связь эстетических воззрений и практики не носила характера полного тождества. Поэтому, например, не совсем убедительной представляется традиционное сближение мыслей Короленко о героическом с романтическими моментами ряда его произведений. Суть положений писателя о «синтезе» реализма и романтизма, о героизме, герое и массе требовала более радикальных творческих решений.

Отводя своим произведениям и творчеству современного ему поколения писателей подготовительную роль, Короленко не видел возможности существенных изменений в реалистическом методе уже сегодня. Верно поэтому наблюдение В. Келдыша, что в своих эстетических исканиях писатель «скорее отталкивался от современного ему художественного опыта, нежели опирался на него», адресовал свои выводы будущему.²⁹

Действительность и подтверждала и опровергала предположения Короленко. Подтверждала наличие в его суждениях об искусстве дальней перспективы, опровергала же в том смысле, что работа по воплощению новых принципов начиналась на глазах самого писателя. Главным образом — художественной практикой Горького.

Творческие эксперименты молодого писателя, как и следовало ожидать, не сразу нашли понимание со стороны Короленко. Известно, например, несколько случаев, когда он «журил» своего подопечного за пристрастие к аллегорической форме. Еще до знакомства с Горьким Короленко писал о привлекательности аллегории для начинающих, так как «в нее легче укладываются невыяснившиеся еще порывы и влечения, свойственные ранней юности».³⁰ Ранние произведения Горького свиде-

²⁹ Литературно-эстетические концепции в России конца XIX—начала XX в. М., 1975, с. 80, 89.

³⁰ Короленко В. Дневник, т. I. Полтава, 1925, с. 101; запись от 18 декабря 1887 года.

тельствовали о верности этого наблюдения, и поэтому даже такому опытному художнику, как Короленко, нелегко было в пристрастии к аллегории и другим, нарушающим строгие реалистические каноны формам увидеть нечто большее, чем симптом «детской» болезни. Между тем время шло, а увлечение не проходило. Конечно же, символично-аллегорическая форма, бытующая в литературе с незапамятных времен, сама по себе не могла стать приметой начавшегося процесса обновления. Но настойчивые поиски писателем своей идейно-эстетической концепции, стремление выразить собственное видение мира в свете идеала, в отношении к будущему не могло не вести к качественным преобразованиям. В рассказах и поэмах Горького шла определенная переакцентация изобразительных средств, вызванная попыткой воплощения «третьей действительности»; происходило более решительное, чем в вещах самого Короленко, внедрение в реально-бытовой пласт стилизованных элементов романтического периода.

Предугадывая еще в 1888 году возможность утверждения «героизма» в литературе и на этой почве синтеза «реализма с романтизмом»,³¹ Короленко вместе с тем остерегался искусственного возрождения романтических приемов, выдумывания «головного» героя, героя «апплике», которого «доставляли» читателю некоторые авторы.³² Эти опасения имели ту же основу, что и размышления об осторожном использовании позаимствованной из мира природы аллегорий. Новаторство не отменяет, а подтверждает непреложное условие творчества — органическое соответствие идеи и формы, в которой она выражена.³³

Обращение Горького к героям романтического плана, иносказания, символы и т. п. не были исключением в литературном процессе конца XIX века. Но если, скажем, в произведениях некоторых поэтов-символистов подобное формотворчество во многом носило абстрагированный характер, то романтические рассказы и поэмы Горького были гораздо более функционально действенными, о чем свидетельствовала их популярность в широких читательских кругах. При всей возможной спорности исканий молодого писателя нельзя было не заметить их земной основы. Потому и его «диспут» с Короленко об аллегории закончился после появления рассказа Горького «О чиже, который лгал...» признанием права молодого автора на такое «упрямство» (Горький, т. 16, с. 240).³⁴

Степень заряженности художника пафосом свершающихся исторических событий может быть разной. Что касается Горького, то 900-е годы «забирали» писателя полностью. Образ автора — Буреглашатая — совпал в сознании широкого читателя с образом его героя — Буревестника; это была одна из самых символических ассоциаций «рубежа веков». У Короленко взаимосвязь «писатель — время» имела также интенсивный характер. Как видно из сказанного выше, автор «Сорочинской трагедии» не только жил событиями дня, но и активно вмешивался в них. Но критерии оценки времени у него были иными: несмотря на открывавшиеся возможности революционного преобразования действительности, писатель по-прежнему сохранял верность идее эволюционных изменений.

Любопытным свидетельством умонастроения Короленко являются опубликованные недавно его дневниковые записи за 1905 год.³⁵ Автор описывает преступления самодержавия, метания и манипуляции напу-

³¹ В. Г. Короленко о литературе, с. 466.

³² Там же.

³³ Короленко В. Дневник, т. I, с. 102.

³⁴ Нелишне заметить, что аллегорический принцип художественных обобщений Горький отстаивал и в своих статьях. См. его «Аллегии Оливии Шрейнер» («Нижегородский листок», 1899, № 348).

³⁵ См.: Революция 1905—1907 гг. и литература. М., 1978, с. 217—238.

ганных революцией царских министров, их загрывающие с общественным мнением и пр., сопровождая излагаемые факты комментарием, в котором сквозит едкая ирония, а порою и негодование. Но, поставив точный диагноз — деградация, исчерпанность самовластья, Короленко не идет к напрашивающимся выводам. Их делает Горький. В письме, написанном летом 1905 года (впервые полностью опубликованном в том же издании, что и дневник Короленко), он говорит о необходимости «ускорения победы над врагом», о том, что «освобождение рабочего достижимо лишь в социализме, только социализм обновит жизнь мира». ³⁶

Горький как художник не просто реагировал на возникновение революционной ситуации, но вдохновлялся возможностью способствовать приближению коренных перемен, ощущая соответствие своих творческих идей настроенности передовой части общества. Набрав разбег за первые пять-шесть лет, он расширяет тематические рамки произведений, ускоренно движется от рассказа и героико-романтической легенды к овладению формой повести и романа с одновременным утверждением себя в драматургии. В то же время творческие интересы Короленко оставались прежними. Писатель, вступая в завершающий период своего большого творческого пути, был сосредоточен главным образом на создании очерковых циклов художественного или публицистического плана, исподволь готовился к работе над «Историей моего современника».

Если Горький проходил первые этапы поиска философского, нравственного, социального идеала, то Короленко, по сути, подводил итоги многолетней напряженной деятельности, вносил последние уточнения в критерии своей сложившейся художественно-эстетической системы. На это обстоятельство важно обратить внимание, ибо оно помогает лучше понять своеобразие отношений между Короленко и молодыми писателями 900-х годов во главе с Горьким.

Обратимся к одной из наиболее значительных литературных заметок Короленко этого периода, посвященной оценке двух сборников горьковского товарищества «Знание» за 1903 год. ³⁷ Отнюдь не игнорируя чисто практическую цель (дать читателям представление о содержании более десятка рассказов и повестей писателей «разных настроений»), автор видит свою главную задачу в том, чтобы оценить реалистические достоинства анализируемых произведений и определить их соответствие требованиям литературно-общественного развития. Критический разбор Короленко ведет, как говорится, невзирая на лица, впадая порою даже в крайности. Так, он делает вывод о малом соответствии духовным веяниям времени проблематики «Вишневого сада», а также рассказа Бунина «Чернозем». Всегда исходивший из того, что цель искусства «не просто отражать, а отражать, отрицая или благословляя», Короленко мог в новых, усложнившихся условиях и недооценить своеобразие драматургии Чехова, не заметить авторской «точки зрения», без которой, как отмечал он в своем дневнике, невозможно определение «верной перспективы» произведения. ³⁸

Издержки подобного максимализма перекрываются в статье глубоким обоснованием целостности реалистических средств отражения. С точки зрения Короленко, значительностью темы, поднятой Л. Андреевым в «Жизни Василия Фивейского», не может быть оправдан отход от реализма, выразившийся в «мистическом тоне» рассказа, в созвучности настроения автора «глубоко и остро мистическому настроению» героя. ³⁹ Для своей мистической, сухой и мрачной формулы, считает Короленко,

³⁶ Там же, с. 253.

³⁷ Журналист. О сборниках товарищества «Знание» за 1903 г. (Литературная заметка). — Русское богатство, 1904, № 8, отд. II, с. 129—149.

³⁸ Короленко В. Дневник, т. I, с. 128.

³⁹ Русское богатство, 1904, № 8, отд. II, с. 135.

Андреев «приносит значительные жертвы реальной правде изображения». ⁴⁰

Нетрудно заметить, что здесь Короленко идет от своих давних размышлений об органическом единстве формы и содержания произведения: «мистический тон повествования» опирается на «странные символы», оторванные от реальной природы аллегории и т. д. ⁴¹ Отсутствие «жизненности и простоты образов» обнаруживает автор и в «отрывке из повести» Юшкевича, производящем впечатление «какой-то романтической формы при искусственном освещении».

«Мы теперь очень чутки, — пишет Короленко, — к проявлениям всякой новой силы и нам так хочется верить, что эти новые силы уже нарождаются, что они уже есть и должны сказаться в скором времени». ⁴² Весь ход размышлений писателя повернут к реальности; он ищет ответа на вопрос, насколько верно по анализируемым произведениям можно судить о том, что зреет в народных массах. В какой мере молодым писателям удается давно предсказываемый синтез? Не случайно «очень глубокое впечатление» на него производят именно те страницы рассказа Андреева, где главный герой пытается приблизиться к миру окружающих его односельчан, «установить связь между своим горем и темным горем исповедующихся». ⁴³ Отсюда и упрек Бунину, «случайно или не случайно» не позволившему герою-рассказчику из «Снов» сблизиться с «серыми фигурами» — пассажирами III класса, «дослушать» толки последних «о старом и новом», ⁴⁴ хотя, казалось бы, в рассказе тонко передано предчувствие назревающих событий 1905 года.

В этой связи внимание Короленко не могла не привлечь поэма Горького «Человек». С нее собственно и начинается анализ сборников «Знания».

Мотивы, вызвавшие неприятие Короленко мятежного горьковского Человека, подробно рассмотрены в упоминавшейся монографии Г. Бялого. Можно согласиться с выводом исследователя, что по существу «логических оснований для спора не было», ⁴⁵ поскольку и Короленко и Горькому близко понятие «возможной реальности», надежды на обновление жизни и человека. Кстати сказать, почву для схождения их взглядов находила в самом тексте поэмы и критика 900-х годов. М. Неведомский, оспаривая заключение Короленко о нищепанстве горьковского героя, писал, что Человек «совсем не гений, не исключительно одаренная личность, а именно *идея человечества*, за которую ратует г. Журналист (Короленко, — С. З.) ... антисоциальное аристократическое настроение Ницше совершенно чуждо „Человеку“. Этот человек, несомненно, — „с ними“, с людьми». ⁴⁶

Исходные позиции Короленко-критика, рассматривающего произведение Горького, такие же, как и при оценке рассказов Андреева и Бунина. Они и не могли быть иными. Если автора «Литературной заметки» не устраивала установка Андреева на определенную замкнутость личности «на себе», отъединенность ее от «мирян», то тем большее несогласие вызывал герой горьковской поэмы, свобода действий которого, устремленность «вперед и выше» были расценены как сознательный отрыв от народного движения. Еще в конце 80-х годов Короленко писал: «Значение масс несомненно и установлено; массы состоят из единиц, но и каждая

⁴⁰ Там же, с. 141.

⁴¹ Там же, с. 137—139.

⁴² Там же, с. 145.

⁴³ Там же, с. 141.

⁴⁴ Там же, с. 147.

⁴⁵ Бялый Г. А. В. Г. Короленко, с. 364.

⁴⁶ Неведомский М. О современном искусстве. — Мир божий, 1904, № 10, с. 140.

единица — существо сложное. То, что мы называем героизмом, свойство не одних героев. Наполеоны из рядовых носят его в своей груди... единицы... не отличаются от массы качественно и даже в героизме массы подчеркивают свою силу. Они продукт массы и потому могут совершать подвиги героизма, что масса понимает в их время и ценит героизм больше, чем в другие времена... Таким образом, открыть значение личности на почве значения массы — вот задача нового искусства...»⁴⁷

Парадоксально, но перед лицом действительности в равной степени были правы оба писателя. «Значение масс» проявлялось в безостановочном процессе — созревании революционной ситуации накануне 1905 года: в то же время развитие событий шло под знаком возрастания роли личного начала, о чем и свидетельствовал горьковский гимн Человеку.

Знаменательно, что Короленко ищет аргументы в творчестве самого Горького, который «в лучших и наиболее жизненных произведениях» служил глубоко демократичной идее о зависимости отдельной личности от воли и устремления масс. «Могут быть ничтожные люди, много ничтожных людей, — замечает Короленко, — но человечество не ничтожно, перед всем человечеством самый великий человек — только атом, только одна капля, лишь потому несущаяся на верхушке волны, что ее вместе с волной подняла самая величайшая и самая могучая из стихий, вся состоящая из порывов мысли, из кипения чувства, из миллиардов стремлений».⁴⁸ Нетрудно заметить связь этих строк с цитированной выше дневниковой записью 80-х годов, как и соотносимость приведенных в статье слов Гете: «Великого человека мы познаем только в совокупности человечества» — с давним суждением Короленко о цели «нового искусства»: «...открыть значение личности на почве значения массы».

Возвращаясь теперь к мысли о необходимости синтеза, Короленко видит задачу (хотя прямо об этом не говорит) в восстановлении связей Горького — автора поэмы «Человек» — с Горьким — автором реалистических рассказов, сумевшим найти «черты человечности... в... темном и мало вскрытом до него закоулке жизни».⁴⁹ Только опора на демократическую почву, на «яркие и живые образы» может стать залогом успешного движения по пути познания человека.

Однако образ рвущейся вперед, дерзающей личности возник у Горького не сам по себе, а явился закономерным результатом творческого развития. Он — носитель заветной философской идеи автора, исподволь созревавшей именно в работе над многими произведениями реалистического и романтического плана. Главное в том, что никакого изменения курса не произошло: рано или поздно в своем развитии Горький должен был прийти к обретению синтеза. Последний не мог быть достигнут путем простого сочетания двух начал. Требовался новый подход к изображению отдельной личности и к выявлению соответствующих времени тенденций народной жизни, чтобы на принципиально ином уровне стало возможным органическое сопряжение единичного и общего. В литературной ситуации конца 90-х — начала 900-х годов идейно-эстетические поиски охватывали прежде всего сферу личности. Творчество Горького явилось наиболее ярким примером такой тенденции.

При этом очень важным было не потерять необходимую перспективу. Замечания Короленко обращали внимание автора поэмы «Человек» на главный критерий самооценности индивидуума — связь с народом, приумножение и развитие его лучших черт. И в этом смысле они были своевременными. Если вывод Короленко об «аристократизме» мог быть поставлен под сомнение самим стремлением героя поэмы к тому, чтоб челове-

⁴⁷ В. Г. Короленко о литературе, с. 414—415.

⁴⁸ Русское богатство, 1904, № 8, с. 131.

⁴⁹ Там же, с. 132.

ком был «каждый из людей»,⁵⁰ то указание на известную обособленность горьковского Человека как бунтаря-одиночки не лишено оснований. Это подтверждается, кстати, и наблюдениями советских литературоведов. Как заметил Н. К. Пиксанов, шествие «все — вперед! и — выше!» навстречу бесчисленным загадкам бытия мятежный человек Горького совершает в некоей изоляции «от коллектива, от общества, от класса».⁵¹

Мы не располагаем данными, как отнесся автор к критическому суждению Короленко о своей поэме. Но его дальнейший творческий путь свидетельствует о том, что Горький, оставаясь по-прежнему верным идеалу волевой, дерзающей личности, углублялся в исследование коллективных истоков жизнедеятельности и борьбы. Сочинений, подобных романтически-философской поэме «Человек», в его практике больше не было. Постепенно образовывался ряд произведений, в которых образ яркой индивидуальности вырастал на прочной основе коллективистского начала. Первые из них — это созданные через два года после публикации «Человека» пьеса «Враги» и роман «Мать». За ними последуют «Сказки об Италии» и цикл рассказов «По Руси». Закономерным итогом художественских исканий станет органический синтез, достигнутый в романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина» и очерке «В. И. Ленин» — произведениях, которые венчают творческий путь Горького, являются апофеозом народу — созидательной силе истории — и гимном народному вождю — Человеку с большой буквы.

* * *

«В. Г. Короленко, — писал Горький в своих воспоминаниях, — стоит для меня где-то в стороне от всех, в своей особой позиции, значение которой до сего дня недостаточно оценено. Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать» (т. 16, с. 426). В противоречивом литературном бытии «рубежа веков» трудно найти более яркий пример до конца ровных, глубоко уважительных отношений и взаимопонимания, какие сложились между Короленко и Горьким — представителями разных писательских поколений. В литературном процессе переломной эпохи творчество этих художников было не только одним из знамений непрекращающегося развития реалистической линии.⁵² Близость «хода» эстетической мысли Короленко к литературной практике Горького — свидетельство органического сопряжения «итогов» и «начал»: представитель предыдущего, «завершающего» этапа предсказывал неизбежность качественных изменений в реалистическом методе, зачинатель нового брался за их скорейшее осуществление. Преемственность в данном случае выступает как объективная закономерность художественной эволюции, согласующей субъективные устремления писателей перед лицом настоятельных требований времени.

⁵⁰ Сборник товарищества «Знание» за 1903 год, кн. 1. СПб., 1904, с. 217.

⁵¹ Пиксанов Н. К. Идеальная история поэмы М. Горького «Человек». — В кн.: Вопросы русской литературы, вып. 2. Львов, 1966, с. 12.

⁵² См. статью Д. Овсяннико-Куликовского «Литературные беседы». — Северный курьер, 1899, № 33.



К ПРОБЛЕМЕ ГОГОЛЕВСКОГО ФОЛЬКЛОРИЗМА

(ДВА ТИПА СКАЗА И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА
В «ВЕЧЕРАХ НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»)

Фольклор являлся одним из существенных источников творчества Гоголя на всем протяжении его писательского пути. Уже современники Гоголя, признавая главной особенностью дарования начинающего художника юмор, восхищались самобытностью «Вечеров», видя в них «поэтические очерки Малороссии... полные жизни и очарования».¹ Этот особого рода юмор, по мнению современной Гоголю критики, непосредственно восходит к фольклору, благодаря чему «очаровательная поэзия украинской народной жизни представлена во всем неистощимом богатстве родных неподдельных прелестей».²

1

«Вечера на хуторе близ Диканьки» представляют собой единый художественный цикл, обладая его наиболее устойчивыми признаками, сложившимися в предшествующей литературе. Из них главные: композиционная рамка, единство места и времени рассказывания, наличие рассказчика или рассказчиков, мотивирующих различие индивидуальных стилей и разнообразие тематического состава, определенного рода сказ, прямо адресованный к конкретной аудитории или подразумевающий ее.

У Гоголя они выдвинуты на первый план в «Предисловиях» к 1-й и 2-й частям книги. Сами «Предисловия» мотивированы фигурой «издателя» и являются своеобразной композиционной рамкой произведения. В них последовательно развернута вся система специфических признаков цикла.

Так, заглавие книги, традиционно указывающее на единство места и времени повествования, становится основной темой первого «Предисловия». «Издатель» разъясняет читателям, о каких «вечерах» пойдет речь, чем они примечательны, как происходят его встречи с рассказчиками: «Бывало, соберутся, накануне праздничного дня, добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать».³ Точному обозначению времени соответствует подробная характеристика всей обстановки — Диканьки, хутора, пасичникова куреня с указанием дороги к нему. Один из характерных признаков цикла — взаимосвязь и соотнесенность составляющих его произведений. В «Предисловии» предварительно очерчен и сообщен читателям основной круг мотивов, ориентированных на легенду, предание, сказку, быль. Восклиданием пасичника: «Боже ты мой! Чего только ни расскажут!

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I, М., 1953, с. 301.

² Телескоп, 1832, № 17, с. 107.

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. I, М., 1940, с. 104. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

Откуда старины ни выкопают! Каких страхов ни нанесут!» (I, 104) — подчеркнут общий характер «историй», диковинных и страшных, относящихся к старине. В этом смысле «Предисловие» является своего рода экспозицией цикла. Оно построено в форме сказа, имитирующего живую разговорную речь. Непринужденная и доверительная беседа пасичника с аудиторией, к которой он обращается «запросто, как будто какому-нибудь свату своему, или куму» (I, 103), фамильярное просторечие подчеркивают достоверность самобытного уклада Диканьки, в который органично вписываются предпраздничные вечера у Рудого Панька.

Такое построение книги, акцентированное предисловием, определенно указывало на одну из существенных тенденций русской прозы 20-х—30-х годов, восходящую к широко распространенной традиции западноевропейского романтизма. Внимание исследователей, решавших проблему единства цикла, и привлек вопрос о том, каким традициям следовал Гоголь. Так, В. В. Виноградов установил, что Гоголь «в выборе художественного материала, в приемах его обработки, в манере сказа — провинциально-захолустного, в тяготении к драматизации действия... и в способе композиционного объединения новелл образом издателя... явно зависел от художественной техники Вальтера Скотта».⁴ В. В. Гиппиус, указывая, что «в литературе второй половины 20-х годов уже назрела... идея объединить в одном произведении народные поэтические — главным образом — сказочные мотивы»,⁵ считал, что именно Гоголю удалось осуществить эту задачу в русской литературе, опираясь на опыт западноевропейского романтизма и поиски современных ему русских писателей (О. Сомов, А. Погорельский, Н. Полевой, М. Погодин и др.). Вопрос о структуре гоголевского цикла и его истоках обстоятельно рассмотрен в известном исследовании Г. А. Гуковского, который убедительно показывал, что в «стремлении к ассоциативному выходу за пределы замкнутого произведения, к образованию существенных смыслов как бы между произведениями, в отношениях произведений, в их совокупности, в образе, строяемом читателем из их системы»,⁶ писатель исходил из романтического принципа циклизации.

Не вызывает сомнений правомерность такого подхода к «Вечерам», так же как и наличие в них определенных традиций, которым сознательно следует Гоголь. В конце 20-х—начале 30-х годов один за другим выходят такие сборники, как «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» А. Погорельского (А. А. Перовского); повести и рассказы О. Сомова с характерными подзаголовками: «малороссийское предание», «малороссийская быль», «малороссийская повесть»; «Святочные рассказы» и «Старинные сказки с новыми присказками» Н. Полевого; повести из русского быта М. Погодина, «Были и небылицы казака Луганского» и «Русские сказки» В. Даля и ряд других. При всем различии авторских позиций и конкретных художественных заданий общим было использование фольклора в качестве главного источника сюжетной и образной основы произведений.

⁴ Виноградов В. В. Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 213. Черты повествовательной манеры В. Скотта в украинских повестях Гоголя усмотрели еще современники писателя — Н. А. Полевой и А. Я. Стороженко (Царинный). См.: Московский телеграф, 1831, № 17, с. 91—95; Сын Отечества, 1832, № 1, с. 47.

⁵ Гиппиус Василий. Гоголь. Л., 1924, с. 27.

⁶ Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.—Л., 1959, с. 27. В ряде других работ не содержится принципиально новых решений этой проблемы. Из последних исследований можно назвать статьи А. С. Янушкевича, в которых показано соотношение произведений Гоголя с предшествующими и современными ему художественными направлениями (см.: Янушкевич А. С. 1) Особенности прозаического цикла в русской литературе 30-х годов XIX века. — В кн.: Сборник трудов молодых ученых. Томск, 1971, с. 1—22; 2) Эпическое начало в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. — Там же, с. 38—68).

Именно к 30-м годам интерес к такому материалу усиливается потому, что в нем находят непосредственное выражение внутренней жизни народа, как бы живой образ народного мышления. Фольклор становится одним из важнейших объектов постижения так называемого «духа народа», в нем начинают видеть запечатленную норму национального характера и эстетический идеал, который выступает в роли главного критерия оценки современной действительности. Фольклорные образы и мотивы служат и средством речевой характеристики для создания самобытных национальных типов путем обрисовки социальной и исторической среды, народного быта и нравов (например, в повестях Полевого, Погодина, Даля, насыщенных присказками, поговорками, просторечием), и способом воспроизведения своеобразных черт национальной психологии через описание исконных народных поверий, преданий, обычаев, суеверий (в украинских повестях Сомова и «Лафертовской маковнице» Погорельского), и основой пародийного изображения и сатирической оценки сословного сознания определенного исторического типа (в «Ющее Бессмертном» Вельмана, романе, сюжет которого вырастает из цикла составляющих его и стилизованных под народное и летописное повествование рассказов, преданий, сказок). В этих и подобных им сборниках фольклорная тема, определяющая их композицию и сюжетный состав, обычно разрабатывается либо способом имитации одного или нескольких конкретных источников, либо введением в идейно-художественную систему произведения отдельных мотивов и излюбленных приемов народной поэзии. Мотивировка такой темы осуществляется через сказ, создающий иллюзию импровизационного, непосредственного высказывания. Он закреплен за рассказчиками или является особой формой авторской речи. При этом сказ, как правило, соединяется (не всегда органично) с литературным стилем, будучи лишь компонентом общего повествования.

В «Вечерах» уже в «Предисловии» выделены все элементы, формально отвечающие сложившимся ко времени их написания принципам романтической циклизации. Надо заметить, однако (и это важно), что сама традиция становится здесь особой темой, которую обсуждает пасичник с читателями: «Это что за невидаль: *Вечера на хуторе близ Диканьки*? Что это за вечера? И пшвырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарали пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими!» (I, 103). О традиции заявлено с первых строк, но заявлено парадоксально: мнение о книге и ее оценка приписаны здесь читателю. Что означает такое заявление? Вероятно, за ним следует ожидать скрытой полемики с той самой традицией, которую читатель не мог не заметить.

Гоголь прибегает к распространенному приему и создает особый образ издателя сборника, хуторского пасичника Рудого Панька. Но гоголевский «издатель» не условное лицо; он не просто замещает автора и говорит за него. Сказ пасичника выявляет резкое своеобразие его личности. Оно обусловлено тем, что пасичник принадлежит другому, чем читатель, миру, изнутри которого он оценивает «большой свет». В его сознании «большой свет» является антитезой Диканьки. Рудый Панько предугадывает, что на него посмотрят свысока, как на «хуторянина из захолустья». Контраст приобретает социальный смысл. Отрицательная точка зрения «большого света» на пасичника и его книгу выражает словесно-иерархическое отношение высших и привилегированных к миру народной жизни и народного сознания. Не случайно в «Предисловии» возникает уподобление «великого света» — «покоям великого пана», в которых простого хуторянина осмеют и задразнят все, вплоть до «оборвавшегося мальчишки»: «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел! . . .» (I, 103). Образное совмещение «великий свет» — «великий пан» усили-

васт социальную сторону контраста «большой свет» — «захолустье», «великий пан» — «мужик» и указывает на границу, резко разделяющую оба мира.

Постепенно из слов пасичника выясняется, что «большой свет» — это Петербург. В нем все устроено не так, как в Диканьке. На противопоставлении «наших хуторов» — «вашим хоромам» и строится характеристика Диканьки. Она начинается описанием вечерниц, которое основано на подлинных этнографических реалиях: «...у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брежжет огонек, смех и песни слышатся издавеча, бренчит балалайка, а подчас и скрыпка, говор, шум...» (I, 104). Этот ряд соотносенных друг с другом мотивов создает представление об особом строе народной жизни. Вслед за описанием вечерниц — и по аналогии с ними — возникает мотив светских балов: «...они похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся» и т. д. (I, 104). Сопоставление «наших вечерниц» с «вашими балами» основано на очевидном, казалось бы, сходстве: в обоих случаях речь идет о праздничных вечерах. Но праздничность тех и других принадлежит двум глубоко различным жизненным укладам. Как человек, принадлежащий миру народной жизни, Рудый Панько видит в балах одну из причуд, забав «большого света». Его отношение к балам откровенно насмешливое, тогда как к вечерницам — добродушно одобрительное. В системе этих контрастных тем вечерницы воспринимаются как национальная украинская и в то же время исконно народная традиция.

Тему «вечерниц» завершает рассказ Рудого Панька о своих вечерах, которые так же восходят к особенностям народной жизни и столь же для нее традиционны.⁷ Это обстоятельство существенно проясняет полемический подтекст основной антитезы «Петербург» — «Диканька». В «Предисловии» последовательно опровергается высокомерная, сословно-иерархическая точка зрения «большого света» на Диканьку. Определение «великий свет», или «большой свет», начинает звучать все более иронично по мере того, как выясняется, что «захолустье» на самом деле целый мир, и мир этот — народная Украина. Воображаемый петербургский читатель воспримет «Вечера на хуторе близ Диканьки» на фоне привычных ему литературных образцов — как книгу грубую, «мужицкую», а составителя — как простонародного издателя, «пустившегося вслед за другими». Это мнение, поскольку оно представляет взгляд из «господских хором», оказывается неавторитетным. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — не «мужицкая», а народная книга, и следует она не литературной, книжной традиции, а устной и коллективной.

Сталкивая и разграничивая две точки зрения, высмеивая одну и утверждая другую, Гоголь демонстрирует прямую связь своей книги с устным народным творчеством. Более того, позиция автора, скрывающегося за пасичником, в том и состоит, чтобы сделать очевидным главное: народно-поэтическое сознание здесь не внешне имитируется, а как бы изнутри текста художественно воссоздается.

В Рудом Паньке проявляются черты народного собирателя и хранителя устных преданий. Он записал, объединил, «выпустил в большой

⁷ Об обрядовой природе «канунов», то есть собраний, пиршеств, игрищ и рассказываний, происходящих вечерами накануне праздников, см.: Андичков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914, с. 166—167.

свет» «старинные и диковинные истории», которые издавна бытуют в Диканьке и рассказываются у него, «в пасичниковой лачужке», предпраздничными вечерами. Не случайно его речь включает характерные образы-символы, присущие фольклорной поэтике. Они являются своего рода доминантами и возникают всякий раз, когда особо значим смысловой подтекст высказывания. Такой символический смысл заключают в себе мотивы «большого света», «ваших хором»: они передают свойственный народному сознанию способ оценки сословных отношений. Другое важное символическое обобщение появляется в конце «Предисловия». Рудый Панько приглашает читателей к себе в гости: «Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямохонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку... Про Диканьку же, думаю, вы наслушались вдоволь» (I, 106). В этом обращении пасичника к читателям два плана. Первый из них — внешний — мотивирован гостеприимством простодушного хуторского пасичника: он naïвно верит в то, что его Диканька не менее известна, чем Петербург. Второй, внутренний план проступает по ассоциации с фольклорным образом пути-дороги, символизирующим в народной поэзии тему судьбы. Отсюда, в частности, возникает в книге символический смысл образа Диканьки. Мотив «столбовой дороги» к ней, будучи основан на аналогии с фольклорным, раздвигает границы Диканьки до беспредельности, вносит особый, пространственный и временной масштаб. Уже в «Предисловии» исподволь вводится главная тема цикла — тема исторических судеб народа, осмысленная через фольклор.

В этом же ряду ассоциаций стоит и трансформированный мотив известной концовки волшебной сказки — «пир на весь мир», возникающий на основе соотнесенности двух моментов: 1) приглашения решительно всех без изъятия в Диканьку и 2) того широкого хлебосошества, пиршественного изобилия и довольства, которые «весь свет» там ожидают: «За то уже, как пожелаете в гости... меду, и забожусь, лучшего не същете на хуторах... чист, как слеза, или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что то за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло, так вот и течет по губам, когда начнешь есть... Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному» (I, 107). (Ср: «и я там был, мед-пиво пил...»). Такой конец обнажает основную антитезу и является апофеозом Диканьки, противопоставленной Петербургу.

Характеристика рассказчиков отдельных повестей также дается в «Предисловии» и принадлежит Рудому Паньку, она является продолжением его полемики с читателями «большого света».⁸ Рудый Панько начинает характеристику рассказчиков так: «И то сказать, что люди

⁸ Существует мнение, что в структуре «Вечеров» рассказчики распределены условно, что они замещают автора и лишь прикреплены к произведениям с целью формальной мотивировки их сюжетных и стилистических различий. Эта точка зрения определенно высказана В. В. Гиппиусом: «... Распределение по рассказчикам было довольно условно и не до конца соответствовало сюжетным и стилистическим отличиям повестей» (Гиппиус Василий. Гоголь, с. 64). Г. А. Гукковский, уделяя серьезное внимание проблеме «обобщения личного речевого тона» в «Вечерах», считает, что «намечается она в первом сборнике Гоголя еще механическим путем сложения (как бы арифметической суммы) разнообразных сказоволичных тональностей повествования» (Гукковский Г. А. Указ. соч., с. 45—46). Другие исследователи не предлагают новых решений этой проблемы (см.: Виноградов В. В. Указ. соч., с. 213; Машинский С. Художественный мир Гоголя. М., 1971, с. 79—80; Янушкевич А. С. Особенности гоголевского историзма в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». — В кн.: Сборник трудов молодых ученых, вып. 3. Томск, 1974, с. 16). Между тем путь к иному решению вопроса о назначении рассказчиков и их расстановке в структуре цикла указан самим Гоголем, и именно в «Предисловии».

были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением» (I, 104). Происходит своеобразное вытеснение ранее намеченнойсловно-иерархической точки зрения: все, что в глазах «большого света» однообразно именуется «грубым» и «мужицким», в глазах Рудого Панька сложно, дифференцированно и неоднозначно. В свете этой точки зрения — изнутри самой Диканьки — характеризуются в «Предисловии» рассказчики первой части книги.

Авторитетом искусного рассказчика пользуется дьяк Фома Григорьевич. На него пасичник ссылается как на лицо почитаемое и известное не только в Диканьке: «Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпустить!» (I, 104). Далее пасичник приводит неопровержимые, с его точки зрения, доказательства достоинства этого рассказчика. Без всякой иронии он сообщает, что Фома Григорьевич не так, как прочие «мужики хуторянские» и даже «люди его звания», чистил сапоги «лучшим смальцем», утирал нос «опрятно сложенным белым платком, вышитым по всем краям красными нитками», и «складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю». Комизм здесь возникает вследствие наивной веры простодушного пасичника в значительность того, о чем он говорит. А между тем очевидно: уж если Фома Григорьевич серьезен, аккуратен и точен в таких мелочах, то тем более он серьезен, правдив и точен в своих рассказах. Юмористические детали портрета рассказчика сообщают ему абсолютную достоверность.

Еще один момент усиливает впечатление признания Фомы Григорьевича в своей среде — апелляция пасичника к мнению «всей Диканьки»: «... у нас никто не скажет на целом хуторе... но всякому известно... Никто не скажет также...» (I, 105). В Диканьке к Фоме Григорьевичу относятся как к лицу уважаемому и значительному. И дело здесь не в звании его, а в его особом достоинстве. В оценке жителей Диканьки, по их иерархическим представлениям, он — выше многих знатных. Вновь появляясь впоследствии — в «Предисловии» ко второй части книги, — этот же мотив завершит характеристику рассказчика: «Вот вам в пример Фома Григорьевич; кажется, и не знатный человек, а посмотреть на него: в лице какая-то важность сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение» (I, 197). Таким образом, в «Предисловиях» сообщено самое главное о Фоме Григорьевиче: он не только принадлежит миру Диканьки, но особо выделен и почитаем здесь.

На противопоставлении Фоме Григорьевичу строится характеристика другого повествователя — Макара Назаровича. По имени он назван только раз. Но читателям Рудый Панько сообщает прозвище, полученное гостем из Полтавы в Диканьке: «панич», либо с характерным добавлением — «панич в гороховом кафтане». Такое прозвище не случайно в устах пасичника и выражает откровенную насмешку над этим рассказчиком. Во-первых, оно напоминает о «большом свете», «панах» и тем самым сближает Макара Назаровича с миром, контрастным Диканьке, чуждым ей. В Диканьке он — только гость, приезжий из Полтавы. Во-вторых, выражение «панич в гороховом кафтане», навязчиво употребляемое дальше, вызывает ассоциацию с известным выражением «шут гороховый». Эта намеренно внесенная ассоциация подчеркнута концовкой второго «Предисловия». Рассказывая о том, как оскорбленный «панич» покидает Диканьку, Рудый Панько добавляет: «... только слышали мы, как подъехала к воротам тележка с звонком; сел и уехал» (I, 196; ср.: звонки — шутовские бубенчики). Мотив шутовства проходит через всю характеристику «панича». Иронизируя над ним, пасичник говорит: «Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели,

или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать — вычурно, да хитро, как в печатных книжках!» (I, 105). Пасичник дает понять, что «панич» рядится в чужую одежду, его истории лишены жизни и плоти, они как бы «высосаны из пальца».⁹

Если Фома Григорьевич представлен как умелый рассказчик, то по контрасту с ним «панич» определяется как сочинитель рассказов, подобных тем, что встречаются «в печатных книжках». Иначе говоря, он следует отрицаемой в «Предисловии» книжной традиции. Именно поэтому в поучение «паничу» Фома Григорьевич «славную сплел присказку» (см.: I, 105). «Присказка» на самом деле является подлинным украинским народным анекдотом о школяре-латынщике, презревшем родной язык и наказанном за свою гордыню.¹⁰ Тем самым усиливается оценочный смысл характеристики обоих повествователей: Фома Григорьевич еще раз утверждает, что истинно народный рассказчик и, напротив, с этой же стороны окончательно развенчивается «панич из Полтавы». Как видим уже из «Предисловий», разграничение повествователей в первой части книги ни в коей мере не условно: возвеличение одного и развенчание другого соответствует основной полемической задаче автора — противопоставлению двух миров и соответствующих им типов сознания, каждый из которых воссоздается в цикле и соотносится либо с литературной, либо с народно-поэтической традицией. Именно эту полемическую роль призваны играть контрастные приемы сказа в повестях, принадлежащих этим двум рассказчикам.

Обратим внимание на повествовательную манеру каждого из них.

2

В первой части книги «паничу в гороховом кафтане» принадлежат две повести — «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь». Отметим сразу, что их общность создается очевидной близостью сюжетных мотивов, композиционных и стилевых приемов. В обоих произведениях речь идет о влюбленной паре (в «Сорочинской ярмарке» — Параска и Грицько, в «Майской ночи» — Ганна и Левко). Разница в начале историй и обрисовке этих пар только та, что в «Сорочинской ярмарке» завязкой является встреча парубка и девушки, а в «Майской ночи» этот момент опущен. Общие мотивы сюжета — препятствия к браку и преодоление их. В «Сорочинской ярмарке» браку противодействует злая мачеха, в «Майской ночи» — отец парубка. Препятствия устраняются благодаря вмешательству помощников героев (в «Сорочинской ярмарке» — цыган, в «Майской ночи» — панночки). В сюжеты той и другой повести вводятся предания (в «Сорочинской ярмарке» — о красной свитке, в «Майской ночи» — о панночке), и, переплетаясь с мотивами преданий, эти сюжеты завершаются благополучной развязкой. Действие в обеих повестях развивается стремительно — в течение вечера и ночи — и разворачивается как веселое театрализованное представление. Оно строится на чередовании и быстрой смене сцен-диалогов, в которых участвуют однотипные комические персонажи. Таковы в «Сорочинской ярмарке» Хивря и Черевик, Попович, Кум; в «Майской ночи» им анало-

⁹ Имя и отчество «панича в гороховом кафтане», видимо, тоже не случайно: Макар значит: «блаженный»; Назар — «посвященный богу» (отчество, в сущности, здесь безразлично — оно дублирует имя). В свете «шутовских» ассоциаций имя героя («блаженный») приобретает исключительно отрицательный смысл — «блаженный», то есть «юродивый», «блажной».

¹⁰ Ср.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки в 3-х т., т. 3. М., 1957, № 476.

гичны Свояченица и Голова, пьяный Каленик, Винокур. Все они являются вариациями определенных комедийных амплуа: Злой бабы, Обманутого мужа, Неверной жены, Простака, Болтуна, Шута. Сцены с этими персонажами строятся на мотивах комической ссоры, перебранки, прятанья, путаницы, переполоха, что вызвано плутнями чертовщины и проделками цыган (в «Сорочинской ярмарке») или парубков (в «Майской ночи»). Собственная речь рассказчика в этих сценах сведена до минимума. Он лишь короткими репликами, напоминающими драматургические ремарки, комментирует ход действия, которое развивается как бы самостоятельно. Рассказчик оказывается в положении наблюдателя, описывающего зрелище, которое происходит у него на глазах. Смысл использованного Гоголем приема очевиден: рассказчик отделен от этого мира, он смотрит на него со стороны.

Отстраненность рассказчика от рисуемого им мира определяет своеобразие его повествовательной манеры. Поскольку речь «панича» почти устранена из собственно сюжетного рассказа, она становится тем более важной в описаниях. Описания времени действия, обстановки, природы и местности предшествуют комическим сценам. Именно в них проявляются особенности сказа, принадлежащего «паничу из Полтавы».

«Сорочинская ярмарка» открывается картиной малороссийского летнего полдня: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимающая прекрасную в воздушных объятиях своих!» (I, 111). Обращает на себя внимание торжественная, декламационная интонация речи, передающая восторженное состояние рассказчика и указывающая на необычность того, о чем он повествует. В описании этого летнего дня, однако, почти нет конкретных временных или локальных примет. Вся речь состоит из метафорических рядов слов сходной лексической окраски и расхожих поэтизмов: день только «упоителен и роскошен»; летние часы только «томительно-жарки»; небо нагнулось «сладострастным куполом над землею», и «ослепительные удары солнечных лучей» кидают на «живописные массы листьев» «темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото», и т. д. Главное здесь не в самой по себе книжной речи, а в определенной ее литературной природе — именно романтической. В этом условно опозитизированном описании малороссийского летнего дня на первый план выдвигается бьющая на эффект красивость («изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых», «пестрые огороды, осеняемые статными подсолнечниками», «золотые снопы хлеба» и т. п.). Такой характер пейзажей неизменно сохраняется на протяжении всего повествования в «Сорочинской ярмарке» и «Майской ночи».

Следует отметить один момент: все пейзажи соотнесены друг с другом, даны в определенной последовательности и предстают как единая и величественная картина, обнимающая суточный цикл. За дневным пейзажем следует в «Сорочинской ярмарке» вечерний, а в «Майской ночи» заметно выделяется ночной пейзаж, как бы завершая собой всю тематическую линию. Именно в последнем пейзаже обнажены такие черты, которые указывают на их общий символический характер. Он создается благодаря особой цветовой гамме и характеристике пространства в пейзажных описаниях. Так, роскоши летнего дня в «Сорочинской ярмарке» соответствует определенный колорит, составленный из сочетания «небесной глубины» с блеском золота и драгоценных камней. В вечернем пейзаже преобладает гамма разнообразных оттенков огненного цвета, передающих последнюю вспышку солнца, преобразующего все предметы: «Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных

кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди» (I, 120). Ночной пейзаж тоже имеет цветовое сопровождение: «Земля вся в серебряном свете...» и т. д. (I, 159). Нельзя не заметить, что в совокупности все эти тона — «небесной глубины» и «огненно-розового» блеска, драгоценных камней, оттенков золота и серебра — передают колорит, присущий сочетанию иконописных красок. Воспроизведение художественной палитры иконописи символизирует такое совершенство украинской земли, которое сродни небесной гармонии.

Пространство пейзажей «Сорочинской ярмарки» и «Майской ночи» условно в этом же смысле. Оно лишено сколько-нибудь конкретных границ, развернуто по горизонтали и вертикали. Его масштаб задан неизмеримостью земли и неба и поэтому выступает как масштаб вселенский. В «Сорочинской ярмарке» небо — «голубой неизмеримый океан», дубы — «подоблачные», стога сена и снопы хлеба — «станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости». Из совокупности однородных и повторяющихся мотивов возникает идея бесконечности. В «Майской ночи» эти мотивы подчеркнута гиперболизированы: «Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее» (I, 159).

Особая цветовая и пространственная символика пейзажей «Сорочинской ярмарки» и «Майской ночи» следует из двуплановости всего повествования. С одной стороны, приметы украинской земли даны обобщенно-укрупненными, через романтическое восприятие рассказчика. Именно его строй чувств передают сходные по значению поэтизмы («упителен», «роскошен», «сладострастие», «нега»), характерные для условно-романтического стиля. С другой стороны, в чередовании картин малороссийского дня, вечера и ночи проступают не важные для рассказчика, но важные в символическом подтексте признаки данной местности: «серые стога сена», «снопы хлеба», «широкие ветви черешен», «горы дынь, арбузов и тыкв», а в «Майской ночи» — «дремлющее на возвышении село», «толпы хат». Этому ряду скупых пейзажно-бытовых примет и соответствует иконописная цветовая гамма. В соединении с вселенской безграничностью пространства и особенно значительными в этой связи мотивами «купола», «небесной глубины», «темной меди», серебра и золота, драгоценных камней (ср.: оклады икон и культовая утварь) она вызывает ассоциации с храмом, которые и вскрывают глубинную символику пейзажей: храм, как известно, образно представляет мироздание с присущими ему временными атрибутами — прошедшее, настоящее, будущее. Надо сказать, что этот символический план возникает исподволь, и совершенно очевидно, что он глубже конкретного сюжетного рассказа. По самой сути своей он не связан с повествователем-«паничем», а принадлежит самому автору и содержанию цикла в целом. Подчеркнем, что в пределах этого цикла избранный автором масштаб приобретает не только пространственный, но и временной, всемирно-исторический смысл. Суточный круг пейзажных описаний символически его выражает.

Скрываясь за рассказчиком, автор так строит его речь, что все пейзажные мотивы выглядят однородными и не вступают в противоречие друг с другом до тех пор, пока воспринимаются в системе традиционной романтической поэтики. Но как только в сознании читателя возникает образ храма, то в ряду этих высоких (а не «возвышенных») ассоциаций начинает бросаться в глаза странность сочетания «купола» с определением «сладострастный» или повторяющихся мотивов «серебряный свет», «серебряные видения» с «величественным громом украинского соловья», «строгой и торжественной небесной красоты с «роскошью» и «негой». Такого типа смысловая и стилистическая несовместимость, своего рода

алогизм мотивов и являются авторским способом разграничения двух планов — указанием на глубокий, серьезный смысл того, о чем повествует рассказчик, но что остается в то же время за пределами его сознания. Этот же алогизм проводит резкую черту между истинным автором «Вечеров» и одним из рассказчиков.¹¹

Отмеченная особенность присуща не только пейзажным описаниям. Она сохраняется на протяжении всего повествования в «Сорочинской ярмарке» и «Майской ночи». В силу двойственной природы сказа все, о чем сообщает рассказчик, обретает новое, неожиданное значение, а сам он оказывается объектом авторской характеристики и оценки.

Сказ «панича» в «Вечерах» обладает, однако, и двойственностью другого рода, которая присуща именно ему как повествующему герою. Ведь он романтик, и его стиль строится на резком контрасте «возвышенного» и смешного. Поэтическая гипербола романтически настроенного героя, воспевающего совершенную красоту природы, сменяется шутивными или откровенно насмешливыми интонациями при переходе к собственному сюжетному рассказу. В «Сорочинской ярмарке» за описанием движения возов и представлением героев в шутивно-ироническом тоне следует изображение ландшафта в духе романтического одухотворения природы (см.: I, 113). Точно так же «возвышенный» вечерний пейзаж сменяется бытовой зарисовкой ярмарки и иронической характеристикой цыгана. В «Майской ночи» вслед за описанием «божественной ночи» идет рассказ о пьяном Каленике и т. д. Чередование контрастных мотивов — «возвышенные» пейзажи и сниженная сюжетная сторона повествования — составляет главную особенность речи рассказчика-«панича». В его эстетическом сознании обе эти стороны несовместимы, противостоят друг другу, как поэтический «идеал» и несовершенство, причуды, суета земной жизни. Рекомендую рассказчика именно так, а не иначе, автор стремится к тому, чтобы читатели узнали в нем сочинителя определенного типа, — повествующего «вычурно да хитро, как в печатных книжках»,¹² т. е. даже не самобытного и оригинального романтика, а эпигона, сочиняющего по распространенному шаблону.¹³

¹¹ Этому утверждению не противоречат, как может показаться, факты использования Гоголем подобных словосочетаний не только в художественных произведениях, но и в публицистической речи. Идеино-художественные функции таких высказываний могут быть самыми различными и каждый раз требуют конкретного рассмотрения. Например, в совершенно другом значении употребляет Гоголь в статье из «Арабесок» «Об архитектуре нынешнего времени» те же, что в «Сорочинской ярмарке», определения «сладоострастный» и «роскошный» по отношению к куполу храма (см.: VIII, 59—60, 67—68). Здесь эти метафорические эпитеты характеризуют своеобразие восточного стиля архитектуры и служат образным выражением его соответствия определенному типу национальной психологии и уклада жизни, тогда как в устах «панича» этот же алогизм свидетельствует о том, что понимание красоты украинской земли у него сводится лишь к внешней экзотике.

¹² В повествовательной манере «панича в гороховом кафтане» Гоголь пародирует, в частности, некоторые характерные черты стиля И. Г. Кулжинского, одного из его учителей по Нежинской гимназии, который приобрел известность книгой «Малороссийская деревня». Из писем Гоголя известно, что он относился к ней весьма насмешливо, называя «литературным уродом» (X, 88). Характер отмеченных нами поэтизмов в речи «панича», особенности его иронии и т. д. почти дословно совпадают с объектом пародии. Ср. у Кулжинского: «Беспечный любитель сладостной неги — малороссиянин через целую зиму заключал себя в объятия теплой печки...»; «сладоострастный шепот ветра...»; «благодатный царь дня воссел в свою колесницу» и т. д. (См.: Кулжинский И. Г. Малороссийская деревня. М., 1827, с. 12, 19, 21, 39 и др.).

¹³ Отметим в этой связи, что отношение Гоголя к романтизму во время создания «Вечеров» было уже установившимся. Об этом, в частности, свидетельствует написанная в начале 30-х годов статья «О поэзии Козлова», где Гоголь указывает на главные признаки романтической поэзии, которые он усматривает в Байроне, «чудно обхватившем гигантскою мрачною душою всю жизнь мира и так дерзостно посягавшемся над нею, может быть от бессилия передать ее инди-

Этой цели служат и те элементы стиля, которые отчетливо проступают в заключающих комические сцены комментариях «панича». Так, в «Сорочинской ярмарке» на следующем образом передает состояние перепуганного неожиданным стуком поповича: «Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой» (I, 123). Восьмая глава завершается сообщением о Черевике, теряющем сознание от страха перед чертовщиной: «Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги» (I, 128). В следующей, девятой главе веселый рассказ о ночных приключениях заканчивается описанием цыган: «Озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи» (I, 129). Эти и аналогичные им мотивы романтической фантастики обычно употреблялись в серьезных жанрах (ср., например, с романтической балладой). Здесь же они обесмысливаются механическим переносом в комический контекст и применяются в характеристике традиционных комедийных амплуа, отчего и выглядят набором литературных штампов.

Наличие в повествовании двух смысловых планов (один из которых отнесен к рассказчику, другой принадлежит автору) оказывается важным и в жанровом отношении. Представляя персонажей «Сорочинской ярмарки», «панич» следует сказочной традиции: он говорит о злой мачехе, покорном ей муже, красавице-падчерице и влюбленном в нее парубке. Как в волшебной сказке, злая мачеха препятствует браку падчерицы, но препятствия устраняются вмешательством чудесного помощника, и действие заканчивается свадьбой. Сюжетная схема «Майской ночи» соответствует тому же сказочному канону. Предания, вводимые в сюжет, дополняют серию сказочных мотивов. Воспроизведение сказочного канона указывает на близость повестей фольклорной традиции, но литературная обработка этой традиции принадлежит рассказчику. Оба плана — книжный, идущий от рассказчика, и фольклорный, как более глубокий, исконно народный, — выделены автором. Ибо одно дело «злая мачеха», «падчерица», «ведьма», «черт», то есть фольклорные персонажи, и соответствующая их характеристика, и другое дело — чуждая народному сознанию литературная подача этих же персонажей: «разряженная сожительница медленно выступавшего супруга» (I, 114); «медленный сожитель», который «хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги» (I, 115); или «приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос» и т. д. (I, 174). Фольклорные и литературные параллели придают сказу «панича» двойственный характер, создают впечатление, что рассказчик, обращаясь к фольклорным сюжетам, преобразует народную традицию, интерпретируя ее в книжном духе.

Этот момент подчеркнут автором в «Майской ночи», когда в сюжет повести прямо вводится народное предание. Не случайно рассказывается оно не «паничем», а Левко, чей облик, характер, поступки выдают в нем фольклорного персонажа — красивого, ловкого героя украинских народных сказок и анекдотов, собственной удалью и с помощью волшебного помощника (панночки) преодолевающего все препятствия. В его передаче фольклорная основа предания предстает в своих исконных чертах. Помимо сюжетных мотивов, здесь употребляются народно-поэтические формулы и диалоги («„Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?“ — „Буду, моя дочка; еще крепче преж-

видуальную светлость и величие» (VIII, 153). Гоголь выделяет в поэзии Байрона то, что вообще присуще романтизму. И это же он пишет о Козлове (см.: VIII, 154).

него стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!“» — I, 157); постоянные эпитеты и сравнения («ясная панночка, белая как снег» — I, 156); эпические повторы (см. выше, а также: «Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена...» и т. д. — I, 157). Однако композиционное обрамление предания выдержано в стиле, характерном для «панича». На это указывают сравнения, эпитеты, метафоры и слова специфической семантики: «пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом» и уподобленный «бессильному старцу»; звезды, которые «предчувствуют скорое появление блистательного царя ночи», и т. д. (I, 156). Сказочная природа и обстановка действия узнаются с трудом, поскольку растворяются в литературном характере изложения. Так выявляется контраст между фольклорным и книжным (в духе «величавого» романтизма) способами повествования. Сам рассказчик, не веря в правдоподобие своих историй, относится к ним как к выдумке. Для него они то поэтический «идеал», живущий в душе романтика, то забавная кукольная комедия. Это раскрывается в концовках обеих повестей, и в них же предельно обнажается двойственность смысловых планов.

«Сорочинская ярмарка» завершается рассказом о свадебном веселье: «... все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие... Все несло. Все танцовало» (I, 135). Но следующая же фраза звучит резким диссонансом этой картине. В описании появляются образы «ветхих старушек», от которых «веяло равнодушие могилы» и «которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому» (I, 135—136). Свадебное веселье здесь связано со сказочным «пиром на весь мир». На это указывает гиперболическое обобщение, подчеркнутое словом «все» и мотивами согласия, единства, обозначающими, по ассоциации со сказкой, всеобщее счастье и благоденствие (напомним, что этот мотив впервые появляется в «Предисловии», где он соотношен с символическим значением образа Диканьки в целом). Но с тех пор, как конкретное повествование закончено, рассказчик смотрит на изображаемый им мир, все более от него отдаляясь: «Гром, хохот, песни слышались тиге и тиге. Смычок умирал, слабая и теряя неясные звуки в пустоте воздуха... все стало пусто и глухо» (I, 136). Для повествующего героя эта прекрасная идиллия — только мечта, не более как сказка, разыгранная в масках. Он видит перед собой не живых людей, а кукол.¹⁴ Затем как бы опускается занавес, и рассказчик остается наедине с собой. Следует финальный монолог: «Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, по одиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют наконец одного старинного брата их?» (I, 136). Элегические мотивы передают здесь свойственное романтику чувство своего одиночества в мире. Однако эта серьезная элегическая концовка выглядит странной в устах рассказчика-«панича», она созвучна тому символическому плану, который находится вне его сознания. Народно-поэтическая основа повествования, являющаяся для «панича» лишь экзотикой и потому сводящаяся в конце концов к кукольности и балагану, для Гоголя имеет самый глубокий смысл. Ложный романтизм рассказчика неожиданно оборачивается в этом финале истинным, высоким романтизмом, несерьезная (кукольная) идиллия — другой, серьезной и трагической стороной. Обращенный к читателям возглас: «Скучно

¹⁴ Эта особенность романтического сознания героя-рассказчика еще резче была выделена в первоначальной редакции: «Толпа вереницей шумно передвигалась и уходила, как тени волшебного фонаря» (I, 347).

оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему» (I, 136), — подчеркнуто диссонирует с предшествующими мотивами пира, народного праздника, всеобщего согласия и единства. Он указывает, как несоизмеримо далека современная читателю и автору действительность от подлинного идеала¹⁵ — субстанции национального бытия в ее первоизданном виде. Ушедший в прошлое, но сохранившийся в народных традициях и фольклоре, этот идеал здесь служит мерой отклонения конкретной действительности от народной национальной нормы и вместе с тем — историческим свидетельством и залогом возможного грядущего возрождения.¹⁶ Романтический контраст между истинным идеалом и действительностью в этом глубоком и обобщенном плане переносится из рамок отдельной повести в контекст всего цикла.

Сходным образом построена концовка «Майской ночи», хотя контрастные планы в ней не развернуты столь подробно (см.: I, 180).

3

Фоме Григорьевичу принадлежат в цикле три повести: «Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота» и «Заколдованное место». Их связь друг с другом, и прежде всего их жанровое единство, отмечены общим для них подзаголовком — «Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви».

Указание на «быль» здесь не случайно. По определению В. Я. Проппа, «были», или «былички», «бывальщины», — «это рассказы, отражающие народную демонологию. В большинстве случаев это рассказы страшные: о леших, русалках, домовых, мертвецах, привидениях, заклятых кладках и т. д. Уже название их говорит о том, что в них верят. Сюда относятся также рассказы о чертях, об оборотнях, ведьмах, колдунах, знахарях и т. д.»¹⁷ Как пишет Э. В. Померанцева, «быличка всегда носит характер свидетельского показания: рассказчик либо сообщает о пережитом им самим случае, либо ссылается на авторитет того лица, от которого он об этом случае слышал... Своеобразным „лирическим героем“ былички является „свидетель“, и образ этого свидетеля, его вера в достоверность рассказываемого, его потрясенность встречей с существами потустороннего мира всегда в ней наличествует независимо от того, рассказывается ли она от первого лица или является переложением рассказа соседа, отца, деда».¹⁸

Именно таким повествователем представлен Фома Григорьевич. Его речь построена на характерных приемах былевого рассказа. Он безусловно верит в истинность слышанных им историй и в подтверждение их достоверности ссылается на авторитет деда: «Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было» (I, 138). Этот и близкие ему мотивы повторяются в речи Фомы Григорьевича неоднократно вместе с уверениями в правдивости рассказываемых историй, частой апелляцией к авторитету деда, божбой с характерным для нее сопровождением, типа:

¹⁵ На такой характер соотношения идеала и действительности в творчестве Гоголя указывал Белинский, говоря об особенностях юмора писателя, «который у него состоит... в противоположности идеала жизни — с действительностью жизни» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 567).

¹⁶ На эту особенность исторического мышления Гоголя-художника впервые указала Е. Н. Купреянова (см.: Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки и характеристики. Л., 1976, с. 273—320; о «Вечерах» — с. 283—288).

¹⁷ Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976, с. 51.

¹⁸ Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975, с. 22.

«Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханци пшеничные, да маковники в меду) умел чудно рассказывать» (I, 138).¹⁹ Повторяются и типичные для «были» формулы: «Как теперь помню — покойная старуха, мать моя, была еще жива...» (I, 138); «Что было далее, не вспомню» (I, 150); «Раз, — ну вот, право, как будто теперь случилось...» (I, 310). За такого рода «припоминаниями» обычно следует изложение деталей, уточняющих место, время, обстановку действия и характеризующих его очевидцев или участников. Сообщая, например, о тетке деда в «Вечере накануне Ивана Купала», Фома Григорьевич вспоминает, что ее шинок находился «по нынешней Опощнянской дороге». Подобные сведения он приводит о самом хуторе, в котором «произошли необыкновенные события». То же в «Пропавшей грамоте» и «Заколдованном месте».

Характерные для «были» формулы и приемы используются в прямом своем назначении: они подтверждают достоверность рассказа. Все повествование основано на этом же принципе. Но особенно показательны в данном случае начала всех повестей, принадлежащих Фоме Григорьевичу. Именно в началах и сосредоточены, по преимуществу, указанные выше традиционные для «были» мотивы. В «Вечере накануне Ивана Купала» рассказывается о хуторе, каким он был «лет — куды! более чем за сто» и о том, что там же «была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий» (I, 139, 140). В «Пропавшей грамоте» такой же смысл имеет сообщение Фомы Григорьевича о необычной по тем временам образованности деда (см.: I, 182), а в последней «были» — «Заколдованном месте» — этой цели служат воспоминания рассказчика об одном из эпизодов своего детства (см.: I, 309).

Хотя начала всех повестей построены в форме обычных для «были» вступлений, сами истории Фомы Григорьевича не ориентированы исключительно на «быль» как определенный жанр народной прозы. В их структуру Гоголь привносит мотивы, либо выходящие за пределы собственно «были», либо вообще ей не принадлежащие.

Так, завязка сюжета в «Вечере накануне Ивана Купала» напоминает о волшебной сказке. Петр Безродный, батрак, наделен внешностью и достоинствами сказочного героя и любит красавицу Пидорку, дочь своего хозяина. Сказочному канону соответствуют: появление черта, вступающего в роли помощника; препятствие и устранение препятствия к браку; свадебное пиршество. Появляющаяся здесь ведьма также характеризуется в сказочном духе, имеется даже ее типичный атрибут: «избушка, как говорится, на курьих ножках» (I, 145). Превращение ее в черную собаку и кошку — мотив, хотя и не исключительно, но тоже встречающийся в сказке.

Однако не все сюжетные мотивы повести восходят к сказке: действие не заканчивается веселой свадьбой, и Петр ведет себя не только как сказочный герой. В особенности трактовка Басаврюка выходит за сказочные границы, в которых черт обычно заменяет любого другого волшебного помощника.²⁰ Сказке известна (и более в ней распространена) трактовка черта как мелкого плута, вредителя, обманщика, в конце концов наказываемого и посрамляемого ловким и удачливым героем.²¹ Басаврюк же — «дьявол в человеческом образе» (I, 139), страшный и ко-

¹⁹ Ср., например: «Бувало покойни Охрем як стане рассказувать — царство йому небесне — дак волос дибом становиця» (Рудченко И. Народные южнорусские сказки, вып. 1. Киев, 1869, с. 74).

²⁰ Ср.: Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929, №№ 360, 361, 362, 756В.

²¹ См.: Там же, №№ 1000—1199. См. также: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. М., 1914, с. 309—310.

варный искуситель, «враг Христовой церкви и всего человеческого рода» (I, 140). Такая трактовка близка уже не сказке, а другим народным рассказам — легенде, апокрифу, преданию и той же «были». ²² Другие мотивы, связанные с Басаврюком, — чертовские подарки, поиски клада, цветение папоротника в Купальскую ночь, обморочный сон, дьявольское наваждение, деньги, превращающиеся в битые черепки, — идут от народных поверий, отраженных в преданиях и былях. ²³

Не все в сюжете повести восходит только к эпическим жанрам фольклора. Есть здесь мотивы народных песен и украинского вертепа. Жалобы Петруся и Пидорки на свою судьбу являются переложением известных народных украинских песен, ²⁴ а в некоторых действиях Коржа узнается вертепный герой (см.: I, 142). Еще очевиднее соответствует вертепной традиции внешность поляка, одного из популярных сатирических персонажей-украинских интермедий (см.: I, 142). ²⁵

Аналогичное совмещение разнородных фольклорных мотивов обнаруживается и в двух других повестях.

Завязка действия «Пропавшей грамоты» напоминает исконно эпический мотив — сборы и отправка героя в дальнюю дорогу. Дед Фомы Григорьевича наделен богатырской силой: «Покойный дед был человек не то, чтобы из трусливого десятка; бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост; пройдет с кулаками промеж козаками, — все, как груши, повалятся на землю» (I, 186). Но эпизоды с запорожцем — излюбленным героем украинских комических сенок — носят вертепный характер: «Гуляка, и по лицу видно! Красные как жар шаровары, синий жупан, яркой цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты — запорожец да и только!» (I, 182—183). ²⁶ Мотивы удалого танца, беспашашной лихости, запроданной черту души и утаскивания запорожца в пекло также соответствуют вертепной традиции

²² Именно в несказочных жанрах устной народной прозы, как отмечает Э. В. Померанцева, «черт всегда несет в себе зло, он никогда не выступает в качестве благодетеля» (Померанцева Э. В. Указ. соч., с. 119). См. также: Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903, с. 5—29.

²³ Об отражении фольклорных мотивов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» см.: Чудаков Г. И. Отражение мотивов народной словесности в произведениях Н. В. Гоголя. Киев, 1906; Невірова К. Мотиви української демонології в «Вечерах та «Миргороді» Гоголя. — В кн.: Записки Українського Наукового Товариства в Києві, кн. V. Київ, 1909, с. 27—60. Покровский В. Н. Николай Васильевич Гоголь. Его жизнь и сочинения. Сб. историко-литературных статей. М., 1915, с. 77, 85, 87; Виноградов Г. С. Комментарий. — I, 523—528; Еремينا В. И. Н. В. Гоголь. — В кн.: Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Л., 1976, с. 251—254.

²⁴ Ср., например, с аналогичным мотивом смерти-обручения в народных песнях:

В головоньках ворон криче,
А в ноженьках коник плаче. . .

Заслужив вон паняночку,
В чистом поле земляночку!..

(Максимович М. Малороссийские песни. М., 1827, с. 8, 9). Ср. также: Головацкий Я. Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, ч. 1. М., 1878, с. 24, 95—106, 136; Доленга-Ходаковський Зоріан. Українські народні пісні. Київ, 1974, с. 478, 496, 497.

²⁵ О поляке в украинском вертепе см.: Розов В. А. Традиционные типы малорусского театра XVII—XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя. — В кн.: Памяти Н. В. Гоголя. Сб. речей и статей. Киев, 1914, с. 139.

²⁶ Ср.: «Он гораздо крупнее всех других кукол вертепа; одет он в широкие красные шаровары и синюю куртку, обшитую галуном; в правой руке у него булава; с выбритой головы висит чуприна. Это смелый, ничего не боящийся вояка, грубый, но полный природного малорусского юмора» (Перетц В. Н. Кукольный театр на Руси. СПб., 1895, с. 63). См. также: Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860, с. 51; Житецкий П. Мысли о народных малорусских думках. Киев, 1893, с. 112—117.

(именно появлением черта, уносящего грешника в пекло, заканчивались многие сцены вертепа).²⁷ Напротив, народным повериям принадлежат мотивы бесовской мороки во время игры героя в карты с ведьмами («Вишь, бесовское обморочиванье!» — сказал дед...» — I, 189), пристрастия нечистой силы к деньгам («Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят» — I, 186), а также сама картина пекла. И наконец, к христианской легенде отсылает мотив поездки героя на черте.²⁸ Некоторые из перечисленных мотивов (но не только они) связаны и со сказкой: путешествие в преисподнюю,²⁹ сказочный лес («Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу — ты все иди» — I, 186), игры с нечистой силой в карты.³⁰ Именно в сказочной манере обрисована здесь царица (I, 191).

В «Заколдованном месте» состав сюжетных мотивов менее пестр в сравнении с первыми повестями, но в жанровом отношении он тоже неоднороден. Основная линия сюжета восходит к преданиям и сказкам о кладах.³¹ Но если черт и соотнесенные с ним мотивы близки сказке, то дед, не только одураченный чертом, но и облитый помями, осмеянный, родствен комическим персонажам народных анекдотов, фарсовых сценок.³²

Как видим, сюжеты всех трех повестей по своим источникам явно шире вступлений, ориентированных на «быль». Смешение разнородных фольклорных мотивов, хотя и указывает на фольклорную основу повествования, но в таком сочетании не встречается ни в одном из фольклорных жанров.

Эта отличительная особенность «былей» Фомы Григорьевича характеризует прежде всего сознание самого рассказчика, поскольку сюжетные мотивы и ситуации включены в его речь, передаются через его восприятие. Если «паншч» оказывается в положении стороннего наблюдателя по отношению к миру Диканьки, о котором он повествует, то в историях дьячка ***ской церкви этот же мир освещен изнутри. Все, о чем рассказывает Фома Григорьевич, будь то описание героя, события, пейзажа или обстановки действия, он находит близкие его слушателям соответствия в явлениях и фактах их собственной повседневной жизни. В «Вечере накануне Ивана Купала», говоря о красоте Пидорки, рассказчик прибегает к такому сравнению: «...брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей...» (I, 141). Этим же способом передается и состояние Петруся: «Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера» (I, 143). Такого рода бытовые аналогии лежат в основе большинства описаний, принадлежащих Фоме Григорьевичу, в том числе и пейзажных, например, в «Пропавшей грамоте»: «...по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодцов» (I, 183; см. также: I, 149, 186). Все это свидетельствует о том, что сказ Фомы Григорьевича ориентирован на устную традицию — по контрасту

²⁷ См.: Перетц В. Н. Указ. соч., с. 50.

²⁸ Ср.: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды, с. 167, 305—308; Грищенко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, вып. 1. Чернигов, 1895, с. 60; Манжура И. И. Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. Харьков, 1890, с. 138.

²⁹ Ср.: Андреев Н. П. Указ. соч., №№ 466, 475, 756В.

³⁰ Ср.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки, т. 1, № 153; Добровольский В. Н. Смоленский этнографический сборник, вып. 1. СПб., 1891, с. 648. См.: также: Андреев Н. П. Комментарий. — I, 551—552.

³¹ Ср.: Максимов С. В. Указ. соч., с. 159—172; Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876, с. 79; Садовников Д. Н. Сказки и предания Самарского края. СПб., 1884, с. 364—365.

³² Ср.: Андреев Н. П. Указ. соч., № 1681.

с книжной речью «панича», для которой характерны, как было показано раньше, условно-романтические штампы.

Однако противопоставление двух типов сказа обнаруживает и другой важный момент в соотношении «Сорочинской ярмарки» и «Майской ночи» с «былями» Фомы Григорьевича. Сквозь упоминаемые дьяком приметы повседневного быта Диканьки читателю видны своеобразные черты национальной украинской жизни. Они созвучны ряду аналогичных национальных примет в «Сорочинской ярмарке» и «Майской ночи». Но если в повестях «панича» символическое осмысление украинского быта не связано с рассказчиком, чуждым национальной традиции, и принадлежит автору, то в «былях» Фомы Григорьевича выразителем авторской позиции становится сам рассказчик. В его повествовании совмещаются черты далекого прошлого Украины («лет — куды! более чем за сто») с ее настоящим. Для Фомы Григорьевича прошлое столь же реально, как и современность, поскольку он кровно связан с миром своих прадедов и дедов, наследует их «живую душу», весь целостный строй народных оценок и представлений, запечатленных в фольклоре в их первоизданном, детски простодушном и чистом виде. Мир национальной старины во всем его неповторимом своеобразии должен служить, по мнению рассказчика, а здесь и автора, важным уроком нынешнему поколению, утрачивающему нравственную связь с историческим прошлым народа.

Именно потому, что Гоголь делает Фому Григорьевича хранителем исторической памяти народа, в его «быль» включены самые разнородные фольклорные мотивы, несущие в себе признаки народной поэзии как таковой.

При этом не утрачивается и своеобразие жанра. Былевой принцип повествования, четко обозначенный в началах повестей, вновь выдвинут на первый план в их концовках. Здесь с помощью фольклорных средств еще раз утверждается достоверность рассказов.

В «Вечере накануне Ивана Купала», закончив повествование о Петре и Пидорке, Фома Григорьевич неожиданно заявляет: «Позвольте, этим еще не все кончилось». Затем следует изложение диковинных событий: оживает жареный баран, и «все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка»; чарка поклонилась в пояс церковному старосте, а огромная дича выпрыгнула из теста и, «подбоченившись важно, пустилась в присядку по всей хате» (I, 151). Эти события неправдоподобны до бессмыслицы, но они не случайно напоминают об определенной разновидности сказок — именно о «небылицах», повествующих «про диковинки разные и про чуда».³³ Подчеркнутый алогизм «небылиц» обычно рассчитан на комический эффект. И Фома Григорьевич, как бы учитывая это, предупреждает слушателей: «Смейтесь; однако ж не до смеха было нашим дедам». Рассказчик настаивает на подлинности того, что представляется совсем невероятным. При этом его речь сплошь состоит из традиционных формул, свойственных не «небылицам», а как раз «былям». Он вновь ссылается на очевидцев самых авторитетных и уважаемых — «честных старшин» села; он обращает внимание на то, что оживший баран с рожой Басаврюка померещился «еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем» (I, 151). Здесь и далее он вновь апеллирует к авторитетности общего мнения, к свидетельству близких родственников, тем самым — реальных лиц: деда и его тетки. Цель таких заявлений ясна: если уж эти совершенно невероятные происшествия действительно были, то тем более достоверно все предыдущее. В сознании рассказчика противоречий нет: он от начала и до конца верит всему, о чем говорит. Поэтому «небылица» у него оборачивается «былью». Бу-

³³ Ср.: Там же, №№ 1875—1999.

дучи диковишкой, она, в сущности, не что иное, как злая и насмешливая проделка черта — «нечего бы и вспоминать его, собачьего сына» (I, 152), — в реальном существовании которого рассказчик не сомневается.³⁴

Такой же смысл имеют концовки других «былей». В «Заколдованном месте», например, мотивы начала и конца прямо перекликаются, Утверждение Фомы Григорьевича: «Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит...» (I, 309) — предваряет рассказ, и этим же утверждением, но уже как итогом всей «истории», «быль» заканчивается: «Так вот как морочит нечистая сила человека!» (I, 316).

Повтор в концовках всех повестей традиционных для были мотивов не только создает впечатление убежденности Фомы Григорьевича в достоверности своего рассказа, но, обрамляя его, придает ему жанровую целостность. Благодаря этому, и персонажи, и способы их характеристики, и сюжетные ситуации, восходящие к различным фольклорным жанрам, утрачивают свою жанровую разнородность и, в свете единого былевого сказа, предстают как однородные, связанные по существу.

4

«Были» Фомы Григорьевича в составе цикла «Вечеров» завершают начатую Гоголем в «Предисловии» к сборнику тему двух противостоящих друг другу сознаний и соответствующих им поэтических традиций — книжной и народной. Это подчеркивается во вступлении, которое Рудый Панько предпосылает первой «были» дьячка — «Вечеру накануне Ивана Купала». Оно перекликается с «Предисловием» и является тематической рамкой всех историй Фомы Григорьевича. Пасичник напоминает здесь читателю о том, что повесть «Вечер накануне Ивана Купала» была уже опубликована: «... один из тех господ — нам простым людям мудрено и назвать их — писаки они, не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках... Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней» (I, 137).

Резкий выпад против «господ литературных барышников» (в одном ряду с которыми оказывается и «панич в гороховом кафтане», привезший Фоме Григорьевичу эту публикацию) имеет особый смысл. Здесь содержится намек на вполне реальный факт — правку П. Свиным, редактором «Отечественных записок», повести Гоголя при ее первой журнальной публикации в 1830 году.³⁵ Именно так язвительную насмешку пасичника воспринял О. Сомов (к тому времени уже хорошо знавший писателя) и привел ее в своей рецензии как блестящий образец гоголевской полемики: «Пасичник, я слышал, человек всегда готовый высказать самые резкие истины, да еще и языком малороссийского прямодушия. Он, пожалуй, в состоянии повторить г. Полевому то, что уже сказал одному из его собратий-журналистов в предисловии своем ко 2-ой повести „Вечеров на хуторе“».³⁶ Однако этот полемический прием Гоголь подчиняет художественному заданию. Не случайно именно пасичник и Фома Григорьевич обсуждают напечатанную повесть и насмешливо относятся к ее публикаторам. Пасичник судит о них с точкой

³⁴ Фольклорный былевой рассказчик обычно и стремится поразить слушателей необычными, диковинными фактами. Ср.: Померанцева Э. В. Указ. соч., с. 25.

³⁵ Тихонов Н. С. Комментарий. — В кн.: Гоголь Н. В. Соч., изд. 10-е, т. I. М., 1889, с. 516; Виноградов Г. С. Комментарий. — I, 521—522.

³⁶ Никита Луговой [Сомов О. М.] Письмо к издателю Литературных прибавлений о «Вечерах на хуторе близ Диканьки», о критике на них г. Полевого и о прочем. — Литературные прибавления к Русскому Инвалиду, 1831, № 94, 25 ноября, с. 739.

зрения народного собирателя и издателя, а Фома Григорьевич не подходит в повесть ничего похожего на свой рассказ: «„Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?“... — „Как, что читаю, Фома Григорьевич? вашу был, ваши собственные слова“. — „Кто вам сказал, что это мои слова?“ — „Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком*“. — „Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучьий москаль. Так ли я говорил?“» (I, 137—138). Отрицательное отношение Фомы Григорьевича к журнальному тексту повести вызвано тем, что он не узнает в ней своей речи, она напечатана не так, как была им рассказана. Гоголь в данном случае подчеркивает принципиальную важность способа повествования. Именно в этом направлении шла правка журнальной редакции повести. В окончательном тексте писатель существенно переработал сказовую речь; она очищена от книжной условности, от выражений, не характерных для народного разговорного языка.³⁷ Другие изменения — отказ от романтически живописных характеристик, изъятие некоторых мотивов и введение новых, типа жалоб героев на свою судьбу в духе народных песен, — также приведены в соответствие с характером фольклорной стилистики. В том же плане переделан весь первоначальный текст повести, которая в целом, а не в одних лишь редакторских правках, Гоголя теперь не удовлетворяла. Во вступлении к «Вечеру накануне Ивана Купала» и то, и другое — и стиль редакторских правок, и свой собственный прежний романтический стиль — Гоголь иронически высмеивает. Эта самооценка приобретает в окончательной редакции обобщенный полемический смысл. Она становится способом художественного опровержения такого рода литературных стилизаций фольклора, в которых народно-поэтическая традиция подчиняется литературной. Именно в связи с отрицаемой традицией упоминается здесь «панич в гороховом кафтане» как автор «Сорочинской ярмарки», предшествующей в цикле «Вечеру накануне Ивана Купала»: «Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я, и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли...» (I, 137). По мысли Гоголя, литературные стилизации такого толка означают внесение в фольклор инородных для него элементов и тем самым — непозволительное искажение народного сознания. Вот почему возникает особый аргумент — апелляция автора к мнению народного рассказчика, который не признает своей напечатанную повесть и заново ее рассказывает. Авторская оценка дается, таким образом, как бы изнутри живой традиции, непосредственными выразителями которой в цикле «Вечеров» и являются издатель-пасичник и Фома Григорьевич.

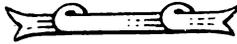
Представляется вполне вероятным, что авторское предпочтение народного рассказчика книжному любителю «народности» заключено в самом имени повествующего героя. Ведь Фома значит: «близнец». Рядом с рассказчиком, бережным хранителем старины и предания, встает настоящий автор «Вечеров», который сумел за веселой экзотикой и смешной чертовщиной простонародных рассказов увидеть неувыдаемую, животворящую суть народного духа и отказаться от более соответствующего моде литературного «ряжения» под народность. Восприняв от деда старинные «были», рассказчик передает это богатое наследство («клад») своим слушателям-хуторянам, в перспективе — целому роду, смене грядущих поколений. «Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно и года ему и месяца нет, деялось на свете! ... чудится, что вот-вот сам все это

³⁷ Ср., например, начало журнальной редакции повести: «Дед мой имел удивительное искусство рассказывать...»; «...так были занимательны его речи...»; «Но нам более всего нравились повести, имевшие основанием какое-нибудь старинное, сверхъестественное предание...» (I, 349).

делаешь, как будто залез в прадедовскую душу, или прадедовская душа шалит в тебе...» (I, 181). «Старина», в таком понимании, есть тот могучий родник («кладезь») национальной жизни, который на всем протяжении исторического пути народа питает его духовные силы. Заметим в этой связи отчество рассказчика — Григорьевич (Григорий значит: бодрствующий). Мысль о чуткой, недремлющей основе народной души здесь разумеется сама собой.

В этой же цепи мотивов следует толковать и имя вымышленного издателя «Вечеров». Панько (Опанас, Афанасий) значит: «бессмертие». Об этом же говорит и его прозвище: Рудый (по-украински: «рыжий»); однако здесь важен не цвет сам по себе: «За что меня миряне прозвали Рудым Паньком — ей богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно» (I, 104). Слово «рудый» — производное от «руда», «кровь». Прозвище издателя указывает не на цвет его волос, а на цвет крови, цвет жизни. Жизнь, бессмертие — вот что обозначено в прозвище пасичника, предлагающего читателю пиршественно-богатое сокровище — «чистый мед» своего «духовного луга». Выпуская «в свет» свои «побасенки», он дарит ему богатство, бессмертное, как сам народ.

Так вопрос, казалось бы, сугубо литературной полемики в контексте «Вечеров» приобретает смысл, далеко выходящий за ее пределы. Речь идет о жизни народа, его прошлом, настоящем и будущем; о благой субстанции национального бытия и сознания, с одной стороны, а с другой — о ее искажении в современной автору действительности. Эта тема прошлого и настоящего, вольной казацкой «старины» и современности как ее антипода — тема исторической судьбы народа — является центральной в общей тематике «Вечеров». Мы коснулись ее в той степени, в какой она отразилась в рассмотренном нами аспекте.



ПОЛЕМИКА

А. А. МОРОЗОВ

ИЗВЕЧНАЯ КОНСТАНТА ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ?

Понятие барокко, еще недавно встречавшееся с опаской, прочно вошло в историю литературы. Теперь уже не нужно спорить с наивными утверждениями, что в России не было исторических условий для возникновения барокко или что уже Симеон Полоцкий был представителем схоластического классицизма. Остаются разногласия о хронологических границах барокко, да и в самом понимании этого стиля и его жанров. Ставятся новые вопросы изучения барокко: об особенностях и характере его национальных вариантов, о многообразии его проявлений на различных стилевых уровнях и в различных жанрах, наконец, о его роли и значении в дальнейшем развитии литературы.

Последний вопрос привлек к себе внимание В. Н. Турбина, А. В. Чичерина и других исследователей. В. Н. Турбин в книге «Пушкин. Гоголь. Лермонтов» утверждает: «Барокко процветало до конца XVIII столетия, это показано и доказано». «...Вряд ли, — продолжает он, — такие мощные явления искусства и жизни исчезают, как реки в пустынных песках; и не разумнее ли развить высказанную мысль, распространить ее? Барокко было и в XIX веке, есть в наши дни. Без него необъяснимы ни целые пласты творчества Пушкина, ни Гоголь, ни Лермонтов, отказывавшийся от барокко в течение своей недолгой и трагической жизни».¹ По мнению В. Турбина, барокко проходит через всю русскую литературу до наших дней: «...внимание к Атлантиде В. Хлебникова, его поэма „Атлантида“ — еще одна барочная черточка русской литературы (Хлебников и барочный Тредиаковский — связи видны на глаз, ощутимы)» (с. 27). В. Турбин указывает на распространение барокко в Латинской Америке и ссылается на слова Карпентьера, что на Кубе барокко «сохранилось не только в камне или дереве, оно — на улицах, в криках уличных торговцев, в форме кондитерских изделий и даже в силуэтах кубинцев» (с. 23). Подобные примеры живучести барокко и его экспансии в быт и народную культуру можно найти в Мексике и других странах Латинской Америки. Но В. Турбин видит здесь не особенности исторического барокко, занесенного за океан, где оно пришлось по вкусу, задержалось надолго, приобрело свои черты, сочетаясь с местными традициями, а некую постоянную константу, «явление и культуры, и нравственности» (с. 24). «Барокко, — подчеркивает он, — не литературное направление, по в любом литературном направлении сказывается барочное начало, оживляющее его; барокко — там, где намечаются крайности, резкие углы» (с. 24). «Барокко сопровождает возникновение нового литературного направления, но по мере стабилизации его эстетических устоев с барокко расстаются, от него избавляются» (с. 25). В заключительной части книги

¹ Турбин Владимир. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Об изучении литературных жанров. М., 1978, с. 22.

В. Турбин пишет: «Барокко — не пройденный когда-то этап эволюции искусства, а мироощущение, перманентно порождаемое общественной жизнью. Противопоставление барокко каким бы то ни было литературным и художественным направлениям едва ли оправданно» (с. 236). И далее: «... в принципе барокко способно существовать и при любом направлении, будучи его подспорьем, а на каких-то окончательных, завершённых этапах его развития — и как бы компрометирующей его помехой» (с. 236).

Итак, барокко провозглашается извечной константой литературного процесса. Это отнюдь не новая и не оригинальная точка зрения. Она наметилась еще у Вельфлина и получила развитие у Э. Курциуса, который в своей знаменитой книге «Европейская литература и латинское средневековье» предложил даже заменить слово «барокко», как излишне отягченное историческими ассоциациями, на «маньеризм», а Ренессанс именовать «классикой». За всяким Ренессансом следует «свое» барокко, охватывающее кризис и распад достигнутого совершенства, пока не вызреет и не родится новый совершенный стиль.² Один из учеников Курциуса — Густав Рене Хоке — в целом каскаде примеров извечного «маньеризма» (т. е. того же барокко) во многих странах назвал имена Андрея Белого, Есенина и Маяковского.³ Примеры эти антиисторичны. Барокко «в наши дни» — литературная иллюзия. Речь может идти лишь об интересе к барокко, обращении к его эстетике и поэтике, отголосках, отблесках этого великого исторического стиля. Заимствованные или развивающиеся под влиянием барокко мотивы принимают участие в формировании новых стилей, причем неизбежно изменяют свой первоначальный характер, приобретают новые функции, смещаются и трансформируются. Литературные направления, обращавшиеся к барокко, воспринимали его односторонне, а то и превратно. Так было с немецкими романтиками. Живая преемственность и традиции барокко были уже утрачены.

Барокко — великая культурно-историческая эпоха, охватывавшая все виды искусства и литературы и наложившая отпечаток на развитие философской и научной мысли. Оно развивалось в условиях общеевропейского кризиса феодализма, колониальной экспансии, наступления Контрреформации, опустошительных войн и народных движений. Пройдя через смятение, вызванное кризисом и распадом культуры Ренессанса, барокко не только многое удержало из его идейного наследия, но и углубило его художественные формы, раздвинуло живописное пространство и наполнило его напряженной динамикой и экспрессией. В барокко, как и в Ренессансе, возникали и сталкивались различные противоборствующие течения, идейные и стилевые, отвечавшие пестроте и разнообразию самой действительности, социальному расслоению и особенностям национального развития.

Эпоха барокко не была простым продолжением Ренессанса — его искусство отвечало новому мироощущению. Оно обращалось к трагическим темам поздней античности и экспрессивным формам готики. Оно

² Curtius E. R. *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*. 3-te Auflage, Bern und München, 1961.

³ Н о с к е G. R. *Manierismus in der Literatur*. Hamburg, 1959. Макс Дворжак, выделивший маньеризм как самостоятельную историческую фазу между Ренессансом и барокко, считал его полной противоположностью барокко, с чем нельзя согласиться, так как существенные черты этого стиля проявлялись в барокко на всех этапах его развития, особенно в высоких жанрах. Заслуга Дворжака, однако, состояла в том, что он рассматривал маньеризм не только как распад культуры Ренессанса, но и как новый подъем искусства, отвечавший новым историческим условиям (сюда он относит творчество позднего Микеланджело, Эль Греко, Брейгеля, Тассо, Сервантеса и Шекспира). См.: Д в о р ж а к М. *История итальянского искусства в эпоху Возрождения*, т. 2. М., 1978, с. 187—192; М о р о з о в А. «Маньеризм» и «барокко» как термины литературоведения. — *Русская литература*, 1966, № 3, с. 28—43.

раскрывало становление личности, раздираемой религиозными, нравственными и социальными конфликтами, что придавало ему беспокойство и черты «трагического гуманизма». «Человек барокко» бьется в тисках исторически неразрешимых противоречий. Его терзают сомнения, волнуют проблемы бога, космоса и собственного бытия. Он живет между страхом, отчаянием и надеждой. «Распалась связь времен!» — восклицает он вместе с Гамлетом. Жизнь обманчива и иллюзорна, как на подмостках или в зловещем карнавале. Идея «Vanitas» — суетности и непрочности бренного мира — пронизывает религиозную и светскую культуру барокко. Жажду жизни подстегивает дыхание смерти, которое человек барокко чувствует у себя за спиной. И он начинает либо с иступленным гедонизмом «жить напоказ», либо становится аскетом и отшельником (излюбленный мотив барокко). Для литературы барокко характерны полярность и антиномичность чувств, сочетание фантастики и реальности, возвышенной духовности и ожесточенного натурализма, наивной простоты и формальной изощренности, оксюморонное соединение несовместимых понятий и представлений.

Вместе с тем барокко обрело внутреннюю строгость и предъявляло этические требования к человеку. Оно стремилось к упорядочению мира и новой гармонии, искало метафизический смысл и оправдание всего. Универсализм барокко принимает причудливые очертания, облачаясь в аллегорические формы. Вместе с тем барокко преодолевает философскую растерянность позднего Ренессанса. От неоплатонизма оно обращается к Аристотелю. Логика и риторика становятся его оружием. Возникает риторический рационализм, в котором сам акт познания пронизан эмоциональным отношением к миру, окрылен страстью и волей. Риторический рационализм барокко подчинял себе эстетическое восприятие, которое в свою очередь не только окрашивало, но часто и направляло научную мысль. Барочный космизм раскрывался в художественном созерцании мира:

Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна.

Культура барокко была насыщена риторикой. К ней обращались полководцы и проповедники, ученые и художники — все, кто боролся за сердца и разум человека, стремились привлечь на свою сторону, склонить, убедить, утратить, повести за собой в войне и мире, делах политики и религии. Риторическая устремленность проникала во все виды искусства, проявляла себя на театральных подмостках, программировала росписи плафонов и архитектурные замыслы.

Но совершенно невозможно ограничиваться представлением о барокко только как о патетическом, выпяченном, аффектированном стиле, отличающемся изысканным метафоризмом, избытком и несдержанностью художественных форм. Барокко породило необычайное разнообразие жанров и их стилевых решений. Наряду с экстатическим существовало умеренное барокко, отличавшееся (в соответствующих жанрах) лирическим отношением к природе, задумчивой рассудительностью и папистическим спокойствием. В эпоху барокко интенсивно развивалась духовная лирика, пастораль, притча, различные формы галантного, христианско-героического и сатирического романа, получили распространение и приобрели эстетическую функцию описания путешествий, утопии, автобиографические сочинения, политические трактаты и памфлеты. Все это обязывает говорить не только о неравнозначности общих признаков барокко на различных стадиях его развития и в отдельных странах, но и об их несовпадении в различных жанрах, формирующихся на различных стилевых уровнях и взаимодействующих между собой. Выделять и ограничивать в барокко какую-либо одну группу явлений значило бы раздробить общий

литературный процесс, разбить зеркало эпохи, превратив ее в конгломерат разрозненных памятников и жанров.

В литературе барокко получает развитие иерархия жанров, поддержанная восходящим к античному учением «о трех штилях» и закрепленная в риториках барокко (Помя, Коссена и др.), известных еще Ломоносову. Эта иерархия жанров не исключает их взаимодействия. Так называемая «демократическая литература» не отвергает достижений книжного барокко, а то и ориентируется на него, использует его художественные средства и сюжетные схемы («Симплициссимус» Гриммельсгаузена). В свою очередь так называемая «высокая литература» обращается к фольклору и народному языку. Мотивы народных празднеств и декора используются в оформлении придворных празднеств, в церковных процессиях и карнавалах. Барокко накладывает свой отпечаток не только на быт дворянства (барочный сарматизм в Венгрии и Польше), но также городского мещанства и проникает в народную среду. Идеино-эстетические тенденции эпохи доминируют над жанровым воплощением отдельных ее сторон, дифференцируясь на различных стилевых уровнях.

В странах, где Ренессанс не получил особого распространения, где еще было сильно влияние средневековой культуры, барокко принимало на себя функции Ренессанса и доносило в своей переработке его идеи и художественные формы, причем вступало в интенсивное взаимодействие с местными национальными традициями⁴ и с новыми тенденциями, зарождавшимися в самой национальной культуре.

Русское барокко развивалось неравномерно и приглушенно. Оно долго испытывало давление средневековой традиции, однако изменение вкусов и живая потребность отразить новое миропонимание приводили к отходу от этой традиции во всех отраслях культуры. Архаизирующие тенденции сочетались с обращением к народному декору и западноевропейским источникам, например к гравюрам из «Библии» Пискатора. Барочные черты прослеживаются в патетической публицистике, потрясенной событиями Смутного времени (Катырев-Ростовский), в виршах Ивана Хворостинина, испытавшего польское влияние. Повествовательные жанры XVII века приходят в движение, сближаются и приобретают общие типологические признаки. «Повесть о Савве Грудцыне» и «Хождение» Василия Гагары обнаруживают сходство не только отдельных мотивов, но и общей сюжетной схемы, входят в круг дидактической литературы барокко с чертами фантастики и экзотики.⁵ Во второй половине века у Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева расцветает словесное узорочье панегириков. «Школьная драма», испытавшая воздействие польского театра, разворачивается как аллегорико-эмблематическое зрелище.⁶ С этой школярской традицией связана и гротескно-сатирическая литература, «интермедии» и пародии («Служба кабаку» и др.). «Демократическая литература» проникается риторическим пафосом, вырабатывая различные формы народного красноречия, шеголявшего начетнической книжностью, как в писаниях Андрея Денисова и других старообрядцев, доживая до конца XVIII века.

Особенностью исторического развития русского национального варианта барокко был резкий перелом петровского времени, захвативший все области культуры. Секуляризация всех жанров и появление новых (ода),

⁴ Подробнее см.: Морозов А. А. 1) Основные задачи изучения славянского барокко. — Советское славяноведение, 1971, № 3, с. 54—66; 2) Новые аспекты изучения славянского барокко. — Русская литература, 1973, № 3, с. 7—23; 3) Судьбы русского классицизма. — Там же, 1974, № 1, с. 3—27.

⁵ См.: Морозов А. А. Заметки о «Хождении» Василия Гагары. — Československá rusistika, 1969, № 4, s. 145—150.

⁶ Софронова Л. А. Миф и драма барокко в Польше и России. — В кн.: Миф — Фольклор — Литература. Л., 1978, с. 67—80.

изменение системы стихосложения, обилие заимствованных мотивов за-тушевывали связи с предшествовавшей художественной традицией. Однако они были сильными и существенными. Барочная традиция, гнездившаяся в старой киевской и московской духовной школе, ее риторический разум и реквизит были поставлены на службу петровского государства, давали себя знать в проповедях Феофана Прокоповича и Стефана Яворского, находили свое применение в торжественных «кантах» и «орациях», «сретениях» и «триумфах» («Политиколепная апофеосис», 1709 год), сталкивались с западноевропейской аллегорикой и эмблематикой в невиданных ранее фейерверках и пллюминациях.⁷ Это обновленное барокко отвечало требованиям и устремлениям крепнущего государства.

Историческое барокко было проникнуто высоким пафосом и полемическим жаром. И в России оно также было проповедью, яростной и непримиримой, как у протопопа Аввакума, превратившего собственную жизнь в «житие», в дидактический «пример» подвига и самоотвержения. Но барокко было и искусством хитроумно расчетливого «казнодея», опирающегося на правила «возбуждения страстей» и другие ухищрения риторики, способного исторгнуть слезы гнева или скорби у слушателей, как Феофан Прокопович, поразить воображение затейливыми метафорами и аллегориями, как Стефан Яворский,⁸ или медоточивыми разглагольствованиями, как Гедеон Криновский, полемизировавший с учеными-«естествословцами», или пастырскими увещаниями, как рассудительный Тихон Задонский. Риторическая волна, стилевое напряжение уменьшались, но проповедь оставалась устойчивой, претворяясь в секуляризованное ораторское искусство, в «Похвальное слово», в торжественную или духовную оду. Старая риторическая традиция проявлялась на каждом шагу. И не так уж был далек от истины В. Г. Белинский, заметивший в статье «Русская литература в 1841 году», что «так называемая поэзия Ломоносова выросла из варварских схоластических реторик духовных училищ XVII века».⁹ По условиям своего времени В. Г. Белинский не услышал великолепных ямбов Ломоносова, но его связь со старой традицией он уловил правильно.

В русском секуляризованном барокко происходили и другие процессы, связанные с усвоением и развитием новых мотивов и новых стилистических средств и их жанровой дифференциацией. Полная стремительного движения одическая поэзия Ломоносова с ее пысканным метафоризмом и живописностью была ярчайшим выражением «высокого стиля» русского барокко. Отдельные черты ломоносовского стиля намечали движение к рококо, как, например, в эпиграмматической оде «На день брачного сочетания... великого князя Петра Федоровича и великия княгини Екатерины Алексеевны 1745 года», где «Меж бисерными облаками Сияет злато и лазурь».¹⁰ Эти черты особенно проявляются в поэзии Ломоносова на среднем стилевом уровне, например в анакреонтическом стихотворении «Ночною темнотою», приведенном уже в «Риторике» 1748 года и включенном в Сочинения 1759 года.

На среднем стилевом уровне русского барокко в XVIII веке возникают и развиваются новые жанры: натурфилософская поэма («Феоптия»

⁷ Морозов А. А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского времени. — В кн.: XVIII век, сб. 9. Л., 1974, с. 184—226.

⁸ Морозов А. А. Метафора и аллегория у Стефана Яворского. — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971, с. 35—44.

⁹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V. М., 1954, с. 524.

¹⁰ См.: Морозов А. А. 1) Ломоносов и барокко. — Русская литература, 1965, № 2, с. 70—96; 2) Купидоны Ломоносова. К проблеме барокко и рококо в России XVIII века. — Československá rusistika, 1970, № 3, с. 105—114.

Тредиаковского, «Письмо о пользе стекла» Ломоносова), малые стихотворные жанры («надписи», эпиграммы, пародии). Особое значение приобретают «переложения псалмов». Соревнуясь между собой и отталкиваясь от «Псалтыри Рифмоторной» Симеона Полоцкого, Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков решали не только спор об интонационно-смысловых особенностях нового русского стиха, но и проблемы жанровой стилистики. Они актуализировали смысловое наполнение псалмов применительно к индивидуальным переживаниям и личному отношению к действительности (аллюзии Ломоносова), создавая предпосылки для использования псалмодической поэзии в гражданской лирике (вплоть до Ф. Глинки, Кюхельбекера и Рыльева). Жанровое и стилевое многообразие позднего барокко проявилось в творчестве Державина, С. Боброва и др. Все эти особенности и опосредствования следовало бы учитывать, ежели мы собираемся выяснить значение барокко в дальнейшем развитии русской литературы.

В. Турбин в упомянутой работе пытается возвести исследуемые им мотивы и черты к общим, суммарным представлениям о барокко. Его попытка прикрепить их непосредственно к русской действительности не делает его концепцию убедительной. Заявив, что «русское барокко развивалось в крестьянской среде» (с. 30), В. Турбин выстраивает сложную метафорическую цепочку, якобы раскрывающую особенности художественного мышления Гоголя, чьи метафоры связаны с землей, с хлебом. Ведь даже в письмах к друзьям Гоголь называет их малюток «булочками и хлебами». Возникает новая метафора: «ребенок — хлеб». Более того, это эмблема. «Эмблематика Гоголя глубоко продуманна, — пишет В. Турбин, — и в его творчестве необходимо увидеть барочную цепочку: „дитя — истина — хлеб“; черствый и неказистый хлеб истины, добываемый писателем в вечном боренье. Гоголевское барокко — добывание хлеба. Потом, после Гоголя, барочный пафос в литературе стал редуцироваться. Появился лермонтовский Печорин — герой, странный уже совсем не барочно: „прескверный желудок“ его, вероятно, не переваривал хлеба» (с. 31). В. Турбин включает эту «эмблему» в поток других ассоциаций, сопровождающих анализ «Носа». Здесь, по его мнению, каламбур «нос — сын» сперва просто «бил в глаза», но потом «затаился в ассоциативных рядах: нос рождается из печи; нос — в хлебе (а ассоциация «хлеб — ребенок» для Гоголя была естественной). Нос, бессовестно убежавший от Ковалева, вторично родился у бесфамильного брадобрея» (с. 84). История носа как бы травестирует притчу о блудном сыне. Подзаголовок раздела включает фразу: «Похождения блудного носа». Этот поток ассоциативных построений кажется нам произвольным, а выводы В. Турбина — бездоказательно декларативными. «Страх — враг свободы, — пишет В. Турбин. — Потому-то барокко и утрирует ужасы, и гоголевский „Вий“ — шедевр барочного художественного бесстрашия» (с. 25). Однако историческое барокко если и нагнетало ужасы, то вовсе не от бесстрашия, а от экзальтированного трагизма, или для крайнего напряжения и гиперболизации повествования, своего рода наслаждения ужасом.

Отношение Гоголя к историческому барокко заслуживает изучения. Ритм, строй речи, метафорика Гоголя, по-видимому, во многом восходят к риторической традиции русско-украинской бурсы. Оттуда шаровары Тараса Бульбы «шириною в Черное море» и другие гиперболы Гоголя, в том числе и «редкая птица», которая долетает до середины Днепра. Пожалуй, даже в размышлениях Чичикова (во время посещения Манuilова) проскальзывает барочный мотив переменчивости счастья и непостоянства бытия. «... Как барка какая-нибудь среди свирепых волн», — говорит о себе Чичиков, этот отечественный пикаро, передвигающийся по степным дорогам. Уже в первом томе «Мертвых душ» он начинает вырисовываться как «назидательный пример» будущей проповеди Гоголя.

Эта риторико-дидактическая установка определила направление его творчества во втором томе «Мертвых душ». Риторика барокко окрыляет «Страшную мечь» и «Тараса Бульбу», где явственно чувствуются ее аккорды, как и в патетическом описании «тройки», мчащей Чичикова в неизведанную даль. Но какими путями пришла эта риторика к Голю — осталось неисследованным.

Оперирование «извечными» константами барокко сводит его к ограниченному числу признаков, относящихся по большей части к его претенциозно-аристократическому слою: метафоризму, причудливым художественным средствам, пароксизмам барокко. При этом почти полностью игнорируются исторические особенности национальных вариантов барокко, реальный историко-литературный материал. А здесь-то, пожалуй, и следовало бы прежде всего искать источники стилевых особенностей, мотивов и тенденций, восходящих к барокко у более поздних авторов.

В своем интересном этюде «Достоевский и барокко»¹¹ А. В. Чичерин также исходит из представлений об «извечном барокко». Он разделяет высказанную в 20-х годах В. Вейсбахом мысль, что «барокко вышло из своих временных рамок» (с. 189), что оно возрождается в литературе различных эпох и что «именно барокко, динамизирующее реализм», как полагает уже сам А. В. Чичерин, «оказалось наиболее продуктивным составом стиля Достоевского» (с. 192). Оно также сказывается «в творчестве Леонида Андреева, позднего Томаса Манна (в образах Нафты, Леверкюна, Круля), Стефана Цвейга, Ф. Мориака, Генриха Бёлля, Селинджера, многих крупных писателей разных стран мира» (с. 192). Приведенный список писателей, конечно, случаен, но главная мысль А. В. Чичерина, что барокко обостряет, «динамизирует» литературу, особенно в период кризисов, конфликтов и противоречий, осаждающих художника, остается в силе как бы на все времена. «Болезненно острая борьба веры и безверия, как крутой и мучительный путь, в сознании Достоевского и в созданных им образах. Это — глубинная предпосылка его барокко» (с. 189). «В языке романов Достоевского, — пишет А. В. Чичерин, — в структуре образов все время перед нами та кривая змеевидная линия, бросающаяся вверх и вниз, неустойчивая и буйная, которую нельзя не признать вторжением барокко» (с. 186). А. В. Чичерин находит у Достоевского «перенапряженный ритм», «задыхающееся слово», «тяжелую внутреннюю искаженность личности», «изломанность самой структуры образов», вполне соответствующую «их психологической дисгармонии» (с. 184, 185).

А. В. Чичерин видит барокко в грандиозных порывах, нагнетении ужасов, утрировании действительности. «„Надрывы“ — не только свойство душевной жизни его персонажей, — пишет он о Достоевском, — но и основной стилиобразующий строительный материал его сюжетов» (с. 185). «Барокко Достоевского ушло в его реализм, изнутри вулканизировало стиль, придало реализму облик необычный» (с. 192). По мнению А. В. Чичерина, к Достоевскому «проникло чистое и строгое барокко в духе великого скульптора и великого драматурга», как называет он Микеланджело и Кальдерона, чье «барокко формировалось в его чистом и величественном виде, замешанное на могущественных идеях Ренессанса» (с. 190). Но какими путями пришло оно к Достоевскому? А. В. Чичерин так отвечает на этот, поставленный им самим вопрос: «через Лермонтова», который был «самый непосредственный, самый близкий предшественник» Достоевского (с. 190). Именно у Лермонтова «барокко стало проводником трагического в его последнем для того времени обнаружении — обнаружении глубокого социального разлада, со-

¹¹ В кн.: Чичерин А. В. Ритм образа. Стилистические проблемы. М., 1973, с. 181—192.

знания совершающихся катастроф» (с. 191). А. В. Чичерин называет целую серию источников барокко у Достоевского «От „Странного человека“, от „Вадима“, от „Маскарада“ идут трагическая кривизна, гротеск, смятение чувств, обходные пути поэтических исканий («Нет, не тебя так пылко я люблю...»). Через Гоголя («Записки сумасшедшего», «Страшная месть», «Вий»). Через Гофмана с его трагическими двойниками, с его „Эликсиром сатаны“. Через Гюго с его „Ганом Исландцем“, Клодом Фролло и Квазимодо. Через „готический“, а в сущности совсем не готический, а скорее барочный роман. Очень может быть, что и Мусоргский...» (с. 190—191). При этом А. В. Чичерин делает оговорку, что «имеется в виду не прямое влияние, а наличие в русской действительности предпосылок к созданию образов в духе барокко» (с. 191, прим.). Следовательно, речь идет не столько о литературной традиции или преемственности, сколько о «предпосылках» permanently возникающего барокко. И в конечном счете барокко рождается у Достоевского как бы самопроизвольно, как мироощущение, оказавшееся наиболее близким душевному строю писателя и определившее структурные особенности его творчества.

А между тем источники, восходящие к русской риторико-дидактической традиции, прощупываются у Достоевского, и на них указывает сам А. В. Чичерин в других статьях того же сборника, однако не связывая их с барокко и не упоминая о нем. И, как нам кажется, здесь-то прежде всего и надо было искать связи Достоевского с барокко!

В последнее время сделано много наблюдений, указывающих на значительную роль в творчестве Достоевского памятников древнерусской литературы — эсхатологической, житийной и дидактической. Указывается на обращение Достоевского к народной легенде, апокрифам и духовным стихам, отмечается его «нравственная и художественная ориентация на мотивы древнерусской книжности». В. Е. Ветловская связывает Алешу Карамазова с Алексеем человеком Божиим не столько «жития», сколько духовных стихов: «...создавая своего Алешу, писатель явно следовал обмирщенному восприятию житийного текста».¹² Однако эту тенденцию нельзя рассматривать, минуя барокко, — начиная от «Жития» Аввакума, проецировавшего свою личность на традиционную агиографическую схему. «Наплыв» образа Алексея Карамазова на Алексея человека Божия переносит последнего в новую реальность. Это, пожалуй, более характерно для барокко, чем «надрывы» и «надломы». В статье «Равные предшественники Достоевского» А. В. Чичерин указывает на стиливую и тематическую близость и даже прямое совпадение текстов назидательных сочинений Тихона Задонского и бесед старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». «...В жизнеописании старца Зосимы, — пишет А. В. Чичерин, — многое в духе „Сокровища духовного от мира собираемого“ (Тихона Задонского, — А. М.): сочетание повествовательного и поучительного элементов, тонкий лиризм философского изображения природы, склад речи с легким оттенком торжественности и славянизма» (с. 134). Да ведь это как раз отвечает характеристике русского барокко на его среднем стилевом уровне! Но А. В. Чичерин, под влиянием сложившегося представления о внеисторическом барокко, проходит мимо этого явления.

А. В. Чичерин не сопрягает свое понимание барокко и с явлениями «высокого стиля» — одической лирикой Ломоносова и Державина. Он только замечает, что автор оды «Бог», «Приглашения к обеду», «Водопада» «пронзил» сердце Достоевского, внес в его творчество «нечто неизгладимое» (с. 127). К этому перечню следовало бы добавить «На

¹² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. XV. Л., 1976, с. 474; 476.

смерть князя Мещерского» — стихотворение, пронизанное барочными мотивами и барочным отношением к смерти:

Зияет время славу стертъ:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глотает царства алчна смерть.

В начале своей статьи «Достоевский и барокко» А. В. Чичерин резонно заметил, что «самые резкие различия, лежащие в основе индивидуальных стилей, имеют глубокие исторически обусловленные корни» (с. 181). И нам кажется, что искать их и надо в исторических особенностях развития русской литературы, в частности русского национального варианта барокко, а не в некоем вневременном «мироощущении», растекающемся по всей мировой литературе.

Барокко в «общих», внеисторических чертах становится неуловимым, литературоведческим миражем. В самом деле, по мнению В. Турбина, оно для Лермонтова «уже отрицаемое начало» (с. 22), а согласно А. В. Чичерину, именно у Лермонтова оно ярче всего выражено. Конечно, авторы могут приходиться к различным выводам и обладать каждый своей точкой зрения. Но в обоих случаях они исходят из близких, родственных предпосылок — неисторического понимания барокко. Связи Гоголя, Лермонтова, Достоевского или иного писателя XIX—XX веков с барокко следует искать в исторической традиции, прежде всего риторической. Ни заимствование отдельных мотивов, ни прямые цитаты сами по себе не раскрывают этих связей. Необходимо найти и определить их место и функцию в общей структуре произведений. Только тогда, вероятно, удастся установить подлинное соотношение различных художественных систем. Довольствуясь суммарными представлениями об «извечном» барокко, В. Турбин и А. В. Чичерин сужают возможности исследования русского национального варианта барокко и его исторических судеб. Но мы должны быть им признательны за то, что они привлекли внимание к этой неизученной проблеме.



БЕССМЕРТНЫЙ СУЛАКАДЗЕВ

21 ноября 1975 года в «Литературной России» была напечатана статья старшего научного сотрудника Центрального государственного архива древних актов С. Долговой «14 декабря глазами очевидца». Вот начало ее: «В рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени В. И. Ленина, в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и в Ленинградском отделении Института истории найдены дневники свидетеля декабристского восстания А. И. Сулакадзева».

Можно понять радость архивариуса и тех, кто готовил статью С. Долговой в печать: «дневники свидетеля» — новые материалы... Не случайно и напечатаны они под рубрикой «поиски и находки». (Замечу в скобках, что часть названной статьи представляет собою действительно ценные отрывки из неизвестных черновых записей — но только не Сулакадзева, а одного из основателей общества декабристов С. П. Трубецкого).

Прочитированное начало статьи С. Долговой, признаюсь, меня ошеломило. Ведь пишет специалист по «древним актам», как же она не знает (или забыла?), кто такой Сулакадзеv. Впрочем, подумал я, кто из нас не ошибался и у кого нет каких-либо пробелов в знаниях. Но вот читатели названной статьи! Ради них действительно необходимо остановиться на том, кто такой был Сулакадзеv и могут ли вызывать доверие его свидетельства (о содержании сулакадзевских записей о декабристах я еще скажу далее).

Сулакадзеv (он же Сулукадзеv, Селакадзеv, Сухулакадзеv, Соллокаций) знаменит исключительно тем, что собственноручно изготовлял — поддельвал «древние рукописи». Академик М. Н. Сперанский писал, что Сулакадзеv стяжал себе известность в качестве создателя большинства фальсификатов начала прошлого века.¹

Чтобы сделать подобного «очевидца» достойным свидетелем события такого значения, как 14 декабря 1825 года, его, «очевидца», требовалось или плохо знать, или как-то приподнять. С. Долгова сообщает, обнаруживая солидное знание предмета, не только биографические сведения об избранном ею герое, но и некоторые драматические подробности об истории его коллекции «редкостей»: «А. И. Сулакадзеv (1772—1830)... в 1825 году служил в комиссии погашения долгов министерства финансов. В Петербурге он был известен как страстный коллекционер — собиратель старины и редкостей. Интересно, что вдова его, уверенная в огромной ценности коллекции, в 30—40-е годы тщетно пыталась продать ее за 25 тысяч рублей, но не нашла покупателей. Через некоторое время коллекция была куплена за дешевую цену купцом Шапкиным, хранилась несколько лет, сложенная в мешки у него на чердаке, а затем была им распродана на вес в соседние лавочки на Апраксином дворе в Петербурге».²

¹ Проблемы источниковедения, т. V. М., 1956, с. 44.

² Лит. Россия, 1975, 21 ноября, № 47, с. 15.

Это действительно интересно, но трактовано несколько неточно, ибо получается, что Сулакадзев был образцово-показательным «страстным коллекционером», да еще великомучеником, пострадавшим от невежественных купцов. Такая версия вызывает возражения. Конечно, некоторые, оставшиеся в архивах записные книжки Сулакадзева с зафиксированными в них слухами, анекдотами, различного рода толками могут представлять определенную ценность, как любая, даже самая фантастическая рукопись современника; но этот материал может быть полезен лишь в совокупности с подобными же «записками» и только для характеристики нравственно-психологической атмосферы той или иной социальной среды данного времени. Что же касается действительно собиравшихся Сулакадзевым старых рукописей, то он сам тяжело повинен в том, что «исправлениями» дискредитировал свою коллекцию. Еще за двенадцать лет до смерти «страстного коллекционера» вышла серьезная книга Е. Болховитинова «Словарь исторический о бывших в России писателях...» (СПб., 1818), где на с. 424—425 разоблачаются фальшивые «коллекции» Сулакадзева, а имеющиеся там «славяно-русские рунические» письма названы мнимыми. Вот в чем простой секрет того факта, что «коллекция» Сулакадзева могла продаваться только как макулатура. С. Долгова вынуждает познакомить читателей с Сулакадзевым основательней, тем более что обзором его трудов никто еще специально не занимался.

В отличие от А. И. Бардина, всего лишь нищего каллиграфа (и не без способностей), пытавшегося подделать «наидревнейший» экземпляр «Слова о полку Игореве» и подзаработать на этом, А. И. Сулакадзев изготовленными им рукописями не торговал. Он был человеком обеспеченным (в Петербурге имел собственный дом) и не корысто-, а честолюбивым. Он «не гнался за каким-нибудь XII столетием; его рукописи были первого или второго века, потом пятого и minimum десятого столетия; они вырезаны были на *букowych* (курсив наш, — Л. Р.) досках (полагалось, вероятно, что бук имеет связь со словом буква) и доски были на кольцах, или рукописи писались на листках пергамента, которые были сшиты струною (полагалось, вероятно, что нитки еще не существовали); он замечал иногда, что памятники написаны так, что было „претрудно читать“; они бывали „прередкие“... В одном листе он приводит заглавие имевшейся у него книги, написанное рунами... Все это, конечно, совершенный вздор... но остается небезынтересный вопрос об историко-литературных условиях, дававших возможность подделки, и о психологии фальсификатора». Так писал А. Н. Пыпин,³ он же дал объяснение условий, облегчавших фальсификации и их распространение, — неразвитость палеографии как науки.

А. Н. Пыпин одним из первых попытался истолковать и психологию такого фальсификатора, как Сулакадзев: «Едва ли сомнительно, что это был не столько поддельщик, гнавшийся за прибылью, или мистификатор, сколько фантазер, который обманывал и самого себя. По-видимому, в своих изделиях он гнался прежде всего за собственной мечтой восстановить памятники, об отсутствии которых сожалели историки и археологи...»⁴ Ныне можно эту характеристику уточнить. Нет, не был Сулакадзев просто мечтателем и безобидным фантазером. Его психология имеет совершенно определенную социальную основу и идейную направленность. Это была психология идейного консерватизма, которая и формировала «романтическое фантазерство» человека, никогда не останавливавшегося перед тем, чтобы желаемое выдать за действительное, т. е.

³ Пыпин А. Н. Подделки рукописей и народных песен. — В кн.: Памятники древней письменности, вып. 127. СПб., 1898, с. 20—21.

⁴ Там же.

свой вымысел представить как подлинный «древний факт», как «свидетельство древней рукописи». Стоит хотя бы коротко ознакомиться с историей «освоения» его фальсификатов, чтобы понять это.

В начале прошлого века стареющий Г. Р. Державин задумал написать большое исследование — «Рассуждение о лирической поэзии». Не имея достаточного количества фактов, он творил свою концепцию поэтически: варвары уничтожили культуру, и «Европа покрылась сугубым мраком невежества. Если где и проблескивали слабые искры словесности, то не иной, как варварской...» В этом месте статьи Державину очень недоставало примеров, и Сулакадзев оказался тут как тут. Накануне он обнародовал каталог будто бы имеющихся у него «редчайших рукописей» в количестве 290 экземпляров (!), в том числе не более не менее как I века («Боянов гимн») и V века («Произречения новгородских жрецов»). Фальсификатор любезно разрешил Державину снять копии со своих «памятников», будто бы написанных «рунными буквами» (в действительности же просто обезображенными славянскими), и в статье поэта появились «переводы» из самого Бояна и мифических жрецов. Правда, друг Державина и крупный по тому времени ученый Евгений Болховитинов несколько раз в письмах предупреждал поэта, чтобы тот не верил Сулакадзеву или, по крайней мере, не уверял читателей в том, что располагает «славяноруническими стихотворениями» (т. е. появившимися еще до кириллицы, до нашей письменности!) «I-го или V-го веку». Вняв этим предостережениям, Державин в своей статье, после процитированных «древнейших памятников», заметил: «... за подлинность их не могу ручаться...»⁵ Однако фальшивки уже обрели жизнь...

Угодить Державину, не только знаменитому поэту, но и крупному сановнику, которого еще помнили как сенатора, было очень выгодно статскому советнику Сулакадзеву, — это вело за собою знакомство с рядом известных деятелей, участников «Беседы любителей русского слова». Так оно и было: к «хранителю древностей» вместе с Державиным приехали А. С. Шишков, Н. С. Мордвинов, И. И. Дмитриев, А. Н. Оленин — адмирал, член Государственного совета, президент российской Академии наук; министр морских сил; обер-прокурор Сената и министр юстиции; президент Академии художеств. Слава-то какая!

Не корыстолюбие, а честолюбие; не собственная необузданная фантазия, а дерзость авантюриста, ретиво служащего духу «чего изволите», духу сенсации и угодничества, — вот что вело Сулакадзева. Можно бы сказать, что в его характере было нечто геростратовское. Не сжигая памятники, а «создавая» их, он творил ложь, а ложь не менее огня губительна, она вводит в тяжкие заблуждения или служит силам реакции. За сенсационные «открытия» Сулакадзева ухватились прежде всего наиболее активные церковники, и появилось множество книг, где древность «святых мест» — монастырей и древность «славянского национального духа» подтверждались на основе сфабрикованных Сулакадзевым фальшивок. Приведу характерный пример.

Знаменитому своим суровым уставом и интенсивной хозяйственно-эксплуататорской деятельностью Валаамскому монастырю в прошлом веке очень недоставало сведений о первых поселенцах на пустынных островах бурного Ладожского озера, достоверных фактов об основателях монастыря и т. п. «Одни только немногие, темные предания заменяют историю Валаама», — жаловался игумен Дамаскин в письме академику А. Х. Востокову. Он просил А. Х. Востокова подтвердить в той или иной форме основательность «Оповеди» — «рукописи», а точнее нескольких

⁵ Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. VII. СПб., 1872, с. 585.

цитат из «рукописи», доставленных на Валаам Сулакадзевым, который на сей раз чрезвычайно угодил монастырю: в мифической «Оповеди» рассказывалось не более и не менее как о том, что Валаам был заселен именно славянами (а не карелами и не финнами) еще в первые века нашего летоисчисления (и имена «первых строителей» — Нураба, Дористана приводились...); что там было даже особое государство «двенадцати князей» (?) — и правителей, военкомандующих имена приводились...; что Валаамское государство было построено по типу Новгородского, имело с ним связь и имело сношения с самим Каракаллой. Как могло государство быть построено по типу Новгородской земли (XII—XV века) и иметь сношения с римским императором Каракаллой, жившим с 188 по 217 год, — этот маленький анахронизм сочинителя «Оповеди» не смутил...

На запрос Дамаскина академик Востоков ответил категорически: «... что касается до приведенной вами в письме вашем выписки из сочинения Сулакадзева, то она не заслуживает никакого вероятия: покойный Сулакадзев, которого я знал лично, имел страсть собирать древние рукописи и вместе с тем портить их своими приписками и подделками, чтобы придать им большую древность; и эта, так называемая им „Оповедь“, есть такого же роду собственное его сочинение, исполненное небывалых слов, непонятных словосокращений, бессмыслицы, чтобы казалось древнее».⁶ Замечу, что Дамаскин, человек хитрый, осторожный, привел в письме к Востокову отнюдь не самое сенсационное, а самое безобидное место, — семь строк из «столбцов» «Оповеди», из которых при всей их бессмыслице все-таки можно было почерпнуть *нужные* монастырскому начальству «сведения» о том, что на Валааме побывал сам Андрей Первозванный, поставивший здесь собственноручно «крест каменный».

Письмо Дамаскина и ответ на него были написаны в апреле 1850 года. Но, несмотря на решительное разоблачение, сделанное знатоком древних рукописей, Дамаскин ход «Оповеди» дал: цитаты из этой фальшивки заперестрели (с самыми умильными комментариями) в монастырских сочинениях: слишком выгодна была сия сказка монашеству, и Дамаскин верно рассчитал, что легенд из «Оповеди» на его век хватит. И лишь тогда, когда имя Сулакадзева было основательно скомпрометировано, оно, вместе с «Оповедью» и славословием «знатоку древностей», исчезло из сочинений по истории Валаамского монастыря. Так, в пятом издании «Описания Валаамского монастыря» (СПб., 1904) уже нет ни цитат из «Оповеди», ни даже названия этого «документа», ни имени его открывателя, вернее сочинителя. Более того, один из наиболее ученых (а потому и наиболее объективных) богословов митрополит Макарий в I томе своей «Истории русской церкви» решительно высмеял легенды из «Оповеди» (кстати, никто и никогда целиком этой рукописи не видел: Сулакадзев приводил «из нее» лишь отдельные цитаты и давал «свои» переводы из них).

Казалось бы, прошлому веку принадлежит заслуга окончательного разоблачения фальсификатора. Нет, Сулакадзев жив до сих пор. Правда, сам он упоминается редко, но «труды» его все еще в ходу. В «Журнале Московской Патриархии» (1974, № 12) я прочитал статью В. Русака «Икона преподобных отцов, в Земле Карельской просиявших», и снова здесь Андрей Первозванный и ссылка на «Оповедь». Однако «затмение» нашло не только на богослова. В издании вполне «светском», в книге исторической под названием «Ладога», один из ее авторов ленинградский историк В. Б. Вилинбахов пишет: «Ссылаясь на древнейшую рукопись (!) „Оповедь“, хранившуюся некогда в библиотеке Валаамского

⁶ Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке. СПб., 1873, с. 391.

монастыря, история (!) рассказывает, что святой (так и написано, — Л. Р.) Андрей Первозванный, просветитель скифов и славян, пришел из Киева в Новгород, отсюда на Ладожское озеро... Было это, вероятно, в X веке.⁷ Вот так история, персонифицированная в господине Сулакадзе! Как же такое получилось? Трудно ответить на этот вопрос исчерпывающе. По-видимому, в каждую эпоху находятся люди, желающие быть хоть на полшага впереди прогресса, и очень она живуча — жажда сенсационных «находок» и ошеломляющих публикаций.

Потому-то наш герой продолжал, и, как мы сейчас убедимся, не без успеха, свое дело. 16 июля 1949 года в «Известиях» (№ 166 (10006), с. 2) была опубликована неподписанная статья, где речь шла «О рукописи А. И. Сулакадзева „О воздушном летании в России“»: сенсационное сообщение о том, что первый воздушный перелет произошел где-то возле Рязани еще при Петре I. Эту версию поддержал в 1952 году историк техники Б. Н. Воробьев в солидной статье, заканчивающейся, правда, оговоркой, что свидетельство некоего Боголепова, на которого ссылается Сулакадзев, не обнаружено.⁸

Так был создан новый миф. Из сочинения в сочинение переходила «переведенная» Сулакадзевым «цитата» из неведомой рукописи неведомого Боголепова (почерк фальсификатора оставался неизменным: он всегда приводил лишь «цитаты», «свидетельства», да еще в своем «переводе» и, конечно, никогда не приводил оригиналов, — даже Державину он «оригинал» «Боянова гимна» не отдал, а только разрешил снять копию). Вот эта любопытная цитата: «1731 года в Рязске при воеводе подьячий нерехтец крякутной фурвин сделал как мяч большой надул дымом поганым и взлетел». Итак — взлетел на 52 года раньше братьев Монгольфье! Оставалось, правда, странным название шара — «фурвин», — такого слова ни в одном, даже самом полном словаре обнаружить не удавалось, но непонятное слово как-то усиливало впечатление, что сие уж подлинно — след рукописи Боголепова. И нашелся рьяный радатель о приоритете и включил заметку о первом в мире полете, разукрасив его драматическими подробностями, во второе издание БСЭ: «Крякутной (гг. рожд. и смерти неизв.) — русский изобретатель 18 в., построивший первый в мире тепловой аэростат и совершивший полет на нем. Уроженец Нерехты (ныне город в Костромской обл.). Служил подьячим (делопроизводителем) при воеводской канцелярии в г. Рязани. С. М. Боголепов, современник К., в записках, воспроизведенных в рукописи его внука А. И. Сулакадзева „О воздушном летании в России с 906 лета по Р. Х.“ (около 1819) описывает, что в 1731 г. К. построил воздушный шар (фурвин, т. е. большой мешок), наполнил его дымом и совершил на нем полет. После этого К., преследуемый церковниками, ушел в Москву. Сведения о его дальнейшей судьбе не имеетя».⁹

Фальшивка просуществовала ряд лет, проникла в учебники по географии, размноженные в миллионах экземпляров. О Крякутном писали сочинения. Отвечали на экзаменах. В школе и в вузах. И до сих пор есть еще множество людей, которые прекрасно помнят гонимого церковниками воздухоплатателя Крякутного. Ведь не станут же рядовые читатели слыхать 3-е издание БСЭ со 2-м, чтобы обнаружить: в новом издании о Крякутном нет ни слова. И еще менее догадаются читатели взять такую, рассчитанную на специалистов книгу, как «Труды отдела древнерусской литературы» АН СССР, где в томе XIV напечатана не-

⁷ Распопов И. М., Вилинбахов В. Б., Горелова Э. М., Кириллова В. А. Ладога. Петрозаводск, 1969, с. 174.

⁸ Воробьев Б. Н. Рукопись А. И. Сулакадзева «О воздушном летании в России...» как источник историографии по воздухоплаванию. — В кн.: Труды по истории техники, вып. 1. М., 1952, с. 126.

⁹ Большая советская энциклопедия, т. 23. Изд. 2-е. Л., 1953, с. 567.

большая статья В. Ф. Покровской «Еще об одной рукописи А. И. Сулакадзева. К вопросу о поправках в рукописных текстах». В. Ф. Покровская привела фотокопию рукописи Сулакадзева, снятой в инфракрасных лучах с увеличением в 1,5 раза.¹⁰ Даже такого небольшого увеличения и специального фотографирования оказалось достаточным, чтобы и невооруженным глазом увидеть: вначале вместо слова *нерехтец* Сулакадзевым было написано *немец*, вместо *Крякутной* — *крценой* (т. е. крещеный), вместо несуществующего в нашем языке *фурвина* — фамилия Фурцель! Все вымысел, все! Но ведь, как заявлял Сулакадзев в своем каталоге, у него было около трехсот «древнейших рукописей». Даже если и тут он приврал, все равно опасность немалая. Разоблачены ведь еще далеко не все его писания.

Вернемся, однако, к тому, с чего начали — к статье С. Долговой в «Литературной России». В данном случае Сулакадзев выступает уже в роли не открывателя неведомого, а в качестве свидетеля и летописца. Но самое внимательное чтение названной статьи никак не подтверждает уверения ее автора в том, что дневники Сулакадзева являются «новым историческим документом (!) для воссоздания событий 14 декабря». Единственное место из дневников, непосредственно связанное с 14 декабря, — «несколько лаконичных торопливых записей», составляющих цитату из восьми строк, — весьма сумбурно и абсолютно никакой ценности не представляет. Вот эти восемь строк: «14 декабря волнение в войсках в СПб... убит военный генерал-губернатор Михаил Андреевич Милорадович... Князь Щепин-Ростовский Московского полку штаб-капитан; забунтовали, избили генерала полкового Фридрихса...» Все. Почему здесь Милорадович оказался вместе со Щепиным-Ростовским — уму непостижимо.

Но может быть, «14 тетрадей», «исписанных мелким, зачастую плохо разборчивым почерком» Сулакадзева, несут хоть какую-нибудь другую интересную информацию? Увы, наш фальсификатор был человеком не очень образованным и весьма далеким от передовых идей. Гвардейский офицер в отставке, он смотрит на 14 декабря глазами офицера жандармского — только об этом свидетельствуют (по-видимому, наиболее «ценные» из отобранных С. Долговой) места из дневников Сулакадзева. И сообщает он, как это было всегда ему свойственно, только анекдотическую неправду. О Пушкине: «1825 г. в октябре начале, Александр Пушкин, сочинитель, сосланный в деревню к отцу и отданный дворянам под присмотр (?), стал учить крестьян неповиновению начальству, презирать власть и давать чувствовать, что человек рожден вольным. Это открылось, и его, взяв, посадили в крепость». Эта невероятная смесь слухов с ложью говорит лишь о том, что Сулакадзев Пушкина не знал и не уважал. Та же дикость и в других, совершенно не критически поданных С. Долговой цитатах из малограмотных дневников Сулакадзева. О Кюхельбекере, которого жандармы арестовали вскоре после подавления декабристского восстания, «свидетель» пишет не без торжества: «...поймали в Польше». О Пестеле, Рылееве, Муравьеве-Апостоле, Бестужеве, Каховском: «13 июля во вторник в 2 часа утра казнены пред крепостью пять человек преступников».

Через месяц после позорной для самодержавия казни декабристов в Таврическом дворце состоялся праздничный маскарад. Торжественно победу над героями 14 декабря. На маскарад во дворец был приглашен и охотно явился Сулакадзев. Праздником руководил инженер-полковник Сакер — тот самый, который строил виселицы для декабристов. Все это знает С. Долгова, и об этом рассказывает Сулакадзев в своем дневнике. Но, несмотря на изобличающие «очевидца событий» его же строки, они

¹⁰ ТОДРЛ, т. XIV, М., 1958, с. 635.

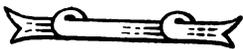
ставятся С. Долговой в *один ряд* с записками декабриста С. П. Трубечкого, одного из руководителей Северного общества. Невероятно. И кощунственно, как вся статья «...глазами очевидца».

...Его осуждали и развенчивали с 10-х по 90-е годы прошлого века, его и в наш век неоднократно били тяжелыми, изобличающими фактами, его уничтожали язвительным смехом, а он оставался неуязвим, как пустота. Поистине — бессмертный.

И все-таки: почему? Какими силами обусловлена столь длительная жизнь Сулакадзева и его фальсификатов? Вопрос естествен, интересен, но полный ответ на него выходит за пределы задач этой статьи. Напомню лишь: Сулакадев, после нескольких десятилетий забвенья, снова ожил в 50-е годы, когда стала модной охота за всяческими «приоритетами». Однако это лишь одна из причин. Наиболее же распространенной является другая: легкое верие дилетантов, не владеющих научным методом и жаждущих обрадовать нас малыми и большими сенсациями. К сожалению, и В. Пикуль, выступающий как исторический романист, недавно «порадовал». Вторая часть его романа «Слово и дело», выпущенного тиражом 100 тыс. экз., заканчивается сулакадзевой цитатой, в которой снова предстает уже знакомый нам Крякутный.¹¹ Эта цитата взята из уже приводившейся выше энциклопедической статьи (в последнее, третье издание Советской энциклопедии Пикуль не заглянул). Получилась новая мистификация, усиленная кавычками («исторический документ», цитата!) и ударным местом — концовкой части романа.

Сулакадзева делают бессмертным те историки и писатели, которые не желают строго проверять факты и учитывать авторитетность источника. Такие авторы снова и снова приходят в восторг от петербургского статского советника, открывающего изумленному миру «Боянов гимн» I века, «воздухоплатателя Крякутного» и даже «Валаамское государство», связанное с самим Каракаллой...

¹¹ Пикуль В. Слово и дело. Лениздат, 1974, с. 250. То же самое повторено совсем недавно (см.: «Техника — молодежи», 1979, № 3, с. 56).



ИЗ ИСТОРИИ ПУШКИНСКОГО ДОМА

В. Н. Баскаков

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПУШКИНСКОГО ДОМА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1905—1917 ГОДАХ

Возникновение Пушкинского Дома обычно связывают с юбилеем 1899 года, когда отмечалось столетие со дня рождения Пушкина. Однако редко обращают внимание на то обстоятельство, что создание этого учреждения — естественный результат исторического развития русской культуры и науки.

Профиль Пушкинского Дома в его первых проектах во многом был предопределен особенностями тогдашнего литературоведения. В 90-е годы XIX века находящееся в стадии формирования отечественное пушкиноведение почти не обращается к значительным вопросам биографии или наследия великого поэта, занимаясь главным образом собиранием, осмыслением, публикацией новых материалов и подготавливая тем самым будущий качественный скачок в этой отрасли литературной науки. Для той эпохи подобное расширение эмпиризма в исследовании наследия Пушкина оправдывалось ограниченностью материала, введенного в научный оборот и к концу века уже недостаточного для постановки крупных проблем и создания в результате исследования широких обобщений теоретического или историко-литературного характера. Такое положение в пушкиноведении обусловило и особенности широко отмечавшегося в 1899 году столетия со дня рождения Пушкина, характер научно-организационных мероприятий, приуроченных к юбилею, структуру самого пушкиноведения.¹

Собирание и изучение источников, поставленное в широких масштабах, требовало создания организационного центра, роль которого, конечно, не могло исполнять ни Отделение русского языка и словесности Академии наук, ни созданный в дни юбилея Разряд изящной словесности, ни пушкинские комиссии и общества, существовавшие либо открываемые в 1899 году при разных литературных организациях и даже учебных заведениях. В программах своей деятельности все они были связаны с пушкиноведением, но ни одна из этих организаций не могла взять на себя роль музейно-

источниковедческого учреждения, которое сосредоточило бы у себя неисчерпаемые пушкинские материалы и возглавило бы или взяло на себя их собирание, систематизацию, изучение, публикацию. Русская наука и культура нуждались в специальном пушкиноведческом центре, и юбилей 1899 года подтвердил необходимость создания такого учреждения. Замысел возник, идея уже существовала, но она еще не стала достоянием общечеловеческой ответственности. Продолжительные споры и обсуждения этой идеи начнутся несколько позже, после юбилея, в них она будет совершенствоваться и видоизменяться, постепенно приобретая формы и реальное содержание, необходимые для ее практического воплощения.

История создания Пушкинского Дома — сложный и длительный процесс, охватывающий без малого целое десятилетие. Долгое время он существовал лишь в разговорах и на бумаге, и это была его предыстория, которая до сих пор изучена далеко не полностью. Между тем этот период, предшествующий официальному утверждению Пушкинского Дома, значителен и важен для его последующего развития, потому что именно тогда формулировались те организационные и научные принципы, которые потом нашли свое отражение в Положении о Пушкинском Доме и на много лет предопределили характер и облик этого крупнейшего в стране музейно-источниковедческого, а позднее и научного центра.

Пушкинский юбилей 1899 года создал благоприятные условия для возникновения учреждения, посвященного памяти Пушкина. Его идея зародилась и была впервые высказана в недрах официальных органов, образованных Академией наук для руководства и проведения юбилея и организации послеюбилейных мероприятий. Среди этих официальных органов прежде всего следует назвать Комиссию по устройству чествования столетия со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. Она была создана при Академии наук 28 октября 1898 года и утверждена под председательством ее президента в. к. Константина Константиновича, известного в истории литературы своими поэтическими

¹ Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 89—90.

произведениям, почтавшимися под псевдонимом К. Р.

В состав этой комиссии, кроме деятелей науки, искусства, культуры, вошли представители тогдашней администрации и печати.² Несмотря на то что в комиссии оказались некоторые выдающиеся представители русской науки и русского общества того времени, в целом ее состав был весьма умеренных и даже реакционных настроений. Это объясняется не только характером эпохи — Россия приближалась к первой русской революции, — но и тем обстоятельством, что руководство пушкинскими торжествами сосредоточивалось в руках не прогрессивной части русского общества, а осуществлялось преимущественно официальными чиновниками, назначение же членов названной комиссии было сделано по рекомендации в. к. Константина Константиновича и, разумеется, должно было отражать интересы правящей верхушки.

Эта комиссия была по сути своей почетной и собиралась лишь три раза, главным образом для создания специальных органов, которые должны были взять на себя конкретные обязанности по организации и проведению юбилея.³ Останов-

² В комиссии работали академики К. С. Веселовский, М. И. Сухомлинов, Ф. А. Бредихин, А. Ф. Бычков, А. Н. Веселовский, П. В. Никитин, А. Н. Пыпин, А. А. Шахматов, почетные академики принц А. П. Ольденбургский, А. Ф. Кони, К. П. Победоносцев, Т. И. Филиппов, Д. М. Сольский, С. Ю. Витте, И. И. Толстой, а также писатели и журналисты Д. В. Григорович, К. К. Случевский, А. С. Суворин, М. М. Стасюлевич, П. Н. Исаков, композитор Н. А. Римский-Корсаков, представители Академии художеств, Министерства народного просвещения, С.-Петербургского университета, Александровского лицея и др. государственных и общественных организаций. Непосредственное руководство работой комиссии осуществляли вице-президент Академии наук академик Л. Н. Майков и непреременный секретарь академик Н. Ф. Дубровин. Полный состав комиссии см. в кн.: Чествование памяти А. С. Пушкина Императорскою Академией наук в союзу годовщину его рождения. Май 1899 г. СПб., 1900, с. 3—4.

³ Разработка программы юбилейных торжеств и ее реализация были поручены специально созданной подкомиссии во главе с президентом Академии наук. В ее состав вошли вице-президент академик Л. Н. Майков, непреременный секретарь Академии наук академик Н. Ф. Дубровин, академики А. Ф. Бычков, А. Н. Веселовский, А. Н. Пыпин, М. И. Сухомлинов, А. А. Шахматов, а также товарищ министра народного просвещения Н. А. Зверев, вице-президент Академии художеств граф И. И. Толстой, директор императорских театров И. А. Всеволожский,

ливаться на деятельности этой комиссии нет необходимости, но все же следует сказать, что именно с ее работой связаны первые, еще очень смутные предположения о создании учреждения, отдаленно похожего на будущий Пушкинский Дом. Вот что 9 декабря 1898 года, вскоре после создания комиссии, писал академик Л. Н. Майкову попечитель Оренбургского учебного округа И. Я. Ростовцев: «Нужно придумать такое учреждение, какого еще не было в России, и притом учреждения, в котором приняла бы участие вся грамотная Россия и которое наиболее соответствовало бы значению великого поэта. Мне кажется, что таким учреждением мог бы быть Одеон имени Пушкина. Это должно быть особое, вновь выстроенное здание в центральной местности Петербурга. Здесь могли бы происходить ежегодные состязания поэтов, которые излагали бы свои произведения перед лицом всего народа и увенчивались бы премиями. Здесь могли бы происходить представления драматических произведений Пушкина».⁴ Подобное же, хотя и менее определенное, заявление сделал поэт К. К. Случевский, считавший, что весьма желательно «заботиться об учреждении чего-либо такого, что в своей обособленности и цельности не только осталось бы непреходящею памятью празднования, но подлежало бы также и развитию».⁵ Такие предложения в 1899 году привлекали внимание, вызвали сочувствие, но все это лишь подтверждало желательность и необходимость создания специального учреждения, посвященного Пушкину, но еще не вело к серьезным обсуждениям и к их практической реализации.

Тем не менее некоторые события являлись юбилейных торжеств способствовали укреплению слагающегося мнения в общественном сознании, превращая в общих чертах намечавшуюся мысль о Пушкинском Доме в достояние русского общества в целом, ускоряя ее созревание и воплощение в жизнь. К таким событиям прежде всего следует отнести Пушкинскую выставку, организованную Академией наук, а также создание Комиссии по изданию сочинений Пушкина и Комиссии по постройке памятника Пушкину в Петербурге.

Пушкинская выставка была открыта в Большом конференц-зале Академии наук с 15 по 26 мая 1899 года. Руководителем всех подготовительных работ был вице-президент Академии наук академик

почетный академик А. Ф. Кони, поэт и редактор «Правительственного вестника» К. К. Случевский, художник М. Я. Виллие, композитор Н. А. Римский-Корсаков, педагог и литератор В. П. Острогорский, председатель Комитета литературных и художественных обществ П. Н. Исаков.

⁴ 50 лет Пушкинского Дома. М.—Л., 1956, с. 6.

⁵ Там же.

Л. Н. Майков, непосредственным организатором и фактическим распорядителем выставки — приглашенный в апреле 1899 года для работы в Академии наук Б. Л. Модзалевский. На выставку были собраны принадлежавшие частным лицам и учреждениям многочисленные материалы о Пушкине, документальные, книжные, иконографические, мемориальные. Это было первое столь представительное и богатое собрание реликвий, посвященных Пушкину.⁶ Неоднократно высказывавшаяся в то время желание сохранить комплекс пушкинских материалов, представленный на выставке, свидетельствует о том, что ее организаторы уже тогда размышляли о возможности организации своеобразного Пушкинского музея, где было бы сосредоточено все, что связано с Пушкиным, с его великим наследием. Такое предположение, по свидетельству современников возникшее в связи с Пушкинской выставкой 1899 года, по сути является пока еще недостаточно четко сформулированной мыслью о Пушкинском Доме, которая более решительно и обоснованно прозвучит несколько лет спустя.

Если Пушкинская выставка подсказала форму и содержание будущего учреждения, то Комиссия по постройке памятника Пушкину в Петербурге стала со временем тем рабочим органом, который занимался организацией Пушкинского Дома и в течение ряда лет руководил его деятельностью. Эта комиссия была создана 30 марта 1899 года и 20 апреля утверждена при Академии наук в качестве «особой комиссии для сооружения памятника Пушкину».⁷ В нее при председательстве президента Академии наук вошли вице-президент академик Л. Н. Майков, непререкаемый секретарь академик Н. Ф. Дубровин, а также граф И. И. Толстой, М. Я. Виллие, П. Н. Исаков, А. П. Саломон, А. Н. Веселовский, П. И. Лелянов, Н. В. Султанов. На эту комиссию «был возложен сбор по добровольной подписке средств на сооружение

памятника Пушкину, принятие мер к выработке проектов памятника и, наконец, постройка такового».⁸

Мысль о памятнике Пушкину в Петербурге возникла и стала предметом обсуждения одновременно с созданием Юбилейной комиссии в конце 1898 года. Несмотря на кажущуюся бесспорность, вопрос о возможности сооружения памятника был решен далеко не сразу. Дело в том, что 10 января 1899 года на заседании Юбилейной комиссии ее член министр финансов С. Ю. Витте высказался против организации добровольной подписки на памятник, потому что на собранные по подписке деньги уже был поставлен памятник в Москве. Однако выступление С. Ю. Витте не могло охладить желания видеть в Петербурге значительный и достойный памятник Пушкину, хотя на какое-то время вопрос о памятнике с повестки дня был все же снят и даже не попал в программу юбилейных мероприятий. Вновь заговорили о памятнике после заявления Союзного комитета литературных и художественных обществ, обратившегося с просьбой разрешить ему сбор средств, проектирование и постановку памятника.⁹ Положиться в осуществлении этого замысла на общественность, которую представлял собою названный комитет, правительство не решилось, в результате чего при Академии наук и появилась еще одна комиссия, возглавляемая ее президентом. Именно эта комиссия, первое время фактически управляемая академиком Н. Ф. Дубровиным, несколько лет спустя выработала свое представление о памятнике великому поэту, в котором должны были сочетаться памятник как скульптурное изображение Пушкина и специальное учреждение, ему посвященное.

Кто впервые высказал мысль о необходимости создания музея или специального учреждения, посвященного Пушкину, сейчас определить невозможно, но несомненно одно: слово это было сказано в связи с юбилеем 1899 года, непосредственно с ним связано, а несколькими годами позже эта идея была включена в общее представление о памятнике поэту и стала предметом обсуждения соответствующей комиссии. В самых общих чертах идея прозвучала в приведенных выше предложениях И. Я. Ростовцева и К. К. Случевского, относящихся к юбилейным дням 1899 года, но это были частные высказывания, хотя и выражавшие широкое общественное мнение.

Важнейшую роль в оформлении замысла Пушкинского Дома сыграла учрежденная 30 сентября 1900 года Комиссия по изданию сочинений Пушкина. Разыскания, произведенные ею в процессе

⁶ Пушкинское собрание, представленное на выставке, оказалось столь значительным, что организаторам пришлось задуматься о научном оформлении его итогов. В том же 1899 году был выпущен в свет составленный Б. Л. Модзалевским «Каталог Пушкинской юбилейной выставки в Императорской Академии наук» (с поздней изданным «Дополнением к каталогу»). Самым же значительным и до сих пор сохраняющим не только художественное, но и научное значение результатом этой выставки является «Альбом Пушкинской юбилейной выставки в Императорской Академии наук», в 1900 году изданный К. А. Фишером под редакцией Л. Н. Майкова и Б. Л. Модзалевского.

⁷ Чествование памяти А. С. Пушкина Императорскою Академией наук в одну годовщину дня его рождения, с. 9.

⁸ Пушкинский Дом при Российской Академии наук. Исторический очерк и путеводитель. Л., 1924, с. 7.

⁹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 6, л. 47.

подготовки академического издания сочинений Пушкина, первые пушкиноведческие исследования, с ним связанные, в значительной степени предопределили необходимость создания специального учреждения, занимающегося изучением пушкинского наследия и литературы его эпохи, каким с 1905 года стал Пушкинский Дом. Тот факт, что Пушкинский Дом, отмечает Н. В. Измайлов, сложился, не дожидаясь «осуществления первоначальной идеи дома-памятника, свидетельствует о настоятельной жизненной потребности в создании этого учреждения. Комиссия по изданию сочинений Пушкина в своей работе столкнулась с многочисленными выдвигающимися самой жизнью научными и практическими задачами, которые выходили за пределы ее компетенции и превышали ее возможности и материального, и штатного порядка. Эти функции принял на себя Пушкинский Дом».¹⁰

Первые практические шаги по осуществлению замысла Пушкинского Дома были сделаны пять-шесть лет спустя. К этому времени скончался управлявший комиссией академик Н. Ф. Дубровин (12 июня 1904). К руководству комиссией пришел новый неперменный секретарь Академии наук академик С. Ф. Ольденбург. В этой должности он был утвержден президентом Академии наук 10 ноября 1904 года.¹¹ В своей статье о первых шагах Пушкинского Дома Е. П. Казанович отмечает, что «с новым управляющим начался и новый период в деятельности комиссии».¹² Действительно, вступив в исполнение обязанностей управляющего комиссией, С. Ф. Ольденбург всемерно поддерживал зародившуюся мысль о создании Пушкинского Дома и с самого начала всячески способствовал воплощению ее в жизнь. Назначение его управляющим делами комиссии во многом способствовало благоприятному решению вопроса об учреждении Пушкинского Дома. Именно с него пришло мысль о памятнике Пушкину была поставлена в связь с предложением о создании специального учреждения, посвященного Пушкину.

К началу 1905 года комиссия уже проделала большую работу.¹³ Была объявлена подписка на памятник и собрано

110 тысяч рублей, выбрано место для установки памятника — на новой набережной (от Троицкого до Самсониевского моста), которую предлагалось назвать Пушкинскою. Однако последнее намерение комиссии осуществлено не было. Городская дума с этим предложением не согласилась и наименовала ее Набережной императора Петра Великого. Таким образом, к началу обсуждения проекта будущего Пушкинского Дома комиссия располагала значительной суммой собранных средств, широкими связями с литературно-театральной общественностью страны, своими вечерами, постановками, концертами способствовавшей пополнению ее денежного фонда. Казалось бы, можно уже было приступить к разработке проекта памятника, но отказ Городской думы установить памятник в избранном комиссией месте и возникшие предложения о своеобразном пушкинском комплексе, представляющем собою посвященное поэту музейно-научное учреждение, объединенное с памятником, приостановили реализацию первоначального замысла, направив деятельность комиссии по новому руслу, приведшему к результатам, при ее организации не предполагавшимся.

Первый практический шаг, повлекший за собою обсуждение проекта, а затем и учреждение Пушкинского Дома, был сделан 7 мая 1905 года. В этот день С. Ф. Ольденбург обратился ко всем членам комиссии с письмом, в котором поставил их в известность, что секретарь Пушкинского Лицейского общества и член Комиссии по изданию сочинений Пушкина П. Е. Рейнбот «возбудил вопрос, не будет ли желательнее соорудить памятник А. С. Пушкину не в виде статуи, а в виде постройки особого музея. В музее этом, которому должно быть присвоено имя Пушкина как родоначальника нашей изящной литературы, будет сосредоточено все, что касается наших выдающихся художников слова, как-то: рукописи, вещи, издания сочинений и т. п.» Так было сформулировано первое предложение о создании будущего Пушкинского Дома, передаваемое на официальное обсуждение.

Обращение С. Ф. Ольденбурга к членам комиссии явилось, видимо, поводом и для постановки вопроса о характере памятника Пушкину в печати. Разделяя мнение П. Е. Рейнбота и размышляя о будущем пушкинском музее, известный литературовед Н. Лернер 14 мая 1905 года писал: «В нем должно быть собрано все, что говорит о Пушкине: его рукописи, книги, вещи, литература о нем, его портреты и проч. Если бы устроился такой музей, да еще соединенный с просветительным учреждением (вроде, например, народного университета), туда, быть может, не пожалели бы отдать свои сокровища и Публичная библиотека, и Московский Румянцевский музей, владеющие рукописями Пушкина,

¹⁰ 50 лет Пушкинского Дома, с. 59.

¹¹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 342, л. 7. Одновременно с назначением С. Ф. Ольденбурга в комиссию был приглашен археолог, историк византийского и древнерусского искусства академик Н. П. Кондаков.

¹² Временник Пушкинского Дома. 1913. СПб., 1914, с. XI.

¹³ Обстоятельства возникновения, состав, характеристика деятельности, финансовое положение комиссии изложены в кратком отчете, подводящем итоги ее работы на 9 февраля 1905 года (ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 342, л. 15—16).

и Академия наук, и Александровский лицей, владеющий небольшим пушкинским собранием, и частные коллекционеры-любители вроде П. Я. Дашкова».¹⁴ Выступления в печати, а также проведенный опрос членов комиссии подтвердили доброжелательное отношение к высказанному предложению и подготовили почву для его обсуждения, которое состоялось 15 декабря 1905 года. На этом заседании «в принципе было решено создание Пушкинского Дома».¹⁵ Эту дату и следует считать днем основания Пушкинского Дома.

Решение о создании Пушкинского Дома сопровождалось обсуждением финансового вопроса: уже тогда было ясно, что на субсидирование этого учреждения со стороны правительства надеяться не приходится. Учитывая это обстоятельство, комиссия на том же заседании постановила «прекратить подписку на памятник, для которого собранная сумма (112 691 р. 78½ к.) могла считаться достаточной, и последующую подписку продолжать уже в целях построения музея», т. е. имеющиеся деньги полностью употребить на памятник, а все вновь собранные ассигновать на строительство учреждаемого музея.¹⁶

Утвердив общую идею будущего учреждения-музея и поручив составление проекта Положения о нем Б. Л. Модзалевскому и В. А. Рышкову, комиссия занялась организацией средств, необходимых для сооружения задуманного пушкинского комплекса. Она «не считала себя вправе ограничивать свою деятельность по сбору пожертвований и по распространению идеи создания Пушкинского Дома только столицами: она считала безусловно необходимым, чтобы в сооружении Дома принимала участие вся Россия. Поэтому в заседании своем 28 февраля 1907 года она признала желательным довести о целях своих до сведения всех заинтересованных лиц и учреждений и с помощью их устроить, по возможности, во всех русских литературных, драматических и музыкальных обществах, собраниях и кружках в годовщины дней рождения и кончины классиков русской литературы спектакли из их произведений или соответственные концерты, чтения и т. п. с обращением дохода от них на усиление средств комиссии».¹⁷ Это принесло некоторые по-

полнения к ранее собранным суммам, но очень скромные. Как свидетельствует Е. П. Казанович, к 1913 году сумма денежных пожертвований возросла до 146 тысяч, что, конечно, не вселяло никаких надежд на сооружение специального здания, да еще в центре Петербурга.¹⁸

15 декабря 1905 года комиссия детализировала некоторые моменты рассматриваемого проекта. Например, она решила, что «единственным безусловно подходящим местом для памятника является угол Каменноостровского проспекта и набережной Петра Великого. Вместе с тем было решено поставить в связь с памятником здание декоративного характера, в котором мог бы поместиться пушкинский музей, библиотека и другие научно-литературные учреждения, относящиеся к пушкинскому и послепушкинскому периоду русской литературы».¹⁹ Однако 5 февраля 1906 года стало известно из газет, что С.-Петербургская городская управа «не нашла возможным согласиться с мнением... относительно предоставления комиссии под постройку памятника и здания декоративного характера принадлежащего городу участка на углу Каменноостровского проспекта и набережной Петра Великого».²⁰ Обращение делопроизводителя комиссии В. А. Рышкова к членам управы результатов, судя по всему, не принесло. Самое первое обращение к замыслу, как свидетельствует газетная информация, внесло в него значительные коррективы, направленные на его расширение. Вместо предложенного музея, посвященного только Пушкину, комиссия учреждает музейно-источниковедческий центр, в котором уже на этом этапе просматривается идея будущего историко-литературного института. Это подтверждает в своих воспоминаниях и Е. П. Казанович, которая отмечает, что в процессе разработки «мысль о Пушкинском музее приняла вид широкой программы целого „Дома имени Пушкина“, — своего рода литературного мавзолея, в котором могли бы храниться реликвии не только Пушкина, но и других деятелей русской словесности XIX века».²¹ М. Д. Беляев идет еще дальше. Он считает, что Пушкинский Дом «воспринял свое бытие в ряду прочих академических учреждений в качестве института истории новой русской литературы».²²

Решение о создании Пушкинского Дома было принято, но пока еще не было четкого представления о его структуре, профиле занятий, перспективах его

¹⁴ Лернер Н. «Дом Пушкина» на Мойке. — Биржевые ведомости, 1905, 14 мая, № 8822.

¹⁵ От высочайше учрежденной Комиссии по постройке памятника А. С. Пушкину в С.-Петербурге (ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 343, л. 280).

¹⁶ Временник Пушкинского Дома. 1913, с. XI.

¹⁷ От высочайше учрежденной Комиссии по постройке памятника А. С. Пушкину в С.-Петербурге (ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 343, л. 280).

¹⁸ Временник Пушкинского Дома. 1913, с. XVII.

¹⁹ Петербургская газета, 1905, 30 декабря, № 332.

²⁰ ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 342, л. 98.

²¹ Временник Пушкинского Дома, 1913, с. XI.

²² Пушкинский Дом при Российской Академии наук. Л., 1924, с. 10—11.

собрательской или научной деятельности. Необходимо было Положение о Пушкинском Доме, строго регламентирующее его права по сравнению с другими научными учреждениями, в том числе академическими, а также устанавливающее его структуру, юридический и финансовый статус. Обсуждение этого Положения состоялось на двух заседаниях комиссии (22 сентября 1906 и 28 февраля 1907 года), проходивших в Мраморном дворце под председательством президента Академии наук и председателя комиссии К. К. Романова.²³ По результатам первого обсуждения в проект были внесены исправления и дополнения, и он был утвержден на заседании 28 февраля 1907 года. На этом заседании присутствовали президент Академии наук К. К. Романов, председатель Союза литературных и художественных обществ П. Н. Исаков, министр народного просвещения П. М. фон Кауфман, академики Н. П. Кондаков, П. В. Никитин, непрременный секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург, секретарь Пушкинского Липейского общества П. Е. Рейнбот, Н. А. Резцов, директор Александровского лицея А. П. Саломон, Н. В. Султанов, управляющий Собственной его императорского величества канцелярии гофмейстер А. С. Танеев, академик А. А. Шахматов, делопроизводитель комиссии В. А. Рышков. Однако в обсуждении проекта — а он обсуждался последним, седьмым вопросом — участие приняли далеко не все члены комиссии. На этом заседании первоначальное название создаваемого учреждения «Дом Пушкина», по предложению А. П. Саломона, было решено изменить на «Пушкинский Дом». Таким образом, существующее и поныне название было произнесено впервые 28 февраля 1907 года и навсегда включено в историю нашей литературной науки по предложению директора Александровского лицея А. П. Саломона.²⁴ Некоторая односторонность обсуждения объясняется тем обстоятельством, что проект в подробностях был обсужден и отредактирован еще в сентябре 1906 года и на этом заседании производилось лишь его официальное утверждение, накануне представления документа в Министерство народного просвещения и в Совет Министров. Эти инстанции приняли Положение о Пушкинском Доме без особых возражений, потому что учреждение Пушкинского Дома не требовало дополнительных финансовых вложений. Это подчеркнул в своем решении министр народного просвещения П. М. фон Кауфман. В постановлении, им подписанном, говорится:

²³ ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 342, л. 205, 339, 341.

²⁴ См. Протокол заседания Комиссии по постройке памятника А. С. Пушкину в С.-Петербурге от 28 февраля 1907 года (ИРЛИ, ф. 244, оп. 29, № 15).

«Усматривая, что действие Положения о Пушкинском Доме не связано ни с какими новыми для казны расходами, а также, что лицам, входящим в состав Совета и Комитета сего учреждения, не испрашивается никаких служебных прав и преимуществ, я не встречаю препятствий к удовлетворению изъясненного ходатайства Его Императорского Высочества и полагая, что учреждением Пушкинского Дома достойно будет почтена память о великом русском поэте, об изложенном имею честь представить на благоусмотрение Совета Министров».²⁵

Утвержденное 14 июля 1907 года Положение о Пушкинском Доме дало основания для разветвления работ по осуществлению намеченных планов, хотя, как будет сказано несколько ниже, работы эти фактически начались задолго до утверждения этого Положения. Для того чтобы четко представить себе цели и задачи Пушкинского Дома, как представляли себе их его учредители, необходимо остановиться на основных пунктах утвержденного Положения, определяющих структуру и задачи Пушкинского Дома, созданного в память великого русского поэта и предназначенного для собирания всего, что касается Пушкина-поэта и Пушкина-человека. Кроме того, здесь предполагалось сосредоточить и хранить все, что связано с жизнью и деятельностью других представителей русской литературы. В последующих пунктах Положения устанавливалось место Пушкинского Дома в Академии наук, система его управления, источники финансирования, порядок избрания почетных членов и членов-сотрудников, а также устанавливался день памяти Пушкина и других русских писателей — 29 января, когда произносились памятные речи и читался годовой отчет Пушкинского Дома. Управление Пушкинским Домом, в соответствии с Положением, сосредоточивалось в двух органах, первый из которых назывался Советом и, находясь под председательством президента Академии наук, по сути дела являлся почетным, второй, именуемый Комитетом и состоящий из председателя, трех членов, ученого секретаря Пушкинского Дома и хранителей его отделений, избирался Советом и должен был управлять Пушкинским Домом.

Таким образом, в Положении достаточно определенно устанавливалась сфера собирательской деятельности Пушкинского Дома (Пушкин и русская классическая литература), определялись его роль и место в академической среде, устанавливались функции и права его руководящих органов. Правда, сразу же следует отметить, что руководящие органы Пушкинского Дома в том виде, в каком они определялись Положением, никогда не формировались. Деятельностью Пушкинского Дома на первоначальном

²⁵ ИРЛИ, ф. 244, оп. 29, № 1.

чальном этапе его существования руководила учредившая его Комиссия по постройке памятника Пушкину в Петербурге в лице ее управляющего С. Ф. Ольденбурга и ее членов Б. Л. Модзалевского и В. А. Рышкова.²⁶

Для дальнейшего устройства Пушкинского Дома Комиссия по постройке памятника Пушкину в Петербурге избрала из своей среды особую подкомиссию. В ее состав вошли академики С. Ф. Ольденбург, А. А. Шахматов, Н. А. Котляревский, а также М. П. Боткин, М. Я. Виллие, П. Н. Исаков, П. Е. Рейнбот, Б. Л. Модзалевский, В. А. Рышков. В одном из своих заседаний эта подкомиссия обсудила вопрос о строительстве здания для Пушкинского Дома, его внешнего и внутреннего облика. Подкомиссия признала желательным, чтобы Пушкинский Дом «в основных чертах представлял собою двухэтажное здание, в стиле Эмпире, длиною по фасаду 48 сажен и шириною 12 сажен. При этом в верхнем этаже должны помещаться 10 зал для коллекций Дома, а в нижнем этаже — один большой зал, предназначенный для публичных заседаний, литературных лекций, собраний и т. п., два зала для выставок, кабинеты для занятий научного персонала и затем службы. Подкомиссия нашла нужным просить профессорско-руководителей Императорской Академии художеств о том, чтобы при задании архитектурных тем для конкурса было предложено разработать проект „Пушкинского Дома“, что и было в свое время исполнено учениками архитектурного отделения Академии художеств».²⁷ Этот проект составлялся, видимо, при участии члена подкомиссии академика живописи М. Я. Виллие и был предложен в качестве конкурсной темы на звание художника-архитектора в 1910 году.

Деятельность созданной подкомиссии продолжалась недолго. Собравшись несколько раз, она фактически прекратила свое существование, полностью уступив свои функции действительно осуществлявшим руководство Пушкинским Домом в то время Н. А. Котляревскому, Б. Л. Модзалевскому и В. А. Рышкову. Это подтверждает и Е. П. Казанович, которая пишет, что на обсуждении проекта постройки Пушкинского Дома «деятельность подкомиссии остановилась.

Остальная же работа, как-то: собрание средств и музейных материалов — продолжала по-прежнему находиться в руках управляющего делами, делопроизводителя В. А. Рышкова и члена комиссии Б. Л. Модзалевского».²⁸

Собирательская деятельность Пушкинского Дома развернулась задолго до его официального утверждения. Еще в юбилейном 1899 году были предприняты первые шаги, направленные на приобретение в собственность Академии наук личной библиотеки Пушкина. Эта библиотека хранилась в сельце Ивановском Бронницкого уезда Московской губернии в имении внука поэта А. А. Пушкина. В апреле 1900 года для осмотра и перевозки библиотеки в Петербург в это имение был командирован Б. Л. Модзалевский. Его поездка принесла самые благоприятные результаты. Вот что пишет по этому поводу сам Б. Л. Модзалевский: «Приехав в сельцо Ивановское в сентябре 1900 г., я встретил со стороны А. А. Пушкина самый радушный прием и полное содействие выполнению моей задачи. Библиотека оказалась в довольно плачевном состоянии: многие книги были попорчены сыростью и мышами, многие были помяты или растрепаны; спешно она была разобрана... уложена в 35 ящиков и отправлена до станции Бронницы на подводах, а затем — по железной дороге. В Петербург книги были доставлены 1-го октября и временно помещены в одной из комнат славянского отделения Библиотеки Академии наук, где и производилось затем постепенное их описание. Таким образом, библиотека Пушкина, свыше 60 лет странствовавшая с места на место и подвергавшаяся всевозможным случайностям, снова, хотя, конечно, и не в полном виде, вернулась в Петербург, — на этот раз уже навсегда».²⁹ Библиотека была привезена в Петербург, но еще не куплена Академией наук. В начале 1905 года переговоры о приобретении ее в собственность Академии наук возобновились. 17 февраля 1905 года внук поэта Александр Александрович Пушкин сообщил С. Ф. Ольденбургу о своем желании продать библиотеку, чтобы она «не перешла бы в частные руки, а была бы приобретена Академией за сумму в восемнадцать тысяч рублей».³⁰ Приобретение этой библиотеки непосредственно связывалось с проектом создания Пушкинского Дома. Об этом свидетельствует сохранившийся черновик письма В. А. Рышкова к графу И. И. Толстому от 23 февраля 1906 года: «Прочное обесечение дальнейшей судьбы библиотеки

²⁶ В 1909 году, уезжая в длительную зарубежную командировку, С. Ф. Ольденбург, очень много сделавший для реализации идеи Пушкинского Дома, сложил с себя обязанности управляющего. На эту должность был назначен академик Нестор Александрович Котляревский, руководивший Пушкинским Домом сначала на правах управляющего делами Комиссии по постройке памятника Пушкину в Петербурге, а потом директора (до самой своей смерти 12 мая 1925 года).

²⁷ Временник Пушкинского Дома. 1913, с. XIV—XV.

²⁸ Там же, с. XV.

²⁹ Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. (Библиографическое описание). — В кн.: Пушкин и его современники. Материалы и исследования, вып. IX—X. СПб., 1910, с. XI—XII.

³⁰ ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 342, л. 96.

не может не представлять живейшего интереса для Императорской Академии наук, особенно ввиду того, что состоящая при ней высочайше учрежденная Комиссия по постройке памятника А. С. Пушкину в С.-Петербурге, в заседании своем 15 декабря минувшего года, решив окончательно вопрос о месте для самого памятника, как вам не безызвестно, пришла к заключению о необходимости поставить в связь с ним здание декоративного характера, в котором мог бы поместиться Пушкинский музей, библиотека и другие научно-литературные учреждения, относящиеся к пушкинскому и послепушкинскому периоду русской литературы. Приобретение библиотеки поэта в собственность музея явилось бы драгоценным для него основанием, вполне достойным великого имени Пушкина».³¹

Переговоры о приобретении библиотеки Пушкина успешно завершились: 21 апреля 1906 года решением правительства были выделены необходимые средства для ее покупки, и библиотека, став собственностью Академии наук, легла в основание Пушкинского Дома, «по сооружении которого и должна войти в его будущие собрания».³² Современники рассматривали этот факт как символ и залог несомненного успеха создаваемого музея. Приобретение библиотеки Пушкина свидетельствовало о том, что еще до утверждения в правительстве Пушкинский Дом получил свое признание и на практике начал осуществлять свои функции.

Придя к управлению делами, Н. А. Котляревский прежде всего «поставил себе задачей... приведение в порядок накопленного его предшественниками имущества».³³ А приводить в порядок уже было что. Помимо библиотеки Пушкина, описание которой к этому времени было закончено Модзалевским, Пушкинский Дом располагал уже значительными фондами, и приток новых поступлений не прекращался. «Еще до высочайшего утверждения Положения, — отмечает Е. П. Казанович, — начали притекать пожертвования, состоявшие — кроме денег — главным образом из бумаг, писем, портретов, рукописей, книг и прочих музейных предметов. Они складывались по мере накопления в ящики, запечатывались и хранились в стенах Академии до более благоприятного времени».³⁴ Достаточно взглянуть на хранящиеся сейчас в рукописном отделе Пушкинского Дома обширные тома, заключающие переписку по комплектованию фондов, чтобы составить представление о количестве вновь поступавших тогда материалов.

Вслед за библиотекой Пушкина стали поступать довольно многочисленные пожертвования от организаций и от частных лиц. Первыми частными пожертвованиями были портрет А. П. Керн и ее скамеечка, на которой сживал Пушкин, подаренные внучкой А. П. Керн А. А. Кулжинской, а также переданные П. П. Гнедичем два портрета поэта и переводчика Н. И. Гнедича (один работы Кипренского). Поток частных пожертвований то усиливаясь, то ослабевая продолжал приносить все новые и новые документы, автографы, портреты, книги в формирующиеся и быстро растущие фонды Пушкинского Дома. Среди лиц, передавших принадлежащие им реликвии Пушкинскому Дому, — писатели и потомки писателей, ученые, художники, государственные деятели. В их списках мы находим знакомые нам имена: А. А. Бахрушина, А. Ф. Кони, А. Ф. Онегина, Н. К. Пиксанова, Н. А. Котляревского, Д. В. Ульянинского, И. Л. Леонтьева-Щеглова, Б. Л. Модзалевского, Н. М. Лисовского, В. Е. Евгеньева-Максимова, В. В. Матэ, Л. Ф. Пантелеева, П. Н. Сакулина и многих других. Свои материалы передали Пушкинскому Дому Литературный фонд, Дирекция императорских театров, Отделение русского языка и словесности Академии наук, Общество Толстовского музея, издательство Брокгауз—Ефрон, ряд московских и петербургских архивов.³⁵ Усиленный приток пожертвований, а также осуществление нескольких крупных покупок вскоре привели к необходимости описания и учета принадлежащих Пушкинскому Дому материалов. Это было сделано Б. Л. Модзалевским, который составил «Список рукописей и некоторых других предметов, принадлежащих Пушкинскому Дому».³⁶ Это был первый опыт количественного подсчета богатств Пушкинского Дома, хотя и не совсем полный: регистрация ограничивалась в основном пожертвованиями, сделанными до 1910 года.

Пушкинский Дом «богатеет каждый день ценными рукописями, — читаем мы в письме Б. Л. Модзалевского к Л. Э. Бухгейму от 14 октября 1915 года, — назову из последних поступлений богатый дар Кони (Кольцов, Никитин, Огарев, Гончаров и пр. и пр.), архив Павлицева, архив Маркович (Марко Вовчка), автографы Пушкина — от барона П. А. Вревского (3) и П. М. Раевского (3), часть архива „Современника“ петербургской

³¹ Там же, л. 100.

³² Модзалевский Б. Л. Указ. соч., с. XV.

³³ Временник Пушкинского Дома. 1913, с. XV.

³⁴ Там же, с. XIV.

³⁵ Списки лиц и учреждений, сделавших пожертвования Пушкинскому Дому с момента его основания до 1914 года, см. в кн.: Временник Пушкинского Дома. 1913, с. XXI; Временник Пушкинского Дома. 1914. Пгр., 1915, с. X.

³⁶ Известия имп. Академии наук, 1911, с. 509—538.

поры и пр. и пр. и пр. — всего не перечтешь».³⁷

Вряд ли возможно дать хотя бы приблизительный перечень всего, что поступило в Пушкинский Дом в первые годы его существования. Впрочем, количественные характеристики фондов Пушкинского Дома в дореволюционный период в воспоминаниях и свидетельствах современников противоречивы и не всегда точны. Например, Е. П. Казанович сообщает, что в 1913 году в фондах Пушкинского Дома было уже свыше тысячи рукописей, около 300 портретов и библиотека, содержащая 25 тысяч томов.³⁸ Более компетентный в этих делах В. Л. Модзалевский в письме к тому же Л. Э. Бухгейму 28 декабря 1916 года приводит несколько иные данные: «Я считаю, что одних рукописей у нас уже тысяч 40—45 (недавно приобрели весь архив Стасюлевича), книг до 20 000, портретов сот до 5, вещей-реликвий до сотни».³⁹ Не пытаясь дать полного представления о богатствах Пушкинского Дома, отметим только, что первые автографы Пушкина поступили сюда в составе библиотеки поэта (1906), рукописных собраний П. А. Ефремова (1908) и П. А. Плетнева (1911). Эти собрания были приобретены Академией наук для Пушкинского Дома, в качестве же пожертвования первый автограф Пушкина поступил в 1911 году. Это было письмо Пушкина к его невесте Н. Н. Гончаровой, переданное сюда В. Б. Бергенсоном. В том же 1911 году несколько пушкинских материалов передала баронесса С. Б. Вревская, которой Пушкинский Дом «вообще обязан многими ценными пожертвованиями».⁴⁰

Для воссоздания истории Пушкинского Дома в дореволюционную пору можно не перечислять отдельные его приобретения или сделанные ему пожертвования, хотя они в своей совокупности составляют существенную часть его сегодняшнего богатства, но нельзя обойти молчанием некоторые эпизоды в его развитии, представляющие собою своеобразные вехи в становлении этого учреждения как научного и культурного центра. История приобретения рукописных и книжных собраний П. А. Ефремова, П. А. Плетнева, А. Ф. Онегина в какой-то мере является историей самого Пушкинского Дома в ту пору.

Основой деятельности Пушкинского Дома первых лет его существования является формирование фондов. Осуществляя эту задачу, Пушкинский Дом вслед за библиотекой Пушкина, которая была приобретена для него Академией наук, вступает в напряженную борьбу за рукописное собрание и библиотеку

известного bibliофила, издателя и пушкиниста члена-корреспондента Академии наук П. А. Ефремова (1830—1907), развернувшуюся в 1907—1908 годы и в конце концов завершившуюся лишь частичным успехом. Библиотека и рукописное собрание П. А. Ефремова в своей полноте и единстве — явление исключительное и замечательное в нашей науке. П. А. Ефремов собрал в своей библиотеке — в ней свыше 20 тысяч томов — все издания всех русских писателей XVIII и XIX веков, альманахи и сборники, начиная с журналов XVIII века, библиографические справочники, журнальные и газетные вырезки, систематизированные и собранные в папки и переплеты. У П. А. Ефремова была не только ценнейшая библиотека, но и большая коллекция портретов русских писателей, в том числе обширная пушкинская иконография, а также собрание автографов, среди которых рукописи произведений и писем Державина, Карамзина, Дмитриева, Милонова, Нелединского-Мелецкого, Каченовского, В. Измайлова, Муравьева-Апостола, И. Котляревского, Дельвига, Жуковского, Грибоедова, Боратынского. Ф. Глинки, Гнедича, Рыльева, Пушкина, Загоскина, Некрасова, Салтыкова-Щедрин и др.

Для рассмотрения и оценки библиотеки П. А. Ефремова была создана авторитетная комиссия, в которую вошли академики А. А. Шахматов, С. Ф. Ольденбург, член-корреспондент Академии наук В. И. Срезневский, а также П. К. Симоны, Б. Л. Модзалевский, И. А. Кубасов. В своем заключении эта комиссия констатировала, что «библиотека Ефремова вполне отвечает целям Пушкинского Дома. По внутреннему своему содержанию она представляет собою богатейшую по составу и неординарную по подбору коллекцию книг; для всякого исследователя по вопросам истории русской словесности и литературы эта библиотека, заключающая в себе книги по всем вопросам указанной области и дающая возможность, не обращаясь к другим библиотекам, изучать и исследовать любую тему, является особенно ценною... Принимая во внимание, что библиотека П. А. Ефремова заключает в себе не менее 20 000 томов, не считая громадного количества брошюр и имея в виду ее выдающееся научное значение, она должна быть оценена в 30 000 рублей, за каковую сумму наследница Ефремова изъявила согласие продать библиотеку для Пушкинского Дома».⁴¹

Комиссия высказала пожелание, чтобы библиотека Ефремова, как и приобретенная уже в 1906 году библиотека А. С. Пушкина, должна храниться в Академии наук. Однако хлопоты, предпринятые комиссией, дали ничтожные ре-

³⁷ ИРЛИ, ф. 611, № 16, л. 14.

³⁸ Временник Пушкинского Дома, 1913, с. XVII.

³⁹ ИРЛИ, ф. 611, № 16, л. 16.

⁴⁰ Пушкинский Дом при Российской Академии наук, с. 14.

⁴¹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 26, № 343, лл. 177, 179.

зультаты. После длительной переписки и проволочек было выделено всего лишь 5000 рублей, да и то тогда, когда эта библиотека как целое уже не существовала. Вдова П. А. Ефремова продала ее за 26 тысяч рублей петербургскому книгопродавцу Фельтену. Это у него на полученные деньги были куплены рукописи русских писателей и «коллекция альманахов начала XIX века, собрания сочинений русских писателей, сочинения по библиографии и истории русской литературы».⁴² Таким образом библиотека П. А. Ефремова оказалась раздробленной, но и та часть, которая поступила в Пушкинский Дом, представляет собою ценнейшее собрание рукописей и книг по истории русской литературы и до сих пор является одной из важнейших частей его рукописного и книжного собрания.

Неудача, постигшая Пушкинский Дом в случае с собранием П. А. Ефремова, не удивительна, потому что вновь созданное учреждение было совершенно лишено материальной поддержки со стороны государства и долгие годы существовало на эпизодические субсидии и частные пожертвования. Только охотники жертвовать находились не часто, да и поиски их были делом ненадежным и сложным. «Не найдете ли среди Ваших московских знакомых, — писал Б. Л. Модзалевский Л. Э. Бухгейму 14 октября 1915 года, — человека, который пожелал бы прийти материально на помощь делу создания Пушкинского Дома? Не сочтите это намеком на Вас: Вы делаете уже хорошее культурное дело, — а не важнее ли и в другом ком-либо благородный огонь любви к нашей литературе, которая уже целый век честно и плодотворно служит русскому просвещению в прямом и лучшем смысле слова. И какая благодарная роль выпала бы такому лицу! Удивляюсь тем, кто, бросая сотни тысяч на ветер, не захочет увековечить свое имя в таком большом и светлом деле».⁴³

Недостаток средств, конечно, сокращал возможности, но не мог остановить притока рукописей, книг, изобразительных материалов в Пушкинский Дом. Его руководители внимательно следили за движением ценнейших собраний внутри страны и за ее пределами. В этой связи следует отметить, что в становлении Пушкинского Дома как хранилища документов по истории русской литературы очень важными стали события, касающиеся пушкинского собрания А. Ф. Онегина в Париже.хлопоты и переговоры о передаче этого собрания Пушкинскому Дому продолжались 20 лет. Начались они в 1907 году, когда министр финансов В. Н. Коковцев, состоявший в то время членом Комиссии по по-

стройке в Петербурге памятника Пушкину, посетил парижский музей А. Ф. Онегина и 9 декабря 1907 года представил доклад о желательности его приобретения для Пушкинского Дома.⁴⁴

Почему Онегинский музей был интересен для Пушкинского Дома и почему мы рассматриваем его приобретение как одно из крупнейших событий дореволюционной истории этого учреждения? Потому, что Онегинский музей должен был составить основу сформировавшегося тогда пушкинского фонда и тем самым стать в центре будущей исследовательской работы, посвященной Пушкину и литературе его эпохи. В составе этого музея были многочисленные рукописи Пушкина, ранее принадлежавшие В. А. Жуковскому и переданные А. Ф. Онегину его сыном Павлом Васильевичем, а также документы, связанные с дуэлью и смертью поэта, с посмертным изданием его стихотворений, с делами опеки над его имуществом и детьми. На этой основе А. Ф. Онегин создал огромный музей, преимущественно пушкинского содержания: рукописи, русские и зарубежные издания Пушкина, многоязычная литература о нем, пушкинская иконография и иллюстрации к его произведениям — все это представляло огромную культурную и научную ценность. Впрочем, пушкинские материалы составляли главное содержание собрания А. Ф. Онегина, но владелец его был тесно и на протяжении многих лет связан с выдающимися представителями русской культуры, а поэтому в его собрании отложился крупный массив документов по истории русской литературы XIX века в целом, среди которых автографы Тургенева, Лермонтова, Гоголя, В. А. Жуковского, Герцена, А. К. Толстого, И. С. Аксакова, Я. П. Полонского и др. В этом же собрании, помимо рукописей и иконографии, сохранялась и часть личной библиотеки В. А. Жуковского (598 томов).

Учитывая ценность собрания Онегина и его значение для русской науки и культуры, Академия наук в 1908 году командировала в Париж для осмотра коллекции и ее предварительного описания Б. Л. Модзалевского, в результате поездки представившего доклад с научной характеристикой коллекции и предложением о ее скорейшем приобретении.⁴⁵ Предварительные переговоры

⁴⁴ Воспоминания В. Н. Коковцева о посещениях Онегина в Париже и о последующих хлопотах по приобретению его музея, написанные в 1920 году, хранятся в архиве А. Ф. Онегина (ИРЛИ, № 29270/ССVIII 12, лл. 62—65). Копию доклада В. Н. Коковцева от 9 декабря 1907 года см. там же (лл. 1—3, 6).

⁴⁵ Описание Пушкинского музея А. Ф. Онегина, сделанное Б. Л. Модзалевским, опубликовано в кн.: Пушкин

⁴² ЛО Архива АН СССР, ф. 150, оп. 1 (1919), № 2, лл. 158—159, 161—163.

⁴³ ИРЛИ, ф. 611, № 16, л. 14.

с А. Ф. Онегиным, протекавшие не без осложнений и проволочек, все же привели в 1909 году к заключению с ним соглашения, по которому Пушкинский Дом получал право собственности на эту коллекцию, но с условием, что она будет передана ему только после смерти А. Ф. Онегина. Пока же коллекция оставалась в Париже, а А. Ф. Онегин должен был пожизненно получать от Академии наук ежегодную пенсию в размере 6000 рублей в год, которая, собственно, предназначалась на пополнение его собрания. Такое соглашение было подписано, условия, в нем поставленные, выполнялись Академией наук, пока военные действия не прервали культурных и научных отношений с Францией. В 1919 году были предприняты шаги по установлению прерванных контактов с А. Ф. Онегиным, и после его смерти коллекция в полном составе в 1927 году поступила в Пушкинский Дом. Таким образом, Пушкинский Дом даже в первые годы своего существования, несмотря на отсутствие штата и финансирования, вел оживленную и энергичную деятельность, концентрируя в своих фондах не крупнейшие истории русской культуры, а получая или стараясь получить крупнейшие в этой области собрания и коллекции. И среди них собрание А. Ф. Онегина с его сложной, порою загадочной и не до конца выясненной историей занимает одно из первых мест.

Одновременно с переговорами, которые Академия наук вела с А. Ф. Онегиным, в Петербурге совершалось другое не менее важное для Пушкинского Дома событие. Речь идет о приобретении книжно-рукописного собрания П. А. Плетнева, поэта и критика, редактора «Современника», находившегося в близких и даже дружеских отношениях с Пушкиным, Гоголем и многими писателями и поэтами из их окружения. Библиотека П. А. Плетнева состояла преимущественно из произведений русских писателей XVIII—XIX веков в различных изданиях, полных, избранных, отдельных, популярных, а также из достаточно полного подбора современных П. А. Плетневу альманахов и журналов. Кроме того, вместе с библиотекой в Пушкинский Дом поступило достаточно большое рукописное собрание, содержащее автографы произведений и писем Пушкина, Гоголя, И. С. Аксакова, П. А. Вяземского, Ф. Глинки, Гончарова, В. А. Жуковского, И. И. Козлова, К. Марье, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, М. М. Стасюлевича, И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, С. П. Шевырева и др. Это были первоклассные материалы для изучения пушкинской эпохи, которая всегда была и остается исторически сформировавшимся центром сначала собирательской, а позд-

нее и научной деятельности Пушкинского Дома.

Названные собрания П. А. Ефремова, А. Ф. Онегина, П. А. Плетнева, конечно, крупнейшие и выдающиеся по своей научной значимости, но далеко не единственные. В это же время в Пушкинский Дом поступают и другие, на первый взгляд не столь значительные коллекции и собрания. Однако и они в своей совокупности представляют огромный научный интерес и играют важнейшую роль в изучении литературной части русского исторического и культурного развития.

В 1914 году С. Б. Вревская передает Пушкинскому Дому библиотеку села Тригорского, книгами которой пользовался Пушкин, часть своей библиотеки (около 1000 томов) дарит академик Н. А. Котляревский, первый директор Пушкинского Дома, сюда же поступает завещанный И. Л. Леонтьевым-Шегловым его архив и библиотека (до 1000 томов), здесь же из отдельных поступлений складывается комплекс пушкинских материалов: рукописи, издания произведений, в том числе с автографами Пушкина, портрет поэта из села Болдино, портреты И. А. Ганнибала, С. Л. Пушкина, единственный известный портрет матери поэта и др.

Собрания, рукописные, иконографические, книжные, складывались довольно быстро. Желая передать историко-литературные материалы в Пушкинский Дом было немало, и число их из года в год увеличивалось. Даже в самые первые годы существования Пушкинского Дома сказывалось отсутствие собственного помещения, а следовательно, и отсутствие необходимых условий для хранения накопленных богатств, их популяризации и научного использования. До 1913 года все размещалось в сундуках и ящиках. Впервые Пушкинский Дом получил собственное помещение — не очень просторное и не очень удобное — в 1913 году, когда ему были предоставлены три небольшие залы и вестибюль в главном здании Академии наук. В них были размещены коллекции Пушкинского Дома и впервые в своей истории он принял посетителей. Это был своего рода первоначальный вариант будущего Литературного музея.⁴⁶ Однако просуществовал он очень недолго. Началась война и устроенные экспозиции пришлось свернуть, а в залах главного здания Академии наук разместился лазарет. Накопленные материалы вновь поместились в ящиках, которые были расстав-

⁴⁶ Создать полное представление об этих выставках сейчас трудно, так как подробные их описания не сохранились. Однако великолепные фотографии вестибюля и всех трех залов содержатся в первом выпуске «Временника Пушкинского Дома. 1913», изданного в 1914 году.

лены по чердаку, под лестницами и в вестибюле главного здания.

Собирание рукописного и изобразительного литературного наследия — это важнейшая сторона деятельности Пушкинского Дома в 1905—1917 годах, но не единственная. Несмотря на отсутствие помещения и тяжелейшие условия существования, в Пушкинском Доме малопомалу начала пробуждаться научная деятельность. И это естественно: накопленные богатства, привлекая внимание ученых, должны были постепенно вводиться в научный оборот, а это в свою очередь требовало их разборки, описания, изучения, публикации. Огромная историко-литературная ценность накопленных материалов наводила на мысль о необходимости развертывания издательской деятельности Пушкинского Дома. Первый шаг в этом отношении был сделан в 1914 году. В январе этого года появился первый «Временник Пушкинского Дома» (на 1913 год). От простого собрания материалов по истории русской литературы Пушкинский Дом перешел к их исследованию. «Временник Пушкинского Дома», подготовленный под руководством Н. А. Котляревского, обозначил собою начало того процесса, который впоследствии, пятнадцатью годами позже, приведет к созданию на основе Пушкинского Дома научно-исследовательского института.

Первоначальный замысел «Временника» сводился к тому, чтобы, как писал Б. Л. Модзалевский, «сделать из него ежегодник, который выходил бы к 29-му января — годовщине смерти Пушкина».⁴⁷ В этом издании предполагалось публиковать «полное научное описание всех рукописей, хранящихся в музее, всего его инвентаря и опись книг, более или менее редких и чем-либо замечательных».⁴⁸ Таким образом, задумывалось повременное издание, достаточно точно отражавшее характер и содержание работы Пушкинского Дома. Именно это издание стало прообразом, хотя и отдаленным, многих последующих, в том числе и существующих ныне серийных изданий.

Издание «Временников» (вышли два выпуска за 1913 и за 1914 годы) осуществлялось без всякой финансовой поддержки. Стремясь к тому, чтобы это издание расположило любителей старины в пользу Пушкинского Дома, — писал Н. А. Котляревский, — я счел нужным придать изданию красивую внешность, хотя и не располагал никакими специальными средствами для его напечатания и оплаты гонорара сотрудников... «Временники» были изданы на сумму, взятую заимообразно со стороны. «Временник 1913 года» был издан в количестве 650 экз., из которых 400 по-

ступило в продажу, 50 экз. дано авторам, а 200 разослано бесплатно разным лицам и учреждениям, делавшим пожертвования в Пушкинский Дом».⁴⁹ Как мы видим, издание «Временников» осуществлялось лишь благодаря энтузиазму людей, беззаветно преданных своему делу, идее Пушкинского Дома, русской литературе. Задача первого «Временника» — познакомить читателя с малоизвестным для него Пушкинским Домом — была выполнена достаточно успешно. Помещенная в первом выпуске статья Е. П. Казанович о Пушкинском Доме давала обстоятельное представление об истории его возникновения, первых шагах и роли в тогдашней русской культуре. Свообразным дополнением к этой статье был помещенный здесь же список лиц и учреждений, сделавших пожертвования Пушкинскому Дому. Научную же часть «Временника» составляло описание архива Н. А. Добролюбова, выполненное В. Княжниним.

Второй выпуск «Временника» (за 1914 год) вышел уже во время войны. Он преследовал те же цели, что и первый: знакомить общественность с Пушкинским Домом и его сокровищами. Эту задачу исполняла здесь работа Б. Л. Модзалевского и Е. П. Казанович, посвященная описанию рукописей, принадлежавших Пушкинскому Дому. Названная работа до сих пор сохраняет свое значение с точки зрения истории науки, давая представление, и достаточно полное, о характере и объеме собраний Пушкинского Дома на первоначальных этапах его истории. Однако второй выпуск «Временника» по своей структуре значительно отличается от первого. В разделе «Приложения» появились уже статьи, представляющие собой публикации материалов Пушкинского Дома, сопроважденные исследованием, т. е. здесь совершен второй шаг от музея к научно-исследовательскому учреждению — переход от простого описания накопленных богатств к тщательному их изучению и публикации. Можно предполагать, что если бы это издание, в первых своих выпусках строго продуманное и четко организованное, продолжалось и дальше, то его структура и содержание еще более были бы усовершенствованы и соотнесены с содержанием и характером Пушкинского Дома. К сожалению, наступила война и издание «Временника» прекратилось, прекратилось навсегда, несмотря на радужные надежды его основателей и руководителей. Попытки возобновить издание «Временника» позднее предпринимались неоднократно. Мысль об издании «нового, 3-го выпуска „Временника“ Дома (первые два выпуска почти уже распроданы), для которого давно подобраны разнообразные и ценные материалы, пришлось пока оставить ввиду

⁴⁷ Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пгр., 1922, с. VII.

⁴⁸ Временник Пушкинского Дома. 1913, с. VI.

⁴⁹ ЛО Архива АН СССР, ф. 150, оп. 1 (1916), № 1, л. 4.

общего неблагоприятного положения книжно-издательского и типографского дела». ⁵⁰ Задуманный в 1919 году, писал Модзалевский, «новый выпуск „Временника“ удалось устроить к изданию при помощи Петербургского отделения Государственного издательства, но к моменту печатания начисто готовых уже листов у Отделения не оказалось бумаги необходимого качества и формата; поэтому, не желая изменять установленного для „Временника“ внешнего вида книги, к которому многочисленные друзья Пушкинского Дома успели уже привыкнуть, решено было выпускаемую ныне книгу работ сотрудников Пушкинского Дома назвать „Сборником“, — в надежде в ближайшее время издать следующий том „Временника“ за пятилетие 1915—1919 гг., с тем, чтобы поместить в нем новые материалы Дома в обработке его сотрудников и друзей, а также краткое описание всех еще не перечисленных в предыдущих выпусках „Временника“ рукописных собраний Дома, до настоящего времени приведенных в порядок и научно описанных, а следовательно, доступных для общественного пользования». ⁵¹ Таким образом, проследить дальнейшую эволюцию «Временника» можно, обратившись к названному Б. Модзалевским «Сборнику Пушкинского Дома на 1923 год» (вышел в свет в 1922 году), который по сути дела является очередным выпуском «Временника», по стечению обстоятельств изданным под другим заглавием. В этой книге мы не найдем ни работ по истории Пушкинского Дома, ни перечней и описаний принадлежащих ему рукописных и изобразительных материалов. Она полностью состоит из исследований-публикаций по истории русской литературы XIX века, представляя собой тип издания, довольно широко распространенный в практике Пушкинского Дома 20-х годов и отдаленно напоминающий возникшее несколько позже «Литературное наследство». ⁵² Впрочем, и два вышедшие до Октябрьской революции «Временника» сыграли свою роль: «Именно благодаря „Временнику“ Пушкинский Дом привлек

на себя большое внимание и число пожертвовавший за два последних года значительно возросло», — отмечал Н. А. Котляревский в докладе управляющего делами Комиссии по постройке памятника А. С. Пушкину в Петербурге. ⁵³ Кроме того, обращаясь к первым издательским опытам Пушкинского Дома, следует отметить их высокие научные качества, информативность и тщательно продуманную структуру изданий. Эти «Временники» заложили традицию описания и публикации рукописей, которая развивалась в Пушкинском Доме на протяжении многих десятилетий, развивается и сейчас.

Империалистическая война наложила свой отпечаток на деятельность Пушкинского Дома. Его издательские начинания были прекращены почти полностью. Однако в 1916 году Н. А. Котляревский, «чтобы укрепить за Пушкинским Домом научное значение... счит возможным приступить... к изданию особого научного сборника, посвященного памяти Ап. Ал. Григорьева». ⁵⁴ Это издание, осуществленное на деньги, полученные в результате бессрочного займа, и вышедшее в свет в 1917 году — последнее издательское предприятие Пушкинского Дома в дореволюционную пору — представляет собою комментированную публикацию произведений и писем А. А. Григорьева, выполненную В. Княжниным. ⁵⁵ Эта книга стала первым опытом в длинной цепи подобных изданий Пушкинского Дома 20—30-х годов, посвященных отдельным писателям. Три книги, созданные в дореволюционную пору, все же сыграли свою положительную роль. Пушкинский Дом стал известен не только узкому кругу литераторов и ученых, но и широким слоям русской интеллигенции. Это способствовало и пополнению его фондов, и получению эпизодической финансовой поддержки, и организации изданий и выставок. Впрочем, что касается выставок, то эта часть деятельности Пушкинского Дома была менее успешной, чем работа по комплектованию фондов или даже по изданию трудов.

Пушкинский Дом жил надеждой на строительство специального здания, где будут размещены его коллекции и где можно будет вести как научную, так и выставочную работу. Однако эти надежды становились все призрачнее и призрачнее, а с началом войны в 1914 году исчезли совсем. Пушкинский Дом со всеми своими богатствами, «ютясь» то в чердачном помещении главного здания Академии, в Конференции Академии, тая свои накапливаемые богатства в ящиках и сундуках, то в вестибюле главного

⁵⁰ Приложение к Отчету о деятельности Отделения русского языка и словесности за 1919 год. Составил действительный член Академии Н. К. Никольский. Пгр., 1921, с. 48.

⁵¹ Сборник Пушкинского Дома на 1923 год, с. VII.

⁵² Позднее предпринимались попытки издать «Временник» на 1915—1922 годы (см.: Отчет о деятельности Российской Академии наук в 1923 году. Л., 1924, с. 112), был подготовлен к печати «Временник» на 1926 год, в план изданий на 1927—1928 годы был включен «Временник» на 1928 год. Все эти издания, будучи полностью или в основной части подготовленными, не были изданы (ЛО Архива АН СССР, ф. 150, оп. 1 (1927), № 8, л. 72).

⁵³ ЛО Архива АН СССР, ф. 150, оп. 1 (1916), № 1, л. 3.

⁵⁴ Там же, л. 5.

⁵⁵ Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. В. Княжнина. Пгр., 1917, 412 с.

здания на лестнице и под лестницей. наконец получил для размещения своих шкафов и коллекций несколько проходных комнат» во втором этаже главного здания Академии наук.⁵⁶ Это произошло в 1913 году. В трех небольших залах и в вестибюле была развернута экспозиция из материалов Пушкинского Дома. Это была первая выставка, первая демонстрация накопленных богатств и реликвий. «Как ни мало удовлетворяло это помещение задачам Пантеона русской литературы, каковым должен являться Пушкинский Дом, однако все же после того, как коллекции его были со вкусом размещены в отведенных для них комнатах, получился ряд уютных уголков, много говорящих уму и сердцу каждого культурного русского человека», — вспоминал свидетель и участник событий М. Д. Беляев.⁵⁷

Наступившая война крайне неблагоприятно отразилась на деятельности Пушкинского Дома. Прежде всего пришлось свернуть выставку и уступить помещение под воинский лазарет, а рукописи, книги, картины снова пришлось уложить в ящики и корзины и поместить под лестницами или на чердаке, где они хранились до 1913 года. А между тем их было уже очень много. В докладе управляющего по постройке памятника А. С. Пушкину в Петрограде Н. А. Котляревский сообщал, что к 1 января 1916 года в библиотеке Пушкинского Дома насчитывалось 30 000 томов, в рукописном отделении 10 000 рукописей. Правда, революционный 1917 год заметно сказался на положении Пушкинского Дома. Достаточно сказать, что еще до наступления Февральской революции был закрыт госпиталь, размещавшийся в главном здании Академии наук, Пушкинскому Дому были возвращены принадлежавшие ему помещения во втором этаже этого здания, а кроме того, для работы сотрудников и для размещения коллекций ему был передан во временное пользование и Большой конференц-зал. Это было весьма кстати, потому что именно в 1917 году существенно изменились условия комплектования фондов. Если раньше Пушкинский Дом пополнялся за счет пожертвований и эпизодических покупок, то сейчас сюда поступают целые собрания, ранее принадлежавшие частным лицам или учреждениям, увеличивается приток целых коллекций или их частей, брошенных прежними владельцами на произвол судьбы или охотно продаваемых в условиях наступившего голода и усилившейся миграции русской интеллигенции, наконец, сюда поступают многочисленные материалы через различные государственные организации, ими располагающие, но не

призванные их собирать, изучать или просто хранить. В это время решилась судьба Пушкинского музея Александровского лицея, обсуждавшаяся еще при рассмотрении Положения о Пушкинском Доме в 1906 году. В полном составе он был передан Пушкинскому Дому. Этот шаг совершался в целях сохранения коллекции, которая могла без надлежащих мер по ее охране пострадать или раствориться совершенно, особенно в пору ликвидации этого учебного заведения. Вот что по этому поводу писал Н. А. Котляревский в Отчете о деятельности Отделения русского языка и словесности за 1917 год: «... ввиду тревожных условий жизни Совет Пушкинского лицеяского общества и Комитет, заведующий Лермонтовским музеем при Николаевском кавалерийском училище, передали все имущество Лицейского Пушкинского музея и Лермонтовского музея на хранение Пушкинскому Дому. Пушкинский Дом счастлив тем, что он мог оказать означенным учреждениям посильное гостеприимство. Часть этих собраний, как и собраний Пушкинского Дома, в октябре месяце были вывезены из Петрограда ввиду начатой тогда общей эвакуации столицы».⁵⁸

Помимо пушкинской и лермонтовской коллекций, Пушкинскому Дому в это время приходилось спасать и приводить в порядок многие, порою очень значительные, рукописные и книжные собрания. Например, архив III Отделения, спасенный усилиями работников Пушкинского Дома в тревожные дни февраля 1917 года. Во время пожара в помещении Штаба корпуса жандармов 27 или 28 февраля сотрудники Пушкинского Дома во главе с Н. А. Котляревским и Б. Л. Модзалевским вынесли бумаги III Отделения из огня и перевезли их в Академию наук, где «сложили сначала на лестнице, а потом перенесли в Большой конференц-зал. Архив пробыл там около пяти лет, и в 1922 году, когда Пушкинский Дом стал готовиться к переезду в собственное здание, был передан по принадлежности в Центральные архивы и вывезен в здание Сената. За эти годы Б. Л. Модзалевским, А. А. Шиловым и А. С. Поляковым были разобраны секретные бумаги III Отделения 1820—30-х годов и из них извлечены важные документы, давшие материал для нескольких изданий».⁵⁹

В трудных условиях, голодные, в неотапливаемых помещениях добровольные сотрудники Пушкинского Дома работали не покладая рук. Осуществлялся процесс спасения русской культуры и передачи

⁵⁸ Котляревский Н. А. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности за 1917 г. Пгр., 1917, с. 16.

⁵⁹ Измайлов Н. В. Воспоминания о Пушкинском Доме. 1918—1928 гг. (ИРЛИ).

⁵⁶ ЛО Архива АН СССР, ф. 150, оп. 1 (1921), № 1, л. 107.

⁵⁷ Пушкинский Дом при Российской Академии наук, с. 16.

наследия ее народу. И в этом великом деле Пушкинский Дом, представляемый и руководимый энтузиастами и учеными-патриотами, был в самых первых рядах. Поэтому мы не удивляемся, читая строки, написанные Б. Л. Модзалевским 25 февраля 1917 года, когда политическая забастовка охватила весь рабочий Петроград и Россия стояла накануне второй буржуазно-демократической революции: «Смешно будет дальнему нашему потомку, если письмо это дойдет до него; в Питере волнения, забастовка трамваев, по улицам патрули и казаки, толпы рабочих и манифестантов, нет хлеба, все злые и мрачные, а я „пою“ о Пушкинском Доме! Вот, скажут, чудак-то был или сумасшедший, или маниак... Мне и самому совестно, да любовь к захватившей меня идее берет

верх даже над не совсем сытым желудком».⁶⁰ Такие люди создавали и возглавляли Пушкинский Дом, и идея Пушкинского Дома была идеей их жизни. Поэтому становится понятным, как это сначала бесомощное учреждение, лишенное всякой поддержки со стороны государства, выжило, сформировалось и стало одним из крупнейших хранилищ литературного наследия русского народа, а несколько позднее и основой для создания единственного в стране научно-исследовательского института, занимающегося изучением русской литературы, ее истории и теории.

⁶⁰ Из письма Б. Л. Модзалевского к Л. Э. Бухгейму от 25 февраля 1917 года (ИРЛИ, ф. 614, № 16, 25).

Л. Е. Косячкова

КАБИНЕТ-БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИКА В. В. ВИНОГРАДОВА В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ

Среди библиотек, переданных в дар Пушкинскому Дому в последнее десятилетие, особое место занимает библиотека выдающегося советского ученого-филолога академика В. В. Виноградова, одинаково плодотворно работавшего как в области языкознания, так и литературоведения. Этим объясняется и многоплановость состава библиотеки, несущей на себе отпечаток личности ученого. Вместе с библиотекой в дар Пушкинскому Дому была передана обстановка рабочего кабинета Виноградова. На основе этих материалов в Пушкинском Доме открыт кабинет-библиотека академика В. В. Виноградова, представляющий собою самостоятельную музейную экспозицию, посвященную творчеству крупнейшего советского ученого-филолога. Кабинет функционирует и как читальный зал, где могут заниматься ученые-филологи разного профиля.

Виктор Владимирович Виноградов начал свою научную деятельность с изучения исторической фонетики русского языка под руководством А. А. Шахматова.¹ В 20-е годы, работая в Государ-

ственном институте истории искусств (ГИИИ), он обращается к исследованию поэтики русской литературы, одновременно продолжая занятия лингвистикой: в эти годы складывается виноградовская концепция частей речи, изложенная на заседании Ленинградского лингвистического общества, руководимого Л. В. Щербой, появляются первые работы по лексикологии и лексикографии, начинаются занятия историей русского литературного языка. После выхода в свет книги «Язык Пушкина» (1935) Виноградов становится признанным пушкинистом. Все эти области филологической науки будут на новом уровне разрабатываться ученым уже в послевоенные годы. Новой для него областью станет славяноведение. Параллельно развивается его общественная и научно-организационная деятельность. С 1950 года В. В. Виноградов — академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР, затем директор Института языкознания, Института русского языка. В. В. Виноградов представлял советскую филологическую науку на международных форумах и конференциях: с 1956 года он председатель Советского комитета славистов, президент, а затем вице-президент Международного комитета славистов. Последние годы научной деятельности Виноградова связаны с Институтом русской ли-

¹ Первой печатной работой Виноградова была статья «О самосожжении у раскольников-старобрядцев (XVII—XX вв.)» (Миссионерский сборник. Рязань, 1917, № 1—2. Приложения, с. 1—16; № 8—9, с. 17—24). Ни исторической фонетикой, ни историей раскола Виноградов никогда больше не занимался, тем не менее эти первые опыты оказали определенное влияние на научный метод Виноградова (см.: Чудаков А. П.

Ранние работы В. В. Виноградова по поэтике русской литературы. — В кн.: Виноградов В. В. Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 467—469).

тературы, где он возглавлял сектор поэтики и стилистики. Памятью о большом ученом, который начал и закончил свой творческий путь в Ленинграде, стал его кабинет-библиотека в Пушкинском Доме.²

По библиофильской терминологии, библиотека Виноградова — это библиотека книголюба (не библиофила), который собирает книги, необходимые ему для работы.³ Действительно, библиотека В. В. Виноградова — это прежде всего рабочая библиотека ученого-филолога. Как правило, здесь можно найти почти все книги, на которые он когда-либо ссылался в своих работах. С другой стороны, многие из этих необходимых книг интересны и с библиофильской точки зрения — книги старые или редкие.

Как же складывалось собрание Виноградова, каковы истоки его библиофильских увлечений?

В 1917 году В. В. Виноградов закончил одновременно два учебных заведения — Археологический и Историко-филологический институты. Среди преподавателей Археологического института, лекции которых Виноградов особенно охотно посещал, следует назвать профессоров Н. П. Лихачева и И. А. Шляпкина — известнейших библиофилов начала века.⁴ Трудно предположить, что библиофильские интересы профессоров не нашли отражения в их лекциях и не оказали влияния на молодого ученого, который, кстати сказать, несколько лет спустя был уже членом Русского библиологического общества. На заседаниях этого общества кроме общей библиографии затрагивались различные проблемы книговедения, в частности вопросы истории, состава, роли и значения библиотек в культурной жизни эпохи. Членами общества в разное время состояли известные библиофилы: В. Я. Адарюков, В. П. Адрианова-Перетц, Б. С. Боднарский, Л. Э. Бухгейм, У. Г. Иваск, Н. П. Лихачев, А. И. Малейн, В. Н. Перетц, Д. В. Ульяновский, И. А. Шляпкин и многие другие. В. В. Виноградов состоял в обществе, по-видимому, с 1920 года: читал

доклады, публиковал первые статьи и рецензии.

По воспоминаниям Н. М. Малышевой-Виноградовой, в 1930 году библиотека Виноградова в Москве насчитывала примерно 1000 томов. В эти годы, занимаясь изучением Пушкина, Виноградов сближается с известным московским библиофилом пушкинистом М. А. Цявловским, хорошо знаком с другим библиофилом — философом Г. Г. Шпетом. Вышедшая в 1934 году книга Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» содержит ссылки на многие издания XVIII века, которые к тому времени, возможно, были в библиотеке ученого.

Во время войны библиотеку сохранить не удалось: «Дом не топился, батареи лопнули, и книги оказались залитыми водой. Часть из них превратилась в „кирпичи“ и погибла». ⁵ Некоторые отделы восстанавливались уже в послевоенные годы. В целом книжное собрание Виноградова сложилось к концу 60-х годов. В настоящее время библиотека насчитывает более 10 тыс. томов.

Самый большой отдел библиотеки — лингвистический (около 4-х тыс. томов). Здесь превосходное собрание словарей, в том числе словари XVII—XIX веков, учебные книги по грамматике XVII—XIX веков, общие работы по русскому языку, грамматике, фонетике, лексикологии, лексикографии, морфологии, синтаксису, истории русского языка, исторической грамматике; труды по общему языкознанию, отдельные работы крупнейших русских и зарубежных лингвистов. Большое место занимает славистика, работы по германской, романской филологии, востоковедению.

Один из наиболее интересных отделов библиотеки — книги кирилловской и гражданской печати XVIII века (в том числе книги петровского времени, журналистика XVIII века).

В работах по истории литературного языка, в исследованиях стиля и языка отдельных писателей Виноградов часто использовал мемуарную литературу (воспоминания, записки, дневники), наиболее достоверно передающую живую речь эпохи. Это обстоятельство, по-видимому, и обусловило появление в библиотеке небольшого, но важного для работы отдела.

Особо в библиотеке выделены книги по русской истории и культуре, среди них — труды по истории раскола, изучением которого Виноградов занимался в студенческие годы.

⁵ Из письма Н. М. Малышевой-Виноградовой автору настоящей статьи от 19 декабря 1977 года. Мы пользуемся возможностью выразить признательность всем, кто помог нам советом и поддержкой в ходе работы над статьей, и прежде всего — Н. М. Малышевой-Виноградовой, большому другу Пушкинского Дома.

² Кабинет-библиотека академика Виноградова был торжественно открыт 15 ноября 1971 года. См. об этом: Сандомирская В. Б. Открытие мемориального кабинета-библиотеки академика В. В. Виноградова. — Русская литература, 1972, № 2, с. 257—258.

³ О различении этих терминов см.: Берков П. Н. О людях и книгах. М., 1965, с. 9—26; Сидоров А. А. Друг книги — советский библиофил. — В кн.: Берков П. Н. История советского библиофильства (1917—1967). М., 1971, с. 6—8.

⁴ Интересные сведения об этих библиофилах можно найти в кн.: Берков П. Н. Русские книголюбцы. Очерки. М.—Л., 1967, с. 267—285.

В те же годы, по-видимому, начал складываться древнерусский отдел библиотеки: занятия в Археологическом и Историко-филологическом институтах требовали изучения древнерусских текстов. Позднее содержание этого отдела значительно расширилось, и он продолжал пополняться до последних дней жизни ученого. Помимо памятников древнерусской литературы в этом отделе содержится многочисленная литература, посвященная истории и литературе русского средневековья, в том числе известные серийные издания, среди которых отдельные тома «Известий отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», «Летописи русской литературы и древности», «Труды Отдела древнерусской литературы» (Институт русской литературы АН СССР) и др. Здесь же собрано тринадцать изданий «Слова о полку Игореве» (среди них первое — 1800 года) и более тридцати работ, посвященных вопросам изучения этого памятника.

Около 2-х тыс. томов насчитывают издания текстов русских писателей XVIII, XIX веков (среди них много дореволюционных изданий, авторитетные советские издания).

В отделе литературоведения наиболее разносторонне представлена пушкиниана. С пушкиноведческой деятельностью В. В. Виноградова, его работами о натуральной школе связано небольшое собрание альманахов и сборников первой половины XIX века.

Отдел, где собраны книги по теории литературы, поэтике, стилистике (многие с автографами), отражает многолетние занятия Виноградова в этих областях нашей литературной науки.

Не имея возможности в журнальной статье дать широкое и полное представление о содержании и характере библиотеки, мы остановимся лишь на основных ее разделах: это издания XVIII века, собрание словарей и учебных книг по грамматике, пушкиноведение, книги по теории литературы.

По ряду причин нам пришлось отказаться от традиционной формы описания библиотеки. Библиотека В. В. Виноградова еще не имеет каталога — именно поэтому мы старались максимально учесть наиболее интересные и редкие издания. Другая особенность библиотеки — ее подчиненность научным занятиям владельца — сделала необходимым приблизить наше описание к работе Виноградова-ученого.

Издания XVIII века во многом определяют характер библиотеки В. В. Виноградова.⁶ Здесь соединились его научные интересы и библиофильские при-

страстия. На протяжении многих лет ученый черпал в своей библиотеке материал для занятий историей русского литературного языка и лексикологией. По-видимому, первые книжные покупки в этой области были сделаны еще в 20-е годы, когда В. В. Виноградов читал курс лекций по истории русского литературного языка в Ленинградском университете и работал над «Очерками по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.». Книга вышла в 1934 году и содержит огромное количество примеров из первоисточников, в частности из изданий XVIII века.⁷ Особенно интенсивно собрание пополнялось в послевоенные годы, давая новый материал для научных изысканий.

Петровская эпоха государственного переустройства России характеризуется усилением роли и влияния делового языка и стиля. Книги петровского времени — это государственные акты, уставы, книги политического содержания, учебные, военные. Такого рода издания, в составлении и редактировании которых, как правило, принимал участие Петр I, носили отпечаток образцового стиля «посольского приказу». Примером таких изданий в библиотеке Виноградова является «Книга Устав воинских» (1719), куда кроме собственно Устава вошли «Артикул воинский» и «Экзерциции», а также «Регламент о управлении Адмиралтейства и Верфи...» (изд. 4-е, 1740), в значительной части составленный Петром I. Отражением внешней политики русского государства явились сочинение П. П. Шафирова «Рассуждение, какие законные причины е. ц. в. Петр первый к начатию войны против короля Карола 12 шведского имел» (в библиотеке изд. 3-е, 1722)⁸ и «Мемориал Аглинскому двору 1719 году» (1720). Важнейшим актом внутренней политики Петра, в частности его отношений с церковью, стал «Духовный регламент» Феофана Прокоповича, представленный в библиотеке пятым изданием, осуществленным в 1749 году.

Контакты с Западной Европой сказываются в усилении переводческой деятельности, которая в свою очередь стимулирует развитие русского литературного языка. Так, по инициативе Петра I были переведены и напечатаны имеющиеся в библиотеке Виноградова книги С. Пуфендорфа «Введение в историю

XVII века, в том числе «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647) — первое светское издание кирилловской печати.

⁷ В дальнейшем ссылки будут даваться по второму, более полному изданию: Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938 (сокращенно: Очерки).

⁸ В сочинении Шафирова Петр выступил в качестве соавтора.

европейскую» (1718, пер. С. Рагузинского) и «О должности человека и гражданина» (1726, пер. И. Кречетовского), а также «Книга историография початия имени, славы и расширения народа славянского» Мауро Орбини (с итальянского, 1722). Из книг по военному делу — очень популярных в петровскую эпоху — у В. В. Виноградова можно найти книгу С. Вобана «Истинный способ укрепления городов» в переводе В. Суворова (1724).

Большую роль в эту пору играют учебные издания, среди которых много переводных. Одним из первых учебных изданий петровского времени была «Арифметика» Л. Магницкого (1703), напечатанная кириллицей.⁹ С точки зрения языка представляет интерес «Букварь» Ф. Полликарпова (1701) и переделка грамматик М. Смотрицкого Ф. Максимовым (1723), еще отражающие устаревшую церковнославянскую традицию. Среди переводных учебников — «География генеральная» Б. Варения (1718, пер. Ф. Полликарпова),¹⁰ «Земноводного круга краткое описание» И. Гюбнера (1719, ред. Я. В. Брюса), первый русский письменник «Приклады, како пишутся комплименты» (изд. 2-е, 1725) — пример стиля переписки, из которой «исчезают выражения челобития, восточные формулы гиперболических уподоблений и восхвалений собеседника...»¹¹ Так же как и «История о ординах или чинах воинских...» (1710), письменник служил потребностям светского этикета.

В истории русского литературного языка второй половины XVIII века переводы с иностранных языков не теряют своего значения, особое распространение приобретают переводы с французского. Именно переводная литература XVIII века и делает собрание Виноградова понастоящему оригинальным. В числе переводных книг с середины XVIII века появляются философские сочинения. Так, в библиотеке Виноградова находим «Разговоръ о множестве миров» Фонтенеля в пер. А. Д. Кантемира (1761), «Опыты» Монтеня в пер. С. С. Волчкова (1762); переводятся французские просветители — у Виноградова это «Персидские письма» Монтескье (1792), сочинения Вольтера (среди них — «Кандид», 1779, «Сатирический дух г. Волтера», 1789, «Аллегориче-

ские, философические и критические сочинения», 1784, и др.), книги Мерсье «Таков ныне свет. Нравоучительная сказка» (1784), «Философ, живущий у хлебного рынку» в пер. И. И. Дмитриева (1792), повести Мармонтеля (1794) и др.

Активно переводятся классики античности: в библиотеке Виноградова можно найти «Илиаду» Гомера в пер. Е. Кострова (1787), «Георгики» Вергилия в пер. В. Рубана (1777), «Энеиду» Вергилия в пер. В. П. Петрова (1770). В связи с нарождающимся сентиментализмом большое значение приобретают переводы Юнга («Бытие разумное, или Нравственное воззрение на достоинство жизни», 1787), Ослана («Оссиан, сын фингалов, бард третьего века...», 1792),¹² Руссо («Эмиль и София, или Хорошо воспитанные любовники», 1779, «Исповедание», 1797), Стерна («Стерново путешествие по Франции и Италии...», 1793), Прево («Приключения маркиза Г... или Жизнь благородного человека, оставившего свет» — ч. 2, 1756 и ч. 1, 2, 7, 8, 1780—1790), гетевского «Вертера» («Страсти молодого Вертера», 1781) и др. С французского переводятся и английские авторы, среди них следует отметить издание «Утопии» Т. Мора 1790 года («Философа Рафаила Гитлоде странствование в новом свете...») и книгу А. Попа «Опыт о человеке господина Попе» (1757).

В библиотеке Виноградова мы выделили подборку книг, переведенных известным переводчиком С. С. Волчковым. Бывший секретарь и переводчик Академии наук, а затем директор сенатской типографии, Волчков переводит произведения, относящиеся к самым разным областям знаний: здесь исторические сочинения — «Житие и дела Марка Аврелия Антония...» (1740), «Введение в генеральную историю» Кураса Гильмара (1747), использовавшиеся как учебные пособия, книги по экономике (Флорина экономика, изд. 4-е, 1786) и этикету, среди них следует назвать такие издания, как «Книга: Язык» Лорана Борделона 1761 года (перевод ее был сделан Волчковым в 1742 году и до 1761 года распространялся в списках), «Светская школа, или Отеческое наставление сыну о обхождении в свете» (1761) Э. Ленобля. Сюда же примыкает перевод с французского «Грациан Придворный человек» (1742). В 1762 году выходит перевод «Опытов» Монтеня — первый перевод сочинений французского мыслителя в дореволюционной России.

Большое место в библиотеке В. В. Виноградова занимает литература специальная (куда входят и учебные пособия) — оригинальная и переводная. В. В. Виноградова она могла интересовать с точки зрения истории формирования терминологической лексики. Это и «Краткое ма-

⁹ В библиотеке Виноградова есть и другие издания XVIII века кириллицей, напечатанные главным образом в монастырских типографиях: «Печерский патерик» (1762), «Феатрон, или Позор нравоучительный...» Иоанна Максимовича (1708), «Феатрон, или Позор исторический» в пер. Г. Бужинского (1724), «Акафист святой великомученице Варваре» (1756).

¹⁰ По приказу Петра Ф. Полликарпов переписывал перевод, заменяя славянские выражения русскими.

¹¹ Очерки, с. 5—6.

¹² Этот перевод, осуществленный Е. Костровым, ценился современниками.

тематическое изъяснение землемерия межвого» Дм. Цицианова (1757), «Опыт российской географии» Ф.-Г. Дильгея (1771), «Древняя российская гидрография...» в изд. Н. Новикова (1773), «Собрание русских достоверных химических книг...» (1787), «О заводе конском» В. фон Адлерсфлюгеля (1787), «Словарь юридический...» Ф. Лангана (1788), «Новой и совершенной расчетистой картежной игрок» (1791), поваренные, хозяйственные книги и др. В особые разделы выделены книги исторические, философские, дающие интересные образцы среднего стиля, осложненного церковнославянскими (важность предмета требовала и важности изложения). С другой стороны, жанр путешествия требовал простого слога — здесь ощутимо влияние делового языка (наиболее рельефно это проявилось в «Описании земли Камчатки» Ст. Крашенинникова, 1755, в «Дневных записках путешествия... Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства» (1771—1772)).

Издания русских писателей XVIII века тоже были предметом собирательства Виноградова, тем не менее они не могут дать полного представления о русской литературе этой эпохи: многие имена находим в изданиях более поздних — XIX, XX веков. Наибольшей полнотой и разнообразием отличаются подборки сочинений В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Н. М. Карамзина.¹³

Среди сочинений Тредиаковского в библиотеке Виноградова особое место занимают переводы — романов П. Тальмана «Езда в остров любви» (изд. 2-е, 1778) и Д. Баркляя «Аргенида» (1751), «Римской истории» Роллена (т. 1—16, 1761—1767) и др. Есть и единственное прижизненное издание сочинений Тредиаковского 1752 года, известная книга «Три рассуждения о трех главных древностях российских» (1773). Сочинения Ломоносова представлены первым прижизненным изданием 1751 года, предпринятым по инициативе автора (кн. 1), и изданием 1768 года (кн. 2), первым изданием «Русской грамматики» (1755) и «Риторикой» (собр. соч. 1794 года). Очень разнообразна подборка сочинений Сумарокова. Здесь и первые издания его трагедий — «Дмитрия Самозванца», «Семиры», «Выпеслава», «Ярополка и Димизы», издание притч 1762—1769 годов, сочинения в новиковском издании

¹³ Преимущественное внимание к этим авторам, вероятно, можно связать с виноградовской концепцией истории русского литературного языка: с точки зрения Виноградова именно Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков и Карамзин определили пути развития русского литературного языка допетровской поры. Вопросы творчества Ломоносова, Карамзина посвящены отдельные работы Виноградова.

1787 года. Деятельность Карамзина — литератора и издателя — нашла свое отражение в первом отдельном издании «Писем русского путешественника» (1797—1801), в прижизненном издании сочинений 1820 года, в карамзинских журналах. Многие сочинения Карамзина можно найти в более поздних изданиях.

На XVIII век падает становление и расцвет отечественной журналистики.¹⁴ Собрание В. В. Виноградова включает в себя газету «Московские ведомости» за 1759-й и 1797 год (с № 44 по № 105) (жанр этот в значительной степени ориентировался на деловой язык) — и большое количество журналов, дающих материал по истории литературы, истории русского литературного языка и даже по истории языкознания.

Здесь прежде всего следует назвать два академических журнала — «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» за 1755—1757 и 1759—1762 годы и «Академические известия» за 1779, 1780 (I—V, IX—XII), 1781 годы,¹⁵ представляющие тип научно-популярного журнала с интересным научным отделом (это в значительной мере определяло стилистику статей, их язык). Один из первых частных русских журналов — «Трудолюбивая пчела» Сумарокова (у Виноградова изд. 2-е, 1780), дополняет творческое лицо издателя — известного поэта XVIII столетия. Журнал «Свободные часы» за 1763 год (издатель — М. Херасков) публиковал произведения членов литературного кружка Хераскова.¹⁶

Разнообразно собрание сатирических журналов XVIII века, язык которых был максимально приближен к разговорному языку. Здесь есть все четыре новиковских журнала: «Трутень» за 1769 год, «Пустомеля» за 1770 год (у Виноградова в издании А. Афанасьева за 1858 год), «Живописец» (изд. 5-е, 1793), «Кошелек» за 1774 год,¹⁷ острый злободневный журнал Ф. Эмина «Адская почта» (изд. 1788 года; журнал персональный: Эмин — его единственный автор),¹⁸ сатирические журналы Чулкова — «И то и се» за

¹⁴ Виноградовское собрание журналов сложилось, по-видимому, уже после войны: в «Очерках» ссылок на эти журналы почти нет (исключение — «Трутень» и «Живописец»).

¹⁵ В этом журнале была опубликована статья В. Светова «Некоторые общие примечания о языке российском».

¹⁶ Следует отметить напечатанную в журнале статью «О московском наречии».

¹⁷ В своих журналах Новиков развернул борьбу с галломанией. Этой цели служили сатирические «Статьи из русского словаря» в «Трутне» и «Опыт модного словаря щегольского наречия» в «Живописце».

¹⁸ В библиотеке Виноградова можно найти целую подборку сочинений Ф. Эмина.

1769 год и «Парнасский щепетильник» за 1770 год с публикациями фольклорного материала.

Особое внимание к переводам, к их языку обусловило появление в библиотеке В. В. Виноградова ряда журналов XVIII века, которые публикуют переводы или даже специализируются на переводах. Это журнал И. Г. Рейхеля «Собрание лучших сочинений» (1762), «Полезное с приятным» (1769), журналы В. Рубана «Трудолюбивый муравей» (1771)¹⁹ и «Старина и новизна» (у Виноградова ч. I за 1772 год). Рядом с ними один из самых известных журналов второй половины XVIII века — «Собеседник любителей российского слова...» (1783—1784), знаменитый своей публикацией «Вопросов» Фонвизина и «Ответов» Екатерины II, первый русский театральный журнал «Российский Феатр» (ч. 2—38, 40—43 за 1786—1794 годы). Среди изданий последней четверти XVIII века в библиотеке В. В. Виноградова два журнала Новикова: журнал «Московское ежемесячное издание» за 1781 год (сыграл огромную роль в стилистическом оформлении сентиментализма) и первый русский детский журнал «Детское чтение...» (ч. 1—2 за 1785 год), отличавшийся простым и доступным языком, понятным маленькому читателю; «Санкт-Петербургский журнал» (издатели И. П. Пнин и А. Ф. Бестужев) за 1798 год (специализировался на статьях философского, политического, экономического содержания); один из лучших литературных журналов — «Московский журнал» Карамзина (1791—1792), где впервые были опубликованы «Письма русского путешественника». После закрытия «Московского журнала» Карамзин издает альманах «Аглия» (изд. 2-е за 1796 год), который по традиции считается первым русским альманахом, хотя существовали и более ранние образцы этого жанра.

В библиотеке Виноградова есть и малоизвестные литературные журналы XVIII века — «Лекарство от скуки и забот» за 1786 год, «Приятное и полезное препровождение времени» (ч. 10 за 1796 год), «Ишпокрена» за 1799 год и др. Издатели этих журналов публиковали оригинальные сочинения и переводы иностранных авторов. Среди книг Виноградова можно найти редкие переводные сборники XVIII века: «Товарищ разумный и замысловатый...» (1764) — пер. с французского П. Семенова, «Забавный философ...» (1766) — пер. с английского Л. Сячкарева, «Подарок прекрасному полу...» (1793) — пер. с немецкого А. Печенегова.

Виноградовское собрание книг XVIII века может не удовлетворить взыскательный вкус многих библиофилов. В нем есть явные и существенные проблемы, оно неоднородно по составу — здесь

¹⁹ Здесь отметим статью Люборусова по вопросам словообразования.

в равной степени присутствует художественная, научная, публицистическая литература. Тем не менее собрание это в полной мере отражает научный метод Виноградова, всегда стремившегося к максимальному охвату самого разнообразного, подчас противоречивого языкового материала. В работах Виноградова «важнейшие теоретические положения и обобщения... оказываются „захлестнутыми“ огромными массивами живых, новых материалов и богатых иллюстраций».²⁰ Этот «богатый» и «живой» материал ученый находил и в собрании книг XVIII века.

В лингвистическом отделе библиотеки В. В. Виноградова центральное место занимает собрание словарей (около 600 экземпляров) — собрание поистине уникальное. Очень полно и разносторонне представлена русская лексикография XVII—XX веков — словари многоязычные, толковые (среди них словари синонимов, этимологические, диалектологические, орфографические, фразеологические, иностранных слов, специальные и др.). Гораздо в меньшем объеме, но разнообразно представлена лексикография французская, немецкая, славянская.

В 1941 году В. В. Виноградов опубликовал статью «Толковые словари русского языка» — один из немногих опытов истории русской лексикографии. По-видимому, уже тогда он мог отчасти пользоваться своим собранием. В настоящее время почти все упомянутые в статье словари можно найти в библиотеке ученого. Собрание этих словарей, дававших богатейший материал для занятий лексикологией, лексикографией, историей русского литературного языка, для исследования языка и стиля русских писателей и др., стало делом его жизни. На некоторых словарях XVII—XVIII веков из библиотеки Виноградова нам бы хотелось остановиться более подробно.

«Лексикон славеноросский и имен толкование» Памвы Берынды (у Виноградова изд. 2-е, 1653) давал толкование 6982 слов. Словарь существенно повлиял на лексикографическую практику XVIII века, в частности на словарь Ф. Поликарпова «Лексикон трезязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище» (1704). Словарь Ф. Поликарпова был связан с практикой школьного преподавания в начале XVIII века, когда наиболее распространенными были языки классические.²¹

Тесные контакты с Западной Европой, потребность в усвоении специальной терминологии, в выработке собственной по-

²⁰ Шведова Н. Грамматические труды академика Виктора Владимировича Виноградова. — В кн.: Виноградов В. В. Избр. труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975, с. 6.

²¹ Сам Поликарпов был учеником братьев Лихуд.

влекли за собой появление множества многоязычных словарей. Наиболее значительные из них — «Книга лексикон, или Собрание речей по алфавиту с российского на голландский язык» (1717); «Немецко-латинский и русский лексикон» (1731), так называемый Вейсманов словарь. Усиление французского влияния в конце XVIII века отражают параллельные русско-французские словари. Интересен, в частности, «Французский целлариус, или Полезный лексикон... с приложением реестра по алфавиту российских слов» (1782), «Полный французский и российский лексикон с последнего издания лексикона Французской Академии на российский язык переведенный» (1798).

Лексикографическая практика XVIII века теснейшим образом связана с деятельностью переводчиков. Многие из них прикладывали к своим переводам «справочно-толковые словарики». Разнообразные примеры таких словарей-приложений находим и в библиотеке Виноградова. Это словарь при книге С. Вобана «Истинный способ укрепления городов» (пер. В. Суворова), «Реестр памятуемых речений», составленный, по-видимому, переводчиком Г. Бужинским к книге С. Пуфендорфа «О должности человека и гражданина», примечания Кантемира к переводу «Разговора о множестве миров» Фонтенеля и др. Такие словарики прилагались не только к переводам: общеизвестен словарь, помещенный в чулковском журнале «И то и се», словарь в «Письмовнике» Н. Курганова, «Опыт российского сословника» Фонвизина, напечатанный в «Собеседнике любителей российского слова».²²

В библиотеке Виноградова представлен и первый собственно толковый русский словарь — «Словарь Академии Российской» (1789—1794), который явился своеобразным итогом развития лексикографии XVIII века.

Большое место в собрании занимает лексикография XIX века. Здесь и «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847), известный словарь иностранных слов Н. М. Яновского (1803—1806), этимологические словари Ф. Рейфа (1835—1836) и Ф. Шпмкевича (1842), словарь синонимов П. Калайдовича (1818), все три издания словаря В. Даля, словари А. Х. Востокова (1858—1861), И. И. Срезневского (1866—1868), Я. К. Грота (1895) и др.

Очень полно представлена лексикография XX века, особенно советский период. Значение собрания неоспоримо. На его материале возможны еще очень многие работы в самых разных областях лингвистической науки, в определенном смысле оно представляет интерес и для литературоведа, занимающегося, например,

²² Словарь Фонвизина был первым русским словарем синонимов.

вопросами стилистики, языка писателя и др.

В лингвистическом отделе библиотеки особо выделено собрание старых русских учебников — грамматик и букварей XVII, XVIII, первой половины XIX века. При изучении истории русского литературного языка это единственный источник, наряду со словарями, фиксирующий нормы грамматического употребления. Этим материалом и пользуется Виноградов, например в «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.».

Виноградовское собрание учебных книг представляет интерес и с точки зрения истории языкознания в России: в XVII—XVIII веках учебные грамматики в значительной мере заменяли научную лингвистическую литературу.

Наиболее старая и ценная книга в этой коллекции — московское издание грамматики М. Смотрицкого 1648 года. Московское издание было очень популярным, и все последующие переделки грамматики Смотрицкого, как правило, восходили к нему. Одной из таких переделок была грамматика Ф. Максимова 1723 года,²³ о которой Виноградов пишет в «Очерках»: «Федор Максимов решительно призывает к литературной канонизации просторечия».²⁴

Первой полной грамматикой русского языка была грамматика Ломоносова (у Виноградова первое издание 1755 года). При написании своего труда Ломоносов пользовался грамматикой Смотрицкого и ее переделкой Ададунова, но принцип подбора грамматического материала и его систематизация носили новаторский характер. Труд Ломоносова наметил перелом в развитии языкознания в России и стал тем ориентиром, на который равнялись филологи в составлении своих грамматик вплоть до 30-х годов XIX века. Грамматика Ломоносова была не только важным научным трудом, но и учебным пособием: только в XVIII веке она переиздавалась шесть раз.

Из других грамматик XVIII века в библиотеке Виноградова назовем популярную грамматику Н. Курганова в составе «Письмовника» (1777),²⁵ «Начальные ос-

²³ В 1731 году в составе Вейсманова словаря была напечатана (на немецком языке) еще одна переделка грамматики Смотрицкого в применении к русскому языку, ее автор — В. Е. Ададунов. В экземпляре словаря из библиотеки Виноградова этой грамматики нет.

²⁴ Очерки, с. 73.

²⁵ В библиотеке есть еще два издания «Письмовника» 1788 и 1796 годов. Кургановский письмовник не был собственно письмовником, т. е. собранием образцовых писем. В библиотеке Виноградова есть издания такого рода, составившие маленькое собрание: уже упомянутые «Приклады, како пишуся complimente»

нования Роспейской грамматики...» П. Соколова (изд. 4-е, 1806). Лингвистическая терминология в это время только формируется, но уже стремится к определенному единству. С этой точки зрения некоторый материал дают переводные грамматики: «Немецкая грамматика...» (1745), «Краткая немецкая грамматика...» в переводе М. Агентов (1762) и «Новая итальянская грамматика» в переводе Е. Булатникова (изд. 2-е, 1774), считавшаяся классической в московской университетской гимназии.

Самым старым букварем в библиотеке Виноградова условно (ибо это старообразчатая перепечатка XIX века) мы считаем букварь В. Ф. Бурдова (изд. 2-е, 1637). Букварь Бурдова был повторением знаменитого виленского букваря 1621 года с добавлением послесловия.

Одно из первых учебных пособий петровского времени — букварь Ф. Поликарпова (1701), известного русского переводчика и лексикографа.²⁶ На составе и содержании букваря сказались греко-латинское воспитание автора, который «смотрел подозрительным оком на то, что напоминало запад»,²⁷ и поэтому многое заимствовал из старинных букварей. К букварю приложен русско-греческо-латинский словарь «Краткое собрание имен по главицам расположенное тремя диалектами».

Учебные пособия первой четверти XIX века в гораздо меньшей степени представляют русское языкознание, тем не менее и здесь можно проследить путь, который проделала лингвистическая наука в России. В 1802 году вышла «Российская грамматика» в издании Академии наук (составители И. И. Красовский, П. И. и Д. М. Соколовы), описательная грамматика школьного типа. Разнообразные примеры из этой грамматики Виноградов использовал в своих «Очерках». В его библиотеке мы найдем и «Грамматику славянскую» И. Пенинского (изд. 3-е, 1827), посвященную А. С. Шишкову, очень популярную в свое время «Практическую грамматику» Н. И. Греча (1834), отличавшуюся подробным описанием

(1725), «Письмовник, содержащий разные письма, прошения, записки...» (1789), «Кабинетский и купеческий секретарь, или Собрание наилучших и употребительных писем. Ч. 1—3» И. Сокольского (изд. 2-е, 1795), «Новейший полный письмовник, или Всеобщий секретарь...» (1820), «Образцовый письмовник, или Хрестоматия писем» (1845), «Полный всеобщий письмовник, примененный ко всем классам общества...» Н. Иванова (1853).

²⁶ В 1721 году Ф. Поликарпов издал свою перепечатку грамматики Смотрицкого, снабдив ее предисловием и сделав незначительные изменения в тексте.

²⁷ Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом, т. I. СПб., 1862, с. 175.

грамматических явлений, обилием примеров.

Новым, значительным этапом в развитии русского языкознания XIX века стала грамматика А. Х. Востокова (у Виноградова изд. 12-е, 1874), которая «надолго определила пути и методы изучения грамматической системы русского литературного языка».²⁸

Небольшое собрание учебных книг по грамматике дает представление о некоторых сторонах лингвистических интересов Виноградова, оно будет служить ценным пособием для дальнейших исследований в области истории языкознания, истории русского литературного языка и др.

В начале 30-х годов Виноградов обращается к новой для него области — пушкиноведению: в 1933 году он завершает работу над книгой «Язык Пушкина»,²⁹ участвует в обсуждении Словаря языка Пушкина,³⁰ в пушкинском томе «Литературного наследства» публикует статью «О стиле Пушкина»,³¹ в качестве редактора и контрольного рецензента участвует в юбилейном академическом издании сочинений поэта 1937 года (тт. VIII, X—XII). Пушкиноведческие работы В. В. Виноградова в значительной мере связаны с прозой Пушкина (в эти годы Виноградов задумывает книгу о языке и стиле пушкинской прозы), чем определяется и характер посвященного поэту отдела в его библиотеке. Имеющиеся в ней прижизненные издания произведений Пушкина — это главным образом издания его прозы: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» (1831), «Повести, изданные Александром Пушкиным» (1834), «История Пугачевского бунта» в 2-х частях (1834); есть в библиотеке первое издание «Руслана и Людмилы» 1820 года, издание «Графа Нулина» 1828 года (вместе с «Балом» Е. А. Баратынского под названием «Две повести в стихах»). Первое посмертное издание сочинений Пушкина, вышедшее в 1838—1841 годах, представлено двумя первыми томами.

В библиотеке В. В. Виноградова можно найти академическое издание 1899 года под редакцией Л. Майкова; юбилейное издание 1937 года; полное собрание сочинений в 6-ти томах под редакцией М. А. Цявловского (1930—1931), которым Виноградов, по-видимому, пользовался при работе над книгой «Язык Пушкина»;

²⁸ Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880 г. Вып. 1. М., 1954, с. 7.

²⁹ Книга вышла в 1935 году в издательстве «Academia».

³⁰ Лит. наследство, т. 16—18, 1934, с. 1167—1168.

³¹ Там же, с. 135—214. По-видимому, эта статья явилась первым итогом работы над монографией «Стиль Пушкина», увидевшей свет в 1941 году.

десяти томное издание под редакцией Б. В. Томашевского (1949) и др. Сюда следует добавить «Письма Пушкина» под редакцией Б. Л. Модзалевского (1926—1935), изданные в 1923 году книги «Дневник А. С. Пушкина» и «Неизданный Пушкин» из собрания А. Ф. Онегина, выпущенную к юбилею в 1935 году книгу «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты». Таким образом, в собрании Виноградова есть все основные, авторитетные издания сочинений Пушкина, необходимые для пушкиноведческих исследований.

Рядом с изданиями произведений Пушкина в библиотеке В. В. Виноградова собрана и довольно обширная литературоведческая пушкиниана. Почти все исследования, которыми пользовался он при работе над книгой «Стиль Пушкина», сосредоточены в личной библиотеке ученого. Здесь книги биографического и мемуарного характера. Среди них «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина» (1863), «Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки» Л. Майкова (1899), книги М. Н. Каткова «О Пушкине» (1900), В. Сиповского «Пушкин. Жизнь и творчество» (1907), «Разговоры Пушкина» (1929), записки Д. И. Свербеева, С. Н. Глинки, дневник А. Вульфа и др. Здесь и работы известных пушкинистов — М. П. Алексеева, Д. Д. Благого, С. М. Бонди, М. А. Гершензона, Л. Гроссмана, Г. А. Гуковского, В. М. Жирмунского, Т. Г. Зенгер-Цявловской, Н. О. Лернера, Б. Л. Модзалевского, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, М. А. Цявловского, П. Е. Щеголева, А. Эфроса и т. п.

Основная пушкиноведческая литература 20—30-х годов была сосредоточена в сборниках, которые явились результатом работы по изданию сочинений Пушкина («Пушкин и его современники», «Временник Пушкинской комиссии», «Московский пушкинист»). Все они почти полностью представлены в библиотеке Виноградова, постоянно использовались в его работах.

В послевоенные годы В. В. Виноградову больше времени приходится уделять работе организационной: он возглавляет Пушкинскую комиссию АН СССР, руководит работой по созданию «Словаря языка Пушкина». Его отдельные пушкиноведческие заметки посвящены главным образом вопросам атрибуции. В эти годы пушкиноведческое собрание виноградовской библиотеки почти не пополняется.

Собрание это отразило один из интереснейших этапов творческой деятельности ученого, оставившего заметный след в пушкиноведении.

В разделе книг по теории литературы в библиотеке Виноградова выделена подборка исследований и публикаций 20—30-х годов, связанных с русской «формальной школой». Коллекция эта скла-

дывалась стихийно: некоторые книги, по видимому необходимые, Виноградов покупал, другие дарились друзьями, коллегами.

В библиотеке сохранился выпуск II за 1917 год опоязовского издания «Сборники по теории поэтического языка». В это же время под руководством А. А. Шахматова Виноградов работает над своей магистерской диссертацией по истории языка, но уже тогда Шахматов замечает в своем подопечном интерес к вопросам поэтики, индивидуального стиля писателей.³² В 1920 году на заседании Русского библиологического общества Виноградов выступает со своей первой работой по поэтике. С 1921 года он сотрудник ГИИИ, где находят пристанище и бывшие опоязовцы.³³

В эти годы в библиотеке Виноградова появляются два выпуска (II и III) сборника, издаваемого Разрядом словесных искусств ГИИИ, — «Поэтика. Временник отдела словесных искусств», отдельные работы его коллег по институту. Это книги Б. М. Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха» (1922), «Анна Ахматова. Опыт анализа» (1923), «Сквозь литературу» (1924); Ю. Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка» (1924); В. Б. Шкловского «О теории прозы» (1925); В. М. Жирмунского «Рифма, ее история и теория» (1923), «Введение в метрику. Теория стиха» (1925) и др. Сюда же следует присоединить работы членов Московского лингвистического кружка: Р. О. Якобсона — «О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским» (1923) и Г. О. Винокура — «Критика поэтического текста» (1927), «Культура языка» (1929) и т. п.

Существенное воздействие на молодых ученых 20-х годов оказали основоположники русской поэтической науки А. А. Потехня и А. Н. Веселовский. В библиотеке Виноградова мы находим известную работу Потехни «Мысль и язык», книги «Из записок по теории словесности» (1905) и «Из лекций по теории словесности» (1894). Здесь же два тома из собрания сочинений А. Н. Веселовского (1913) с работами по поэтике, «Историческая поэтика» (1940), выпущенная под редакцией В. М. Жирмунского.

Как отмечал А. П. Чудаков, «существеннейшим отличием позиций Виноградова от позиций и от самого научного стиля формальной школы... было отсут-

³² Об этом см. в статье М. А. Робинсона «Документы из архива А. А. Шахматова (А. А. Шахматов и В. В. Виноградов)». — В кн.: Материалы научной студенческой конференции. Московский гос. историко-архивный институт. Май 1970. М., 1970, с. 54—59.

³³ 1921 годом датируются и дарственные надписи Б. М. Энгельгардта, В. М. Жирмунского и А. Слонимского на отписках статей из книги «Об Александре Блоке» (1921).

стве у него того позитивистского отрицания общих философско-эстетических подходов, которое составляло важную часть теоретической платформы Опояза.³⁴ Особая позиция Виноградова складывалась не без влияния Б. М. Энгельгардта, друга Виктора Владимировича, читавшего в ГИИИ курс методологии литературоведения. Для Энгельгардта характерен постоянный интерес к философским, эстетическим проблемам, со всей полнотой проявившийся в книге «Эстетика слова»,³⁵ которую он писал всю жизнь и которую Виноградов несомненно знал. В библиотеке Виноградова есть две книги Энгельгардта с дарственными автографами: монографическая работа «Александр Николаевич Веселовский» (1924), известная книга «Формальный метод в истории литературы» (1927), отдельные статьи ученого.

Интерес В. В. Виноградова к немецкой школе поэтики нашел свое отражение и в его библиотеке. Здесь можно найти известную книгу К. Фосслера «Geist und Kultur in der Sprache» (1925), на которую Виноградов чаще всего ссылался, его работы «Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie» (1923), «Frankreichs Kultur und Sprache» (1929). Рядом с Фосслером Виноградов обычно упоминает имя другого крупного немецкого стилиста — Л. Шпитцера (в библиотеке два тома его «Stilstudien», 1928).

Различные эстетические концепции в применении к вопросам лингвистики и поэтики предлагали в это время московские исследователи, связанные с Государственной ассоциацией художественных наук (ГАХН) — Г. Г. Шпет и ученые его школы.³⁶ В библиотеке Виноградова представлены работы самого Шпета: «Внутренняя форма слова. (Этюды и вариации на темы Гумбольдта)» (1927), «Эстетические фрагменты» (вып. III, 1923), «История как проблема логики» (ч. I, 1916). «Очерк развития русской философии» (1922) и сборники, подготовленные его учениками и коллегами: «Художественная форма» (1927), «Ars Poetica» (I—II, 1927—1928).

В конце 20-х годов «формальная школа» претерпевает существенную эволюцию. Этот процесс отражает и книжное собрание ученого. Сам Виноградов пишет переходную для него книгу «О художественной прозе» (1930), а затем углубляется в вопросы изучения истории русского литературного языка, Б. М. Эйхенбаум обращается к истории литературы, литературному быту (в 1928 году выходит его монография о Л. Толстом, пода-

ренная Виноградову — «Лев Толстой. Кн. 1. 50-ые годы»). Переходной для «формального метода» считалась и книга В. Шкловского «Материал и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир“» (1928). Именно в эти годы у Виноградова появляются книги Шкловского с его дарственными автографами: «Сентиментальное путешествие» (1924), «ЗОО или письма не о любви» (1924), «Третья фабрика» (1926).³⁷ К этому же периоду развития «формальной школы» относятся очерк текстологии Б. В. Томашевского «Писатель и книга» (1928), книга Ю. Н. Тынянова «Архаисты и новаторы» (1929).

Это небольшое собрание в библиотеке Виноградова отражает не только определенный этап научной деятельности ученого, по-своему плодотворный и блестящий, но в какой-то мере и историю «формальной школы».

В уже упомянутой книге «О художественной прозе», очень важной для творческого пути ученого, В. В. Виноградов обращается к старым «риторикам», как нормативным теориям, определявшим жанры прозы и принципы их построения.³⁸ Так в отделе теории литературы виноградовской библиотеки появилось собрание риторик и теорий словесности XVIII—первой половины XIX века.³⁹

Раздел XVIII века открывает риторика Ломоносова «Краткое руководство к красноречию» — первая риторика, написанная на русском языке (у Виноградова в Полном собрании сочинений М. В. Ломоносова, 1794, ч. 6). Здесь есть и популярная риторика иеромонаха Амвросия «Краткое руководство к оратории российской» (1778), переводная риторика Филарета Скуфы «Златослов, или Открытие риторския науки...» (1779), «Правила пиитические о стихотворении российском и латинском» архиеерея Аполлоса (А. Д. Байбакова) (изд. 5-е, 1795). Большой полнотой и разнообразием отличается раздел теорий словесности первой половины XIX века. Среди них теории переводные — французские и немецкие,

³⁷ Это время установления контактов между бывшими противниками. В 1928 году «формалисты» пытались создать новый ОПОЯЗ, предполагая пригласить туда и Виноградова (см. комментарий в кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 530—534).

³⁸ Виноградов В. В. О художественной прозе. М.—Л., 1930, с. 75.

³⁹ Понятие риторики в XVIII веке имело или общее значение теории красноречия вообще (тогда в нее входили оратория как теория прозы и поэтика как теория поэзии), или узкое, относящееся только к теории прозы. В первой половине XIX века риторика становится частью «науки словесности». Как особый раздел, ведающий поэзией, выделяется пиитика.

³⁴ Чудаков А. П. Указ. соч., с. 469.

³⁵ Рукопись этой книги погибла во время войны. Эти сведения о Б. М. Энгельгардте нам любезно сообщила Е. Н. Купрянова.

³⁶ Следует иметь в виду, что ленинградские формалисты Шпета не принимали.

оказавшие некоторое влияние и на русскую науку: «Правила поэзии...» Батте (1808), «Главное начертание теории и истории изящных наук» в 2-х частях Мейнера (1803). Русская теоретическая наука представлена различными курсами, руководствами, опытами и др. И. С. Рижского, А. С. Никольского, А. Ф. Мерзлякова, И. М. Левитского, Н. Ф. Кошанского, Я. В. Толмачева, П. Е. Георгиевского, А. И. Галича, И. И. Давыдова, С. Т. Шевырева, В. Плаксына, М. Чистякова и др. Здесь можно найти и четырехтомный «Словарь древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова (1821).

Возникшее из интереса к проблемам риторических форм, собрание переросло свое первоначальное назначение. Его уже можно рассматривать как собрание по истории теоретико-литературной мысли в России. Безусловно, оно привлечет внимание литературоведов, работающих в области и теории, и истории литературы.

В кабинете-библиотеке академика В. В. Виноградова, открытом в Пушкинском Доме, размещено не только книжное собрание ученого. Сюда передана обстановка его рабочего кабинета: мебель, картины, предметы декоративного убранства конца XVIII—XIX века, отражившие эстетические вкусы, интересы и увлечения В. В. Виноградова. Обстановка кабинета и дополняет книжное собрание, и обогащает представление о личности ученого.

Живописное собрание академика небольшое. Это, главным образом, работы русских художников первой половины XIX века. Самая старая вещь в этом собрании — маленький портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского, репрезентативный портрет XVIII века (предположительно работы французского художника де Велли, работавшего в России, автора царного портрета братьев А. и Г. Орловых). Интересен портрет Павла I (черная акварель), образом для которого, по-видимому, послужили известные гравюры с портрета Ж.-Л. Вуаля. Здесь же несколько подписанных работ К. П. Брюллова: академический рисунок — портрет Ломоносова; сепия итальянского периода «Базар в Неаполе» (1831); акварельный портрет камергера А. П. Собакина, сделанный в Риме (1825); поздняя итальянская акварель «Насильное купание» (1852); маленький неоконченный групповой портрет «Художники в мастерской Брюллова». Две живописные работы с достаточными основаниями приписываются Брюллову большим знатоком его жизни и творчества Н. Г. Машковцевым. Это «Головка девушки» и «Лобзание Иуды». Соученику Брюллова по Академии П. В. Басину принадлежит портрет К. Нессельбрوده с сыном.

С пушкинским Петербургом нас знакомят две гравюры с изображением Невы и Фонтанки (последняя по рисунку К. Беггрова) и небольшая картина,

исполненная гуашью, с видом Невы и Петропавловской крепости. Петербург изображен и на картине тонкого мастера городского, особенно петербургского пейзажа М. Н. Воробьева.

Более поздняя эпоха представлена «голубой марьяной» К. Айвазовского (1876) и альпийским пейзажем А. Каляма (1854), швейцарского пейзажиста, работы которого можно было увидеть во многих домах середины XIX века.

Больше к декоративному убранству имеет отношение картина, вышитая по канве шерстью и бисером (первая половина XIX века) по очень популярному сюжету, известному в многочисленных гравюрах, — «Петр, спасающий ботик с гребцами».

Облик кабинета дополняют три пейзажа П. Щербакова с видами пушкинских мест (Михайловское, Святогорский монастырь), фотографии А. А. Ахматовой, Л. В. Щербы, С. Карцевского, Н. И. Мордовченко и др.

По стилю собрание мебели в кабинете Виноградова неоднородно, однако в основном это мебель конца XVIII—первой половины XIX века, которую можно было встретить в дворянском доме — скорее усадебном, не столичном, где накапливались вещи, принадлежавшие еще предкам его владельцев. Мебель этого периода относится к русскому классицизму и отличается одновременно строгостью и изяществом конструкции, основной материал — красное дерево.

К последней четверти XVIII века относится бюро наборного дерева с цилиндрической крышкой, круглый раздвижной стол в английском стиле. Большая часть мебели принадлежит к первой половине XIX века — диван с резной спинкой, стулья, кресла с фигурами атлантов, шкафы и др.

В обстановке кабинета Виноградова нашла свое отражение и более поздняя эпоха увлечения стилями прошлого. Так, в стиле второго рококо решен маленький столик со столешницей из уральских самоцветов, в английском стиле времен королевы Анны сделаны дубовое и кожаное кресла.

Убранство кабинета дополняют английские нортоновские часы, зеркало XVIII века, фарфоровые вазы с видами Петербурга, бисерные подсвечники и др.

Создатели экспозиции не пытались в точности воспроизвести обстановку московского кабинета Виноградова, да по ряду обстоятельств это было просто невозможно. Стеллажи с книгами по стенам. Слева располагается собственно мемориальная часть.

Центр экспозиции — письменный стол ученого. На столе — памятные вещи: два старинных классера, фотографии — самого Виноградова, его учителей — А. А. Шахматова, Л. В. Щербы, друзей и коллег — М. А. Цявловского, В. Ф. Шипмарева, А. Мазона, пресс-папье из морской кости — память о годах, прове-

денных в Тобольске во время войны. Здесь же диплом о присуждении Пушкинской премии — до этого события Виктору Владимировичу не суждено было дожить.

Кабинет-библиотека академика В. В. Виноградова в Пушкинском Доме стал его вторым домом: здесь продолжают жить книги, вещи, дела большого ученого.

Наша статья является первым опытом характеристики библиотеки В. В. Виноградова, имеющей большое научное значение. В настоящее время ведутся ра-

боты по описанию книжного фонда, по составлению картотеки и путеводителя. Библиотека В. В. Виноградова продолжает функционировать, ее книгами пользуются ученые — литературоведы и лингвисты, историки и искусствоведы. Богатейшее собрание, составленное академиком В. В. Виноградовым и отразившее своеобразие его личности и творчества, остается в науке и еще долго будет служить людям, напоминая о выдающемся советском ученом Викторе Владимировиче Виноградове.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Г. Н. Моисеева

ИЗ АРХИВНЫХ РАЗЫСКАНИЙ О ЛОМОНОСОВЕ

(«СОКРАЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЛ ГОСУДАРЯ ПЕТРА I»)

В 1756 году Вольтер дал согласие правительству Елизаветы Петровны написать историю России при Петре Великом. И. И. Шувалов, ближайший советник русской императрицы, был посредником при переговорах с прославленным европейским историком, поэтом и философом, которому было обещано присылать из России все необходимые материалы («Tous les mémoires et matériaux nécessaires»). Естественно, что И. И. Шувалов обратился к ученым Петербургской Академии наук, которые занимались историческими исследованиями и смогли бы оказать помощь Вольтеру в подборе нужных ему источников.

Видимо, летом 1757 года (не позднее августа) Шувалов предложил Ломоносову оказать всевозможное содействие Вольтеру в создании труда по истории России. К этому времени Ломоносов зарекомендовал себя не только как талантливый поэт, автор од и двух трагедий, но и как последователь «Петровых дел», умело и неуклонно прославляющий «деяния» выдающегося русского государя. В апреле 1755 года Ломоносов прочитал в торжественном заседании Академии наук «Слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру Великому». В том же году «Слово» было напечатано на русском и французском языках. В 1757 году Ломоносов работал над эпической поэмой «Петр Великий»,¹ а в 1758 году предложил создать серию медалей, связанных с важнейшими вехами жизни Петра I. Несколько позднее он претворил эту тему в мозаичном искусстве («Азовская баталия», «Полтавская баталия»).

Обращаясь к петербургским ученым, И. И. Шувалов мог рассчитывать и на помощь Г. Ф. Миллера, который хотя в то время и не интересовался специально царствованием Петра I, а занимался преимущественно древним периодом русской истории (назовем, в частности, диссертацию 1748 года «О происхождении имени и народа российского» и «Описание Сибирского царства» 1750 года), но благодаря своей склонности к систематизации исторических

материалов и пониманию важности источников стал знатоком истории России.²

В ответ на «милостивое письмо» Шувалова Ломоносов предложил переслать Вольтеру свои готовые работы: «...принямаю смелость предложить следующее. Во-первых, должен он (Вольтер, — Г. М.) себе сделать краткий план, который может сочинен быть из сокращенного описания дел государевых, которое я имею, к чему он и сочиненный мною панегирик не без пользы употребить может, ежели на французский язык переведен будет... У меня сколько есть записок о трудах великого нашего монарха, все для сего предприятия готовы» (курсив наш, — Г. М.).³

В комментариях к этому письму Ломоносова к И. И. Шувалову от 2 сентября 1757 года сказано, что «„Сокращенное описание дел государевых“... до нас не дошло» (X, 839).

В поисках этого сочинения Ломоносова я обратилась к рукописным материалам, которые пересылали Вольтеру из России для работы над «Историей России при Петре Великом».

В библиотеке Вольтера, купленной Екатериной II в 1779 году, среди пяти фолиантов бумаг, присланных ему из России для работы над «Историей России при Петре Великом», сохранилось два варианта «Сокращенного описания дел государя Петра I» — краткий под заглавием: «Tables chronologique des Faits Mémorables appartenants à l'histoire de l'Empereur Pierre le Grand» и более подробный — под заглавием: «Abrégé

² Г. Ф. Миллер еще в 1732 году выступил на заседаниях Конференции Академии наук с предложением опубликовать «сборники различных известий, относящихся до обстоятельств и событий в Российском государстве» (Протоколы заседаний Конференции Академии наук, т. I. СПб., 1897, с. 60). С этого же года Миллер приступил к публикации на немецком языке русских исторических материалов в «Sammlung russischer Geschichte».

³ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. X. М.—Л., 1957, с. 525. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

¹ Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. М.—Л., 1961, с. 264.

chronologique des événements les plus remarquables du règne de Pierre Grand».⁴ «Tables chronologique» переписаны на голландской бумаге in folio с водяным знаком: «Honig» и «Pro Patria» (1741—1759 годов).⁵ «Abrégé chronologique» — также на голландской бумаге, in folio, водяной знак: «GR» и «Pro Patria» (1753 года).⁶

На первом листе «Abrégé chronologique» приписка на французском языке: «Quoique Monsieur de Voltaire ait déjà une premiere Copie de cet Abrégé, on a cru devoir lui en envoyer une seconde parceque depuis on y a fait plusieurs additions».⁷ Следовательно, рукопись «Tables chronologique» была послана ранее «Abrégé chronologique». Различие между ними заключается в полноте известий. Кроме того, в «Abrégé chronologique» даны ссылки на сочинения иностранцев о России (Ле-Брюна, Джона Перри, Адлерфельда, Нордберга, Страленберга и др.).

По сложившемуся в конце XVIII века взгляду, французский текст «Abrégé chronologique» составлен Г. Ф. Миллером. Так думал и Пушкин, когда в 1832 году занимался в библиотеке Вольтера и, подготавливая материалы к «Истории Петра», собственной рукой переписал этот текст.⁸ В настоящее время эту точку зрения поддерживают Е. С. Кулябко и Н. В. Соколова.⁹ Основанием для них послужил тот факт, что в «Портфелях» Г. Ф. Миллера имеются французская и немецкая копии «Abrégé chronologique».

В архиве Воронцовых хранится рус-

ская рукопись под шифром 698/314.¹⁰ Рукопись состоит из трех частей: «Хронологические записки достопамятных в России произшествий со времени рождения государя императора Петра I по кончину его» (лл. 1—12); «Города, крепости, морские гавани, каналы, дороги и другие публичные строения, сооруженные Петром I или по его величества указам» (лл. 13—18 об.) и «Хронологические записки достопамятных в России произшествий со времени кончины Петра Великого» (лл. 20—80 об.); третья часть не закончена. Последняя дата, которой завершается третья часть, — 4 марта 1765 года — отмечает «отъезд г. Миллера в Москву».

Рукопись в целом составляет 80 листов in folio. Бумага одинаковая, с водяным знаком «1784» и буквами «АУ», что дает возможность датировать переписку этого произведения не ранее 1784 года, когда владетель фабрики Александр Угрюмов стал выпускать эту бумагу.¹¹

Первая часть рукописи является русским источником «Abrégé chronologique des événements les plus remarquables du règne de Pierre I», т. е. сокращенной историей жизни и деятельности Петра I, начиная с его рождения 30 мая 1672 года и кончая записью о смерти и погребении его вместе с дочерью Натальей Петровной 21 марта 1725 года. Произведение построено по хронологическому принципу: слева помещено указание на год, месяц и число; справа — кратко сообщено о событии, нередко с указанием источника сведений.

Сопоставление известий, касающихся конкретных фактов истории Петровского времени, в сочинениях М. В. Ломоносова и Г. Ф. Миллера в соотнесении с русским текстом из архива Воронцовых и его французским переводом в библиотеке Вольтера раскрывает принадлежность «Сокращенного описания дел Петра I» Ломоносову.

Приведем пример. Под 1683 годом сообщено: «Начало учреждения двух гвардии полков, Преображенского и Семеновского, под видом набирания потешных для царей».¹² В 1778 году в «Опыте трудов вольного российского собрания при Московском университете» была опубликована работа Г. Ф. Миллера «Известие о начале Преображенского и Семеновского полков гвардии». Статья эта в па-

⁴ ГПБ, Библиотека Вольтера, № 242, т. I, лл. 312—320; 302—311 об.

⁵ Клепиков С. А. Филигранны и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII—XX века. М., 1959, с. 84, № 1090.

⁶ Voorn H. De papiermolens in de provincie Noord-Holland. Nederlandse, 1960, S. 136, № 6440.

⁷ «Хотя у господина Вольтера имеется первоначальная копия этого Abrégé, полагали нужным послать ему вторую, так как с тех пор сделано несколько добавлений» (ГПБ, Библиотека Вольтера, № 242, т. I, л. 302). Полагают, что эта приписка сделана рукою И. И. Шувалова. Окончательно этот вопрос можно решить только при обнаружении его автографов. Архив И. И. Шувалова до настоящего времени не разыскан.

⁸ Пушкин. Полн. собр. соч., т. X. М.—Л., 1938, с. 443—455. В примечаниях к тому сказано: «Первая копия — „Abrégé chronologique“ — самая ранняя рукопись из серии работ Пушкина по Петру; она представляет собой список с «Abrégé chronologique»... Перечень составлен историком Миллером или под его наблюдением» (с. 488).

⁹ Кулябко Е. С., Соколова Н. В. Источники Вольтеровской «Истории Петра». — Французский ежегодник. 1964. М., 1965, с. 274—282.

¹⁰ Описание архива Воронцовых см.: Петров В. А. Обзор собрания Воронцовых, хранящегося в Архиве Ленинградского Отдела Института истории Академии наук СССР. — В кн.: Проблемы источниковедения, т. V. М., 1956, с. 135; Путеводитель по Архиву Ленинградского отделения Института истории. М.—Л., 1958, с. 280.

¹¹ Клепиков С. А. Указ. соч., с. 40, № 73.

¹² Архив ЛОИИ, Собр. Воронцовых, № 698/314, л. 2.

учном наследии Миллера является случайной, не связанной органически с его общими интересами. Появление ее в печати вызвано тем, что «светлейший князь» Григорий Потемкин задумал издать историю Преображенского полка и заказал Миллеру исследование о «потешных».¹³

В статье «Известие о начале Преображенского и Семеновского полков гвардии» Миллер на основании Дневника Патрика Гордона сообщает ряд сведений о возникновении этих гвардейских полков из «потешных» войск Петра I. Один из важных моментов, на которых останавливается Миллер, это время возникновения «потешных» полков. Он пишет: «Надлежит рассмотреть время, когда начался набор потешных, а прежде всего *опровергнуть должно несомнительное мнение некоторых писателей, якобы то было в 1683 году*»¹⁴ (курсив наш, — Г. М.). Между тем в «Сокращенном описании дел Петра I» именно под 1683 годом отмечено «начало учреждения двух гвардии полков, Преображенского и Семеновского, под видом набирания потешных для царей».¹⁵

в 1687 году, по тому, что если бы оно учинилось прежде, то бы и Лефорту прежде ушастливился притти в знаемость и за свои заслуги в высочайшую милость у государя».¹⁶ Миллер отрицает и участие юного Петра I в «потешных» войсках рядовым солдатом.¹⁷ Между тем в «Сокращенном описании» о деятельности Лефорта сообщается впервые под 1697 годом, когда отмечается «отъезд Петра I в чужие края в свите великого к европейским дворам посольства, в котором были Лефорт, Федор Алексеевич Головин и др.»¹⁸ Возникновение же «потешных» полков в 1683 году связано исключительно с инициативой юного Петра I. Составитель «Сокращенного описания» не случайно последовательно изложил факты: отъезд обоих царей (Петра и Ивана) «в Троицкой-Сергиев монастырь по причине учинившагося второго стрелецкого бунта» и «учреждение» в 1683 году «потешных» полков, раскрывая таким образом причинно-следственную связь между этими событиями.

Вспомним, что в замечаниях на рукопись первых восьми глав «Истории

Таблица 1

«Слово похвальное Петру I», 1755	«Краткий российский летописец», 1760	«Доношение в Сенат о мозаичных украшениях для монумента Петру I», 1758
<p>«Наш герой (Петр I, — Г. М.), едва выступив из лет младенческих. . . трудился, размеривая регулярную крепость, как мастер, кошая рвы и взвозя землю на раскаты, как рядовой солдат» (VIII, 599).</p> <p>«Кто мог помыслить, что бы двенадцати лет отрок, отлученный от правления. . . начал учреждать новое регулярное войско, котораго могущество в скором после времени почувствовали неприятели. . .» (VIII, 593).</p>	<p>«Петр Великий во время стрелецких бунтов, кои все по наущению царевны Софьи Алексеевны на его здравие устремлялись, обучаясь военному делу, двенадцати лет стал рядовым солдатом и с товарищи своими не токмо в одном был внесен списке, но и спал с ними в одной палатке, ту же принимал пищу, стоял по очереди на карауле, исправлял все солдатские работы, возя землю к своему потешному крепостному строению на тележке, построенной своими руками. . .» (VI, 339).</p>	<p>«Начатие службы великого государя, где представить его как двенадцатилетнего младенца в солдатском простом мундире с ружьем между рядовыми солдатами» (IX, 127).</p>

Миллер связывает возникновение «потешных» полков Петра I с деятельностью Лефорта: «Сим подтверждено быть может и начатие набирания потешных

России при Петре Великом», присланных Вольтером в конце 1757 года, Ломоносов обратил внимание на то, что французский историк, опираясь на непроверенные факты из дневника Патрика Гордона (т. е. того же источника, которым пользовался в 70-х годах XVIII века Миллер), неправильно осветил роль Лефорта в основании потешных полков. Ломоносов писал: «В сей главе много

¹³ Пекарский П. П. История императорской Академии наук в Петербурге, т. I. СПб., 1870, с. 397.

¹⁴ Миллер Г. Ф. Известие о начале Преображенского и Семеновского полков гвардии. — В кн.: Опыт трудов вольного российского собрания при Московском университете, ч. IV. М., 1778, с. 110.

¹⁵ Архив ЛОИИ, Собр. Воронцовых, № 698/314, л. 2.

¹⁶ Миллер Г. Ф. Указ. соч., с. 112.

¹⁷ Там же, с. 117.

¹⁸ Архив ЛОИИ, Собр. Воронцовых, № 698/314, л. 3 об.

отпять чести Петра Великого и отдаю Лефорту» (VI, 95).

В сочинениях Ломоносова, где он касался темы Петра I, подчеркивается, что учреждение «потешных» войск, ставших впоследствии Преображенским и Семёновским полками, связано с личной инициативой юного царя, который служил в «потешных» рядовым солдатом (табл. 1).

Это существенное расхождение выводов Г. Ф. Миллера в его статье «Известие о начале Преображенского и Семёновского полков» со сведениями других источников (в частности, в «Деяниях Петра Великого» И. И. Голикова) отметил Пушкин. Он писал: «Миллер относит учреждение Потешного войска к 1687 году, потому что в разрядных книгах продолжительное пребывание царя в Преображенском начинается с того году. Но наборы начались уже в 84 году».¹⁹

Исследователи XIX и XX веков подтверждают документальными данными, что действительно с 1683 годом следует связывать возникновение «потешных» войск Петра I. Так, акад. М. М. Богословский приводит выписки из «Дворцовых разрядов», свидетельствующие о том, что уже в январе 1683 года для Петра I изготовлялись «пушки деревянные потешные», а 30 мая того же года в день рождения Петра I в Воробьева была произведена «потешная огнестрельная стрельба», в которой принимали участие русские мастера, ученики из Пушкарского приказа и сам царь в роли рядового солдата.²⁰

Сейчас мы остановимся на одной особенностях использования источников в этом сочинении, которая позволит нам прийти к окончательным выводам об авторе «Сокращенного описания дел государя Петра».

В упомянутом выше письме к И. И. Шувалову от 2 сентября 1757 года, в котором Ломоносов дает согласие на передачу Вольтеру собранных им материалов по Петровской эпохе, помимо «Сокращенного описания дел государевых» он говорит также о собрании «записок о трудах великого нашего монарха», которые «для сего предприятия (т. е. составления истории Петра I, — Г. М.) готовы».

Недавно один из сборников этих рукописных материалов Ломоносова получен Библиотекой Академии наук СССР в числе 55-ти книг, переданных Университетской библиотекой г. Хельсинки.²¹

¹⁹ Пушкин. Полн. собр. соч., т. X, с. 14.

²⁰ Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии. Под ред. проф. В. И. Лебедева. [Л.], 1940, с. 56—58.

²¹ Кукушкина М. В., Лебедева И. Н. Книги из библиотеки М. В. Ломоносова (Дар университетской библиотеки в Хельсинки). — Материалы и сообщения по фондам Рукописной и Редкой книги БАН СССР, Вып. IV, Л., 1977, с. 335.

Сборник материалов для «описания дел Петра» хранится в настоящее время в БАН.²² Он переписан на 508 листах беглой скорописью разных почерков на бумаге, выпускавшейся Ярославской фабрикой Затрапезновых в 40-х—начале 50-х годов XVIII века.²³ В состав сборника входит «Список с печатной дедикции» 1717 г., предпосланной П. П. Шафировым «Рассуждению о причинах шведской войны», список с печатного предисловия к «Уставу Морскому», собрание известий из печатных ведомостей, относящихся к Северной войне, «Описание трех путей из державы царского величества из Поморских стран в Шведскую землю...», что сочинил сам самим преосвященным архиепископом холмогорским Афанасием» и некоторые литературные произведения.

Сборник «записок о трудах» Петра I, собранный Ломоносовым, был широко использован им в литературных и исторических произведениях. Так, в примечаниях, помещенных в академическом собрании Ломоносова к поэме «Петр Великий» (первая песнь вышла в 1760 году, вторая — в 1761 году), исследователями отмечено, что среди источников этой эпической поэмы были многочисленные рукописные произведения, в числе которых находились и «записи холмогорских церковных деятелей о поездках Петра I в Архангельск, которые были изданы затем в 1783 г. „Изданием Н. Новикова и компании“ (О высочайших пришествиях великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича... из царствующего града Москвы на Двину, к Архангельскому городу, троекратно бывших; о нахождении шведских неприятельских кораблей на ту же Двину, к Архангельскому городу; о зачатии Новодвинской крепости и о освящении нового храма в сей крепости. М., 1783)» (VIII, 1131).

Рукописное «Описание трех путей», находящееся в этом сборнике, послужило материалом для рассказа Ломоносова о пребываниях Петра I на Севере и об отражении морских набегов шведского флота в 1701—1702 годах.

Многие материалы этого сборника, отмеченные характерными знаками Ломоносова (NB, кружок, скобки с двумя точками, подчеркивания в тексте и на полях), послужили непосредственными источниками сведений в «Сокращенном описании дел государя Петра».

Приведем примеры (табл. 2).

Ряд сведений в «Сокращенном описании дел Петра I» имеет две даты: одна со ссылкой на книгу Нордберга (Nordberg Georg. Leben Carls des zwölften, Königs in Schweden, t. I—III. Hamburg.

²² БАН, Собрание текущих поступлений, № 1341, 4^о, лл. 1—506.

²³ Кукушкина М. В., Лебедева И. Н. Указ. соч., с. 339.

Таблица 2

«Записки о трудах великого нашего государя» (БАН, Собр. текущ. пост., № 1341)	«Сокращенное описание дел государя Петра I» (Архив ЛОИИ, Собр. Воронцовых, № 698/314)
<p>«В некоторое время случилось его величеству быть во Измайлове на льянном дворе и, гуляя по анбарам, где остались остатки вещей дому деда его Никиты Ивановича Романова, увидел между оными судно некое иностранное... тотчас спросил Франца Тимермана... что то за судно. Он сказал, что тот бот аглинской... Кто бы тогда подумал, что охота сия государева к большому делу произойдет... и помянутый ботик... подал вину к великому флота строению» (лл. 169—170 об.).</p> <p>«Государь наш того ради всю мысль свою уклонил для строения флота... тогда по неизменному своему желанию не стерпел долго думать... усмотрено место к корабельному строению удобное на реке Воронеже под городом того имени. Призваны из Голландии мастера и в 1696 году началось новое в России дело: строение великим иждивением кораблей, галер и протчих судов» (л. 172).</p> <p>Петр I в 1703 году «изволил обыскать едины остров зело удобныи положением места, на которой вскоре, а именно, мая в 16 день в неделю Пятидесятницы, фортецию заложили и нарекли имя оной Санктпетербург» (л. 316).</p> <p>«Оная крепость началась каменным основанием строится с 1706 года месяца мая в 30 число на память своего его величества рождения» (л. 316).</p>	<p>«1692 г. Найденный в Измайлове старый ботик дает повод к заведению флота» (л. 3 об.).</p> <p>«1696 марта 9. Начало строения флота на Воронеже» (л. 4).</p> <p>«1703 мая 16. Начало основания Санктпетербурга в день св. Пятидесятницы» (л. 5 об.).</p> <p>«1706 мая 30. Основание С. Петербургской каменной Крепости» (л. 6 об.).</p>

Таблица 3

«Записки о трудах великого нашего государя» (лл. 298—300 об.)	«Сокращенное описание дел Петра I»
<p>О взятии крепостей новых Канец 1703 мая 1</p> <p>Осада города Юрьева или Дерпта 1704 июля 13</p> <p>Поденная роспись, что под крепостию Нарвою чинилось 1704 августа 9</p> <p>Реляция баталии при Калише 1706 октября 18</p> <p>Объявление... о победе над шведским генералом графом Левенгауптом при деревне Лесной от войска в дву милях 1708 сентября 28</p> <p>О взятии крепости Выборга, которая взята российскими войсками 1710 июня 12</p> <p>О взятии города Пернова 1710 августа 14</p> <p>О взятии города Кексгольма или Корелы 1710 сентября 8</p> <p>Реляция о взятии Гельсинфорса 1713 мая 10</p>	<p>1703 мая 1. Взятье Ниеншанца</p> <p>1704 июля 13. Взятье города Юрьева Ливонского</p> <p>1704 августа 9. Взятье Нарвы</p> <p>1706 октября 19. Баталия под Калишем</p> <p>1708 сентября 28. Победа над генералом Левенгауптом под Лесным</p> <p>1710 июня 12. Взятье Выборга. А по Нордбергу 10 числа</p> <p>1710 августа 14. По Нордбергу 21 числа</p> <p>1710 сентября 8. По Нордбергу 9 числа</p> <p>1713 мая 10. Взятье Гельсинфорса. По Нордбергу 20 числа</p>

1745—1751), другая — без указания источника. Обращение к сборнику из библиотеки Ломоносова позволяет с полной очевидностью установить, что даты событий, связанных с Северной войной, почерпнуты из материалов рукописных «Записок о трудах государя» (в свою очередь восходящих к выборкам из реляций и печатных ведомостей). В глазах Ломоносова эти материалы обладают преимущественным достоинством достоверности по сравнению со сведениями иностранных писателей (табл. 3).

В числе материалов, использованных для составления «Сокращенного описания дел государя Петра I», был и рукописный «Журнал Петра Великого», хранившийся в кабинете Елизаветы Петровны. В 1755 году М. И. Воронцов проектировал переплести и хранить особо все собственноручные бумаги Петра I.²⁴ По-видимому, с разрешения И. И. Шувалова (об этом сохранилось известие Р. Ф. Тимковского) Ломоносов получил доступ к этим бумагам. В «Сокращенном описании» имеются прямые ссылки на рукописный «Журнал Петра Великого»:

«1704 декабря 19. Торжественное вшествие в Москву. В журнале Петра Великого поставлено сие в 1705-м году. Часть 1, стран. 129» (л. 6 об.).

«1708 июля 16. Урон российских войск у Головчина. В журнале Петра Великого поставлено сие июля 14-го. Часть 1, стран. 169» (л. 6).

Действительно, на л. 169 рукописного «Журнала Петра Великого» (ЦГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, № 8) помещена реляция о битве у Головчина, когда «король шведкой реку Березу по местам Головчинным перебрался и наши от того посту отступили... В 14 день в 3-ем часу пополудни при случившемся тумане и дожде неприятель с пехотою на пунтонах через реку между дивизии князя Репнина... перешел».

Описание торжественного въезда царя в Москву в «Журнале Петра I» помещено по новой (карандашной) пагинации на л. 131, но под карандашной цифрой ясно проступает цифра 129, написанная чернилами. Можно объяснить, откуда взялись эти новые номера листов: к л. 71 сделана на поле приклейка — добавление к тексту: «В сем месте пополнить для того, что Олоонецкою верфью названо того ради Ладейное поле, что определено на нем делать морские суда».²⁵ Это добавление имеет теперь указание листа (л. 72). Второе добавление сделано к л. 121 об.: «Сие надлежит отставить,

ибо кажетца до воинскова не подлежит, а в шведской написано» (речь идет о посещении Петром I униатской церкви в Полоцке). Это добавление сейчас также имеет карандашную нумерацию — л. 122. Начиная с листа 150 идет старая (первоначальная) пагинация чернилами.

Предположение, что составитель «Сокращенного описания» мог пользоваться изданным в 1770—1772 годах М. М. Щербатовым «Журналом, или Поденной запиской Петра Великого», совершенно отпадает, так как здесь приводятся материалы, исключенные Щербатовым при публикации. В качестве примера можно привести известие, помещенное в «Сокращенном описании» под 19 февраля 1712 года, источником которого является «Журнал Петра Великого»: «1712 февраля 19. Бракосочетание Петра I с императрицею Екатериною Алексеевною, происходившее в Санктпетербурге с великим торжеством».

В «Журнале Петра Великого»: «... февраля в 19 день в Санктпетербурге совершился брак государев с государынею царицею Екатериною Алексеевною с немалую церемониею и с великою пушечною пальбою и с феерверком, где была их вся царская фамилия, также чужестранные и свои министры и генералитет и прочие духовныя и мирские знатные персоны» (л. 343).

Весь этот текст в рукописи отчеркнут на полях карандашом, и рукою М. М. Щербатова написано: «NB вычеркнуть». И действительно, в издание «Журнала Петра Великого» этот текст не вошел, что с очевидностью свидетельствует: составитель «Сокращенного описания» пользовался рукописным «Журналом Петра Великого».

В печатное издание «Журнала, или Поденной записки» также не вошла вставка, сделанная рукою секретаря Петра I А. В. Макарова²⁶ на л. 345 рукописного «Журнала»: «1712 г. мая в первых числах заложена церковь каменная в Санктпетербурхской крепости во имя верховных апостол Петра и Павла» (л. 345).

О времени закладки церкви Петра и Павла в «Сокращенном описании» сообщено две точки зрения: «1712 мая 1. Основание соборной в С. Петербурге св. апостол Петра и Павла каменной церкви. Некоторые думают, что сие происходило 30 мая 1714 года» (л. 7 об.).

Указание, что «некоторые» относят время основания церкви к 30 мая 1714 года, дает возможность установить еще один источник «Сокращенного описания». Это — большой труд архивариуса библиотеки Петербургской Академии наук А. И. Богданова «Историческое, географическое и топографическое описание

²⁴ Шмурло Е. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, с. 46.

²⁵ В издание М. М. Щербатова это добавление не вошло. См.: Журнал, или Поденная записка Петра Великого, ч. I. СПб., 1770.

²⁶ Приношу глубокую благодарность Е. П. Подьянской и Т. С. Майковой, которые оказали мне помощь в определении почерка А. В. Макарова.

Санктпетербурга от начала заведения его с 1703 по 1751 год», при жизни автора находившийся в рукописи и опубликованный в 1779 году В. Рубаном. В сочинении А. И. Богданова сказано: «Церковь соборная святых первоверховных апостол Петра и Павла во имя господне основание положили... в 714 году мая 30 дня».²⁷

С. П. Луппов полагает, что А. И. Богданов кроме архивов широко пользовался сведениями, почерпнутыми из устных источников,²⁸ чем объясняется расхождение некоторых его данных с общеизвестными материалами.

Работая над «Сокращенным описанием дел Петра I», Ломоносов использовал и труды самого Петра, хранившиеся в его Кабинете. Так, под 1720 годом сообщено: «Морской устав, в сочинении которого Петр I сам трудился, напечатан в С. Петербурге на российском и на голландском языках» (л. 10). Известно, что в предисловии к «Уставу Морскому», изданному в 1721 году, где кратко рассказывается история русского флота, не отмечено, что составлял ее Петр I. Об этом мог знать тот, кто видел в Кабинете текст предисловия к Уставу Морскому и сам Устав с многочисленными приписками, сделанными рукою царя (ЦГАДА, ф. 381, №№ 813—815).

Для составления «Сокращенного описания» был привлечен труд ближайшего сподвижника Петра I Феофана Прокоповича «История императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочине включительно». Это сочинение Феофана Прокоповича, хранившееся в рукописи с поправками автора, также находилось в Кабинете Петра I (ЦГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, № 1). В 1773 году «История Петра I» по этой рукописи была издана М. М. Щербатовым.

Из «Истории Петра I» Феофана Прокоповича Ломоносов заимствует очень много материалов: о стрелецких бунтах и начале «потешных войск», о постройке флота, о начале Северной войны и др.

Проверка сведений, почерпнутых Ломоносовым из иностранных источников, дает возможность не только убедиться в полноте использования материалов и точности ссылок, но и установить верхнюю хронологическую границу составле-

ния русского текста «Сокращенного описания дел Петра I».

При сообщении о постройках, предпринятых в России в начале XVIII века, привлечена книга капитана Джона Перри: *The state of Russia under the Present czar. By Capitain Jonh Perry. London, 1716.* Со ссылкой на книгу Джона Перри сообщено об основании г. Кронштадта, о проекте «копания канала между Вытегрою и Ковшею», о шлюзах «при устье реки Славянки».

Составитель «Сокращенного описания дел Петра I» многократно опирается на книгу Ле-Брюна, изданную в Амстердаме на французском языке: *Voyages de Corneille le Brun par la Moscovie, en Perse et aux Indes orientales, t. I—II. Amsterdam, 1718.*

Привлекает Ломоносов и такой источник, как книгу Адлерфельда: «1704 мая 19. Победа над шведами у озера Пейпуса. Адлерфельд полагает сие 4 мая». Книга Густава Адлерфельда вышла в 1740 году одновременно в двух изданиях на французском и немецком языках: *Gustaw Adlerfeld. Histoire militaire de Charles XII, Roi de Suède, t. I—II. Amsterdam, 1740; Gustaw von Adlerfeld. Leben Karls der zwölften, Königs von Schweden, t. I—II. Frankfurt und Leipzig, 1740.*

Знал автор и пятитомное описание достопримечательностей Пруссии: *Erleutertes Preussen oder auserlesene Anmerkungen über verschiedene zur Preussischen Kirchen-Civil und Gelehrten-Historie gehörige besondere Dinge, woraus die bisherigen Historienschreiber theils ergänzet, theils verbessert, auch viele unbekante historische Warbeiten aus Licht gebracht werden. Königsberg, t. I, 1724; t. II, 1725; t. III, 1726; t. IV, 1728; t. V, 1742.* Книга «Просвещенная Пруссия» привлечена в «Сокращенном описании» как документальное свидетельство о времени посещения Петром I Кенигсбергской библиотеки: «1711 ноября 21. Петр I в Кенигсберге осматривает королевскую библиотеку. Смотри Просвещенную Пруссию, том 1, стр. 753. Вероятно, тогда то обрел он в сей библиотеке Несторов манускрипт, который и списать повелел» (л. 7). В I томе «Просвещенной Пруссии» на с. 753 сообщено: «Als A. 1711, d. 21. Nov. Seine Czaarische Majestat die Bibliothek in Augenschein nahmen, gefiel Jhnen dieses Silber-Schaff am allerbesten».

«Несторов манускрипт», о котором идет речь в «Сокращенном описании», — это Кенигсбергская (Радзивилловская) летопись. Копия с этой летописи была снята в 1716 году и хранилась в библиотеке Петра I до 1725 года. После его смерти в составе собрания Петра I («Петровская копия» Кенигсбергской (Радзивилловской) летописи поступила в Библиотеку Академии наук, где находится и сейчас (БАН, 32.7.11). На этой рукописи много приписок и помет, сделанных рукою Ломоносова и его перепис-

²⁷ БАН, 16.3.19, л. 126—126 об.; И. Н. Кобленц считает, что подлинная рукопись сочинения А. И. Богданова по истории Петербурга находится в Архиве АН СССР (Р. II., оп. 1, № 95), а рукопись, которая хранится в настоящее время в Отделе рукописей БАН, является одним из ее списков. См.: Кобленц И. Н. Андрей Иванович Богданов. 1692—1766. М., 1958, с. 60.

²⁸ Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М.—Л., 1957, с. 6.

чином и учеником Иваном Барковым. Теперь известно, что Ломоносов готовил Кенигсбергскую (Радзивилловскую) летопись к печати. Не случаен поэтому и интерес, проявленный Ломоносовым к истории рукописи Нестора. Издание ее осуществилось в 1767 году после его смерти под заглавием «Библиотека российской исторической, содержащая древнии летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российских древних и средних времен. Часть I».²⁹

Много ссылок в «Сокращенном описании» на книгу Георга Нордберга, вышедшую в 40-х — начале 50-х годов XVIII века в трех изданиях: Jöran Nordberg. Kunung Carl den XII, historia, t. I—II. Stockholm, 1740; Georg Nordberg. Leben Carls des zwölften, Königs in Schweden, t. I—III. Hamburg, 1745—1751; J. A. Nordberg. Histoire de Charles XII, t. I—IV. La Haye, 1748. Мы установили, что Ломоносов пользовался гамбургским изданием книги Нордберга, вышедшим в 1745—1751 годах.

При составлении «Сокращенного описания дел государя Петра I» было учтено и «Собрание юридических прав», изданное Шмаусом: Johann-Jacob Schmauss. Corpus juris Gentium academicum... t. I—II. Leipzig, 1730.

Указание на сочинение Страленберга позволяет считать, что тот полный вариант «Сокращенного описания», который был переведен и отправлен Вольтеру («Abrégé chronologique»), дорабатывался еще в 1757 году. В «Сокращенном описании дел государевых» кончина в Москве патриарха Адриана помещена под 17 ноября 1700 года и тут же сказано: «Страленбергова в сем ошибка, говоря, будто патриарх умер под Нарвою в 1703-м году. Смотри историч. его описание Российской империи, т. II, стр. 83 и 108».³⁰ Книга барона Филиппа Иоганна фон Страленберга вышла в Амстердаме в 1757 году.³¹ Только в этом издании во II томе на с. 83 и 108 сообщено о смерти последнего патриарха Адриана.

Пересылая Вольтеру «записки» для создания «Истории России при Петре Великом», в числе которых были и два перевода «Сокращенного описания дел Петра», И. И. Шувалов в письме от 13 июня 1758 года писал французскому историку о том, что посланные материалы «обладают преимуществом истинности. Могу Вас уверить, милостивый государь, что они извлечены из самых достоверных архивных и журнальных

материалов. Все ложное и недостоверное исключено самым тщательным образом». 17 июля 1758 года Вольтер сообщал И. И. Шувалову о том, что он получил присланные ему «мемуары»: «Из записок ваших вижу я, что барон Страленберг, который подал нам о России лучшее понятие, нежели кто-либо из иностранцев, ошибался однакож во многом».³² Из этого письма становится очевидным, что оно написано после получения полного варианта «Abrégé chronologique», где, как показано выше, были отмечены грубые ошибки Страленберга.

«Сокращенное описание дел Петра I» было для Ломоносова сводом исторически проверенных фактов с точными ссылками на источники, в числе которых были не только архивные материалы, но и сочинения, составленные русскими и иностранными авторами.

Установив принадлежность Ломоносову текста «Сокращенного описания дел государя Петра I», французский перевод которого в конце 50-х годов XVIII века был послан Вольтеру и сохранился в его библиотеке, мы должны объяснить, как оказалась рукопись этого сочинения в архиве Г. Ф. Миллера.

Ответ на этот вопрос дает сопоставление рукописей французского текста «Abrégé chronologique» из библиотеки Вольтера³³ и из архива Г. Ф. Миллера, хранящегося в ЦГАДА.³⁴ Текст «Abrégé» переписан на одной и той же бумаге одним и тем же почерком. Очевидно, Г. Ф. Миллер заказал писцу, готовившему материал для Вольтера, копию для своей библиотеки.

Г. Ф. Миллер тщательно собирал в свой архив самые разнообразные материалы. Так, в его «портфелях» хранятся списки сочинений Ломоносова: переписанный рукою Миллера «Гимн бороде», эпиграмма, направленная против Тредиаковского «На сочетание стихов российских», и «Возражение на притчу „Осел в лвиной пшуре“», писарская копия «Мышь деревенская и мышь городская», стихотворение «О сомнительном произношении буквы Г на российском языке», первые пять листов корректуры первоначального варианта «Слова похвального Петру Великому», отпечатанные в декабре 1754 года (в издании этого «Слова» 1755 года Ломоносов, как известно, значительно изменил текст).

²⁹ См.: Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971, с. 149—222.

³⁰ Архив ЛОИИ, Собр. Воронцовых, № 698, л. 4 об.

³¹ Description historique de l'empire Russien. Traduite de l'ouvrage Allemand de M. le Baron de Strahlenberg, t. I—II. Amsterdam, 1757.

³² Письма г. Волтера к графу Шувалову и некоторым другим российским вельможам. Перевод Н. Левицкого. М., 1808, с. 16. В «Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand» (Leipzig, 1761, с. 153—181) Вольтер не указывает дату смерти патриарха Адриана, обойдя таким образом и материал Страленберга и данные Ломоносова.

³³ ГИПБ, Библиотека Вольтера, № 242, т. I, л. 302.

³⁴ ЦГАДА, ф. 199 (Портфели Миллера), № 149, ч. 2, д. 1, л. 161.

Здесь же хранится издание, являющееся величайшей библиографической редкостью, — это выпущенная всего в 55 экземплярах ода Ломоносова «На Сарское Село» 1764 года, а также корректурный экземпляр речи Лефевра 1760 года, где упоминался Ломоносов. Даже замечания Ломоносова по поводу речи профессора Брауна на корректуре этой речи нашли свое пристанище в «портфелях» Миллера. Нет ничего удивительного, что его могло серьезно заинтересовать хронологическое описание событий Петровского времени. Это был документальный материал, необходимый в любой работе. К тому же кроме русского текста здесь имелся и его французский перевод, подготовленный для Вольтера. На немецкий язык *Abrégé chronologique* было переведено, вероятно всего, уже по инициативе самого Миллера: с немецким текстом ему удобнее было работать, ибо даже труд по истории русского летописания — его статья «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оных», опубликованная в апрельском номере «Ежемесячных сочинений» за 1755 год, была написана им на немецком языке.³⁵

Используя «Сокращенное описание дел государя Петра», Г. Ф. Миллер сделал буквальный перевод французского заглавия «*Abrégé chronologique des événements les plus remarquables de règne de Pierre I*» — «Хронологические записки достопамятных в России происшествий со времени рождения государя императора Петра I по кончину его» и присоединил к нему написанную им по поручению И. И. Шувалова сводку сведений «о различных общественных сооружениях, как города, большие дороги, каналы и порты, построенные по повелению Петра Великого».³⁶ Далее, по образцу «Сокращенного описания дел государя Петра I» Миллер продолжил подборку известий о событиях, происшедших «современи кончины Петра Великого». Но эта работа, как уже говорилось выше, не была им закончена и оборвалась известием об отъезде Миллера в Москву. Рукописная копия с этой трехчастной

³⁵ Рукопись, с которой производился набор «Ежемесячных сочинений», хранится в Архиве АН СССР (Р. II, оп. 1, № 217). Статья Миллера о летописи Нестора находится на лл. 223—238 об. На последнем листе приписка: «С немецкого перевел типографии наборщик Иван Акимов».

³⁶ Кулябко Е. С., Соколова Н. В. Указ. соч., с. 276—277.

работы была сделана в конце 80-х годов XVIII века для архива А. Р. Воронцова.

Так оказались объединенными в одном рукописном конволюте труд Ломоносова и незавершенная работа Г. Ф. Миллера. Обоих авторов в это время уже не было в живых.

«Сокращенное описание дел государя Петра I» является литературно-историческим сочинением Ломоносова, созданным им на основе изучения громадного количества рукописных и печатных материалов, многие из которых не сохранились до нашего времени. Оно содержит редкие и ценные сведения о событиях начала XVIII века — времени грандиозного строительства «новой России», вошедшей в систему европейских государств.

Наряду с французским переводом 1755 года «Слова похвального Петру Великому» («*Panégirique de Pierre le Grand*»), «Экстракта о стрелецких бунтах» («*Mémoire sur la Première révolte des strélitz*») «Сокращенное описание дел государя Петра I» («*Abrégé chronologique des événements les plus remarquables du règne de Pierre I*») находилось в числе материалов Вольтера в то время, когда он работал над «Историей России при Петре Великом».

Несмотря на то что процесс работы Вольтера над «Историей России при Петре Великом» привлекал внимание многих ученых,³⁷ представляется плодотворным установление характера использования великим французским просветителем работ Ломоносова.

Не меньший интерес представляет поиск и других трудов Ломоносова, также подготовленных им для Вольтера: «Сокращенное описание самозванцев» и «Сокращение о житии государей царей Михаила, Алексея и Феодора», о которых он сообщил в письме И. И. Шувалову 10 октября 1757 года (X, 527).

Публикация «Сокращенного описания дел государя Петра I» подготовлена по рукописи из собрания Воронцовых: Архив ЛОИИ, № 698/314, 1^о, лл. 1—12.

³⁷ Платонова Н. С. Вольтер в работе над «Историей России при Петре Великом». — Лит. наследство, т. 33—34, 1939, с. 1—24; Державин К. Н. Вольтер. М., 1946, с. 185, 196—206, 346; Алексеев М. П. Вольтер и русская культура XVIII века. — В кн.: Вольтер. Статьи и материалы. Л., 1947, с. 14—25; Приймач Ф. Я. Ломоносов и «История российской империи при Петре Великом» Вольтера. — В кн.: XVIII век, сб. 3. М.—Л., 1958, с. 170—186.

- 1672 мая 30. Рождение царевича Петра Алексеевича, бывшего потом императора Петра Великого.
- 1676 января 30. Кончина государя царя Алексея Михайловича.
- 1682 апреля 27. Кончина государя царя Феодора Алексеевича. Петр I наречен наследником престола. Первый стрелецкий бунт.
Царь Иван Алексеевич и царь Петр Алексеевич царствуют вместе.
- июня 25. Коронавание обоих государей царей.
- сентября 2. Оба государя уезжают в первый раз в Троицкой-Сергиев монастырь по причине учинившагося второго стрелецкого бунта.
1683. Начало учреждения двух гвардии полков, Преображенского и Семеновского, под видом набирания потешных для царей.
Многие стрельцы разосланы в ссылку. (л. 2 об.)
- 1684 января 9. Бракосочетание государя царя Иоанна Алексеевича с Прасковиею Федоровною Салтыковых.
- мая. Приезд в Москву римско-императорского посла.
1685. Оба цари уезжают вторично в Троицкой-Сергиев монастырь по причине стрелецкого же бунта.
- 1686 апреля 26. Мир с Польшею.
Отъезд боярина Бориса Петровича Шереметева послом в Вену и в другие места.
1687. Первый поход князь Василья Васильевича Голицына в Крым.
июля 23. Гетман Иван Самойлович заарестован.
25. Иван Степанович Мазепа наречен гетманом на место прежнего.
Царевна София Алексеевна вступает в сопровительство с царями, своими братьями, и с сего времени имя ея употребляется в указах и на монетах.
1688. Второй поход князя Голицына в Крым.
Основание города Самары на Днепре, который назывался пред тем Богородицким.
- 1689 января 27. Бракосочетание государя царя Петра Алексеевича с Евдокиєю Федоровною Лопухиных.
1689. Последовавший еще бунт принуждает царей в третий раз иметь убежище в Троицком-Сергиеве монастыре. (л. 3)
Царевна София Алексеевна отставляется от сопровительства и заключается в Москве в Новодевичей монастырь.
- августа 27. Заключение мирного и о границах с Китайским государством трактата, подписанного в Черчинске.
- 1690 февраля 19. Рождение царевича Алексея Петровича.
Гвардии полки Преображенской и Семеновской учреждаются на таком основании как их и ныне видят.
Поелику сие происшествие сомнительно, то еще упомянуто будет о том в 1695-м году.
- 1691 октября 3. Рождение царевича Александра Петровича, скончавшагося в сем же годе.
29. Рождение царевны Екатерины Ивановны, бывшей потом герцогини Мекленбургской.
1692. Избрант Идес отправляется посланником в Китай.
Найденный в Измайлове старый ботик дает повод к заведению флота.
- 1693 января 28. Рождение царевны Анны Иоанновны, бывшей потом императрицею всероссийскою.
- 1694 января 25. Поход Петра I в Архангельской город.
сентября 24. Кончина царицы Наталии Кириловны Нарышкиных.
Рождение царевны Перасковии Ивановны.
Взятие турецких на Днепре городов Кизы-Керменя, Ак-Керменя, Аслан-Керменя и Тавана.
1695. Гвардии полки Преображенской и Семеновской учреждаются на таком основании, как их и ныне видят. (л. 3 об.)
- 1695 апреля. Первый поход к Азову.
- 1696 января 29. Кончина царя Ивана Алексеевича.
марта 9. Начало строения флота на Воронеже.
июля 18. Взятие Азова.
сентября 30. Торжественное шествие в Москву.
Начальное копание канала к соединению Волги с Доном. Перри, стран. 3.
Начало селитренного при Астрахани завода. Корн. ле Брионь, том 1, стран. 95.
Царица Евдокея Федоровна отослана в Суздаль в монастырь.
- 1697 марта 9. Отъезд Петра I в чужие края в свите великого к европейским дворам посольства, в котором были Лефорт, Федор Алексеевич Головин и пр.

- апреля 16. Позволена продажа в России табаку.
августа 1. Победа над турецкими и татарскими войсками при реке Кагальнике.
1698. Построение гавани Таганьрога.
Злоумышленный заговор у некоторых стрелецких полков.
августа 27. Возвращение Петра I из чужих краев.
30. Учреждение кавалерского ордена св. апостола Андрея. (л. 4)
- 1699 января 25. Перемирие с турками, подписанное в Карловых. Продолжение копания канала между Волгою и Доном под руководством капитана Перри. Смотри книгу его.
августа 7. Мореплавание Петра I по Азовским водам. Морская баталия, чинимая для потехи у Таганьрога.
18. Пришествие российского флота к городу Керчи.
31. Возвращение флота к Таганьрогу. Думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцов отправляется послом в Константинополь. Основание города на Днепре, называемого Каменной Затон. Учреждение в Москве школы для мореплавания. Набирание или установление 18 полков пехотных и двух кавалерийских. Два полка гвардии предшествуют сему установлению, так же и Лефортовской полк, но в которое время сей последний формирован, неизвестно.
1700. Начало года установлено с первого января. Мир с турками на 30 лет. Построен в Москве Монетный двор, куда в 1706-м году введена главная аптека. Le Brun, tome II, p. 419.
мая 15. Указ о делании мелких медных денег. (л. 4 об.)
- 1700 августа 20. Объявление войны против шведов.
октября 4. Первая осада Нарвы.
ноября 17. Кончина в Москве Адриана, последнего патриарха. Страленбергова в сем ошибка, говоря, будто патриарх умер под Нарвою в 1703-м году. Смотри историч. его описание Российской империи, том II, стр. 83 и 108.
- декабря 11. Запрещение о неписании впредь никаких дел в столпцах, но в тетрадах.
1701. Начали строить у города Архангельского крепость, называемую Новая Двинка. Le Brun, tome I, p. 4, et 5.
декабря 30. Отъезд Петра I в Биржу, что в Литве, где происходили изустные с королем польским переговоры. Запрещение писаться уменьшительным именем. Первая победа над шведами при Ерестфере в Лифляндии, командуемыми генералом Шлиппенбахом.
- 1702 января 11. Описание торжества и фейерверка, бывшего в Москве 11-го января по причине вышепомянутой победы. Указ против поединков, который повторен и в 1703-м году. Le Brun, p. 26 et 71.
апреля 19. Отъезд Петра I к городу Архангельскому и продолжение пути оттуда через Олонец к осаде Нотебурга. Начало строения на Воронеже шлюзов для починки поврежденных кораблей. Перри, стр. 7. Начало копания канала между реками Доном и Окою. Le Brun, tome I, p. 61.
июля 8. Начало строения кораблей на Олонце.
августа 25. Вторая победа над Шлиппенбахом в Лифляндии при реке Эмбахе. Взятие Мариенбурга. (л. 5)
- 1702 октября 11. Взятие города Нотебурга, переименованного потом Шлиссельбургом. Возвращение Петра I и торжественное его величества вшествие в Москву по причине взятия Нотебурга. Le Brun, p. 51.
- 1703 февраля 1. Отъезд Петра I на Воронеж. Le Brun, p. 59.
3. Прибытие в город Ораниенбург, построенный тогда князем Меншиковым. Там же, стр. 61.
5. Прибытие в Воронеж. » стр. 62.
17. Выезд из Воронежа. » стр. 66.
марта 11. Возвращение Петра I в Москву. » стр. 71.
мая 1. Взятие Ниеншанца.
7. Взятие нескольких шведских кораблей на устье реки Невы.

14. Взятие Ямбурга.
 16. Начало основания Санктпетербурга в день св. Пятидесятницы.
 18. Взятие Копорья.
 июля 19. Победа над шведами под командою генерала Крониорта близ Систербека.
 ноября. Прибытие в С. Петербург голландского купеческого корабля, которого капитан получает награждение.
 1704 января. Основание крепости Кроншлотской в начале сего года.
 февраля. Начало битвы новой серебряной монеты.
 В начинании лета начали копать на Вышнем Волочке канал для соединения Тверцы со Мстою.
 мая 19. Победа над шведами у озера Пейпуса. Адлерфелд полагает сие 4 мая.
 июля 3. Кончина схимонахини царевны Софии Алексеевны. (л. 5 об.)
- 1704 июля 13. Взятие города Юрьева Ливонскаго.
 августа 9. Взятие Нарвы.
 16. Взятие Ивана города.
 декабря 19. Торжественное вшествие в Москву. В журнале Петра Великаго поставлено сие в 1705-м году. Часть I, стран. 129.
 24. Введение в употребление немецкого платья.
 1705 февраля 8. Начался откуп соляной продажи в пользу государственной казны.
 12. Указ о бранобритии.
 Бунт башкирцов.
 Бунт в Астрахани.
 Первые построения на Котлине острове, Ретусари тож, которые можно считать началом города Кронштага.
 Построение города Таврова неподалеку от Воронежа. Перри, стран. 14.
 июня 6. Шведы под командою адмирала Анкерштерна отбиты от Котлина острова.
 14. Поражение шведскаго генерала Мейделя, хотевшаго напасть на С. Петербург.
 Вторичное отбитие от Котлина острова адмирала Анкерштерна.
 Победа над генералом Левенгауптом в Курляндии.
 Выигрыши, полученные над шведами около речки Черной у Шлис-сельбурга.
 сентября 4. Взятие города Митавы.
 13. Взятие города Бауцка.
 1706 января 10. Меншиков получает достоинство князя Римской империи. (л. 6)
 мая 30. Основание С. Петербургской каменной крепости.
 Новые учреждения в Москве для медицины. Le Brun, tome II, p. 419—420.
 августа 15. Начертание Печерской крепости в Киеве.
 Неудачная первая осада Выборга.
 октября 19. Баталия под Калишем.
 декабря 28. Рождение царевны Екатерины Петровны.
 Первые военные регламенты для российских войск напечатаны в сем году на немецком языке.
 1707 Бунт донских казаков.
 Укрепление Москвы. Перри, стран. 22, 23, 24.
 декабря 16. Прибытие Петра I в Москву.
 1708 февраля 27. Рождение царевны Анны Петровны, бывшей потом герцогини голштинской.
 мая 10. Российские галеры разоряют город Боргоу.
 июня 27. Кончина царевны Екатерины Петровны.
 июля 16. Урон российских войск у Головчина. В журнале Петра Великаго поставлено сие июля 14-го. Часть I, стран. 169.
 21. Учиненная в Лондоне российскому послу графу Матвееву обида.
 августа 29. Победа над частью шведской армии у реки Сожи под Добрым.
 сентября 28. Победа над генералом Левенгауптом под Лесным.
 1708 октября 16. Победа в Ингерманландии над генералом Либекером. Измена гетмана Мазепы.
 ноября 3. Разорение города Батурина. (л. 6 об.)
- 1709 июня 27. Полковник Иван Скоропадский избирается в гетманы.
 30. Совершенная над шведами победа под Полтавою.
 Шведская армия взята в плен под Переволочною.
 Союзный трактат с королем дацким.
 Таковъ же с королем пруским.

- сентября 22. Петр I строит в С. Петербурге первый военный корабль.
 декабря 18. Смерть Мазепина в Бендерах.
 19. Рождение царицы Елизаветы Петровны, бывшей потом императрицы всероссийской.
 1710 февраля 2. Торжественное вшествие в Москву.
 8. Взятие города Елбинга.
 июня 12. Дарная в Москве аудиенция английскому послу г-ну Витфурту.
 июля 4. Взятие Выборга. А по Нордбергу 10 числа.
 10. Взятие Риги.
 августа 14. Взятие крепости Динаминда. А по Нордбергу 18 числа.
 сентября 8. Взятие города Пернова. По Нордбергу 21 числа.
 13. Взятие Кексгольма. По Нордбергу 9 числа.
 29. Взятие Аренсбурга.
 октября 4. Взятие Ревеля. По Нордбергу 28 числа. Капитуляция города Ревеля находится в Нордберге том III, стран. 493.
 Граф Пипер и фельдмаршал Рейншильд приезжают в Санктпетербург и пребывают тут до 3-го января 1711-го года. Смори в Нордберге.
 (л. 7)
 ноября 13. Бракосочетание царицы Анны Иоанновны с Фридрихом Вилгелмом герцогом курляндским.
 Начало города Кронштата. Перри, стр. 40.
 Проект к копанью канала между реками Витегрою и Ковшею, из коих одна впадает в озеро Онежское, а другая в Бело-озеро. Перри, стр. 43, 55.
 1711 февраля 25. Объявление войны против турков.
 марта 2. Установление в Москве высокого Сената.
 Разделение Империи на губернии.
 19. Отъезд Петра I из Москвы в поход против турков.
 Волохской князь Кантемир предается к стороне Петра I.
 Постановленный у Прута мир. Акт сего мира находится между прочими в собрании народных прав, изданном Г. Шмаусом, том II, стр. 2468, на италианском и на французском языках. Италианской экземпляра под числом $\frac{10}{21}$, а французской 24-го июля.
 Азов уступается туркам.
 ноября 14. Бракосочетание царевича Алексея Петровича с принцессою Брауншвейгскою.
 21. Петр I в Кенигсберге осматривает королевскую библиотеку.
 Смори Просвещенную Пруссию, том I, стр. 753. Вероятно, тогда то обрел он в сей библиотеке Несторов манускрипт, которой и списать повелел.
 1712 февраля 19. Бракосочетание Петра I с императрицею Екатериною Алексеевною, происходившее в С. Петербурге с великим торжеством.
 апрель. Начало Сената в с. Петербурге.
 5. Мирный заключенный с Портою трактат. Смори Шмауса, том II, стр. 1264.
 (л. 7 об.)
 1712. Поход российской армии в Померанию.
 мая 1. Основание соборной в С. Петербурге св. апостол Петра и Павла каменной церкви. Некоторые думают, что сие происходило 30 мая 1714 года.
 12. Великой пожар в Москве. Смори Нордберг.
 Проект о делании шлюзов при устье речки Славянки для починки кораблей. Перри, стр. 51.
 1712 июня 15. Начатой Петром I в 1709-м году военной корабль «Полтава» спущен на воду.
 сентября 9. Город Елбин отдается королю польскому.
 Посольство китайское к Аюки хану калмыцкому, подданному российскому.
 1713 января 13. Начало бумажной мельницы в Красном селе.
 Взятие Фридрихштата в герцогстве Шлезвигском.
 Начало коммерции в С. Петербурге с иностранными.
 Начало строения Александро-Невского монастыря.
 мая 4. Взятие Тоннинга. По Нордбергу 5-го числа.
 10. Взятие Гелзинфорса. По Нордбергу 11 числа.
 14. Взятие Боргова. По Нордбергу 20 числа.
 августа 28. Взятие Абова.
 июня 13. Заключенный с Портою в Константинополе трактат. По Нордбергу 5-го числа. Смори Шмауса, том II, стр. 2471. Нордберг, том III, стр. 524.

1714. сентября 19. Взятие Штетина, которой 6-го октября уступлен королю прусскому.
Начинают с сего года печатать указы.
- марта 17. Учреждение фискалов для наблюдения государственной пользы.
(л. 8)
- мая 30. Начинают строить каменную соборную в С. Петербургской крепости церковь. Другие полагают сие в 1712 году.
- июня 29. Взятие Нейшлота.
- июля 12. Рождение великой княжны Наталии Алексеевны, дочери царевича Алексея Петровича.
27. Морская баталия у Ангута.
1714. сентября 8. Рождение царевны Маргариты Петровны.
- сентября 9. Торжественное вшествие Петра I в С. Петербург.
1715. ноября 24. Установление ордена святой Екатерины.
- Установление Морской академии в С. Петербурге.
- Посылаются инженеры по всей Империи для сочинения географических карт.
- Строят в С. Петербурге две гофшпитали для лечения военнопленных как сухопутных, так и морских.
- Строят Петергоф.
- Устроение первого Почтамта в С. Петербурге.
- Поход по Иртышу против бухарцов и построение разных укреплений по сей реке.
- Первая поездка князь Александра Бековича Черкасского в Бухарию чрез Каспийское море.
- Набег кубанских татар на Казанския и Астраханския земли.
- июля 27. Кончина царевны Маргариты Петровны.
- Первая поездка г. Ланга в Китай.
- октября 12. Рождение великаго князя Петра Алексеевича, бывшего потом императора под именем Петра II.
(л. 8 об.)
- октября 21. Кончина принцессы, супруги царевича Алексея Петровича.
28. Рождение царевича Петра Петровича.
- Господин Волянской отправляется посланником в Персию.
- Возвращение князь Александра Бековича из первой его в Бухарию поездки.
1716. января 3. Кончина царицы Марфы Матвеевны, супруги царя Феодора Алексеевича.
- Путешествие Петра I в Данцих.
- 8
апреля 19. Бракосочетание царевны Екатерины Ивановны с герцогом Карлом Леополдом Мекленбургским.
- июня 30. Кончина царевны Наталии Алексеевны, сестры Петра I.
1716. августа 5. Петр I командует у Копенгагена четырьмя эскадрами, а именно: российской, дацкою, аглинскою и голландскою.
- Великой Готторпской глобус привезен в С. Петербург.
- Путешествие Петра I в Голландию.
1717. января 2. Рождение царевича Павла Петровича в Везеле, скончавшагося того же дня.
- Путешествие Петра I во Францию.
- Петр I в Париже принят в члены Академии наук.
- июля 24. Союзный трактат между Россиею, Франциею и Пруссиею.
- сентября 19. Конвенция, заключенная с городом Данцихом.
- декабря. Возвращение Петра I в Москву.
(л. 9)
1718. Построение малых крепостей, составляющих Царшцынскую линию.
- Напечатание новаго военного регламента, в сочинении котораго Петр I трудился с 1715 года.
- С сего года начали печатать календари на российском языке.
- Суд, веденный против царевича Алексея Петровича.
- марта. Прибытие Петра I в С. Петербург.
- Несчастливый поход князь Александра Бековича в Бухарию.
- Начало Алантского конгресса.
- Начало копания Кронштатского канала для строения и починки кораблей.
- мая 21. Кончина царевны Екатерины Алексеевны, сестры Петра I.
- июня 7. Учреждение полиции в С. Петербурге.
27. Кончина царевича Алексея Петровича.
- августа 20. Рождение царевны Наталии Петровны.
- Основание увеселительного дворца в Стрелной мызе.
- сентября 19. Указ о копании Ладожскаго канала.
- ноября 15. Указ об отправлении в Сибирь доктора Месершмида для изыскания вещей, касающихся до натуральной истории.

- 1718 декабря 12. Установление Коллегии.
Смерть в Олонце первого медикуса Арескина. (л. 9 об.)
- 1719 января 2. Посылка в Камчатку двух геометристов для получения достоверного сведения, соединяется ли Азия с Америкою.
18. Карл Верден, поручик от флота, отправляется на Каспийское море для сочинения оному точнейшей карты.
28. Указ о собирании поголовной подати.
февраля 4. Розрыв согласия с двором венским, выславшим от себя российского резидента.
12. Указ о построении обывательских домов на Васильевском острове.
и апреля 9
марта 1. Отъезд г. Месершмида в Сибирь.
апреля 17. Указ о высылке езуитов из России и ни въезжавши в оную нипкогда.
25. Кончина царевича Петра Петровича.
30. Учреждение почт в России.
мая 24. Взятие трех шведских кораблей.
июня 26. Поправление Вышневолоцкаго канала.
июля 4. Лев Васильевич Измайлов, от гвардии капитан, отправляется в Китай в чине посла.
в июле и
августе.
июля 27. Вступление российских войск на шведские берега.
декабря 10. Разделение Российской империи на провинции. (л. 10)
1720. Привилегия хотящим трудиться в рудоконьях.
Собрание поголовной подати во всем государстве начинается в течение сего года.
Г. Волынской возвращается из своего посольства из Персии.
Морской устав, в сочинении которого Петр I сам трудился, напечатан в С. Петербурге на российском и на голландском языках.
1720. Возстановление с венским двором дружбы.
Кронштатской порт приведен в совершенство.
Начало строения Ораниенбаума.
июня 27. Взятие четырех шведских фрегатов.
сентября 8. Торжественное введение оных в С. Петербург.
декабря 9. Несогласие с великобританским двором по причине мемориала, врученнаго российским резидентом аглинскому министру.
1721. Мирный конгрес в Нейштате.
февраля 14. Установление святейшаго Синода в следствие указа и учреждения, обнародованного минушаго генваря 25 дня. (л. 10 об.)
- 1721 февраля 3. Спускается на воду зимою в С. Петербурге три корабля, а именно: 3-го февраля, 3-го и 16-го марта.
июня 9. Указ о строении гавани в Рогервике.
27. Прибытие Карла Фридерика, герцога шлезвиг-голштинского в Ригу 17 марта, а в С. Петербург 27 июня.
августа 30. Мирный с Швецією трактат, заключенный в Нейштате.
октября 22. Петр I приемлет титул императора, великаго и отца отчества.
ноября 5. Великое в С. Петербурге наводнение.
Адмиралтейской регламент в сем годе окончан, а в следующем напечатан.
Отъезд его императорскаго величества в Москву в конце сего года.
1722. Учреждение полиции в Москве.
февраля 5. Указ о наследстве.
Учреждение в Глухове Коллегии для управления Малороссиєю.
мая 26. Отъезд его императорскаго величества из Москвы в Персидской поход. (л. 11)
- 1722 июня 7. Прибытие его величества в Казань.
15. Объявление войны против персидских бунтовщиков, учиненное в Астрахани 15 июня.
Начало работы в Рогервике.
Начало строения Галерной гавани в С. Петербурге.
июля 3. Смерть гетмана Скоропадского.
августа 23. Взятие города Дербента.
сентября. Начертание крепости св. Креста при реке Сулаке.
2. Возращение герцогини мекленбургской в Москву.
декабря 18. Торжественное вшествие его императорскаго величества в Москву.
- 1723 февраля 15. Барон Шафиров приговорен к смерти и потом прощен.
марта 3. Прибытие его императорскаго величества в С. Петербург.
9. Кончина царевны Марии Алексеевны, сестры его величества.

- апреля 8. Приезд двух прищцов Гессен-Гомбургских в С. Петербург. (л. 11 об.)
- июля 28. Взятие города Баку.
- августа 10. Приезд в С. Петербург персидского посла Исмаил-бека.
12. Малой ботик перевезен из Москвы в С. Петербург.
14. Аудиенция персидскому послу Исмаил-беку.
- сентября 12. Трактат, заключенный в С. Петербурге с персидским послом Исмаил-беком.
14. Отпускная Исмаил-беку аудиенция.
- октября 13. Кончина царицы Пераскевы Федоровны, супруги царя Иоанна Алексеевича.
- 1724 января 22. Основание Академии наук в С. Петербурге.
февраля 11. Союзный с Швецией трактат.
мая 7. Коронавание императрицы Екатерины Алексеевны.
июня 27. Трактат, заключенный с Портою в Константинополе. (л. 12)
- июля 8. Возвращение их императорских величеств в С. Петербург.
- 1724 августа 30. Принесение мощей св. Александра Невского в монастырь его имени.
ноября 24. Обручение герцога голштинского с цесаревною Анною Петровною. Установление Систербекских заводов. Установление таможенного в России тарифа.
1725. ³ Указ о первой Камчатской экспедиции.
января 28. Кончина императора Петра Великого.
марта 15. Кончина цесаревны Наталии Петровны, дочери государя императора Петра Великого.
21. Погребение императора Петра Великого и цесаревны Наталии Петровны, дочери его величества.

Д. С. Бабкин

РАДИЩЕВ И АКАДЕМИЯ НАУК

1

В настоящей статье делается попытка осветить ранний период петербургской жизни Радищева, начальный этап его вхождения в литературу. Что мы знаем о Радищеве этого периода? Кто стоял рядом с ним? Кто сочувствовал его дерзновенным начинаниям? Кто продвигал его работы в печать? Источников, по которым можно было бы судить об этом, сохранилось очень мало. Известно, что Радищев по возвращении осенью 1771 года из Лейпцигского университета в Петербург быстро установил контакт с издателем Н. И. Новиковым и вскоре напечатал в издаваемом им журнале «Живописец» рассказ «Путешествие в *** И *** Т***».¹ При посредничестве Новикова Радищев анонимно напечатал и две книги своих переводов: «Офицерские упражнения» и «Размышления о греческой истории» Мабли.

Длительное время принадлежность этих переводов Радищеву оставалась под сомнением и была подтверждена только в 1913 году, после опубликования В. П. Семеновичевым четырех расписок Радищева в получении гонорара за свои переводы.²

¹ См. об этом нашу статью «К раскрытию тайны „Живописца“» («Русская литература», 1977, № 4, с. 109—117).

² Семеновичев В. П. Собрание, стареющее о переводе иностранных

Несомненно, что этих сведений недостаточно для более или менее четкой характеристики связей Радищева. Необходимость более ясно представить то литературное окружение, в котором оказался молодой писатель, заставляет еще раз вернуться к этому вопросу и взглянуть на дело в свете новых разысканий. Я имею в виду документы, сохранившиеся в бумагах академической комиссии, которая ведала издательскими делами. Таких документов нам удалось обнаружить несколько.

Назовем в первую очередь рапорт фактора академической типографии Артемия Лыкова. Лыков был широко известен в литературных кругах того времени. Под его наблюдением печатались журналы Новикова «Трутенъ» (1769—1770) и «Живописец» (1772—1773). Лыков постоянно общался с Новиковым и, следовательно, хорошо знал закулисную историю его изданий. Выписки из отчетов Лыкова, относящиеся к печатанию журнала «Живописец» и перепечатке рассказа «Путешествие в *** И *** Т***», я уже привел в статье «К раскрытию тайны „Живописца“» (см. сноску 1). Здесь я укажу на его рапорты, относящиеся к радищевским переводам.

Вот один из них, касающийся издания книги «Офицерские упражнения». Има книг... СПб., 1913, с. 8—9 (вклейка), 47, 59.

Радищева в этом документе не названо. Этим, по-видимому, объясняется то обстоятельство, что исследователи, писавшие о переводах Радищева, не обратили на него внимания. Рапорт адресован в академическую комиссию. Представлен он был 29 мая 1774 года, когда переводы Радищева были завершены печатанием и направлены в комиссию в виде сигнальных экземпляров для подношения Екатерине II и влиятельным особам ее двора.

Лыков в своем рапорте дает подробные сведения о времени сдачи в набор книги «Офицерские упражнения», ее объеме, тираже, сортах бумаги, на которой она была отпечатана, называет фамилию наборщика (Кузьмин) и, наконец, стоимость всех типографских расходов. Для нас наиболее интересным и ценным является дата сдачи рукописи в набор и по чьему указанию это было сделано. «По резолюции апреля месяца 8 дня под № 561 прошедшего 773 года, — пишет Лыков, — поручику Николаю Новикову представленной от него на российском языке книги под заглавием Офицерские упражнения в четырех частях напечатано ныне на счет их Общества, старающегося о напечатании книг...»³

Какую новую для нас информацию содержит этот документ? В науке утвердилось мнение, что перевод названной Лыковым книги был сделан весной 1773 года, в мае, когда Радищев находился уже на службе в штабе графа Я. А. Брюса. Сама идея перевести эту книгу, как предполагали исследователи, была якобы связана с этой службой. В комментариях академического издания полного собрания сочинений Радищева сказано: «Весьма вероятно, что перевод книги был поручен Радищеву непосредственно в штабе Я. А. Брюса, где он тогда служил, и лишь впоследствии был оформлен в „Собрании, старающимся о переводе иностранных книг“, принявшем на себя и выплату гонорара».⁴

Фактор типографии Лыков точно указывает, что рукопись этой книги была сдана в типографию 8 апреля 1773 года, т. е. за месяц до того, как Радищев поступил на военную службу. Само собой разумеется, что для подготовки перевода к печати требовалось длительное время. Книга состояла из четырех частей общим объемом в двадцать два печатных листа. Для переписки рукописи для набора требовалось не менее месяца. Кроме того, в книге было большое число чертежей. По тогдашним условиям рисунки вырезались граверами на металле, на что также требовалось значительное время. В общей сложности на подготовку рукописи и чертежей к печати могло потребоваться несколько месяцев. Следова-

тельно, работа над переводом книги проходила еще в 1772 году. Что касается первоначального замысла перевести эту книгу на русский язык, то он мог возникнуть еще раньше.

В 1768—1774 годах Россия находилась в состоянии войны с Турцией. Квалифицированное руководство по военному делу было необходимо, особенно для младшего и среднего офицерского состава. В предисловии к книге было сказано, что молодые дворяне, вступавшие в армию офицерами, часто не имели должного представления о военном «рукоумстве», были равнодушны к нему и мало старались «оному научиться». «Чего доброго можно ожидать от таких командиров? — говорилось в предисловии. — В результате их небрежения происходила напрасная гибель солдат».

Вторая информация фактора Лыкова относится к переводу книги Мабли «Размышления о греческой истории». В папке «Дело о напечатанных книгах и делах в академической типографии за 1773 год» имеется отчет фактора Лыкова за июнь 1773 года. В этом отчете несколько раз упоминается книга Мабли. Она печаталась одновременно со вторым изданием журнала «Живописец» и книгой «Офицерские упражнения». Вот эти сведения: «Лист 29 об. Живописца I части вторым изданием, лист Г, 324 экз.

Лист 30 об. Размышления о греческой истории, лист А, 650 экз.

Лист 31 об. Офицерских упражнений листы А, Б, В, Г, завод 2600 экз.

Лист 32 об. Размышления о греческой истории, лл. А, Б, В, Г, Д.

Лист 33 об. Размышления о греческой истории, лл. Е, Ж, З, И».⁵

С сочинениями Мабли Радищев познакомился еще в Лейпциге. Русские студенты, в том числе и Радищев, высоко ценили труды этого писателя. Когда им предложили в 1771 году прослушать курс лекций профессора Беме о публичном праве, они предпочли его лекциям сочинение Мабли «Публичное право Европы», будучи, по их словам, уверены в том, что «образцовое, по мнению всего свега, произведение Мабли, конечно, содержит в себе более поучительного, нежели какие бы то ни было лекции».⁶

Решение молодого Радищева взяться за перевод книги Мабли «Размышления о греческой истории» является весьма существенным моментом его творческого развития.

Мир древних греков, о котором повествует Мабли, исторически неточен. Мабли нельзя считать ученым историком, он выступает в этой книге как моралист,

⁵ Архив АН СССР, ф. 3, оп. 4, ед. хр. 33/1.

⁶ Подробнее об этом см.: Барсков Я. Л. А. Н. Радищев. Жизнь и личность. — В кн.: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву, т. II. М. — Л., 1935, с. 89—90.

³ Архив АН СССР, ф. 3, оп. 4, ед. хр. 41/6.

⁴ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 2. М. — Л., 1941, с. 414.

беллетрист, делая жизнь древних греков подобием собственной модели идеального общественного строя будущего. Эта книга — утопия. Не случайно Ф. Энгельс писал: «... революционные вооруженные выступления еще не созревшего класса сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями: таковы в XVI и XVII веках утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII веке — уже прямо коммунистические теории (Морелли и Мабли)».⁷

Многие сведения о древнегреческих государственных деятелях Мабли заимствовал у Плутарха из его книги «Сравнительные жизнеописания». Для Плутарха, как известно, главной целью была не история как таковая, а мораль. Он создавал художественными средствами образы деятелей, которые должны были служить иллюстрациями моральных принципов. Мабли позаимствовал у Плутарха и творческий метод, который давал ему возможность нарисовать впечатляющую картину народного государства. Прообразом такого государства для Мабли являлась древняя Спарта (Лакедемон), а прототипом мудрого правителя — Личург.

Радищевский перевод книги Мабли знакомил русского читателя не только с идеями политического демократизма, но и с утопическими коммунистическими теориями, на которые указывал Энгельс. Перевод, усиленный Радищевым резкими высказываниями о самодержавстве в примечаниях к книге, делал ее острым политическим оружием.

2

Нелегко было 23-летнему начинающему писателю найти в самодержавной России издателя такой книги. Сама мысль издать на русском языке это незаурядное произведение казалась дерзкой. Как проходило издание этой книги, кто принимал в нем участие кроме Новикова — об этом нет пока в литературе четких представлений. Существует предположение В. П. Семенникова, что Радищев для издания своих переводов вошел в состав организованного Новиковым «Общества, старающегося о напечатании книг», был как бы пайщиком этого общества, действовавшего на кооперативных началах. На титульном листе книги Мабли указано, что она издана «Изданием Общества, старающегося о напечатании книг». Это указание, по-видимому, и привело В. П. Семенникова к его заключению. «Так как денежные средства Общества... — писал он, — были весьма невелики, то можно думать, что участие в Обществе других его членов выражалось не в денежных вкладах на издание книг, а в предоставлении своих литературных трудов для издания Обще-

ству, причем авторы и переводчики могли участвовать в прибыли, получавшейся от издания. На этом основании мы предполагаем, что участников общества можно скорее всего искать среди авторов и переводчиков тех книг, которые изданы Обществом».⁸

Из отчетов фактора Артемия Лыкова вырисовывается несколько иная картина. Из них видно, что по линии издательской Радищев был связан с Новиковым, по творческой — с «Собранием, старающимся о переводе иностранных книг». Последнее, организованное в 1768 году по инициативе Екатерины II, было передано в ведение Академии наук на правах отделения.

Екатерина II, передавая это Собрание в ведение академии, по-видимому, учитывала переводческие функции, которые были предусмотрены уставом Академии наук, утвержденным Петром I. Само наименование «Собрание» было заимствовано из петровского устава, в котором сказано: «Академия ничто иное есть, токмо социетет (собрание)».⁹ Далее в нем говорится: «Надлежит при каждом классе академическом одного переводчика и при секретаре — одного ж и тако во всех четырех классах определить».¹⁰ Устав предусматривал иметь переводчиков и при библиотеке академии: «Такожде может он (библиотекарь, — Д. В.) переводчиков библиотеки и натуральных вещей каморы употреблять».¹¹ Руководство переводческой деятельностью Собрания было возложено на директора академии графа В. Г. Орлова, графа А. П. Шувалова и члена Академии наук, статс-секретаря кабинета императрицы Г. В. Козицкого. Фактически же все переводы, осуществляемые этим Собранием, проходили под непосредственным руководством Козицкого. После его санкции переводы передавались для напечатания и распространения Новикову, находившемуся в деловом контакте с Академией наук. Именно такой порядок отражен в справке академической комиссии, составленной 10 февраля по поводу выпуска в свет ранее задержанного перевода книги «Офицерские упрямления» и написанной на обороте рапорта фактора типографии Лыкова.

Вот что сказано в этой справке: «Напечатанные на счет поручика Новикова и Общества шестьсот пятьдесят экземпляров, в том числе пять на александрийской, сорок пять на заморской, а остальные на здешней инвентарной бумаге, переведенной под смотрением Собрания, старающегося о переводе ино-

⁸ Семенников В. П. Раннее издательское общество Н. И. Новикова. — Русский библиофил, 1912, № 5, с. 39.

⁹ Цит. по: Курмачева М. Д. Петербургская академия наук и М. В. Ломоносов. М., 1975, с. 73.

¹⁰ Там же, с. 74.

¹¹ Там же, с. 75.

⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 18.

странных книг на российской язык, книги Офицерских упражнений... принять от фактора Лыкова в книжную лавку комиссару Зборомирскому и, записав по магазину в приход, взнести ему из оных в Комиссию четыре экземпляра на александринской да одиннадцать на здешней инвентарной бумаге, две отданных на счет его, Новикова, в помянутое Собрание, старающееся о переводе на российской язык иностранных книг, от которого сообщена была ему, Новикову, для напечатания сия книга».¹²

Этот документ дает нам весьма ценную информацию. Он полностью снимает упомянутое выше предположение В. П. Семенникова о членстве Радищева в новиковском «Обществе, старающемся о напечатании книг». Здесь совершенно ясно сказано, что переведенная Радищевым книга «сообщена была ему, Новикову, для напечатания» от «Собрания, старающегося о переводе на российской язык иностранных книг». Отсюда понятно, почему Радищев выдавал свои расписки в получении гонорара за переводы книг не Новикову, а Григорию Козицкому, ведавшему всеми делами переводческого собрания Академии наук. Тут же сказано, что перевод осуществлялся «под смотрением Собрания, старающегося о переводе иностранных книг». Это значит, что представленный Радищевым перевод не сразу пошел в печать, а подвергся некоторой редакционной обработке, как стилистической, так и по существу содержания. «Смотрение», о котором говорится в приведенной справке, не исключало и такой формы, как совместное обсуждение перевода.

Может возникнуть вопрос: Насколько типичны как документы рапорты фактора Лыкова? Есть ли там какие-то особые черты? Можно ли им доверять? Рапорты Лыкова — сухие официальные документы. Точно такой же формы донесения он писал и по всем другим книгам, которые печатались в академической типографии под его наблюдением. Характерной чертой их является деловая точность. Объективный характер рапортов не подлежит никакому сомнению. В частности, достоверность справки, которую мы здесь привели, подтверждена подписью директора Академии наук С. Г. Домашнева. Домашнев, еще до назначения его в 1775 году директором академии, имел связи с Академией наук. Он один из тех, кто хорошо был осведомлен об издании переводов Радищева. В 1777 году он разрешил выпустить в свет тираж ранее запрещенной книги «Офицерские упражнения». В конце приведенной справки сказано: «Подлинной за подписанием его высокородия, господина камер-юнкера и Академии наук директора Сергея Герасимовича Домашнева».

¹² Архив АН СССР, ф. 3, оп. 4, ед. хр. 41/6 (курсив мой, — Д. Б.).

Указанный нами порядок прохождения рукописей радищевских переводов несомненно применялся и к книге Мабли «Размышления о греческой истории». Обе переведенные им книги, как мы отметили выше, печатались одновременно. Представленную Радищевым рукопись перевода книги Мабли, к сожалению, нам не удалось разыскать, но изданный перевод позволяет установить, что текст Мабли подвергся редакционной правке. Книга Мабли до этого выдержала два издания: первое появилось в 1749 году в Женеве, второе, значительно переработанное, — в 1766 году.¹³ Радищев перевел книгу по второму изданию. В этом издании имеется авторское посвящение «A monsieur l'abbé de R***», которого нет в переводе. Одновременно в переводе появилось семь примечаний, которых не было во французском тексте. Видимо, указанное сокращение и примечания были сделаны Радищевым. Все эти изменения не могли остаться незамеченными со стороны руководителя переводческого Собрания, тем более что одно из введенных примечаний о самодержавстве носило подчеркнуто острый, принципиальный политический характер. Из-за этого примечания книга была задержана, весь тираж ее уничтожен. Книга эта является более редкой, чем первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву». В Эрмитажном собрании Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится экземпляр ее, поднесенный Екатерине II. Еще четыре экземпляра этой книги имеются в разных библиотеках нашей страны. «За долгие годы книжного собирательства, — писал известный книголюб Н. П. Смирнов-Сокольский, — я видел эту книгу в частном собрании только у одного, ныне покойного, И. Д. Смолянова, много поработавшего над библиографией Радищева. Из прижизненных изданий Радищева у него была лишь эта книга, но он весьма дорожил ею. Оказавший мне помощь в приобретении „Размышлений“ А. Г. Миropов удостоверяет, что он, почти за полувековой период работы с антикварной книгой, впервые провел этот труд Радищева через свои руки».¹⁴

3

История издания радищевских переводов позволяет нам разглядеть литературные связи молодого Радищева и ту творческую среду, которая его поддерживала. Когда же Радищев установил свои связи с переводческим Собранием Академии наук? Через кого он действовал при этом? Ответ на первый вопрос дает

¹³ Подробнее об этом см.: Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 2, с. 407—413.

¹⁴ Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о книгах. Изд. 2-е, М., 1960, с. 83.

вышеприведенный рапорт фактора типографии Лыкова. В нем отмечено, что резолюция академической комиссии о сдаче перевода книги «Офицерские упражнения» была дана 8 апреля 1773 года. Исходя из этой даты можно заключить, что Радищев установил свои связи с этим учреждением минимум за несколько месяцев перед этим, т. е. еще в 1772 году. Вполне возможно, что он в данном случае действовал через Новикова или других лиц. Имеются основания предполагать, что его рекомендовали те высокопоставленные русские офицеры, с которыми он встречался в Лейпциге. Побывал в Лейпциге в те же годы и С. Г. Домашнев. Нам известно, что Радищев уже в то время проявил свои литературные способности.

Что же привлекло Радищева в академическое собрание переводчиков? Ведь он мог обратиться непосредственно к издателю Новикову, в частности к его «Обществу, старающемуся о напечатании книг», как и предполагал В. П. Семенников.

Следует отметить, что академическое собрание переводчиков, находясь в составе Академии наук, было освящено тем авторитетом, каким пользовалась академия со времени Ломоносова. Ломоносов некоторое время возглавлял и направлял деятельность академических переводчиков. Как свидетельствуют его отзывы о переводах Г. В. Козицкого, последний прошел через ломоносовскую школу.

В начале 1770-х годов академическое собрание переводчиков объединяло большой круг литераторов. В него входили не только сотрудники академии, но и писатели, не состоявшие в штате этого учебного собрания. В. П. Семенников, выяснявший его состав по сохранившимся документам, отметил: «... за время существования Собрания переводчиков в нем участвовали трудами более ста десяти литературных работников».¹⁵ К числу плодовитых, высокообразованных переводчиков принадлежали следующие: С. Башилов, И. И. Богаевский, И. Ф. Богданович, П. И. Богданович, С. И. Гамалея, М. Е. Головин, С. Е. Десницкий, И. А. Дмитриевский, И. Г. Дольский, М. И. Ильинский, Я. В. Княжнин, Г. В. Козицкий, А. М. Кутузов, М. Матинский, А. Я. Поленов, М. И. Попов, С. Я. Румовский и мн. др.¹⁶ По тогдашним условиям это была своеобразная литературная организация. Притягательная сила этого Собрания была велика. И не случайно издатель Новиков вошел в деловой контакт с этой организацией: из ее рядов он черпал квалифицированные кадры для своих изданий. Все эти обстоятельства, надо полагать, способ-

ствовали стремлению Радищева участвовать в работах академического собрания переводчиков.

В самом Собрании Радищев встретил благожелательное отношение к себе со стороны его непосредственного руководителя Г. В. Козицкого. Роль Козицкого в издании переводов была исключительно велика и остается еще недостаточно раскрытой. Принадлежал ли он к писателям, которые сочувствовали идейно-политическим исканиям Радищева? Или их духовному сближению способствовало бурное тогдашнее время и жизненный путь самого Козицкого? Для ответа на эти вопросы остановимся коротко на основных вехах его биографии.

Григорий Васильевич Козицкий (1727—1775) был выходцем из бедной украинской семьи. Сохранился ряд документов, которые позволяют проследить его жизненный и творческий путь. В 1747 году он вместе со своим другом Николаем Мотонисом окончил Киевскую духовную академию. Профессор Варлаам Лящевский, у которого они учились, выдал им аттестат, в котором было сказано: «Сним объявляем, что объявители сего студенты Николай Мотонис и Григорий Козицкий, будучи в Киевской Академии, как в других свободных науках, так и в логике немалое основание положили, где как честными нравами, так великою к учению охотою, рачением и прилежанием чрез довольное время не токмо с великою пользою в учении своем происходили, но и другим своим товарищам были образцом в добродетельном и честном житии и в прилежании».¹⁷

Из Киева юноши отправились для продолжения образования в Западную Европу. Полтора года они находились в Бреславле, занимались в гимназии Святой Елизаветы. После окончания ее они решили отправиться в Лейпцигский университет. Не имея никаких материальных средств, они полагались исключительно на помощь любителей наук. Главный инспектор Королевской консистории, кнрок и школ профессор Иоганн Фредерик Бург выдал им похвальный аттестат, в котором было сказано: «Предъявители сего Николай Мотонис нежинец и Григорий Козицкий киевлянин, из Малой России новым неким образом находились чрез полтора года между гражданами и слушателями нашей гимназии Святой Елизаветы; чрез все то время с таким рачением и прилежанием во всех честных науках упражнялись, и столь похвально и добropорядочно между ними себя вели, что хвалы как прочих всех учителей, так и нашей достойны, и оказали великую о себе надежду, что они со временем основательным учением принесут отечеству своему немалую пользу и многим согражданам будут примером». Профессор Бург присовокупил к своему

¹⁵ Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе иностранных книг, с. 9.

¹⁶ См. там же.

¹⁷ Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, № 821, л. 92 об.

аттестату просьбу к любителям наук: «И понеже они для большего в науках совершенства отъезжают в Лейпцигскую Академию без споможения в содержании своем из отечества почти нимаемого надеяться не могут, то не сомневаюсь, что они по добropорядочному своему житию, и прилежанием и успехами сыщут сами себе благодетелей, которые приехавшим им из таких отдаленных мест в наши училища для учения и оказующим несумненную надежду о успехах в науках и в честных нравах вспоможение им учинить и щедротою своею их ободрить и подкрепить не откажутся. Дано в Бреставле апреля 18 дня 1749 года».¹⁸

В Лейпцигском университете охотно приняли юношей. Козицкий и Мотонис оказались первыми русскими студентами прославленного Лейпцигского университета, вступив в него за 17 лет до приезда сюда Радищева. Они успешно начали заниматься под руководством профессора Гейнзиуса, но страшно бедствовали. 19 августа 1749 года они обратились в Петербургскую академию наук с письмом, в котором просили оказать им материальную помощь. Письмо это свидетельствовало об их страстном стремлении закончить свое образование и быть полезными в своем государстве. «Но как мы особливо к математике, философии, истории и к некоторым европейским языкам приложить труд желаем, которые наука по крайней мере трех лет совершенного ради постижения требуют, а здесь понеже все дорого, на своем нам коште чрез толикое время прожить невозможно, и следовательно, намерению нашему получить счастливое успеха, и к службе отечества себя достойными учинить сия препона не попустит. Того ради Императорскую Академию наук нижайше просим, чтобы она, яко учрежденный от ея императорского величества для распространения наук и художеств в России корпус, милостиво о нас рассудя в сем нашем намерении, которое не для нашей, но для общей Государственной пользы от нас восприято, нам помощь учинить изволила; а мы о том всегда, как и имеем, будем старание иметь, чтоб для распространения в Государстве нашем учения не неугодны показались».¹⁹

Петербургская академия наук удовлетворила их просьбу. Уведомление об этом было послано на имя профессора Гейнзиуса. Козицкий и Мотонис стали известны Петербургской академии наук, весьма нуждавшейся в молодых научных кадрах. Ими заинтересовались Ломоносов и академик Г. Ф. Миллер, начали обсуждать вопрос о подыскании для них в академии подходящих вакансий. Не найдя для замещения свободных вакансий кандидатов среди иностранных ученых, академик Миллер писал Ломоносову

8 мая 1754 года: «Я получил также ответ от господина профессора Гейнзиуса. Он не может предложить никого достойного. Лица, уже занимающие государственные должности, как он пишет, вряд ли дадут согласие. Поэтому он советует пригласить подающих хорошую надежду молодых людей на короткое время в качестве экстраординарных профессоров и заместить вакантные должности теми, которые себя хорошо зарекомендуют, причем подходящих он обещает в будущем предложить... Об украинских студентах Мотонисе и Козицком господин Гейнзиус отзывался весьма хорошо. Они сейчас занимаются преимущественно астрономией. К весне будущего года он собирается их освободить».²⁰

Так Козицкий и его друг Мотонис, еще будучи студентами, постепенно входили в орбиту Петербургской академии наук. В 1758 году они приехали в Петербург, а в марте 1759 года были произведены адъюнктами академии. Козицкий быстро проявил себя как талантливый переводчик. Он удачно перевел на латинский язык три рассуждения Ломоносова: «Слово о происхождении света», «О пользе химии» и «Рассуждения о большей точности морского пути».

В 1763 году Козицкий по требованию Сената был переведен на службу в Канцелярию опекунства иностранным секретарем для ведения корреспонденции с иностранными государствами. Однако вскоре выяснилось, что он был более нужен академии. Сохранился весьма интересный документ об избрании Козицкого в члены Академии наук — рапорт советника академической канцелярии Унгебауера от 30 января 1768 года, в котором сказано: «Прошлого 1767 года генваря 26 дня избраны единогласно в Академической Конференции прежде бывшие в службе при Академии наук господа Козицкий и Мотонис в рассуждении им иногда препоручаемого дела, в котором они, как то в поправлении слога в переведенных на российскую язык книгах и других к печати назначенных сочинениях и прочее, в Академические члены с жалованьем по 200 рублей на год. О чем чрез сие высокоучрежденной Комиссии покорнейше репортую».²¹

Однако Козицкому не удалось целиком посвятить свою жизнь науке и литературе. Екатерина II привлекла его к служебной деятельности в государственном аппарате, назначила в 1768 году статс-секретарем своего кабинета к принятию подаваемых прошений на ее имя. В бытность свою статс-секретарем Козицкий исполнял многочисленные и разнообразные поручения императрицы: приводил в порядок оставшиеся после Ломоносова бумаги, принимал участие в работе Комиссии о сочинении Нового уложения,

²⁰ Сочинения М. В. Ломоносова, т. 8. М.—Л., 1948, с. 171.

²¹ Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, № 310.

¹⁸ Там же, л. 93.

¹⁹ Там же, л. 94.

перевел на латинский язык «Наказ» Екатерины II и т. д.

Должность статс-секретаря, очевидно, не давала ему духовного удовлетворения. Он тяготился ею и, по-видимому, выражал свое неудовольствие в беседах с друзьями. Новиков, хорошо знавший его, в своем «Опыте исторического словаря о российских писателях» писал: «... сей искусный и ученый муж приобрел бы не последнее место между славными российскими писателями, ежели бы не отвлечен был должностями, на него возложенными, от упражнения во словесных науках. Совершенное его искусство во славенском, греческом, латинском, французском и немецком языках и великое его просвещение со здравым рассудком в том удостоверят».²²

Козицкий был приверженцем научной материалистической мысли, пропагандистом демократических идей. В астрономии, которую он прилежно изучал еще в Лейпцигском университете, он придерживался гелиоцентрической теории Коперника, появление которой, по выражению Ф. Энгельса, было «революционным актом, которым исследование природы заявило о своей независимости».²³ В 1770 году Козицкий перевел и напечатал в академической типографии отдельным изданием обширную статью немецкого просветителя, русского академика Ф.-У.-Т. Эпинуса «Рассуждение о строении мира», в которой ученый защищал теорию Коперника. Статья эта была написана в 1759 году, но из-за нападок церковной цензуры в свое время не увидела света и оставалась у автора в рукописи.²⁴

Как писатель Григорий Козицкий проявил себя в целом ряде статей и переводов. Его переводы сочинений Лукиана, Овидия, Мармонтеля и других отличаются чистотой слога и глубоким проникновением в замысел автора. В журнале Сумарокова «Трудолюбивая пчела» (январь 1759 года) Козицкий напечатал интересную статью, обратившую на него внимание даже и неспециалистов, и главное, по предмету весьма важному — «О пользе мифологии».

Статья начинается полемикой с «хулиателями сей науки», которые почитают мифологию «за безделицу и сказки дряхлых старух, выдуманные для потехи малым ребятам». Отстаивая интерес к мифологическому художественному сознанию, Козицкий отмечает, что мифологические образы широко используются

в литературе, искусстве и науке: «... не увидите почти ни одной страницы, на которой бы не было имен, из мифологии взятых и заключающих в себе протраченные размышления». Козицкий высказал весьма интересную мысль о жизненности мифологических образов. Раз возникнув, они не могут совсем исчезнуть; они переходят от поколения к поколению, из века в век, из одного тысячелетия в другое; шлифуются в народном сознании, приобретают новые краски, материализуются в науке. Они неистребимы, потому что в основе их лежит народное сознание.

Козицкий высмеивает тех христианских богословов, которые под предлогом борьбы с язычеством пытались заменить мифологические названия именами из священного писания. «Был некто Иулий Шиллер, — пишет он, — который, следуя совету Беды, проименованного Почтаемым, из баснословного, как он сам говорит, Христианское небо сделать старался, и для того переменял всем звездам названия; вместо древних, в соблаз, по его мнению, приводящих имена дал святые и божественные, однако не имел никакого успеха в дерзновении своем предприятии. Некоторые новому его вымыслу удивлялись, иные за ревность к благочестию похваляли, многие смеялись и презирали... Я, не утверждая ни одного из сих мнения, предложу здесь всякому на рассуждение некоторые им выдуманые созвездий названия. Большую Медведицу называет он Святым Архангелом Михаилом; Дракона младенцами, избивенными от Ирода; Дельфина водоносом в Кане Галилейской; Андромеду гробом Христовым; Овна святым апостолом Петром; Быка святым Андреем; Ориона святым Иосифом обручником пренепорочной девы и прочая подобным образом».

Одновременно Козицкий пронизывает над геральдическими потугами родовитого дворянства: «Ерард Вейгель, видя Шиллерову неудачу, оставив богословие, обратился к политике, и для сыскания себе у высоких особ милости и у всех людей похвалы вознамерился выдумывать новое небо, которое он назвал Геральдическим, и вместил в оное гербы европейских государей, князей и прочих людей. Например, Большую Медведицу превращает он в слона Королевства Датского, Лебеда в руту с мечами двора Саксонского, Плеяды в Пифагорову таблицу, которую он за герб купеческий почитал. Однако сии новости всем славным астрономам не понравились; и так мифологические имена и до сего времени остаются в употреблении».

Основной вывод из рассуждений Козицкого такой: то, что не прошло через сознание народов, то, что органически не вжилось в него, не может привиться в области культуры. Эта статья помогает нам понять Козицкого как личность, как человека новой цивилизации, в сознании

²² Новиков Н. И. Избр. соч. Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Г. П. Макогоненко. М.—Л., 1951, с. 313.

²³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 347.

²⁴ См. об этом: Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. М.—Л., 1937, с. 202.

которого присутствовала в качестве важного компонента древняя культура.

В век, когда нравы привилегированных сословий — духовенства и дворянства — развратились, Козицкий искал в мифологии средств для их исправления. В этом плане его статья «О пользе мифологии» перекликается с переведенной Радищевым книгой Мабли «Размышления о греческой истории». «Как искусный и о здоровье ближнего своего пекущийся врач горькие, но спасительные лекарства растворяет в сахаре, — пишет Козицкий в заключение своей статьи, — так прозорливые мифологии нравочения для большей всем пользы под баснями скрыли. Одни правила к исправлению человеческого жития в сухих силлогизмах предложенные и доказанные не могут такого нам подать наставления, какое подают искусно выдуманнные басни, в коих представляется какое-нибудь лицо живое или оживотворенное, которого добродетелям подражать и пороков оному приписанных убегать удобнее устремляемся, видя щастливые с одной стороны и злополучные с другой стороны следствия и память их простершуюся до поздних потомков».

У Козицкого и Радищева нашлось немало общего, способствовавшего установлению между ними литературных контактов: Лейпцигский университет, в котором они оба учились, любовь к античной литературе, прекрасное знание иностранных языков. Близость их интересов проявилась и в области политической мысли. Об этом достаточно хорошо свидетельствует то важное обстоятельство, что Козицкий как редактор и руководитель «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг» пропустил в печать радищевское примечание к книге Мабли о самодержавстве, которое в разгар крестьянской революции в России звучало не только как дерзкий вызов царскому самодержавию, но и являлось моральной и политической поддержкой восставшего народа.

Так отношения молодого Радищева с академическим собранием переводчиков перешагнули чисто литературные рамки. Можно предполагать, и это не будет преувеличением, что когда Радищев писал в названном примечании: «Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти...», то этими словами он выражал не только свое собственное мнение, но и настроение некоторых других литераторов, входивших в состав Академии наук, в том числе Козицкого.

В Академии наук происходили встречи Радищева с выдающимися ее членами. Здесь он получал надежные сведения об истории, природных ресурсах и производительных силах своей страны, о чем свидетельствуют выписки, сделанные им из книг, изданных Академией наук (опубликованы в 3-м томе академического издания полного собрания его со-

чинений). С некоторыми выдающимися учеными Академии наук Радищев поддерживал связи и в последующие десятилетия, например с академиком Эриком Лаксманом, с которым вел переписку. По поводу преждевременной кончины Лаксмана во время его экспедиции в Сибирь Радищев в письме к графу А. Р. Воронцову выражал свое глубокое сожаление. «Вашему сиятельству должно быть известно, — писал он из Илимска, — что господин Лаксман умер. Я скорблю о нем, может быть, больше, чем кто-либо другой, и хотя печаль моя и не вполне бескорыстна, я по совести могу сказать, что кончина его меня удручает. Для меня было такой находкой, особенно в этих краях — вести переписку с человеком, который путем размышления дошел до ясности мыслей».²⁵

Академия наук сыграла большую роль в жизни Радищева. Здесь он издавал свои переводы, здесь, среди академических переводчиков, он нашел поддержку своему дерзкому выступлению против царского самодержавия.

4

Печатание перевода книги «Размышления о греческой истории» Мабли и книги «Офицерские упражнения» было закончено одновременно. Первые экземпляры обеих книг были представлены от «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг» двору Екатерины в начале июня 1774 года. Вот документ, в котором говорится об этом: «Книги переплетены в сафьян для поднесения ея императорскому величеству и их императорским высочествам от Собрания, старающегося о переводе иностранных книг на российской язык».

1. О народах издревле обитавших в России.
2. Свет зримый в лицах.
3. Амелия, повесть, т. 2.
4. Палласа Путешествие по России.
5. Офицерские упражнения.
6. Размышления о греческой истории.
7. Свет зримый в лицах для ея сиятельства графини Анны Карловны».²⁶

Названные в этом списке книги, кроме переводов Радищева, были разрешены к выпуску в свет и поступили в академическую книжную лавку. Относительно переводов Радищева такого разрешения не последовало. От Козицкого потребовали дополнительно еще несколько экземпляров их: «Книги в переплете, отданные от Собрания по экземпляру Григорию Васильевичу Козицкому, не вписаны в расходную книгу... Размышления о греческой истории через Мабли; Офицерские упражнения».²⁷ Кому отдал

²⁵ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 3, с. 487.

²⁶ Архив АН СССР, ф. 3, оп. 22, ед. хр. 3, л. 56.

²⁷ Там же, л. 61.

их Козицкий, об этом в документе ничего не сказано. Надо полагать, книги были вручены тем лицам, которым императрица поручила их просмотр.

Нависли грозные тучи. Ожидаемого разрешения на выпуск в свет этих книг не поступало. Томительно проходили дни, недели. О нервном напряжении в эти дни свидетельствует письмо Новикова к Козицкому по поводу представления императрице листов вновь задуманного им издания журнала «Кошелек». Чтобы смягчить несколько гнев императрицы, он просил в письме от 22 июня 1774 года уведомить его, угодны ли ей его листы. «Ибо сие одно и есть моею целию, чтобы всегда делать ей угодное. Сие бы самое уведомление послужило мне ободрением к продолжению оных».²⁸

Еще более, чем Новиков, по-видимому, волновался Григорий Козицкий. Положение его при императрице становилось патким. Главная вина за издание книги Мабли падала на него, поскольку на него императрица возложила в свое время руководство Собранием переводчиков. Не дожидаясь дня, когда она обрушит на него свой гнев, он в сентябре 1774 года попросил освобождения от должности статс-секретаря при приеме челобитных. При этом, как установил М. М. Штранге, Козицкий ссылался на болезни, «час от часу умножающиеся и не допускающие продолжать службу».²⁹

О том, как реагировала Екатерина на издание книги Мабли, можно судить по ее отзыву об этом писателе. Сохранилось письмо императрицы к ее французскому корреспонденту Ф. М. Гримму, в котором она в грубой форме изливает на Мабли свое негодование. Академик Я. К. Грот, опубликовавший письма Екатерины II Гримму, отмечает, что написанное в них не являлось минутной вспышкой, что письма составлялись постепенно, в продолжение длительного времени, и получали характер дневника, в котором императрица излагала свои отстоявшиеся «впечатления, думы, взгляды, намерения, наконец, пережитые ею или ожидаемые события».³⁰

Внешним поводом для нападков на Мабли она избрала книгу неаполитанского аббата Фердинандо Галиани (1728—1786), единомышленника Мабли. Узнав о книге Галиани «О правах нейтральных государств», она писала: «Я ничего больше не покупаю, но когда же я буду иметь (получу) книгу аббата Галиани? Мне досадно, что он считается с аббатом Мабли, который знает об этом бесконечно меньше, чем самый мелкий

²⁸ «Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым, т. IV, отд. III. М., 1862, с. 45.

²⁹ Штранге М. М. Демократическая интеллигенция России в XVIII веке. М., 1965, с. 267.

³⁰ Сборник Русского исторического общества, т. 23. СПб., 1878, с. V—VI.

служащий немецкой публичной библиотеки. О! Как все эти люди тесно связаны между собой!»³¹ Этим выпадом императрица фактически перечеркивала все творчество выдающегося писателя. При столь резком отрицательном отношении к Мабли трудно было ожидать милостивого или терпимого отношения к издателям и переводчику его книги, который сумел придать ей антисамодержавный, республиканский характер.

Пострадал Козицкий. Императрица летом 1775 года уволила его в отставку без должной пенсии. Козицкий остался без средств к существованию, не имел возможности поступить куда-либо на службу. Политический аспект такой жестокой расправы с ним несомненен: никаких мнимых или действительных проступков за ним не числилось. Козицкий после отставки, как говорили тогда, впал в «меланхолию». 26 декабря 1775 года, находясь в Москве, он покончил жизнь самоубийством.

Что касается Новикова, то Екатерина приказала конфисковать изданные им «Размышления о греческой истории» и «Офицерские упражнения». Кроме этих книг были запрещены и другие, не менее ценные его издания. Прекратил существование начатый им журнал «Кошелек». Новикову, понесшему крупный материальный ущерб, пришлось закрыть организованное им «Общество, старающееся о напечатании книг».

История о наказании Радищева ждет еще своего раскрытия. Он сам подал прошение об отставке и получил ее от своего начальника графа Я. А. Брюса. Официальная переписка Брюса об отставке Радищева относится к весне 1775 года. 13 марта 1775 года Брюс занес в свой военно-походный журнал челобитную, в которой Радищев просил уволить его от службы «по домашним его обстоятельствам». Документы по этому вопросу в свое время были опубликованы Г. П. Штормом и Г. П. Макогоненко.³² Но фактически Радищев уволился из штаба, по-видимому, еще в конце 1774 года, до поездки Брюса в Москву на казнь Пугачева. Сохранился документ, из которого видно, что в декабре 1774 года Радищев уже не считал себя военнопслужащим. Это его расписка в получении гонорара за свой перевод, датированная им 12 декабря 1774 года.

Упомянутые выше расписки Радищева сохранились в делах Козицкого. Первая из них была написана 7 мая 1773 года. Тогда он еще не числился в штате штаба Брюса. В расписке он подписан тогда без указания места службы: «Титулярный советник Алек-

³¹ Там же, с. 278. Оригинал письма на франц. яз.

³² Шторм Георгий. Страницы морской славы. М., 1954, с. 66—68; Макогоненко Г. П. Радищев и его время. М., 1956, с. 204—205.

сандр Радищев». В следующих двух расписках он указал место своей службы и должность: «Штаба его сиятельства графа Якова Александровича Брюса обер-аудитор Александр Радищев». В последней расписке, от 12 декабря 1774 года, он уже не указал ни своей должности, ни места службы. Подписался просто: «Александр Радищев». Вряд ли это могло быть случайностью. В офи-

циальных документах тогда строго соблюдался установленный порядок, при котором каждый служащий, тем более военный, обязан был указывать свое служебное положение.

С уходом из жизни Григория Козицкого связь Радищева с академическим собранием переводчиков оборвалась. Он начал устанавливать другие контакты.

П. С. Красно

ДВЕ ЗАПИСКИ А. С. ГРИБОЕДОВА

Значительная часть эпистолярного наследия Грибоедова до нас не дошла. Многие его письма уничтожены во время восстания декабристов на Сенатской площади и последовавшей затем реакции. Поэтому каждая сохранившаяся строчка, написанная им, представляет большой интерес. Ниже мы публикуем одну неизвестную до сих пор записку Грибоедова к С. И. Мазаровичу и устанавливаем дату написания второй — к Н. Н. Похвисневу.

1

В 1929 году в издательстве «Жизнь и знание» вышла в свет книга О. И. Поповой (1888—1972) «А. С. Грибоедов в Персии. 1818—1823 гг.». В ней опубликованы хранившиеся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея девять писем драматурга, из которых два адресованы А. И. Рыхлевскому, одно П. Н. Ермолову и шесть С. И. Мазаровичу. Публикация помогла заполнить многие белые пятна в биографии драматурга. Однако не все письма, обнаруженные О. И. Поповой, были напечатаны. Написанная по-французски записка к С. И. Мазаровичу, обнаруженная исследовательницей уже во время верстки книги, не вошла в издание и впоследствии в музее затерялась. Копия ее и перевод на русский язык хранились у О. И. Поповой и переданы ею мне незадолго до смерти. Грибоедов писал:

«Дорогой Мазарович,

Ваши заметки о Персии изобилуют оригинальными наблюдениями. Жаль, что это только, так сказать, эскиз. Во всяком случае то, о чем вы там упоминаете, вызывает во мне большое желание услышать от вас более пространное изложение на эту тему в первый же раз, как только мы с вами увидимся.

В ожидании сделайте мне удовольствие! пришлите атлас Мориера. Я продержу его у себя не более двух дней.

Ваш Грибоедов».

Мазарович (Смилович-Мазарович) Симон (Семен) Иванович (ум. в 1852 году), венецианец, поступил на русскую службу в 1807 году в качестве врача, а затем перешел на дипломатическую работу.

Знакомство с ним Грибоедова относится к 1818 году, ко времени создания русским правительством постоянной миссии в Иране, в которой Мазарович являлся поверенным в делах, а Грибоедов (до 1822 года) — секретарем.

В начале русско-иранской войны (1826) миссия возвратилась в Россию, и Мазарович по его просьбе был освобожден от должности с прикомандированием к Главноуправляющему Грузией.

4 апреля 1827 года приказом генерала Паскевича Грибоедову было предписано принять в ведение все заграничные сношения с Турцией и Персией. Новое назначение сосредоточило все его внимание на подготовке проекта мирного договора. Вполне понятно, что ему пришлось консультироваться со многими лицами, в том числе и с Мазаровичем. Так, в одном из писем Грибоедов спрашивал его: «Какую дополнителную статью вы составили по-персидски в пользу наших купцов? Если у вас есть черновик, прошу вас одолжить мне его, и, поверьте, что если статья эта, как я не сомневаюсь, поддерживает интересы нашей коммерции, то Главнокомандующий сумеет ее оценить и в свое время представить на одобрение императорского министерства, указав на то, что вы ее автор».¹

¹ Попова О. И. А. С. Грибоедов в Персии. 1818—1823 гг. М., 1929, с. 73—74. О. И. Попова датирует это письмо 8 мая 1821 года, что не соответствует действительности. На самом же деле оно было послано 8 мая 1827 года. С. В. Шостакович в книге «Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова» (М., 1960, с. 100—101), обосновывая эту дату, пишет: «Письмо адресовано статскому советнику Мазаровичу, а в 1821 г. он был лишь коллежский советник; письмо указывает на предполагаемый отъезд Мазаровича в Петербург, но в мае 1821 г.

В публикуемой записке Грибоедов также говорит о заметках Мазаровича, имеющих непосредственное отношение к проекту мирного договора с Ираном. Судя по ее содержанию, она могла быть написана только в период после назначения Грибоедова на новую должность (4 апреля 1827 года) и перед отъездом его из Тифлиса в действующую армию (12 мая 1827 года).

Упомянутый в записке Морьер — известный в свое время путешественник, романист и британский дипломат в Иране Джеймс Юстиниан Морьер (1780—1849). Грибоедов, по-видимому, имеет в виду его «Атлас», в котором воспроизведены карты Турции и Ирана: «Путешествие по Персии, Армении и Средней Азии до Константинополя». (Париж, 1813).

2

Николай Николаевич Похвиснев (ум. в 1828 году) — чиновник при Главноуправляющем Грузией и командующем отдельным Кавказским корпусом генерале А. П. Ермолове. Он приехал в Тифлис в конце 1821 года и тогда же познакомился с возвратившимся из Персии Грибоедовым. Встречи их были частыми как на службе, так и вне ее. Их приятельские отношения несколько омрачились из-за дуэли Н. Н. Похвиснева с В. К. Кюхельбекером.²

Но впоследствии они продолжали дружить, и в 1828 году драматург полагал даже возможным просить Похвиснева ходатайствовать перед генерал-губернатором Западной Сибири И. А. Вельяминовым за сосланных братьев Ордынских.³

Молодой чиновник интересовался литературой, пользовался книгами сослуживцев и сам выписывал периодические издания.

В Историческом музее сохранилась небольшая записка Грибоедова к нему. Поэт писал:

Мазарович был в Тавризе и в Россию ехать не собирался, в мае же 1827 г. он уезжал в Петербург, оставляя службу на Кавказе». См. подобную же датировку письма в статье Л. С. Семенова «Значение Туркманчайского договора для истории Армении» (Историко-филологический журнал Армянской Академии наук, 1959, № 4, с. 114—115).

² Дуэль состоялась 20 апреля 1822 года. Она не повлекла за собой человеческих жертв, но будущему декабристу все же пришлось подать в отставку, и он был выслан из Грузии с таким аттестатом, который не давал ему возможности поступить на какую-либо другую государственную службу. Подробнее об этом см. нашу статью: Вопросы литературы, 1968, № 12, с. 152—154.

³ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. III. Пгр., 1917, с. 209. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

«Я умираю от ипохондрии, предвижу, что ночь всю проведу в волнении беспокойного ума, сделайте одолжение, любезный Николай Николаевич, пришлите мне полное число Номеров прошлогоднего вестника, хоть и нынешнего последнюю тетрадь, авось ли дочитаюсь до чего-нибудь приятного.

Ваш усердный Грибоедов.

Если эта записка не застанет вас дома, то когда назад придете, пришлите с своим человеком».

На обороте: «Е. Блгрд: М. Г. Николаю Николаевичу Похвисневу».⁴

Записка впервые воспроизведена в «Щукинском сборнике»⁵ без каких-либо попыток выяснить дату ее написания и точное название «Вестника». Отсутствуют эти сведения и в последующих публикациях эпистолярного наследия драматурга. Причиной этому, как указывал еще Н. К. Пиксанов, является краткость ее текста (III, 362, 363).

Однако при тщательном изучении записки удалось все же довольно точно установить, что она написана Грибоедовым в Тифлисе в период между 5 мая 1822 года, днем высылки В. К. Кюхельбекера из Грузии, и временем отъезда Александра Сергеевича в отпуск в Москву 19 февраля 1823 года. Дело в том, что высылка Вильгельма Карловича тяжело отразилась на настроении Грибоедова. В своем письме от 1 октября 1822 года он писал Кюхельбекеру: «.. в поэтических моих занятиях доверяюсь одним стенам. Им кое-что читаю изредка свое, или чужое, а людям ничего, никому». И здесь же продолжал: «Налегла на меня необъяснимая мрачность» (III, 146, 147).

О своем болезненном состоянии Александр Сергеевич вспоминает и в письме к С. Н. Бегичеву 12 сентября 1825 года: «Представь себе, что со мною повторилась та ипохондрия, которая выгнала меня из Грузии (Грибоедов имеет в виду свой отъезд в Москву 19 февраля 1823 года, — Л. К.), но теперь в такой усиленной степени, как еще никогда не бывало» (III, 181).

Каким же «Вестником» интересовался Грибоедов во время болезни? По справочнику Н. М. Лисовского, в эти годы издавались три «Вестника»: «Казанский вестник», «Сибирский вестник» и «Вестник Европы».⁶ «Казанский вестник» выходил в свет ежемесячно. В нем печатались распоряжения Министерства народного просвещения и учебного округа, речи законоучителей на публичных испытаниях учеников гимназий, сочинения и

⁴ ОПИ ГИМ, ф. Щукина, № 213.

⁵ Щукинский сборник, вып. 9. М., 1910, с. 163.

⁶ Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати, 1703—1900. П., 1915.

переводы, сообщалось о жертвованиях в пользу училищ. В рассматриваемое время попечителем Казанского учебного округа являлся небезызвестный обскурант Магницкий, погромная деятельность которого не могла не сказаться на характере университетского журнала.

«Сибирский вестник» издавался в Петербурге историком и археологом Сибиря Г. И. Спасским ежемесячно, а в 1823—1824 годах два раза в месяц. В нем печатались материалы по истории и экономике Сибири, уделялось внимание добыче ископаемых, путешествиям, природным условиям и т. д.

Краевая специфика этих изданий вряд ли в такой степени интересовала Похвиснева, чтоб он специально выписывал одно из них. Да и Грибоедова они не могли заинтересовать, особенно во время болезни. Верно, однажды у драматурга было желание перейти на педагогическую работу, что могло бы обусловить интерес к университетскому журналу. Но мечта о школе вскоре прошла, и он к ней никогда уже больше не возвращался.

Таким образом, из трех издававшихся в 1822—1823 годах «Вестников» Грибоедов мог просить у Похвиснева только

литературный «Вестник Европы». С ним он был знаком с юшеских лет, а в 1814 году, когда его редактировал В. В. Измайлов, опубликовал в нем две свои первые статьи.⁷

В 1823 году издателем «Вестника Европы» стал профессор Московского университета М. Т. Каченовский, выступавший против Пушкина и новых веяний в литературе. Грибоедов относился к нему всегда иронически. Имеется предположение, что в «Письме из Бреста-Литовского к издателю» он дал Каченовскому не совсем лестную характеристику, которая была вычеркнута Измайловым. Впоследствии Каченовский предоставил страницы журнала литературным староведам, выступавшим с критикой «Горя от ума» и водевиля «Кто брат, кто сестра...». Собираясь в отпуск, Грибоедов, естественно, пожелал познакомиться со всеми номерами за прошлый, т. е. 1822 год, иронически заметив при этом: «авось ли дочитаюсь до чего-нибудь приятного».

⁷ Письмо из Бреста-Литовского к издателю. — Вестник Европы, 1814, № 15, с. 228; О кавалерийских резервах. — Там же, № 22, с. 116.

М. И. Рыжова

ТВОРЧЕСТВО М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В ВОСПРИЯТИИ СЛОВЕНСКИХ ПОЭТОВ XIX—НАЧАЛА XX ВЕКА

Среди виднейших представителей русской литературы, чье творчество увлекло и вдохновляло не одно поколение словенских поэтов, особое место принадлежит Лермонтову. Явление это далеко не случайное — оно коренится в некоторых специфических закономерностях развития словенской национальной литературы и представляет несомненный интерес при изучении истории русско-словенских литературных отношений. Тема эта, до сих пор недостаточно разработанная, требует подробного и тщательного исследования. В данной статье мы остановимся на восприятии творчества Лермонтова лишь некоторыми видными поэтами Словении.

В ходе пробуждения национального самосознания словенского народа, на рубеже XVIII—XIX веков и в последующие десятилетия среди определенной части словенских патриотов распространяется идея славянской общности, возникают интерес и симпатии к России, связанные с национально-освободительными чаяниями словенцев. Однако проникновение к ним сведений о русской литературе тех лет в условиях Австрийской монархии и гегемонии немецкой культуры было очень затруднительным — информа-

ция эта часто запаздывала, нередко носила отрывочный и случайный характер и в первой половине XIX века вообще была доступна лишь узкому кругу словенской интеллигенции. Нередко сведения о русской литературе и культуре поступали не прямо из русской печати, а черпались из немецких источников.

Есть основания полагать, что крупнейший словенский поэт Франце Прешерн (1800—1849) через посредство своего друга и единомышленника в ряде эстетических вопросов Матии Чопа (1797—1835) был знаком с некоторыми произведениями Пушкина;¹ гораздо менее вероятно, что ему было известно творчество Лермонтова. Каких-либо существенных публикаций о Лермонтове в Словении в 40—50-е годы, по всей видимости, не было — во всяком случае они не отмечаются в работах о литературных связях, принадлежащих как русским, так и словенским исследователям.²

¹ Paternu V. France Prešeren in njegovo pesniško delo, knj. 2. Ljubljana, 1977, s. 148—149.

² См.: Заболотский П. А. Очерки русско-славянских отношений в XIX веке. М. Ю. Лермонтов у юго-славян (бол-

И все же творчество Лермонтова становится известным некоторым передовым словенским литераторам еще до появления первых переводов лермонтовских произведений на словенский язык. Это прежде всего относится к выдающемуся поэту-лирику и одному из зачинателей словенской оригинальной прозы Симуону Енко (1835—1869).

Выходец из бедной крестьянской семьи, Енко отличался демократическими убеждениями, отрицательным отношением к австрийскому монархическому режиму, ироническим скептицизмом в вопросах церкви и, наряду со своим современником Франом Левстиком, резко выделялся на фоне лояльных словенских «патриотов» тех лет. В интимной лирике Енко, проникнутой то глубокой задумчивостью, то веселым задором или язвительной иронией, разнообразно варьируется любовная тема, слышатся тревожные, горькие раздумья о быстротечности человеческой жизни. Вдохновенный певец родной природы, Енко в исполненных гражданским пафосом патриотических стихотворениях скорбит о пораженном положении своего народа, мечтает о его светлом будущем в дружной семье других славян, а иногда поднимается и до революционных призывов к активной борьбе за свободу.

Как свидетельствует современник Енко, один из его первых биографов, известный словенский литературный деятель Фран Левец, Енко «открыто признавал, что наибольшее влияние на его творческое развитие оказали Байрон, Гейне, Лермонтов. Крупнейшим славянским поэтом он считал Лермонтова, а непосредственно учился больше всего у Гейне».³ Для того чтобы у Енко сложилось такое высокое (пусть в какой-то мере субъективное) мнение о Лермонтове, он должен был неплохо знать лермонтовское творчество. По всей вероятности, он читал Лермонтова в подлиннике — Левец свидетельствует и о том, что Енко изучал все славянские языки, кроме польского,⁴ и питал особые симпатии к русскому народу, надеясь на

гар, сербо-хорватов и словинцев). — Русский филологический вестник, т. LXXII. Варшава, 1914; Кравцов Н. И. 1) Русско-югославские литературные связи. — В кн.: Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии. М., 1957; 2) Творчество Лермонтова в Югославии (XIX—начало XX века). — В кн.: Кравцов Н. И. Проблемы сравнительного изучения славянских литератур. М., 1973; Kreft V. Fragmenti o slovensko-ruskih stikih. — Slavistična revija, l. XI, 1958, št. 1—2.

³ Levec F. Odlični slovenski pesniki in pisatelji. Simon Jenko. — Jn: Levec F. Eseji, študije in potopisi. Ljubljana, 1965, s. 255. Статья впервые опубликована в 1879 году.

⁴ Ibid.

его освободительную миссию в отношении южных славян, находившихся под чужеземным гнетом.⁵ О знакомстве Енко с русской литературой говорят и другие факты, в частности его творчество как прозаика.⁶ К сожалению, все дневники и письма Енко были уничтожены, до нас не дошли непосредственные суждения самого поэта о русской литературе, которые помогли бы более полно раскрыть его отношение к Лермонтову и уточнить, когда именно лермонтовская поэзия стала известна Енко. Мы располагаем лишь приведенным выше свидетельством Левца, которое, как и другие сообщаемые им о Енко сведения, по мнению словенских исследователей, вполне заслуживает доверия.⁷ В дальнейшем на это свидетельство неоднократно ссылаются словенские литературоведы и публицисты,⁸ однако даже в наиболее серьезных работах о Енко, в том числе в тех из них, что непосредственно посвящены литературным влияниям на словенского поэта, не рассматривается непосредственно вопрос о связях его творчества с Лермонтовым,⁹ хотя проблема эта несомненно заслуживает внимания.

⁵ Ibid., s. 253.

⁶ Словенские исследователи отмечают, что образцом для Енко при создании его новелл служили произведения Гоголя (см.: [Slo d n j a k A.] Zgodovina slovenskega slovstva, knj. II. Ljubljana, 1959, s. 241, 248; Paternu B. Slovenska proza do moderne. Koper, 1965, s. 37, 42).

⁷ См., например: Bernik F. Lirika Simona Jenka. Ljubljana, 1962, s. 7.

⁸ Celestin F. Naše obzorje. — Ljubljanski zvon, 1883, s. 172; Grafenauer I. Simon Jenko in njegovi pesniški zgledi. — Dom in svet, 1908, s. 420. Составившие на Левца, Графенауэр, однако, все внимание уделяют связям творчества Енко с немецкой поэзией (Гете, Гейне, Ленау) и национальной словенской традицией (Прешерн, Левстик); Paternu B. 1) Struktura in funkcija Jenkove parodije v razkorju slovenske romantične epike. — Slavistična revija, l. XVI, 1968, s. 38; 2) Reserpcija romantike v slovenski poeziji. — Ibid., l. XXI, 1973, s. 145. Кроме ссылки на Левца, мы встречаем в этой интересной работе формулировку типологического характера: «Лирика Енко представляет собой оригинальный словенский вариант того «противоклассического» течения романтизма, который идет от Байрона к Гейне и дальше к Лермонтову» (s. 147).

⁹ О статье И. Графенауэра см. предыдущую сноску. В наиболее обстоятельном исследовании поэзии Енко — в монографии Ф. Берника (Bernik F. Lirika Simona Jenka. Ljubljana, 1962) этот вопрос обходится молчанием. Лишь в работе Б. Патерну (Paternu B. Jenkova filozofska lirika. — Jezik in slovstvo, l. XVI, 1970/1971) мы дважды встречаем беглые сопоставления Енко с Лермонто-

Почему, знакомясь с русской поэзией, Енко отдает предпочтение именно Лермонтову? Причины этого явления, видимо, можно обнаружить в некоторых сходных чертах общественно-исторической ситуации, наложившей свой отпечаток на мироощущение обоих поэтов, а также в известной аналогии направления их творческого развития.

Подобно Лермонтову, Енко создавал свои произведения в мрачную пору безвременья, в период разгула жестокой реакции, восторжествовавшей в Габсбургской монархии после подавления революции 1848 года, в эпоху несбывшихся освободительных чаяний словенского и других угнетенных народов «лоскутной империи», в условиях засилия католицизма, посягавшего на всю духовную жизнь людей разных сословий, включая и литературу.

Вероятно, лермонтовский гражданский пафос, горькое разочарование в современной действительности и острое, гневное недовольство ею были Енко внутренне очень близки, хотя в его поэзии мы не находим прямых аналогий этим звучаниям — его гражданские, свободолюбивые устремления развиваются главным образом в русле национально-освободительной проблематики.

Гнетущая атмосфера эпохи и личные неурядицы, обусловленные общественным положением Енко, его материальной неустроенностью, отразились на мироощущении поэта, по свойствам своей натуры склонного к жизнерадостности.¹⁰ Анализируя философские истоки пессимистических мотивов в поэзии Енко и в первую очередь останавливаясь в данной связи на концепциях Шопенгауэра, Б. Патерну добавляет: «Конечно, круг радикального пессимизма, который извне подтверждал и дополнял пессимизм Енко, был много шире. Он знал Байрона и Лермонтова».¹¹

Тема разочарования в творчестве Лермонтова и Енко имела не только схожую общественно-историческую, но и литературно-типологическую основу — оба поэта представляли в своей национальной литературе идентичные разновидности европейского романтизма (отсюда возникновение в отдельных произведениях Енко вне зависимости от Лермонтова типологически близких к его поэзии мотивов).¹² Известные моменты

вым (с. 91—93), на которые укажем ниже.

¹⁰ Bernik F. *Lirika Simona Jenka*, s. 77, 84.

¹¹ В качестве примера выражения подобно пессимизма Б. Патерну приводит первую строку лермонтовского стихотворения «Монолог», хотя конкретных соответствий этому стихотворению в творчестве Енко мы не находим.

¹² Например, тема томительного одиночества, несбыточной мечты о родной душе (о дружественном участии или

аналогии литературного процесса тех лет, знаменующегося высшими достижениями романтизма и становлением реализма в русской и словенской литературе, позволяют обнаружить и общие тенденции в художественно-стилистическом развитии Лермонтова и Енко. Большинство словенских исследователей в той или иной степени признает возникновение в творчестве поэта-романтика Енко реалистических компонентов,¹³ отход его от традиционных жанров или их существенную деформацию в его произведениях, развитие его поэтического языка в сторону большей простоты выражения.

Как известно, сходные процессы — в самых общих чертах — свойственны и творчеству Лермонтова, это касается как возникновения реалистических элементов в ряде произведений, созданных в последний творческий период, так и эволюции поэтического языка¹⁴ и разложения жанровой системы,¹⁵ хотя, естественно, конкретная форма проявления этих общих процессов часто носит здесь иной характер, соответствующий особенностям развития русской литературы и личности самого поэта. Несомненно, при наличии некоторых сходных моментов между творчеством Лермонтова и Енко существуют и значительные, бросающиеся в глаза различия, обусловленные как объективными причинами — общественно-исторической и национальной спецификой, происхождением и средой, в которой развивались оба поэта, диахронностью их творчества, особенностями литературного процесса в России и Словении, так и субъективным фактором — ярко выраженной неповторимой индивидуальностью Лермонтова и Енко, своеобразием их мироощущения и «художественного почерка».

Эти элементы сходства и различия сказались и при восприятии словенским поэтом лермонтовского творчества. То, что сближало Енко с Лермонтовым, объ-

любли), воплощенная в распространенном мотиве одинокого дерева, который встречается и у Гейне, и у Лермонтова, совершенно самостоятельно развивается у Енко в стихотворении из цикла «Картички» («Между темных сосен...»).

¹³ Литература вопроса см. в кн.: Bernik F. *Lirika Simona Jenka*, s. 14—15; в этой же монографии Берник прослеживает зарождение и нарастание реалистических элементов в поэзии Енко, которого называет «поздним романтиком». См. также: Paternu B. *Repercija romantike v slovenski poeziji*, s. 137; Kos J. *Romantika in realizem v Jenkovih obrazih*. — *Jezik in slovstvo*, l. XI, 1966, št. 8.

¹⁴ О процессах, происходивших в языке лермонтовской поэзии, см.: Виноградов В. В. *Язык Лермонтова*. — *Русский язык в школе*, 1938, № 3.

¹⁵ Там же, с. 35; Эйхенбаум Б. М. *Статьи о Лермонтове*. М.—Л., 1961, с. 47.

ясняет его тяготение к лермонтовской поэзии, хотя генетические связи обнаружить в данном случае совсем не просто — они проступают неярко и не лежат на поверхности. Хотя некоторые стихотворения Енко как будто звучат в лермонтовском «ключе», трудно разграничить здесь воздействие Лермонтова и типологические аналогии. Остановимся сейчас на некоторых конкретных примерах, где есть основания предполагать непосредственное творческое обращение Енко к поэзии Лермонтова.

Исследователи творчества Енко, анализируя воздействие на него немецких и словенских поэтов, неоднократно отмечали, что Енко обычно перенимает у них лишь какой-то мотив или сюжет, посвоему его переосмысливая или вкладывая в него совершенно иное, новое содержание.¹⁶ Нечто подобное, видимо, произошло у Енко и с лермонтовским «Парусом», к которому он обращается дважды.

В стихотворении «Картинка»¹⁷ («Паруса трепещут...») мы встречаем конкретные, вещественные детали, которые находим и в лермонтовском «Парусе», — создается тот же зрительный образ плывущего «по широкому морю» «в чужие края» небольшого парусного судна (лодки). Образ этот у Енко очень динамичен — «паруса трепещут», «лодка качается» (ср. у Лермонтова: «мачта гнется и скрипит»). Мы видим у Енко и разное состояние моря — оно то бурное, то спокойное, разные, меняющиеся условия плавания:

Zdaj nevihta brije,
s t'mo nebo pokrije;
zdaj v zrcalo mirno
jasno sonce sije.

То бушует буря,
небо тьма скрывает;
то в зеркальной глади
солнца луч сверкает.

(У Лермонтова: «Играют волны, ветер свищет»; «Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой»).

Однако третья, заключительное четверостишие Енко обнаруживает совершенно иную трактовку зрительного образа, столь близкого лермонтовскому. Если у Лермонтова это символ мятущейся души, ее вечного романтического стре-

мления к «стране далекой», предпочтении бури покою, то у Енко мы находим здесь скорее развернутую метафору или аллегория, смысл которой в значительной степени раскрывает сам автор в концовке: это тоже абстрактно-обобщенный образ человека с его переменчивой судьбой, и поэт оптимистично, с душевной теплотой желает «лодке человечьей» счастливого плавания в «желанные края», куда ее гонит ветер надежды. Эта потенциально заложенная в пожелании поэта возможность, достижимость счастья, несмотря на встречающиеся на пути бури, противоречит духу стихотворения Лермонтова и большинства его произведений — лермонтовский лирический герой, чей субъективный мир отразился в «Парусе», «счастья не ищет», он, как и вообще романтический герой байронического склада, и не может быть счастливым в породивших его исторических условиях. В рассмотренном стихотворении Енко отразилось то стихийное, присущее его натуре жизнелюбие, которое прорывается у него иногда сквозь скептицизм и пессимистические наслоения, навеянные эпохой.

Близость к лермонтовскому мироощущению проявилась в стихотворении Енко «Несчастный покой» («Nesrečni mir»), на связь которого с «Парусом» Лермонтова справедливо указал Б. Патерну.¹⁸

Кроме лирики есть еще один аспект, где можно предположить соприкосновение творчества Енко с лермонтовской поэзией. В 1855 году Енко пишет комическую поэму-пародию «Огнепламтич», сознательно противопоставляя ее «высокой» романтической поэме («Крещение при Савице» Прешерна и произведениям его эпигонов), а также процветающей под эгидой клерикализма морализаторской псевдопоэзии. Обстоятельно исследуя эту поэму Енко, Б. Патерну путем подробного сравнительного анализа обосновывает ее генетические связи с травестированной «Энеидой» А. Блумауэра («Приключения благочестивого героя Энея...») и стихотворным романом Байрона «Дон Жуан».¹⁹ На наш взгляд, не менее закономерным было бы сопоставление «Огнепламтича» Енко с лермонтовской «Тамбовской казначейшей».²⁰ Б. Патерну справедливо замечает, что поэма Енко по сравнению с «Дон Жуаном» представляет собой шаг вперед по пути к реализму. Но в этом отношении она еще

¹⁶ См., например, о сопоставлении стихотворения Енко «Дикая розочка» («Divja rožica») со стихотворением Гете «Находка» («Gefunden»): Grafenauer I. Op. cit., s. 421; Bernik F. Lirika Simona Jenka, s. 126.

¹⁷ Название «Картинка» («Obraz») дано стихотворению братом покойного поэта Иваном Енко, опубликовавшим эту миниатюру впервые в 1886 году (см.: Jenko S. Zbrano delo, knj. I. Ljubljana, 1964, s. 292).

¹⁸ Paternu B. Jenkova filozofska lirika, s. 91.

¹⁹ Paternu B. Struktura in funkcija Jenkove parodije v razkroju slovenske romantične epike, s. 27—63.

²⁰ «Сашка» и юнкерские поэмы Лермонтова не могли быть известны Енко во время создания им «Огнепламтича», так как они впервые опубликованы в начале 60-х годов; комическую поэму Енко сближает с ними тенденция к фривольности.

ближе к «Тамбовской казначейше» (и к пушкинским поэмам «Домик в Коломне» и «Граф Нулин»),²¹ поэмы эти в русской литературе в значительной степени выполняли ту же функцию, о которой говорит словенский исследователь: они также способствовали дегероизации «высокой» романтической поэзии.²²

И по своему содержанию — по конкретному жизненному материалу, отраженному в произведении, — «Огнеплатич» более сходен с лермонтовской «иронической поэмой», чем с Блумауэром и Байроном. Хотя говорить о какой-то связи между лермонтовской «Тамбовской казначейшей» и комической поэмой Енко можно только предположительно, мы вправе допустить, что словенский поэт мог видеть здесь пример непосредственного обращения к современной жизни хорошо знакомых поэту общественных слоев — к самым обыденным проявлениям этой жизни. Естественно, что Енко изображает представителей той среды, к которой сам принадлежал. Если у Лермонтова сюжетной линией поэмы служат любовные похождения уланского штаб-ротмистра, а героиней выступает жена провинциального казначея, то центральными персонажами у Енко оказываются люблянский трактирный завсегдатай и обольститель женщин Яка Огнеплатич²³ и красивая продавщица из мелочной лавки Ленка. По несложности сюжета и его закругленности, завершенности «Огнеплатич» также ближе к лермонтовской поэме, чем к байроновскому «роману в стихах», хотя сюжет у Енко имеет совершенно самостоятельный характер и скорее всего почерпнут поэтом прямо из жизни. В сюжетном развитии «Тамбовской казначейши» и словенской комической поэмы есть лишь один незначительный общий момент (но он может быть и случайным совпадением).

²¹ Вопрос о том, насколько был Пушкин известен Енко, совершенно не исследован.

²² В этом смысле и «Дон Жуан» Байрона, и пушкинский «Евгений Онегин», наряду с названными поэмами, и «Огнеплатич» Енко представляли собой отдельные звенья общего литературного процесса, одним из конкретных проявлений которого на пути от романтизма к реализму было сознательное, полемическое снижение «высокого» стиля, а порой и пародирование романтического пафоса. Кстати сказать, в цитируемой Б. Патерну книге чешского исследователя К. Крейчи (Krejčí K. Heroikomika v básnictví Slováci. Praha, 1964), в которой речь заходит о поэме Енко, рассматриваются и названные пушкинские произведения и лермонтовская «Тамбовская казначейша» (с. 328—329).

²³ Фамилия, которой наделяет Енко своего героя (корневые элементы «огонь» и «пламя»), носит явно пародийный, иронический характер.

Любовная интрижка между Огнеплатичем и Ленкой начинается в трактире с того, что под столом, вокруг которого собрались занимающиеся спиритизмом гости (к чему Енко относится с откровенной издевкой), герой наступает на ногу Ленке:

In noga Jakova zares imela
opravit' je pod mizo vedno kaj,
ker lepa Lenka onkraj je sedela...

И вправду, Якина нога имела
все время под столом немало дел —
красотка Ленка супротив сидела...

Нечто подобное происходит и в «Тамбовской казначейше». В гостях у предводителя дворянства Гариш оказался за столом рядом с Авдотьей Николавной:

И вдруг — не знаю, как случилось —
Ноги ее иль башмачка
Коснулся шпорой он слегка.

Конечно, совпадению этих эпизодов не следует придавать большого значения. Однако между «Тамбовской казначейшей» и поэмой Енко существуют и другие общие черты — стилистического характера. Сопоставляя «Огнеплатича» Енко с байроновским «Дон Жуаном», Б. Патерну видит главное сходство между ними в обилии лирических отступлений (дигрессий) и их функциональном и стилистическом подобии. Аналогичных отступлений мы немало встречаем и в лермонтовской «Тамбовской казначейше», и выполняють они те же структурные функции. И здесь поэт совершенно непридуманно обращается к читателю, беседует с ним, иронизирует над своими персонажами и собственным рассказом о них, вставляет в повествование краткие реплики и ремарки или пространные рассуждения, нарочно замедляя его течение, а потом, словно спохватившись, вновь поспешно возвращается к событиям, например:

Но есть всему конец на свете
И даже выпрепним мечтам.
Ну, к делу.

У Енко:

...in dolgo tu tako ne gre kvasanje,
ker epos dalje dirja, terja d'janje.

Буквально: «и долго тут не подобает так болтать, ибо энос мчится дальше, требует действия». (В данном случае у Енко стиль более снижен).

Поскольку Лермонтову был хорошо известен байроновский «Дон Жуан», лишь тщательный сравнительный анализ позволит установить, какие из лирических отступлений в поэме Енко навеяны Байроном, а какие могут восходить к Лермонтову, и выявить случаи, когда и русский, и словенский поэт обращались к

одному и тому же источнику — байроновскому роману в стихах.²⁴

Как и в «Дон Жуане», в «Тамбовской казначейше» Лермонтова упоминание образов античной мифологии (Аврора, Амфитрион, Амур) имеет пародийно-иронический оттенок, нечто подобное мы видим и в поэме Енко²⁵ (Язон, Ипокрена, Муза, Пегас). Амура словенский поэт упоминает трижды, причем в одном из этих случаев мы видим текстуальную близость к Лермонтову:

Весь вечер моему улану
Амур прилежно помогал.

У Енко:

Takim ljudem pač Amor rad pomaga,
da je na njihni strani slavna zmagá.

(буквально: «Таким людям Амур охотно помогает, чтобы на их стороне была славная победа»).

В связи с полной неразработанностью вопроса о связях Енко с творчеством Лермонтова мы остановились здесь на узловых моментах этой проблемы, которая требует дальнейшего детального исследования.

Первым произведением Лермонтова, увидевшим свет в переводе на словенский язык, была поэма «Измаил-Бей». Перевод этот, изданный в 1864 году,²⁶ принадлежал Ивану Веселу-Веснину, священнику, литератору, видному популяризатору русской литературы в Словении. В последующие годы он переводит ряд стихотворений Лермонтова, а в 1870 году публикует на словенском языке поэму «Демон».²⁷ И в дальнейшем Иван Весел продолжает работу над переводами лермонтовских произведений.²⁸

В 80—90-е годы Лермонтов в Словении переводится все более интенсивно. В 1883 году публикуется перевод «Героя нашего времени», принадлежащий

²⁴ Подобные стилистические особенности в лермонтовской поэме могли восходить и к Пушкину (на что неоднократно указывалось исследователями).

²⁵ Paternu B. Struktura in funkcija Jenkove paradije v razkroju slovenske romantične epike, s. 14, 57.

²⁶ Izmail-bej. Vzhodna povest. V Celovcu, 1864. Первый словенский перевод Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке») появился в 1853 году.

²⁷ Краткий анализ и оценку этого перевода, как и некоторых других переводов И. Весела, см. в статье: Заболотский П. А. Указ. соч., с. 181—182.

²⁸ После публикации большинства этих переводов в словенской периодике все они вошли в задуманную Веселом «Русскую антологию» (Ruska antologija v slovenskih prevodih. Gorica, 1901), составление и редактуру которой после его смерти завершил А. Ашкерц.

И. Пинтару, стихотворные произведения Лермонтова переводят Йосип Кржишник, поэт и переводчик русской литературы (преимущественно прозы) Фран Гестрин, видный литературный деятель, вдохновенный поборник критического реализма и ревностный пропагандист русской литературы Фран Целестин,²⁹ писатель Янез Менцингер,³⁰ начинающий тогда литератор, впоследствии крупнейший словенский литературовед и один из виднейших исследователей и популяризаторов русской литературы в Словении Иван Приятель, молодой поэт Радивой Петерлин (Петрушка). К переводам лермонтовских стихотворений обращаются и крупнейшие словенские поэты тех лет — Антон Ашкерц, Симон Грегорич, Драготин Кетте (ниже мы остановимся на этом более подробно). Некоторые произведения Лермонтова переводятся по два раза и более (например, «Выхожу один я на дорогу» перевели Ашкерц и Менцингер, «Смерть поэта» — Приятель и Грегорич, «Думу» — Целестин и Менцингер и т. д.). Практически к началу XX века оказывается переведенной на словенский язык значительная часть поэтического наследия Лермонтова,³¹ кроме того, некоторые представители словенской интеллигенции читали русского поэта в подлиннике и всем им были доступны немецкие переводы Ф. Боденштедта (издания 1852-го и 1865—1869 годов).

Лермонтов в последние десятилетия XIX века наряду с Пушкиным становится в Словении самым известным и любимым русским поэтом, а некоторые представители словенской литературы (как уже было в случае с Енко) даже отдадут ему предпочтение перед Пушкиным. Обусловлено это как некоторыми субъективными моментами — индивидуальной близостью отдельных поэтов к лермонтовскому мироощущению и творчеству, так и объективными причинами — спецификой развития словенской литературы, затянувшимся процессом становления реализма, стойкостью и живучестью романтических традиций, в результате чего разнообразные сложные структурные сочетания и переплетения романтических и реалистических элементов появлялись в творчестве одного и того же писателя, а часто и в

²⁹ Целестину принадлежит и научно-популярная статья о Лермонтове, опубликованная в журнале «Slovan» в 1885 году.

³⁰ Менцингер перевел девятнадцать стихотворений Лермонтова, переводы эти вошли в «Русскую антологию».

³¹ В начале XX века над переводами лирики Лермонтова интенсивно работает Л. Ленард, которому принадлежат переводы свыше ста лермонтовских стихотворений (см.: Заболотский П. А. Указ. соч., с. 183—185).

одном и том же произведении. Вследствие такой живучести романтизма и замедленности, неравномерности, зигзагообразности процесса формирования критического реализма (что в основе своей восходило к общественно-историческим факторам — национальному развитию словенцев в условиях чужеземного гнета) мы наблюдаем здесь одновременно с постепенным повышением интереса к русской реалистической прозе активное усвоение представителями словенской литературы творчества Лермонтова. Почти все крупнейшие словенские поэты конца XIX — начала XX века в той или иной степени и форме обращались к лермонтовскому наследию (Симон Грегорич, Антон Ашкерц, Драготин Кетте, Йосип Мурн, Отон Жупанчич, то же можно сказать и о ряде поэтов меньшего масштаба (Фран Гестрич,³² Антон Медвед,³³ Радивой Петерлин-Петрушка и др.). Естественно, что каждый из этих поэтов черпает в лермонтовском наследию то, что более всего соответствует его собственной творческой индивидуальности.

Как указывает Ф. Коблар, крупнейший исследователь творчества Симона Грегорича (1844—1906), этот видный словенский лирик «рано обратился к русским классикам, к Пушкину и Лермонтову».³⁴ Отмечая, что Грегоричу очень понравился четырехстопный ямб, Коблар высказывает справедливое предположение, что Грегорич «этот ритм с благозвучной рифмовкой заимствовал из русской классической поэзии, прежде всего у Пушкина и Лермонтова». Многолетнее дружеское общение с Иваном Веселом (Грегорич, как и Весел, был сельским священником) должно было постоянно стимулировать интерес Грегорича к русской литературе. В числе произведений, которые он по просьбе Весела перевел для «Русской антологии», было стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». И в его собственной лирике мы иногда встречаем созвучия лермонтовской поэзии (мотивы одиночества, отчужденности от общества), хотя, как правило, они носят автобиографический характер и порождены конкретно-историческими причинами.

Более отчетливое и многообразное отражение находит поэзия Лермонтова в литературной деятельности Антона Ашкерца (1856—1912).³⁵

В постепенном определении общей эстетической ориентации Ашкерца значительную роль сыграла русская литература. Вероятно, внимание молодого поэта впервые привлекает к ней Фран Левец (занимавший тогда пост редактора ведущего словенского литературного журнала «Люблински звоп») — в письме от 26 января 1884 года он предлагает Ашкерцу немецкие переводы русской поэзии Ф. Боденштедта, включавшие и Лермонтова.³⁶ В последующие годы Ашкерц самостоятельно занимается русским языком, чтобы иметь возможность читать русскую литературу в подлиннике, и в 1889 году сообщает Левцу, что знает русскую грамматику «назубок», тут же он называет и особенно полюбившихся ему русских поэтов — Пушкина, Лермонтова и Некрасова.³⁷ С тех пор Ашкерц с их книгами не расстается и многие их стихи, видимо, знает наизусть.

В 1894 году Ашкерц публикует свой перевод лермонтовского стихотворения «Выхожу один я на дорогу»,³⁸ в котором стремится сохранить основные образы и лиризм подлинника. Перевод звучит легко, непринужденно, поэтично. Правда, в нем отразилось мировосприятие переводчика: третью строку первой четверостишия «Ночь тиха, пустыня внемлет богу» утративший всякое религиозное чувство переводчик (католический священник, вскоре сложивший с себя духовный сан) воспроизводит как «Noč molči, počiva kraj samotni» (буквально: «Ночь молчит, отдыхает край пустынный»).

В Лермонтове Ашкерца привлекает прежде всего то, что соответствует его собственным творческим устремлениям — отчетливо выраженные гражданские мотивы, свободолюбие, неприятие современной поэту действительности, мятежное бунтарство, а также народный характер ряда лермонтовских произведений. Все это находит подтверждение в непосредственных многочисленных высказываниях Ашкерца о русском поэте.

Во второй половине 90-х годов, неоднократно выступая в печати с требованием высокой гражданственности, передовой идейности искусства, правдивости изображения жизни, Ашкерц то и дело оперирует примерами из русской лите-

керца. — Литература славянских народов, вып. 5. М., 1960.

³⁶ См.: Bernik F. Pisma Frana Levca, knj. II. Ljubljana, 1971, s. 136, 305.

³⁷ См.: Boršnik M. Aškerc, s. 47.

³⁸ Выхожу один я на дорогу. Zložil M. J. Lermontov, preložil A. Aškerc. — Slovanski svet, 1894, št. 22, s. 428. Перевод этот не был учтен в библиографическом справочнике: Boršnik M. Aškercova bibliografija. Maribor, 1936 и в дополнении к нему в кн.: Aškercov zbornik. Celje, 1957.

³² [Slođnjak A.] Zgodovina slovenskega slovstva, knj. III. Ljubljana, 1961, s. 205.

³³ Ibid., s. 247.

³⁴ Kobljar F. Simon Gregorčič. Ljubljana, 1962, s. 264.

³⁵ О творчестве Ашкерца см. подробнее: Boršnik M. Aškerc. Ljubljana, 1939; на русском языке: Рыжова М. Социальная тема в поэзии Антона Аш-

ратуры. Говоря о моральной ответственности автора за каждое свое произведение, об «этической серьезности», которой оно должно быть проникнуто, Ашкерц по-русски цитирует стихотворение Лермонтова «Журналист, Читатель и Писатель»:

«...Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум».³⁹

Это лермонтовское стихотворение очень полюбилось Ашкерцу. Оно упоминается им и цитируется неоднократно в самой различной связи. Знаменательно, что реалист Ашкерц обращается к нему и при декларативном утверждении реализма, отстаивая необходимость неосредственного обращения художника к жизни. В таком контексте лермонтовские строки служат Ашкерцу средством полемики со своими литературными противниками: «Лермонтовский „читатель“ (в поэме «Журналист, Читатель и Писатель») насмешливо спрашивает слабых новеллистов, которые не показывают живых людей:

„С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?“⁴⁰

Наиболее целостную и емкую характеристику творчества Лермонтова Ашкерц дает в «Русской антологии», для которой пишет биографические справки обо всех включенных в нее поэтах. Собирая основные биографические сведения о Лермонтове, Ашкерц в основном правильно интерпретирует их, а затем характеризует отношение Лермонтова к современной ему действительности: «Гордая, свободолюбивая душа Лермонтова борется до последнего вздоха против окружающего деспотизма, его муза стоит в вечной оппозиции духовному ничтожеству своего времени».⁴¹ Ашкерц подчеркивает также совершенство формы, красоту и силу языка лермонтовских творений, пластичность его поэтических метафор. Тут же он констатирует, что в эпических стихотворных

произведениях Лермонтова «отражается весь его внутренний мир»,⁴² отмечая отличие его в этом отношении от Пушкина, которому свойственна большая объективность.

Из всех лермонтовских произведений Ашкерц наиболее высоко ценит «Песню про купца Калашникова»: «Лермонтов в стиле и духе народной песни создал „Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, и эта песня, по моему мнению, не только лучшая поэма Лермонтова, но скорее всего лучшее эпическое стихотворное произведение в русской литературе вообще, да и во всех остальных славянских литературах трудно найти эпическое стихотворение, которое превосходило бы названное лермонтовское произведение своей пластичностью и выразительной силой».⁴³ Несколько позже Ашкерц повторяет и дополняет свою характеристику, оценивая поэму еще более категорично: «Это превосходная героическая песня. В славянских литературах поэма эта не имеет себе равных».⁴⁴ Такое восторженное отношение к лермонтовской «Песне» и предпочтение ее всем остальным произведениям русского поэта обусловлено целым комплексом причин, глубоко коренящихся в особенностях мировосприятия и творческой индивидуальности Ашкерца. Его демократическим убеждениям несомненно соответствует и содержание, и форма поэмы — то, что ее истинным героем, «носителем бунта» оказывается простой человек, «представитель народа»,⁴⁵ мужественно борющийся за свою честь и достоинство, и, конечно, Ашкерцу внутренне близок (по его собственному выражению) «стиль и дух народной песни»,⁴⁶ который присущ лермонтовской поэме и ряду произведений самого Ашкерца, широко использовавшего мотивы и приемы словенского, а нередко и шире — югославянского фольклора. И сам Ашкерц, как и Лермонтов в «Песне», нередко обращался к историческому прошлому своего народа, что находило отражение в балладах словенского поэта, отличавшихся нередко фольклорным колоритом (недаром Иван Приятель назвал их «народными балладами»). Вероятно, Ашкерц почувствовал и в лермонтовской «Песне» присущие ей черты «балладной стихии»;⁴⁷ вообще, как стилисти-

⁴² Ibid.

⁴³ Aškerc A. Velikorusskija narodnja pesni, s. 182.

⁴⁴ Ruska antologija v slovenskih prevodih, s. 428.

⁴⁵ См.: Луначарский А. В. Классики русской литературы. М., 1937, с. 187.

⁴⁶ Aškerc A. Velikorusskija narodnja pesni, s. 182.

⁴⁷ О проявлении «балладной стихии» в поэме Лермонтова см.: Вацуро В. Э.

³⁹ Aškerc A. Velikorusskija narodnja pesni. — Ljubljanski zvon, 1896, s. 182. После цитаты из Лермонтова Ашкерц продолжает: «А в беспристрастии пусть служат современному поэту образом старозаветные пророки». Поскольку это высказывание следует сразу же за лермонтовскими строками, невольно напрашивается мысль о том, что Ашкерц имел здесь в виду не подлинных библейских пророков, а образ, созданный Лермонтовым в стихотворении «Пророк» (возможно, и пушкинский образ из одноименного стихотворения).

⁴⁰ Aškerc A. «Ljubezen in rodoljubje». — Ljubljanski zvon, 1897, s. 307. Цитата приводится по-русски.

⁴¹ Ruska antologija v slovenskih prevodih, s. 427.

ческие, так и жанрово-видовые особенности этого произведения Лермонтова органически соответствовали творческой манере самого Ашкерца. По сравнению с другими лермонтовскими поэмами «Песня» наиболее эпична, в ней достигается наибольшая объективизация повествования, столь не характерная для романтических «кавказских» поэм, проникнутых авторским субъективизмом. Конечно, словенского реалиста привлекают и возникающие в лермонтовской поэме реалистические элементы — особенно там, где они проявляются в вещественной, бытовой конкретизации.⁴⁸ В то же время, воспитанный на очень живучих в словенской литературе романтических традициях и сам порой отдававший им некоторую дань в своем творчестве, Ашкерц ощущает романтический пафос лермонтовской поэмы, не случайно именуя ее «героической песней».

Увлечение лермонтовской поэмой, глубокая внутренняя близость к ней проявились и в художественном творчестве Ашкерца, написавшего балладу «Афанасий Семенович», в которой ощущается связь с «Песней про купца Калашникова».⁴⁹ Вероятно, Ашкерц опирается на лермонтовскую поэму совершенно сознательно, как на источник, дающий, по его мнению, достоверную картину быта и нравов России эпохи Ивана Грозного и выразительно очерченный характер самого Грозного;⁵⁰ он

использует этот источник свободно, в соответствии с собственным творческим замыслом. В созданном им образе царя Ивана Васильевича как бы сливаются воедино два лермонтовских персонажа — царский любимец опричник Кирибеевич, попирающий освященные народными обычаями нравственные устои, и сам могущественный царь-самодержец, возникает фигура коварного и распутного деспота, которому все дозволено. Ему противостоит простой человек из народа, только не «удалой купец», а смелый казак Афанасий Семенович, открыто обвинивший царя в похищении его невесты — в преступлении, за которое царь готов приговорить любого из своих подданных к смертной казни. Таким образом, при полной самостоятельности сюжетной основы некоторые идейно-композиционные элементы в балладе Ашкерца напоминают лермонтовскую поэму: своеволие и самовластие, воплощенному Ашкерцем в царе Иване Васильевиче, противопоставлен носитель демократического начала, борец за человеческие права и справедливость.

Что касается внешних изобразительных моментов, то они в ряде случаев непосредственно перекликаются с лермонтовской поэмой. У Лермонтова царь Иван Васильевич «за трапезой сидит во златом венце», у Ашкерца на царе «блестящая корона» («na glavi sag krovo blestečo ima»), а в руках он держит посох, палку с железным «оконечником»:

A v desnici mi palico težko držī,
okovano z železnim okončnikom.

У Лермонтова:

Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником.

Афанасий Семенович у Ашкерца обращается к царю: «Gosudar ti naš Ivan Vasiljevič», что буквально соответствует обращению лермонтовского Кирибеевича: «Государь ты наш, Иван Васильевич», т. е. Ашкерц целиком заимствует русское выражение и слово «gosudar».⁵¹ У Лермонтова Кирибеевич перед кулачным боем царю «в пояс кланяется», то же самое делает, подойдя к Грозному, и Афанасий Семенович («Poklonivši se v pas mu, spregovoril») — «Поклонившись ему в пояс, проговорил».

Стилистическое и ритмико-метрическое сходство между балладой Ашкерца

потизма, всегда враждебного народу» (Фохт У. Р. Лермонтов. Логика творчества. М., 1975, с. 86, 87).

⁵¹ В словаре (Словарь словенского литературного языка. Prva knjiga. Ljubljana, 1970) это слово отсутствует.

М. Ю. Лермонтов. — В кн.: Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Л., 1976, с. 229—230.

⁴⁸ Об этих особенностях в поэме Лермонтова см., например: Гинзбург Л. Творческий путь Лермонтова. Л., 1940, с. 206—207.

⁴⁹ Эту связь впервые скользко отметил Н. М. Петровский (Н. П. Словинский поэт о России. — Славянские известия, 1915, № 3, с. 40). Вопрос этот затрагивается и в работе автора данной статьи «Антон Ашкерц и русская литература» (Литература славянских народов, вып. 6. М., 1961), здесь мы его рассмотрим в несколько ином ракурсе.

⁵⁰ Образ этот трактуется в русской науке и критике крайне разноречно, в богатейшей лермонтоведческой литературе о нем нередко высказываются диаметрально противоположные суждения. Можно лишь предположить, что чисто субъективное восприятие Ашкерца, его прочтение поэмы приближается к той тенденции, которая в последнее время находит отражение, в частности, в работах У. Р. Фохта, полагающего, что в образе Грозного Лермонтову удалось «достигнуть объективности и глубины в изображении типического характера деспота» и, соответственно, что главная задача поэмы — показать «объективную роль деспота».

и лермонтовской поэмой не вызывает сомнений, хотя, безусловно, Ашкерц был знаком также с русской народной песней и в какой-то степени обращался к ней непосредственно. Иногда он употребляет постоянные эпитеты, свойственные как русскому, так и словенскому фольклору (*oblak črn* — туча черная; *lanec zlat* — цепь золотая),⁵² но некоторые эпитеты он непосредственно заимствует из лермонтовской поэмы или русского фольклора: «за Москвой белокаменной» (за Москвой белокаменной) — ср. у Лермонтова: «над стеной кремлевской белокаменной»; «vínce zatorsko» (вино заморское) — у Лермонтова: «вина сладкого заморского». В Словении, где произрастает виноград и производится вино, такой эпитет не мог бы возникнуть — вино не нужно было привозить «из-за моря». Вероятно, с помощью подобных эпитетов Ашкерц сознательно стилизует свою балладу под произведение русского фольклора. Этой стилизации способствует и ритмическая структура баллады. Рецензируя первый том собрания русских песен Соболевского, Ашкерц отмечал, что он делал попытки ввести народно-песенный «русский размер» в словенскую поэзию, в качестве примера назвав прежде всего именно балладу «Афанасий Семенович».⁵³ Трудно сказать, насколько Ашкерц следовал здесь непосредственно образцам русской песни и насколько поэме Лермонтова — во всяком случае баллада Ашкерца ритмически к ней очень близка, ей свойствен свободный нерифмованный стих, местами приближающийся к трех- и четырехстопному анапесту. Правда, столь характерные для стихов лермонтовской поэмы (как и для русской народной песни) дактилические клаузулы у Ашкерца встречаются реже, последний слог в его стихах чаще бывает ударным. Баллада «Афанасий Семенович» — самый наглядный пример непосредственного обращения Ашкерца к творчеству Лермонтова и к русской поэзии вообще.

Как известно, Ашкерц дважды посетил нашу страну. Если в первый свой приезд в 1901 году он побывал в Москве и Петербурге, то летом 1902 года он совершил путешествие по Черному морю и Кавказу, все это нашло свое отражение в путевых очерках «Две поездки в Россию»⁵⁴ и цикле стихотворений.

Путешествуя по Кавказу, Ашкерц то и дело вспоминает лермонтовские творения. Вероятно, поездка эта помогла ему глубже вникнуть в давно знакомые произведения Лермонтова, полнее осознать и ощутить их поэтическую силу.

⁵² Здесь и далее курсив мой. — М. Р.
⁵³ Aškerc A. Velikorusskija narodnija pesni, s. 183.

⁵⁴ Aškerc A. Dva izleta na Rusko. Črtice iz potopnega dnevnika. Ljubljana, 1903.

Иногда кажется, что красоту Кавказа он воспринимает как бы сквозь призму лермонтовских образов, приводя в путевых заметках обширные выдержки из «Демона» (описания Грузии и Кавказских гор).⁵⁵ Здесь же Ашкерц выражает свое восхищение поэмами «Демон», «Ицгири» и «Измаил-бей», именуя их «поэтической апофеозой Кавказа»,⁵⁶ т. е. употребляя формулировку Белинского (относящуюся к лермонтовскому стихотворению «Дары Терека»),⁵⁷ но без кавычек и ссылки на русского критика. Ашкерц видит в этих поэмах не только прославление кавказской природы, но и внимание Лермонтова к жизни горцев и их фольклору — «сказкам и легендам».⁵⁸ Словенский поэт специально посетил Пятигорск, желая увидеть место дуэли и смерти Лермонтова.

Естественно, что в некоторых стихотворениях Ашкерца, навеянных впечатлениями от поездки по Кавказу, слышатся отголоски лермонтовской поэзии или сходные с ней звучания. Так, в стихотворении «Через Кавказ!» возникает образ «гордого и славного Казбека», царственно вздымающегося над остальными горами. Персонификация этого образа вызывает ассоциации со стихотворениями Лермонтова «Спеша на север из далека...» и «Спор», лермонтовский мотив чувствуется в строках о том, что Казбек водит дружбу лишь с громом и молнией, а внешнее его описание, впечатляющее своей яркостью, лучезарностью, может быть, возникло как очень свободное творческое развитие образа из «Демона» — «... Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял».⁵⁹ Ашкерц изображает его в искрящейся серебряной короне на фоне «вечного светильника» — солнца, горящего над головой Казбека.

В лермонтовском «ключе» звучит стихотворение Ашкерца «Терек» — монолог стремительной горной реки, выступающей здесь как символ свободолюбия. У Лермонтова персонифицированный образ Терека и его монолог, сопровождаемый авторскими ремарками, содержится в стихотворении «Дары Терека», с которым у Ашкерца есть некоторые точки соприкосновения, хотя лермонтовский Терек (образ которого в какой-то степени навеян фольклором гребенских казаков)⁶⁰ выполняет иную художественную функцию и совсем не идеализируется (он «дик и злобен»). Момент сход-

⁵⁵ Ibid., s. 41, 57.

⁵⁶ Ibid., s. 59.

⁵⁷ Белинский В. Г., Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 535.

⁵⁸ Aškerc A. Dva izleta na Rusko, s. 59.

⁵⁹ Ашкерц цитирует эти строки в своих путевых очерках (ibid., s. 57).

⁶⁰ См. об этом: Андроников И. Лермонтов. Исследования и находки. М., 1964, с. 399—407.

ства есть в «генеалогии» реки — лермонтовский Терек заявляет о себе: «Я родился у Казбека, вскормлен грудью облаков», у Ашкерца Терек называет Казбек своим «отцом». И у русского, и у словенского поэта Терек желает в море «отдохнуть» или «успокоиться». У Лермонтова:

«Расступись, о старец-море,
Дай приют моей волне!
Погулял я на просторе,
Отдохнуть пора бы мне».

У Ашкерца:

V svobodno morje se mudi mi,
tam srce se mi upokoji.

(Спешу я в свободное море, чтоб сердце нашло там покой).

Оба поэта подчеркивают своенравность, неукротимость горной реки. Терек Лермонтова похвально:

«С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял...»

Терек Ашкерца презирает «темный Дарьял», который теснит его путь, и потешается над человеком, «смешным червячишкой», желающим указывать ему дорогу. Разумеется, между этими стихотворениями Лермонтова и Ашкерца есть и очень существенные различия. Так, например, у Лермонтова нашли свое отражение реальные исторические события, происходившие тогда на Кавказе: один из «даров», предлагаемых Терекком старцу Каспию, — «с поля битвы» «кабардинец удалой»; тут же возникает и образ гребенского казака. Ашкерц, создававший свое стихотворение шестьдесят с лишним лет спустя, противопоставляет свободу Терека (и природной стихии вообще) «рабским оковам» горцев, покоренных царским самодержавием.

В остальных стихотворениях Ашкерца, основанных на кавказском материале, созвучия с лермонтовской поэзией значительно менее ощутимы.⁶¹

И позже, в последние годы жизни и творчества, Ашкерц иногда обращается к лермонтовской поэзии, по-своему используя ее образы и приемы. В 1906 году он пишет стихотворение «На смерть Симона Грегорича», вероятно совершенно сознательно заимствуя некоторые стили-

⁶¹ В примечании к своей «легенде» «Тамара и Каспий» Ашкерц заявляет, что его паридца Тамара «не имеет ничего общего с той Тамарой, которую воспевает Лермонтов и о которой говорит, что она „прекрасна как ангел небесный, как демон коварна и зла“». Тут же Ашкерц приводит источники, на которые опирался при создании своего стихотворения (см.: Aškerc A. Zbrano delo, knj. II. Ljubljana, 1954, s. 506).

стические элементы лермонтовского стихотворения, посвященного гибели Пушкина, — ведь именно в переводе Грегорича прославленное произведение Лермонтова стало широко известно словенским читателям. Подобно Лермонтову, Ашкерц бросает гневное обвинение некоторым общественным кругам, считая их виновными в преждевременной кончине своего брата по перу, — в данном случае это клерикально-католические идеологи и политики, которые в своих печатных органах подвергали Грегорича при жизни травле и оскорблениям. «Вы гению сломали крылья», — возглашает Ашкерц, с едким сарказмом обличая лицемерные слезы этих «фарисеев», оплакивающих теперь умершего поэта и восхваляющих его как патриота и «пророка» (у Лермонтова: «Убит!.. к чему теперь рыдания, Пустых похвал ненужный хор...»). Используя некоторые особенности и приемы лермонтовского стиля (ораторские интонации, вопросы, восклицания),⁶² Ашкерц создает совершенно самостоятельное произведение, явившееся злободневным откликом на современную ему словенскую действительность, на конкретные факты и события. Несомненно, по своей художественной силе оно значительно уступает гениальному лермонтовскому творению.

Увлечение русской литературой уже в ранней юности затронуло и зачинателей так называемого «словенского модерна», плеяду блестящих талантов — Драготина Кетте, Ивана Цанкара, Йосипа Мурна, Отона Жупанчича; в их дружеском кружке возник своеобразный культ Пушкина, Лермонтова, Кольцова, некоторых русских прозаиков-реалистов,⁶³ усвоение творчества которых предшествовало обращению молодых словенских литераторов к современным им веяниям западноевропейского искусства (декадансу, символизму, импрессионизму).

Сын патристически настроенного сельского учителя, Драготин Кетте (1876—1899) уже в 1893 году настойчиво и упорно занимается русским языком, наряду с систематическими самостоятельными занятиями русской грамматикой намечая для себя столь же систематическое чтение произведений Лермонтова в подлиннике.⁶⁴ Планы эти он претворяет в жизнь:

⁶² Об этих особенностях стиля Лермонтова см.: Виноградов В. В. Указ. соч., с. 43—46.

⁶³ Увлечение русской литературой проявлялось даже в выборе псевдонимов, которыми подписывали молодые поэты свои произведения. Цанкар выступал под псевдонимом «Иван Савельев», Кетте — «Михайлов» и «Силушка», Мурн — «Александров», Жупанчич — «Алексий Николаев».

⁶⁴ Kette D. Zbrano delo, knj. II. Ljubljana, 1949, s. 327.

осенью 1893 года в своем выступлении на собрании литературно-патриотического общества люблянской учащейся молодежи «Задруга» Кетте упоминает «Песню про купца Калашникова».⁶⁵ В рамках этого и аналогичного ему ученического общества в городе Ново Место Кетте немало сделал для популяризации русского языка и литературы среди своих товарищей. Исследовательница творчества Й. Мурна С. Трдина на основе воспоминаний современников пишет, что Кетте нередко декламировал Мурну наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, Кольцова.⁶⁶ Это были его любимые русские поэты, произведения которых он переводил охотнее всего.

Из стихотворений Лермонтова Кетте перевел «Молитву» («В минуту жизни трудную...»), «Парус» и «Грузинскую песню», первые два перевода предназначались для «Русской антологии» и были переданы Ивану Веселу,⁶⁷ однако в антологию не вошли — возможно, Весел не был удовлетворен ими.⁶⁸ Выбор для перевода «Грузинской песни», видимо, был обусловлен свойственным Кетте, как и другим поэтам «словенского модерна», стремлением к обогащению словенского стиха новыми ритмическими возможностями, новыми звучаниями. «Грузинская песня», вероятно, привлекла Кетте необычностью и прихотливостью своего метрико-ритмического и строфического построения, передать которое Кетте стремится при переводе. Хотя перевод этот остался неоконченным, со своей задачей словенский поэт в значительной мере справился.⁶⁹

Русская поэзия послужила Кетте школой высокого художественного мастерства. Однако в силу своеобразия его на редкость цельной творческой личности и самобытности таланта случаи непосредственного воздействия отдельных произведений русских поэтов в творчестве Кетте встречаются сравнительно редко и не лежат на поверхности, о гепетических связях здесь большей частью можно говорить лишь предположительно. Это отчасти и к Лермонтову, элементы сходства с поэзией которого в отдельных стихотворениях Кетте могут быть обусловлены и типологически, поскольку в них развиваются традиции словенской романтической лирики.

Укажем лишь на некоторые примеры, где соприкосновения творчества Кетте с поэзией Лермонтова вполне вероятны.

⁶⁵ Ibid., s. 196.

⁶⁶ Trdina S. Josip Murn-Aleksandrovc. — In: Murn-Aleksandrovc J. Izbrani spisi. Ljubljana, 1933, s. LV.

⁶⁷ Kette D. Zbrano delo, knj. II, s. 319.

⁶⁸ В «Русской антологии» эти стихотворения были представлены переводами Я. Менцингера.

⁶⁹ См. подробнее: Ryžova M. I. Dragotin Kette in ruska literatura. — Slavistična revija, 1974, št. 2, s. 189.

Возможно, внутренний облик демона в цикле сонетов Кетте «Черные ночи» в какой-то степени подсказан русской поэзией — пушкинским стихотворением «Демон», а отчасти и одноименной поэмой Лермонтова.⁷⁰

Иной характер связи можно предположить при сопоставлении стихотворения Лермонтова «Еврейская мелодия» («Я видал иногда...») с одним из лучших стихотворений Кетте «На площади». Сходство здесь в своеобразном ритме, общей эмоциональной окраске и чувственно-зрительных впечатлениях — в ощущении зыбкости и трепетности ночного света (у Лермонтова — мерцание звезды, у Кетте — лунные блики) и струящейся, плещущейся воды. У Лермонтова:

Я видал иногда, как ночная звезда
В зеркальном заливе блеснит;
Как трепещет в струях, и серебряный
прах
От нее рассыпаясь бежит.

В ранних изданиях, согласно варианту белого автографа, первая строка печаталась с односложной анакрузой: «Видали ль когда, как ночная звезда...»⁷¹ (что еще более сближает по звучанию «Еврейскую мелодию» со стихотворением словенского поэта). У Кетте:

Noč trudna molči, nezamudna beži čez mestni trg luna sanjava.	Ночь сонно молчит, неуклонно скользит луна через площадь, мечтая.
Vse v mraku mirno, na vodnjaku samó tih vetrc z vodoj poigrava.	На свете покой, только ветер водой легонько в фонтане играет.

И следующая строфа у Кетте передает беспокойный шепот, всплески постоянно льющейся, рассеивающей брызги струи.

Игра неверного ночного света в воде напоминает лирическому герою Лермонтова о такой же обманчивости, недостижимости радости, счастья (у Кетте — о недоступности гордой возлюбленной поэта Ангелы).

У Лермонтова:

Но поймать ты не лъстись и ловить
не берись:
Обманчивы луч и волна.
Мрак тени твоей только ляжет на ней,
Отойди ж — и заблещет она.
Светлой радости так беспокойный
призрак
Нас манит под хладною мглой;

⁷⁰ См. подробнее: *ibid.*, s. 193—195.

⁷¹ Например: Лермонтов М. Ю. Соч., т. I. Под ред. П. А. Висковатова. М., 1889, с. 91; Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. I. Под ред. А. И. Введенского. СПб., 1891, с. 153.

Ты схватить — он шутя убежит от тебя!
Ты обманут — он вновь пред тобой.

У Кетте:

Pa bliži ni cest, ah v Elizij do zvezd ne morete kaplje šumeče.	Не зная дорог, к звездам рая поток певучие капли не вскинет.
In smele željé do Angele mojé hitite zaman hrepeneče...	И страстно мечтать, понапрасну страдать я буду, Ангела, огненные...

Оба стихотворения проникнуты томлением о невозможном, недоступном счастье. Настроению лирического героя и смутному ночному пейзажу удивительно соответствует ритмический рисунок стихов — в нем словно угадываются перемены света, слышится журчание воды.⁷² Ритмический строй стихотворения Кетте очень близок к лермонтовскому, но полностью с ним не совпадает, а чисто внешне строфа оформлена совсем по-иному. У Кетте стиховые строки, базирующиеся на принципе рифмы, мельче, система рифмовки сложнее. У Лермонтова — в нечетных стихах цезура с внутренней рифмой, причем все стихотворение построено на мужских рифмах (у Кетте в систему рифмовки входят и женские рифмы — пятый и десятый стих каждой строфы). В лермонтовской «Еврейской мелодии» более свободно чередуются односложные и двусложные анакрузы, у Кетте они строго закреплены на определенных местах.

Возможно, Кетте в процессе собственных ритмико-метрических поисков был привлечен несколько необычной ритмикой лермонтовского стихотворения. По своему преобразуя традиционную оформленную лермонтовскую строфу, находя в ней новые музыкальные возможности, он создает одно из тончайших по своему лиризму и звуковой отделке произведений словенской поэзии.

В какой-то степени подобный случай — известное ритмико-интонационное сходство — обнаруживается при сопоставлении стихотворения Лермонтова «Тучи» с четвертым сокетом из цикла Кетте «Прогоулка».

В отличие от Кетте, Йосип Мурн-Александров (1879—1901) был очень восприимчив к самым разнообразным литературным воздействиям, в том числе и к русской поэзии. Он пережил период пылкого увлечения творчеством и личностью Лермонтова, что подтверждают

многочисленные документальные данные, высказывания самого Мурна в его корреспонденции и свидетельства его товарищей (например, Отон Жупанчич впоследствии вспоминает, что Мурн одно время собирался даже пойти в солдаты лишь потому, что Лермонтов был военным).⁷³ Из всех словенских поэтов именно в ряде произведений Мурна влияние Лермонтова проступает наиболее явно и открыто, естественно, что проблема эта уже в значительной степени разработана.⁷⁴ Остановимся коротко лишь на некоторых основных ее аспектах и наиболее ярких случаях, характеризующих различные проявления связи поэзии Мурна с творчеством Лермонтова.

Лермонтовская поэзия была очень близка Мурну в силу особенностей его психологического склада. Незаконнорожденный сын бедной служанки, как и Кетте, рано умерший от туберкулеза, Мурн всю свою недолгую жизнь остро ощущал себя отщепенцем по отношению к тем буржуазно-мещанским кругам, с которыми ему приходилось соприкасаться. Его привлекал Лермонтов, «гоимый миром странник», гордое одиночество человека, противостоящего чуждой ему среде и страстно томящегося о подлинно дружеской душевной близости и участии (хотя конкретные исторические причины общественной отчужденности Лермонтова были совсем иными).

Мотивы одиночества, горького разочарования в современной действительности, презрения к окружающей поэта «толпе» возникают порой в творчестве Мурна вне всякой связи с лермонтовской поэзией. Романтический характер этих мотивов позволяет говорить о существовании каких-то типологически сходных моментов между творчеством Лермонтова и некоторыми произведениями Мурна. Однако чаще имеет место и непосредственная генетическая связь — в период увлечения Мурном, находясь под обаянием любимого поэта, Мурн нередко облекает подобные мотивы в под сказанную им Лермонтовым форму, невольно, а подчас и совершенно сознательно перенимая некоторые лермонтовские образы и стилистические приемы. В процессе творческой эволюции Мурна бунтарский романтический индивидуализм лермонтовского толка порой смыкается у него с индивидуализмом, свойственным искусству декаданса, влияние которого Мурн также испытал на себе,

⁷³ См.: Trdina S. Op. cit., s. XLVI.

⁷⁴ См.: Roblek E. Murn Aleksandrov in ruski romantični pesniki. — Jezik in slovstvo, l. IV, 1958, št. 6; S n o j J. Simbolizem Josipa Murna. — In: Murn J. Pesmi. Maribor, 1968; Рыжова М. И. Йосип Мурн и русская литература. — В кн.: Русско-югославские литературные связи. Вторая половина XIX—начало XX века. М., 1975.

⁷² На преобладание в этом стихотворении Лермонтова ритмической тенденции над другими художественными средствами указывает Б. Эйхенбаум (Эйхенбаум Б. Лермонтов. Л., 1924, с. 38).

хотя оно не было ни длительным, ни глубоким.

Различные проявления идейно-тематической и стилистической связи с поэзией Лермонтова можно обнаружить во многих произведениях Мурна. Особенно яркие и разнообразны они в конце 1897—1898 году, с наибольшей силой проступая в дошедшей до нас в незавершенном виде поэме «Юношеский роман». Произведение это настолько проникнуто духом лермонтовской поэзии, что при чтении его местами кажется, будто это талантливый перевод какого-то неизвестного нам творения Лермонтова. Вероятно, в данном случае Мурн сознательно стремится воспроизвести дух и стиль лермонтовской поэзии, сходство с которой проявляется и в романтической обрисовке юного героя поэмы Эгита. Одиночество, отчужденность от людей, неутолимое томление о родной душе, любовь к природе и способность необыкновенно глубоко воспринимать ее красоту (в чем проявляются черты романтической исключительности героя и тема его «избранничества волею судеб») — все это сближает Эгита с многими лермонтовскими героями,⁷⁵ особенно с Мцыри. Исследователи творчества Мурна справедливо предполагают, что и в сюжетном развитии, видимо, должна была возникнуть аналогия с поэмой «Мцыри»⁷⁶ — мальчик, выросший на лоне природы и оказавшийся в мрачном монастыре, вероятно, должен был совершить оттуда побег; в поэме Мурна есть намек и на раннюю гибель героя (VII песнь). Бросается в глаза и стилистическая близость «Юношеского романа»: Мурн к лермонтовской поэзии, хотя есть между ними и некоторые существенные различия.⁷⁷

Близость к лермонтовской поэзии очень заметна в стихотворениях Мурна «Меж небом и землей» и «Летаргия», в последнем из них, проникнутом разочарованием, критическим отношением к действительности, горьким сарказмом, ощущается связь с лермонтовской «Думой»,⁷⁸ что проявляется и в интонационно-стилистических особенностях, и в образной структуре «Летаргии» (например, метафорический образ преждевременно созревшего и увядающего плода,⁷⁹ встре-

⁷⁵ См. подробный сравнительный анализ поэмы Мурна с творчеством Лермонтова в названной работе Й. Сноя.

⁷⁶ См.: Roblek E. Op. cit., s. 176; Snoj J. Op. cit., s. 247.

⁷⁷ Подробнее см.: Рыжова М. И. Иосип Мурн и русская литература, с. 239—241.

⁷⁸ Товарищ Мурна поэт Р. Петерлин-Петрушка называет «Думу» в числе наиболее любимых Мурном лермонтовских стихотворений (см.: Мурн J. Zbrano delo, knj. II. Ljubljana, 1954, s. 433).

⁷⁹ Некоторые образы этого стихотворения Мурна перекликаются также с лермонтовскими стихотворениями «Настанет

чающий» кроме «Думы» и в других стихотворениях Лермонтова). Два своих стихотворения — «Прощай!» («Zdravstvi!») и «То было в час...» — сам Мурн в черновых записях сопровождает подзаголовком «По Лермонтову», и действительно, в них проявляется органическая близость к лермонтовской лирике.

В одном из произведений Мурна мы встречаем случай непосредственного обращения к лермонтовскому тексту, своеобразное его цитирование. Хотя созданное в форме диалога стихотворение «Книгопродавец и поэт» отражает некоторые характерные черты общественно-исторических и литературных условий тогдашней Словении, оно насыщено многочисленными оригинально переплетающимися реминисценциями из Пушкина («Разговор книгопродавца с поэтом»), «Поэт в толпа», «Поэту», «Пророк») и Лермонтова — в первую очередь мы обнаруживаем разнообразно проступающую связь со стихотворением «Журналист, Читатель и Писатель».⁸⁰ Кроме того, в монологе книгопродавца (чей образ очерчен сатирическими штрихами), убеждающего поэта писать в угоду публике, возникает взятое в кавычки предостережение относительно возможной ситуации, когда «толпа» станет кричать поэту:

«Poglejte ga, on hodi vam v izgled,
kako je strgan, truden, bled —
kaj norec klel nam nad glavami,
kaj živel ni, ni hodil z nami!»

Буквально: «Посмотрите на него, пусть он будет вам примером, как он оборван, утомлен, бледен. — И чего, глупец, расточал проклятья на наши головы, чего не жил, не держался вместе с нами!» Фактически это сокращенный и несколько вольный перевод отрывка из лермонтовского «Пророка»:

«Смотрите, вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!»

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он паг и беден,
Как презирают все его!»

Мурн не упоминает здесь Лермонтова, но строки эти стоят у него в кавычках, возможно, он полагал, что читатели, знающие Лермонтова, определят их источник.

Хотя увлечение Лермонтовым и его влияние на творчество Мурна с 1899 года

день...» и «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась...») — последний случай указан Й. Сноем (Snoj J. Op. cit., s. 256).

⁸⁰ На связь эту впервые указал А. Ашкерц (Aškerc A. «Na razstanku». — Ljubljanski zvon, 1898, s. 565).

идет на убыль, отдельные мотивы, звучные лермонтовской поэзии, возникают в его произведениях и позже, и облекаются они в соответствующую форму — им свойственна горькая ирония, авторская простота выражения, риторические вопросы и восклицания. Эта лермонтовская струя проступает в стихотворениях Мурна «Ты сам себе дорог» и «Стихи» («Verzi»), созданных в последний творческий период (после июня 1900 года), — и здесь тема гордого одиночества, обличение фальши и бездушия чуждой поэту среды. И все же это не полное разобщение с действительностью, а приятие жизни как постоянной борьбы, во всей ее сложности, с неизбежной горечью и трагикой. Так лермонтовские элементы органически вплетаются в глубоко личные и самобытные произведения Мурна, выражающие известные сдвиги в его мироощущении.

Что касается двух других крупнейших зачинателей «словенского модерна», Ивана Цанкара и Отона Жупанчича, то и они были несомненно знакомы с творчеством Лермонтова (о чем свидетельствует их корреспонденция), однако, как известно, Цанкар становится крупнейшим словенским прозаиком — новеллистом и драматургом, и связи его с русской литературой развиваются в ином ракурсе,⁸¹ а об отчетливо выраженном

⁸¹ См.: Крефт Б. Иван Цанкар и русская литература. — В кн.: Русско-юго-

воздействию Лермонтова на поэзию Жупанчича говорить нет оснований, его открытое обращение к Лермонтову проявляется несколько позже — в удачном переводе лермонтовского «Паруса» (1914).⁸²

Как наглядно показывает приведенный историко-литературный материал, обращение к Лермонтову видных словенских поэтов второй половины XIX — начала XX века послало творческий, активный, избирательный характер — в каждом конкретном случае усваивались те или иные компоненты поэзии Лермонтова, в зависимости от стадии развития воспринимающей национальной литературы и в значительной степени от особенностей художественной индивидуальности каждого из поэтов, стремившихся почерпнуть из сокровищницы лермонтовского наследия то, что было ему внутренне наиболее близко и отвечало его собственным литературным поискам и задачам.⁸³

славские литературные связи. Вторая половина XIX — начало XX века. М., 1975.

⁸² См.: Рыжова М. И. Русская поэзия в словенских переводах Отона Жупанчича. — Русская литература, 1977, № 3, с. 161.

⁸³ Эта статья была написана до опубликования работы: Krakar L. Lermontov in slovensci. In: Krakar L. Prepletanja. Ljubljana, 1978.

Б. В. Мельгунов

К ЛИТЕРАТУРНОЙ «РОДОСЛОВНОЙ» СТИХОТВОРЕНИЯ НЕКРАСОВА «ЕЩЕ ТРОЙКА»

В легальной русской литературе Некрасов первым осмелился столь остро заговорить о ссылке и правительственном терроре 60-х годов. Уже отмечалось, что мотив дороги и жандарма, намечившийся еще в стихотворении Некрасова «Перед дождем» (1846),¹ был впервые развернут в шести последних строчках сти-

хотворения «Благодарение господу богу» (1863):²

В тряской телеге два путника пыльные
Скачут... едва разглядел...
Подле лица — молодого, прекрасного
С саблей усач...
Брат, удаляемый с поста опасного,
Есть ли там смена? Прощай!

(II, 161)

¹ Последние строчки этого стихотворения:

Над проезжей таратайкой
Слушен верх, перед закрыт;
И «пошел!» — привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит...

(Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. I. М., 1948, с. 30. Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием тома и страницы).

Заключительное четверостишие было исключено цензурой в прижизненном издании и опубликовано впервые в явно усеченной строчкой «С саблей усач...» после смерти поэта, в 1879 году.³

² Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. III. М., 1952, с. 316—317.

³ Некрасов Н. А. Стихотворения, т. II. СПб., 1879, с. 76.

«Разглядеть» лицо ссыльного, сопровождаемого жандармом, в арестантской фуру поэт пытался и в 1850-х годах:

Все пусто. — Вот идет солдат
За фурой, вроде погребальной —
Глядит оттуда глаз печальный,
И видно бледное лицо...
Довольно! что теперь ни встретишь.

(II, 21)

Эти строчки в автографе стихотворения «Петербургское утро», предназначавшегося для шестого номера «Современника» 1855 года, отчеркнуты красным цензорским карандашом, а само стихотворение не допущено к печати.⁴ Через год Некрасову удалось провести его через цензуру («Современник», 1856, № 5, с. 139—141), позднее оно вошло в состав поэмы «Несчастные».

Как известно, стихотворение «Еще тройка» (1867) явилось откликом Некрасова на усиление реакции после выстрела Каракозова. Едва ли не лучшим комментарием к этому произведению могут служить строки из доклада директора Департамента полиции В. К. Плеве, представленного Александру III в 1883 году: «...Некрасов со злобной насмешкой встретил меры правительственного преследования, которое постигло пропагандистов, и призывал новые силы на смену выбывающим».⁵ Напечатанная впервые в 1869 году в четвертой части «Стихо-

творений» Некрасова «Еще тройка» была мгновенно подхвачена революционно-демократической молодежью. Уже в середине января 1869 года агенты III Отделения доносили об огромном возбуждении, в которое приходила публика при чтении этого произведения с эстрады.⁶ О популярности «Еще тройки» среди революционной молодежи вспоминала и Вера Засулич.⁷

В одном из жандармских дел о распространении листовок с революционными песнями указывается, что в листовке, найденной в Подольской губернии, содержится «Марсельеза» и «стихотворение Некрасова „По пыльной дороге телега несется“».⁸ Разумеется, жандармский ротмистр Кравцов, составлявший протокол, где сделана цитированная запись, ошибся, приписывая Некрасову популярную революционную песню (в листовке, приложенной к делу, имя автора песни не указано). Однако ошибка ротмистра не так уж нелепа. В сознании жандармского офицера, по долгу службы знакомого с революционной поэзией и, в частности, с поэзией Некрасова, старая песня политических ссыльных «По пыльной дороге...» ассоциировалась, по-видимому, с близким по содержанию некрасовским «романсом»⁹ «Еще тройка».

Сравним начало песни (ее мы приведем полностью) с первой частью стихотворения Некрасова.

По пыльной дороге телега несется,
А в ней по бокам два жандарма сидят.
Сбейте оковы,
Дайте мне волю —
Я научу вас
Свободу любить!

Юный изгнанник в телеге той мчится,
Скованы руки, как плети висят.

Дома оставил он мать беззащитную,
Будет она горевать.

Дома оставил он милую сердца,
Будет о нем тосковать.

Вспомнил он, бедный, про дело
народное,
Вспомнил, за что пострадал.

Вспомнил и молвил он: «Дайте мне
волю —
Я научу вас свободу любить!»¹⁰

Ямщик лихой, лихая тройка
И колокольчик под дугой,
И дождь, и грязь, но кони бойко
Телегу мчат. В телеге той
Сидит с осанкою победной
Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный
Лет в девятнадцать господин.
Все кони взмылены с натуги,
Весь ад осенней русской вьюги
Навстречу; не видать небес,
Нигде жилья не попадает,
Все лес кругом, угрюмый лес...
Куда же тройка поспешает?
Куда Макар телят гоняет.

(II, 314)

⁴ ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 27, л. 92.

⁵ Лит. следствие, т. 49—50, 1946, с. 526.

⁶ Некрасовский сборник, IV. JL., 1967, с. 216—217.

⁷ Засулич Вера. Воспоминания. М., 1931, с. 27.

⁸ ЦГИА УССР, ф. 419, оп. 1, 1906, ед. хр. 4673, л. 20.

⁹ В оглавлении ч. IV «Стихотворений Н. Некрасова» (СПб., 1869) написано: «Еще тройка, романс».

¹⁰ Текст приводится по изд.: Песни русских рабочих (XVIII—начало XX века). М.—Л., 1962, с. 86—87. («Библиотека поэта», большая серия). Припев «Сбейте оковы...» повторяется после каждого двустипия.

В сравниваемых текстах действительно немало общего: ситуация, образы — мчащаяся (несущаяся) телега, жандарм (два жандарма), юноша. Судя по первым куплетам, можно сказать, что основное отличие произведений в главном объекте изображения (юноша — в песне и жандарм — в стихотворении) и отсюда в их настроении, интонации (романтически грустная песня и язвительно-ироническое стихотворение Некрасова). Далее тексты значительно расходятся, но отмеченные совпадения подтверждают наличие определенной связи между этими произведениями. Для выявления характера этой связи обратимся к истории песни ссыльных революционеров. Сведения, которые дает исследовательская литература о песне «По пыльной дороге...», весьма скудны. В одном из авторитетных изданий сообщается, что эта «одна из наиболее распространенных песен тюрьмы» переведена с польского и была широко известна в Западном крае.¹¹

Весьма неопределенно говорится о происхождении песни в издании сравнительно недавнем: «Идейное содержание песни, ее поэтические образы и интонационный склад указывают на связь с политической лирикой польских повстанцев прошлого века. Всего вероятнее, время ее создания падает на 1860-е годы».¹² Нет точного указания на польский оригинал и в одном из лучших современных изданий песен этого периода. Здесь «По пыльной дороге...» характеризуется как «переложение песни польских революционеров 1860-х годов».¹³ Источником столь туманных указаний на польское происхождение песни «По пыльной дороге...» послужили, по всей вероятности, воспоминания старого революционера Л. Фрейфельда. Рассказывая о своем пребывании в Акатуйской тюрьме в 1902 году, он писал: «Как-то в сумерки, — кажется, накануне моего отъезда, — виллопы (заключенные, переведенные из Виллойска, — Б. М.) запели хором польский гимн: „Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить“... Стены „Шелайской“ тюрьмы в первый раз слышали такой хор, превосходно, с большим поистине революционным подъемом исполнявший этот революционный гимн».¹⁴

Указание на польский источник интересующей нас песни имеется в материалах подготовленного к печати Сектором фольклора ИРЛИ АН СССР сборника «Песни российского пролетариата» (составители Е. В. Гиппиус и П. Г. Ширя-

ва). «Возникновение польской песни, — читаем мы в комментарии к песне «По пыльной дороге...», — связывается с польским повстанческим движением 1860-х годов. Нам известны два варианта текста и напев, впервые опубликованные в издании Ф. Бараньского. Одно из стихотворений названо в этой публикации „Сибирский узник“, второе — „Кибитка“».

Сборник польских патриотических и революционных песен, составленный Фр. Бараньским, вышел впервые к тридцатилетней годовщине восстания 1863 года¹⁵ и много раз переиздавался. Вариант «Сибирский узник» («Więzień sybirski») помещен во всех изданиях; более краткий вариант песни, «Кибитка», впервые напечатан в третьем, дополненном издании сборника. Никаких сведений о происхождении интересующих нас песен Бараньский не дает. Приводим подстрочный перевод «Сибирского узника».

СИБИРСКИЙ УЗНИК

Шумный ветер веет по пустынной степи
И взвихривает снег к облакам.
Там белый туман рвется и разносится
Густой ураганной пылью.

А в этой степи почтовая дорога,
Как шарф, свитый из серебряных нитей,
Созданная адом ли, волею ли бога, —
Попробуй — отгадай.

По дороге в вихрях снежных
Гонит кибитку в дальний путь.
Только колокольчики слышны
в отдалении,
Как погребальный звон.

В кибитке виден юноша,
Он смотрит печально, но гордо.
На его лице — след румянца,
Но и он скоро исчезнет.

Выглянул он из кибитки, тряхнул
головой,
Не беспокоясь о том, что разгневет
жандарма,

Посмотрел назад,
Тоскливая песнь полилась из его груди.

«Напрасно очи, залитые слезами,
Тоскливый взгляд обращают на запад,
Где покинут мой милый край, —
Я навек с ним простился.

Я не увижу больше моего села,
Семьи своей больше не увижу, нет,
Ни дивчины, моего ангела,
Не увижу больше, не увижу, нет.

Любимая, вспоминай ту минуту,
Когда меня вырвали из твоих объятий,
Любимая, вспоминай, сколько слез,
Ах, сколько слез пролили твои очи.

¹⁵ Barański Fr. Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patriotyczne i narodowe. Lwow, [1893].

¹¹ Песни каторги и ссылки. М., 1930, с. 110.

¹² Друскин М. Русская революционная песня. Л., 1959, с. 41.

¹³ Песни и романсы русских поэтов. М.—Л., 1965, с. 1067 («Библиотека поэта», большая серия). См. также указ. сб. Песни русских рабочих, с. 256.

¹⁴ Фрейфельд Л. Из прошлого. — Каторга и ссылка, 1928, кн. 42, с. 101.

Прекрасные очи, твои божественные очи,
За которые я отдал бы свою жизнь,
Сегодня тоска, сегодня печаль гасит,
Сегодня их заливают обильные слезы.

Любимая, зачем ты льешь горячие слезы,
Когда тоска не трогает варварских
сердец.

Они меня везут туда, далеко,
О, не плачь, любимая, душа души моей.

Негодяи¹⁶ заковали мои руки в кандалы,
Лишь вольной души не могли заковать.
Сбросьте оковы, дайте мне оружие,
Я научу вас чувствовать свободу.

Прощай, мой край, дорогая отчизна!
Ах, где твоя вольность, где твоя свобода!
Все осталось в плену врага,
И никто сегодня не подаст мне руки».

Как видим, песня «По пыльной дороге...» действительно является переложением польской песни. Наиболее близок к оригиналу припев русского варианта — это почти дословный перевод 3-й и 4-й строк предпоследнего куплета «Сибирского узника». Почти неизменной остается система образов: *дорога, телега, закованный в кандалы юноша, жандармы* (в польском тексте — *жандарм*), *мать* (в польском тексте — *семья*), *возлюбленная, несчастный народ*. Песня «По пыльной дороге...» значительно короче польского оригинала. Картина бескрайней степи, которую пересекает кибитка с жандармом и юношей в кандалах, в польской песне занимает четыре куплета. В русском переложении она укладывается в четыре строчки двух первых куплетов.

Вернемся, однако, к стихотворению Некрасова «Еще тройка». Сопоставив его с текстами польской и русской песен, мы обнаруживаем, что некрасовское стихотворение (по крайней мере, его первая часть) в еще большей степени сходно с текстом «Сибирского узника». Эти произведения близки даже по своему ритмическому рисунку. Для примера приведем второй куплет «Сибирского узника» в оригинале:

A po tym stepie pocztowa droga,
Jak szarfa z srebrnych uwita nić,
Piekiełm wyruta, czy z woli Boga,
Tego odgadnąć daremnie chcieć.¹⁷

¹⁶ Здесь уместно будет напомнить предположение В. Е. Евгеньева-Максимова о том, что в усеченной в силу цензурных условий строчке «С саблей усач...» из стихотворения «Благодарение господу богу» недостает именно слова «негодяй», которое было вписано в экземпляре «Стихотворений» Н. А. Некрасова 1873 года, найденном этим исследователем (Евгеньев-Максимов В. Е. Указ. соч., с. 313).

¹⁷ *W a z a ń s k i Fr. Jeszcze Polska nie zginęła!*, s. 148.

Первая часть польской песни рисует картину осенней непогоды и на ее фоне кибитку с известными нам седоками. В стихотворении «Еще тройка» эта картина занимает почти столько же места (пятнадцать строк).

Четыре первых куплета песни «Сибирский узник» имеют четко обозначенную, с последовательной детализацией композицию: *погода, дорога, кибитка, седоки*. Такая обстоятельство, лишь картину динамики, хорошо передает безнадежную тоску, отчаяние ссыльного, совершающего бесконечный путь в Сибирь.

Композиция первой части некрасовского стихотворения включает те же элементы, но в иной последовательности: *тройка, седоки, погода, дорога*. Однако у Некрасова нет такого четкого членения повествования, как в «Сибирском узнике» («А в той степи...». «По дороге...». «В кибитке...»). Автор стихотворения «Еще тройка» обо всем рассказывает как бы «на ходу», на фоне бешеной скачки. Близость сравниваемых текстов — в ритмике, системе образов и ситуации.

В польской песне:

Шумный ветер веет по пустынной степи
И взвихривает снег к облакам.
Там белый туман рвется и разносится
Густой ураганной пылью.

В стихотворении Некрасова:

И дождь и грязь...

Весь ад осенней русской вьюги
Навстречу; не видать небес...

Строка «Весь *ad* осенней русской вьюги...» соотносится также и с картиной завьюженной сибирской дороги в песне «Сибирский узник»:

А в той степи почтовая дорога,
Как шарф, свитый из серебряных нитей,
Созданная *адом* ли, волею ли бога.¹⁸

Сама же дорога у Некрасова обрисована несколько иначе:

Нигде жилья не попадает,
Все лес кругом, угрюмый лес...

Кибитка в польской песне:

По дороге в вихрях снежных
Гонит кибитку в дальний путь.
Только колокольчики слышны

в отдалении,
Как погребальный звон.

Телега в стихотворении Некрасова:

Ямщик лихой, лихая тройка
И колокольчик под дугой,
...кони бойко
Телегу мчат...

¹⁸ *Piekiełm wyruta, czy z woli Boga.*

Отличие в обрисовке образов стихотворения Некрасова не в содержании этих образов, а в их лексико-стилистической окраске. Оба ссыльных юны, бледны, несчастны. Сравним:

В кибитке виден юноша,
Он смотрит печально, но гордо.
На его лице — след румянца,
Но и он скоро исчезнет.

И рядом с ним какой-то ¹⁹ бледный
Лет в девятнадцать господин.

Три последующие части стихотворения «Еще тройка» существенно отличаются от «Сибирского узника» (более точно совпадает с оригиналом в этой части текст песни «По пыльной дороге...»). В польской песне центральная фигура, как уже отмечалось, — ссыльный юноша, романтический герой, поверженный, но не сдавшийся. Жандарм, сидящий в кибитке, скрыт от наших глаз. В стихотворении Некрасова «жандарм с усами в аршии», восседающий «с осанкою победной» рядом с юношей, — центральная фигура, олицетворение тупого исполнителя власть предержащих.

Образ ссыльного у Некрасова сознательно приглушен. Вместо обращения революционера к родному краю, любимой девушке, к народу, вместо проклятий героя в адрес победителей Некрасов, придавая всему стихотворению сатирическую окраску, делает иронические предположения о том, что перед нами незадачливый любовник, убивший мужа возлюбленной, ночной взломщик или человек, гитавшийся в одиночку «разрушить государство».

Итак, сопоставление текстов позволяет высказать предположение, что польская песня «Сибирский узник» послужила общим источником для русской революционной песни «По пыльной дороге...» и стихотворения Некрасова «Еще тройка».

Литературную «родословную» некрасовского произведения можно проследить и далее. «Сибирский узник», в свою очередь, имел, по нашему мнению, литературные источники. Вообще, сибирская тема в польской революционной поэзии явственно обозначилась уже в эпоху декабризма. Среди произведений этого ряда следует назвать стихотворение А. Мицкевича «Pieśń katorzników»; М. Гославского «Dumka na Wugnaniu»; Б. Червенского «Skon Jana Hlaski»; песню В. Свечидко «Przed droga na Sybir» и др.

Литературным источником «Сибирского узника» стало, по-видимому, одно из стихотворений известного польского поэта-революционера Густава Эренберга (1818—1895).

Внебрачный сын Александра I и гене-

ральши Раутенштаух, он получил блестящее образование в лицее и Краковском университете. С 1833 года занимался подпольной революционной деятельностью, был членом «Товарищества польского народа». Писал стихи, ходившие в списках и имевшие большое влияние на польскую молодежь. В 1838 году Эренберг был арестован по делу Симона Конарского и приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненной каторгой в Нерчинских рудниках. Вернулся на родину в 1858 году.²⁰ Эренберг продолжал писать стихи и в Сибири. Особой популярностью среди ссыльных поляков пользовалось его стихотворение «К братьям-поселенцам». В 1848 году друзья поэта издали в Париже анонимный сборник стихотворений Густава Эренберга «Отзвуки минувших лет». В книге 30 стихотворений. Последнее из них, «Podroz na Syberia»,²¹ имеет, по-видимому, прямое отношение к песне «Сибирский узник». Приводим часть его в нашем подстрочном переводе.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ

Извозчик сел на передке, конь загремел
колокольчиком,
Кибитка летела широкими улицами
Москвы,
Как будто гнал ее ветер.
Бородатые капаны, разинув рты,
«Это поляк-бунтовщик», — говорили
между собой
И одурело смотрели на меня.

И лишь иногда с обочины девушка
То поднимала несмело на меня очи,
То вновь смущенно опускала их вниз.
И только иногда, сочувствующе
и задумчиво,
Прохожий юноша обращал свой взор
ко мне,
И как много слов было в одном том
взгляде.

Я сидел, величественно развалиясь
в кибитке,
Сдвинув небрежно шапку набекрень,
И люлька-коханка свисала с губ.
Усевшись получше, широко
раскинувшись,

Я стал слагать стихи
(Прежде лишь глубже надвинув шапку
на лоб):

«О, еще не беда, хоть зима так сурова.
Кандалы на ногах? Это лишь для тепла.
А жандарм — то защита от злодеев.
Человек, живущий с высоко поднятой
головой,
Должен отважно идти и на виселицу,
Под петлей мужественно расстаться
с надеждами» и т. д.

²⁰ Antologia romantycznej poezji krajowej (1831—1863). [Warszawa, 1958], s. 73.

²¹ Dzwieki minionych lat (1835—1836). Paryż, 1848, s. 64—66.

Совпадение темы, ситуации, образов произведения Эренберга и стихотворения «Сибирский узник», возникшего через тридцать лет, вряд ли случайно. Впрочем, и тему, и образы, и ситуацию повторила сама польская действительность первой половины 60-х годов. Именно поэтому в период восстания 1863 года снова зазвучала польская поэзия 1830-х годов. Повстанческие песни создавались, как правило, на основе какого-либо популярного напева. На этот напев сочинялись новые слова, часто они были переосмыслением какого-то известного поэтического произведения.

Так произошло, кстати, с другой популярной песней-маршем Густава Эренберга «Gdy paróid do boju», созданной им в тридцатые годы. На мотив этой песни повстанцы пели новую песню — «Do rąbów». Она была направлена, как и песня Эренберга, против польской аристократии, предающей интересы народа.²² То же случилось, по-видимому, и с «Путешествием в Сибирь» Эренберга. Из него в «Сибирский узник» перешли и кибитка, гонимая ветром, и закованный в кандалы юноша-ссылный, преодолевающий уныние, и жандарм, и невеселые размышления героя о том, что ждет его в Сибири.

Еще один возможный источник «Сибирского узника» — стихотворение Адама Мицкевича «Дорога в Россию», впервые напечатанное в 1832 году в Париже в составе «Отрывков из части III» «Дзядов», где отразились, как известно, впечатления Мицкевича о русской действительности, накопленные поэтом во время его пребывания в ссылке в России (1824—1829). Первый перевод этой части «Дзядов» появился в русской печати лишь в 1917 году,²³ но заграничное издание поэмы сразу приобрело широкую известность в России. «Памятник Петру Великому», входящий в состав «Отрывков», был переписан Пушкиным.²⁴

В январе 1843 года Герцен записал в дневнике впечатления о только что прочитанном стихотворении «Дорога в Россию»:

«... читал Мицкевича. Много прекрасного, высоко художественного в этом плаче поэта. Боже мой, как хороша у него картина русской дороги зимой, бесконечная пустыня, белая, холодная. Море, не раскрывающее груди своей ветру, — ветру, который метет эту степь,

от полюса до Черного моря! Дороги, пересекающие ту степь, вызваны не торговлей, не народной нуждой, а проведены по приказу царя, и пр., и пр.»²⁵

Необозримое, скважное льдом и занесенное снегом пространство незнакомой, загадочной страны наводит героя-путешественника «Дороги в Россию» на тяжелые размышления о полудиком крае, где все застыло в руках всемогущего деспота, распространявшего свою власть на всю Европу. Композиционный принцип стихотворения — чередование картин природы, дорожных встреч с вызванными ими размышлениями путника.

Приведем подстрочный перевод начальных стихов нескольких строф из «Дороги в Россию»: «По снежному дикому краю Несется кибитка, как ветер в пустыне» (строки 1—2); «Глаз не встречает ни города, ни пригорка» (строка 9); «В белых пустынных полях шалееет ветер, Срывает снежные глыбы и швыряет их. Ничто не чернеет на снежном колышавшемся море. Оно вздымается, подытая с ложа ветром, и вновь тяжело оседает» (строки 42—46); «Кое-где снега чернеют. И торчат островками на снежной равнине Полночных жители — сосны и ели» (строки 55—57).²⁶

Наибольший интерес для нас представляет последняя часть стихотворения:

Но мчится кибитка — и все перед ней
Шарахнулось в сторону: пушки, лафеты,
Пехота и полк кирасир-усаечей,
Начальство свои повернуло кареты.
Кибитка несется. Жандарм кулаком
Дубасит вознипу. Возница кнутом
Стегает наотмашь солдат, свирепея.
Беги, или кони спибуто ротозея!
Кто едет в кибитке? — Не смеют

спросить
Жандармы сидят в ней, и путь их —
в столицу.
То царь приказал им кого-то схватить.
«Наверное, взят кто-нибудь за границей?»
Кто б мог это быть? — говорит генерал. —
Французский король то, саксонский иль
прусский?

Кого самодержец не милует русский,
Кого он в тюрьму заточить приказал?
А может быть, в жертву и свой
предназначен?

Быть может, Ермолов жандармами
схвачен?

Кто знает! Бесстрашен и горд его взгляд,
Хоть он на соломе сидит, как в темнице.
Из крупных, как видно! За ним

вершицей
Возки, точно свита в них едет, летят.
Но кто ж эти люди? Как держатся смело!
Сверкают их очи, отвагой горя.
Вельможи ль они? Камергеры царя?

²² Кацнельсон Д. Б. Русские и польские стихи в записях участников революционных выступлений начала 60-х годов. — В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1970, с. 233.

²³ Голос минувшего, 1917, № 5—6, с. 3—35.

²⁴ См. факсимильное воспроизведение этого автографа в издании: Мицкевич Адам. Собр. соч. в 5-ти т., т. III. М., 1952, вклейка между с. 256—257.

²⁵ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. II. М., 1954, с. 263.

²⁶ Подстрочный перевод с издания: Mickiewicz Adam. Dzieta, t. III. Warszawa, 1955, s. 267—268.

Нет, мальчики, дети! Так в чем же тут
дело?
Иль принцы они, и король, их отец,
Дерзнул покуситься на русский
венед?» —
Так, строя догадки, начальство дивилось;
Кибитка меж тем в Петербург
уносилась.²⁷

Между приведенным в отрывках стихотворением Мицкевича и рассмотренными выше польскими текстами, по-видимому, также существует преемственная связь. Несущаяся кибитка, жандарм и важный преступник-бунтовщик, сохраняющий высокомерное достоинство, «москаль», заинтересованные им, — такое совпадение в произведениях поэтов-современников, вероятно, не случайно.

Однако еще более очевидна преемственная связь некрасовского «Еще тройка» (всего текста) с «Дорогой в Россию» Мицкевича. В обоих произведениях повторяются или остаются очень близкими не только реалии, ситуации, но и сама форма, способ изложения, художественные приемы. И в «Дороге в Россию» и в «Еще тройке» повествование ведется автором-наблюдателем — грустно-ироничным у Мицкевича и насмешливо-злым у Некрасова. Оба произведения строятся из нескольких строф-эпизодов, которые начинаются дорожной «живой картиной», вызывающей размышления поэта. Пейзажные зарисовки в начале каждого эпизода, придающие обоим стихотворениям трагически-мрачный колорит, близки не только по форме, но и по своему содержанию. Бесконечное пространство, угрюмая, «нечеловеченная» природа, безлюдье, адская непогода и сама дорога, проложенная по воле жестокого, подозрительного деспота.

В сопровождении жандармов, спешно, как важных государственных преступников, по дороге везут мальчиков (у Некрасова — бледного юношу), привлекающих внимание встречных. Кто они? В чем вина этих «преступников»? Генерал у Мицкевича и наблюдатель у Некрасова строят различные догадки. В стихотворении русского поэта они пародийно снижены, но последнее предположение обоих авторов одинаково: это лица, покушавшиеся на самодержавную власть.

Все это указывает на преемственную связь «Еще тройки» Некрасова со стихотворением Мицкевича «Дорога в Россию», являющимся, таким образом, генетическим корнем целого ряда польских и русских революционных стихов и песен.

До настоящего времени в литературе встречались сообщения об интересе польских читателей 60-х—70-х годов к стихам Некрасова и о первых попыт-

ках перевода его произведений на польский язык.²⁸ Известно также, что Некрасов с большим интересом относился к поэзии А. Мицкевича (его портрет висел в кабинете Некрасова) и Ю. Словацкого.²⁹ Так как мать Некрасова выросла и получила образование в Западном крае, где в первую треть XIX столетия господствовал польский язык, она передала знание польского своему первенцу — будущему поэту. Судя по воспоминаниям Генриха Квятковского, неоднократно посещавшего Некрасова в 1877 году,³⁰ поэт хорошо знал польский язык, читал польские книги. Однако факты какой-либо преемственной связи стихотворений Некрасова с произведениями польских поэтов до сих пор не отмечались.

Характерно, что интерес Некрасова к тому или иному иностранному произведению или сочинению русского автора, в котором отразились европейские события, был всегда опосредованным. Произведение интересовало Некрасова в той мере, в какой оно отражало положение того или иного народа, его борьбу за свободу и соотносилось с российской действительностью. Именно такие произведения служили иногда толчком для обращения Некрасова к той же, но «русифицированной» теме. Так возникли стихотворения «Плач детей», «Страшный год» и «Смолки честные, доблестно павшие», так появилась, вероятно, и одна из лучших лирических миниатюр Некрасова «Душно! без счастья и воли».³¹

²⁸ См.: Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов. М., 1960, с. 334—335; Плотровская А. Г. Некрасов и Конопницкая. — В сб.: Польско-русские литературные связи. М., 1970, с. 312—332.

В последней указанной работе не обошлось, правда, без некоторого преувеличения интереса польских переводчиков к поэзии Некрасова. Так, скромная заметка в польском журнале («Słavia Orientalis», 1958, № 3—4) о найденной среди книг бывшей Варшавской педагогической школы пятой части «Стихотворений Н. Некрасова» (СПб., 1873) с дарственной надписью автора П. Вейнбергу послужила поводом для ошибочного утверждения, что четыре тома стихотворений Некрасова были изданы в Варшаве уже в 1869 году, а в 1873 году там же была напечатана и пятая часть «Стихотворений» (см.: Плотровская А. Г. Указ. соч., с. 313).

²⁹ См.: Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 316—317; Левин Ю. Д., Рабинович Г. Б. Некрасов и первый русский перевод «Мазепы» Ю. Словацкого. — Некрасовский сборник, III. М.—Л., 1960, с. 179—207.

³⁰ Край, 1883, № 49, 4 декабря, с. 19—20.

³¹ Ср. эту миниатюру с первыми строфами стихотворения А. Н. Майкова, написанного в связи с восстанием Гари-

²⁷ Мицкевич Адам. Собр. соч. в 5-ти т., т. III, с. 256—257 (перевод В. Левика).

Желание выступить против полицейской реакции 1860-х годов побудило русского поэта обратиться к поэзии польских повстанцев и к стихам Мипкевича, не утратившим свою актуальность более чем через тридцать лет после их создания. Весьма возможно, что Некрасов, как и Герцен, читал «Дядю» еще в 1840-х годах и появлению «Еще тройки» предшествовало маленькое стихотворение «Перед дождем», где мотив, взятый у Мипкевича, еще только намечен.

Горячо откликнулся поэт и на польское восстание 1863 года:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагрющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

(II, 97)

Эти стихи из «Рыцаря на час», напечатанного в № 1—2 «Современника» за 1863 год, напоминали читателям о льющейся польской крови и ясно определяли позицию поэта русской революционной демократии. Образ кровавого «умиротворителя» Польши М. Н. Муравьева не раз встречается в других произведениях Некрасова — «Из автобиографии генерал-лейтенанта Рудометова...», «Притча о Киселе», «Недавнее время» и др.³²

О польском восстании русская публика знала не только из сообщений в газетах и, позднее, рассказов русских очевидцев или участников событий. В Россию проникали также революционные стихи и песни польских повстанцев. Особенно широко известными они стали после поражения восстания, когда тысячи поляков шли в Сибирь через всю Россию по Владимирской дороге. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов писал об этом времени:

балды и опубликованного впервые в сборнике: Майков А. Н. Новые стихотворения (1858—1863). М., 1864, с. 113—114:

Душно! иль опять сирокко!
И опять залив кипит,
И дыхание Сахары
В бурных тучах вихорь мчит!

В лицах страх, недоуменье...
Средь безмолвных площадей
Люди ждут в томленьи страстном,
Грянул гром бы поскорей...

³² Подробно об этом см.: Кушаков А. В. О «польской теме» в русской демократической поэзии 60-х годов XIX века. — Учен. зап. Орловского гос. пед. ин-та, т. XV. Орел, 1959, с. 106 и далее; Фролова Т. Поэма Некрасова «Недавнее время». — Дагестанский гос. ун-т им. В. И. Ленина. Сб. научных сообщений (филология). Махачкала, 1964, с. 127—128.

... Куда

Ни едешь, попадают
Одни крестьяне пьяные,
Акцизные чиновники,
Поляки пересельные
Да глупые посредники...

(III, 232. Подчеркнуто мною, — Б. М.)

О необычайном интересе и симпатии революционной молодежи к «пленным» полякам рассказывает, вспоминая 1864 год, Н. Н. Златовратский, закончивший тогда гимназию во Владимире:

«Вначале чуть не каждый вечер мы, скрываясь от следивших за нами „субов“ и надзирателей, ухитрялись просиживать где-нибудь в кустах близости тюрьмы целые часы, вслушиваясь в неведомые нам мелодии, то невероятно грустные, то торжественно вздымающиеся, исполняемые юными, свежими голосами, далеко раздававшимися в вечернем воздухе. Было что-то торжественно-величавое в этом пении, и мы слушали его затаив дыхание, впиваясь в то же время глазами в юные бодрые лица, которые мелькали за железными решетками тюрьмы».³³

Можно не сомневаться, что Некрасов не только сам встречал на Владимирке польских ссыльных и слышал их песни, но был знаком и с повстанческой поэзией. Ведь в «Современнике» сотрудничали или были близки к его редакции и общались с Некрасовым такие деятели польского освободительного движения, как З. Сераковский, И. Огрызко, И. Петровский.³⁴ Интересна в этой связи справка III Отделения об одном из возможных информаторов Некрасова о польском революционном движении Л. Самарине, пытавшемся присоединиться в Литве к отряду повстанцев Ю. Бокшанского: «Самарин выказывал себя постоянно крайним либералом и после закрытия университета заметно стал сближаться с так называемыми передовыми людьми, которые, по всем признакам, употребляли его как орудие для пропаганды и, вероятно, также для распространения воззваний, о которых он имел всегда самые верные сведения, даже до их появления. Его, кажется, видели на похоронах Добролюбова, но на похоронах Панаева он был положительно, в полуплубке, вместе с братом сосланного Покровского. Первостепенные литераторы — сотрудники «Современника» обращались с ним очень ласково и на похоронах Панаева Некрасов подал ему руку».³⁵ Некрасов

³³ Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956, с. 180.

³⁴ См.: Дьяков В. А. Материалы к биографии Сигизмунда Сераковского. — В кн.: Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов, с. 84; Русско-польские революционные связи, т. 1. М., 1963, с. 168.

³⁵ Русско-польские революционные связи, т. II, с. 104.

мог, наконец, знать и упомянутую выше книгу Г. Эренберга «Отзвуки минувших лет», экземпляр которой и сейчас хранится в фонде Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

* * *

Разумеется, польские стихи и песни не могут считаться единственным источником стихотворения Некрасова «Еще тройка». Политическая ситуация в России помимо событий в Польше и последствий этих событий представляла богатый материал для подобных произведений.

Работая над стихотворениями «Благодарение господу богу...», «Рыцарь на час», «Еще тройка», поэт не мог не думать о товарищах, томящихся в Сибири. Несомненно, Некрасов был знаком и со стихотворением Огарева «Михайлову», впервые опубликованным в «Колоколе» в январе 1861 года и вошедшим (вторая его половина) в нелегальный сборник революционных песен, напечатанный в Берлине летом 1863 года. В сборнике стихотворение начиналось так:

Закован в железы с тяжелою цепью,
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль,
Идешь бесконечно, снежною степью,
Идешь в рудокопы на труд и печаль.
Иди без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и свят
страданья.³⁶

«Живая картина»,³⁷ изображенная в стихотворении «Еще тройка», — одна из характерных примет прошлого столетия. Подобные сцены хранила память многих современников Некрасова. П. В. Анненков, которому привелось прожить осень 1850 года в доме коменданта московского кремля, вспоминал впоследствии, как однажды «рано утром прискакало троек шесть или семь и остановились у подъезда ордовансгауза. В каждой тележке сидело по одному жандарму и по одному поляку. Помню одного молодого человека, с длинными волосами, озиравшегося кругом с выражением сильного любопытства, между тем, как жандарм его рысью побегал в канцелярию, вероятно, расписаться в прибытии. Тележки простояли минут десять около подъезда и тотчас ускакали далее».³⁸

³⁶ Свободные русские песни. Кронштадт, 1863, с. 24.

³⁷ Таков подзаголовок некрасовского стихотворения «Бунт», где дан остро сатирический портрет жандарма, «как вихорь», несущегося усмирять бунтовщиков.

³⁸ Анненков П. В. Две зимы в провинции и деревне. С января 1849 по август 1851 года. Из воспоминаний. — Былое, 1922, № 18, с. 17.

Одним из самых сильных впечатлений детства Ф. М. Достоевского, навсегда оставшимися для писателя моментальным снимком николаевской эпохи, была сцена, виденная им летом 1837 года у постоялого двора: «Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире... Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно „хлопнул“ там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке... Между тем, к почтовой станции подкатила новая перемешная легкая тройка и ямщик, молодой парень лет двадцати... вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбегал с ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь трихнулся вперед, поднял култ и изо всей силы охлестнул коленную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение... и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок».³⁹

Фельдъегерь — не жандарм, но оба они — в цитированных воспоминаниях и в стихотворении Некрасова «Еще тройка» — механически-равнодушные исполнители самодержавной воли.

Любопытна аналогия в портретных характеристиках жандарма в «Еще тройке» и фельдъегеря, проносящегося мимо экипажа Чичикова. Лирическое отступление «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...» сменяется картиной реальной действительности:

«— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу *фельдъегерь с усами в аршин*».⁴⁰ Ср. в некрасовском стихотворении:

.. В телеге той
Сидит с осанкою победной
Жандарм с усами в аршин.⁴¹

Совпадение в столь кратких характеристиках легко объяснить их стереотипностью. Но в указанной главе «Мертвых душ» есть эпизод, при сравнении которого со стихотворением Некрасова возникает предположение о некоей пресмысловой связи между этими произведениями. Речь идет о лирическом отступлении, известном под названием «Русь»

³⁹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худ. произв., т. 11. М.—Л., 1929, с. 169.

⁴⁰ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VI. [М.], 1951, с. 220, 221.

⁴¹ В обеих цитатах курсив мой, — Б. М.

тройка». Уже первыми строками стихотворения поэт как бы говорит: «Все как у Гоголя: „ямщик лихой, лихая тройка и колокольчик под дугой“», но хотя текстуальной близости в сравниваемых произведениях почти нет, не исключена возможность, что образ некрасовской «тройки», несущейся, обрывая подпруги, в Сибирь, явился своеобразным противопоставлением «тройке» Гоголя.

«Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? — патетически вопрошает автор «Мертвых душ». — Не дает ответа».⁴²

⁴² Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VI, с. 247.

Тот же вопрос в пародийно-сниженном стиле звучит и в некрасовском стихотворении: «Куда же тройка поспешает?». В отличие от Гоголя, Некрасов-сатирик дает ответ вполне определенный — он становится рефреном всего стихотворения: «Куда Макар телят гоняет!»

В сатирическом произведении Некрасова нет места мечтам из «прекрасного далека». Современную ему Россию олицетворяют не сама «тройка», а ее седоки — ссыльный юноша — надежда России, ее будущее, — несущийся в Сибирь в казенной телеге в объятиях пьяного жандарма.

В. П. Мещеряков

ДВЕ СУДЬБЫ

(В. В. БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ И М. Н. КАТКОВ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ)

Вторая половина 1850-х—начало 1860-х годов явились для России периодом обновления во всех областях общественной жизни. Помимо социальных преобразований эта эпоха дала и ощутимый толчок к развитию тех свойств личности, которые в другое время могли бы остаться под спудом. «Шестидесятые годы, — по определению Н. В. Шелгунова, — были не только первой попыткой общественной самодеятельности, но и первой пробой сил, — пробой характеров и изучения общественных типов».¹

На политическую авансцену выходят «новые люди». В своих действиях они руководствовались прежде всего общественным благом. Личное для них отступало на второй план. Так, Н. А. Серно-Соловьевич оборвал удачно начинавшуюся карьеру и стал за прилавок книжной лавки, ибо считал, что на поприще «купца-просветителя» сможет принести большую пользу людям. Под влиянием идей Чернышевского покинул университет и пошел в народ будущий выдающийся славист П. А. Ровинский. Можно вспомнить немало имел шестидесятников, променявших благополучное существование на нелегкую судьбу «заступника пародного».

Наряду с усилением демократического движения активизируется лагерь охранителей. После событий 1861—1863 годов даже умеренно-либеральные взгляды для тех, кто заботился о «преуспевании», оказываются крайне неудобными. В жела-

нии продемонстрировать лояльность по отношению к правительству, многие начали спешно отмежевываться от былых позиций и знакомств. «С беспримерною злобою, — отмечала даже пресса той поры, — мы сокрушали в минувшем году те самые кумиры, пред которыми преклонялись еще так недавно...»²

Революционная ситуация 1859—1861 годов способствовала и выявлению внутри демократического стана тех неустойчивых элементов, которые были привлечены в него недолгим общественным подъемом. В своей статье «Карьера» (1912) В. И. Ленин указывал на своего рода закономерность подобного преобразования интеллигентов, среди которых «девять десятых, если не девяносто девять сотых — играют... в ренегатство, начиная радикальными студентами, кончая „доходными местечками“ той или иной службы, той или иной аферы».³

Разумеется, процесс социальной трансформации «либералов» в «охранителей» имел место и в предыдущие эпохи. Но именно в шестидесятые годы он приобретает массовый характер. «Трудное время» обусловило четкую дифференциацию общественных сил. Ярким примером этого разделения являются судьбы М. Н. Каткова и В. В. Берви-Флеровского, сложившиеся под несомненным влиянием первой революционной ситуации в России. Начала жизненного пути у них довольно сходны. И Катков и Берви — дворяне, по дворяне, не обладающие ни связями, ни состоянием, как и разночинцы, они

¹ Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в двух томах, т. I. [М.], 1967, с. 183.

² СПб. ведомости, 1865, № 1.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 43.

падлены лишь умом и деловой энергией и стремятся к научной деятельности. Различны лишь цели, которые они преследуют, и их этические идеалы. Вот почему в тот момент, когда история предложила русскому человеку серьезное испытание «на прочность» социальных и нравственных убеждений, Катков и Берви выбирают диаметрально противоположные дороги. Именно полярность устремлений Каткова и Берви и послужила причиной столкновения их мнений впоследствии.

1

Сразу же после смерти Каткова (1818—1887) появилось немало его биографий, причем большая их часть была выдержана в весьма сочувственном, а то и панегирическом тоне. Только один из современников решился сказать, что громкая известность Каткова представляется ему «явлением совершенно загадочным». Им же высказана справедливая мысль о том, что «загадка Каткова» может быть решена только после изучения его биографии. «По отношению к Каткову более чем по отношению к какому бы то ни было публицисту, можно сказать, что очерк его деятельности должен совпадать с очерком его жизни».⁴ Верно понявший существо проблемы Р. И. Сементковский не смог, однако, правильно разрешить ее, так как не обладал ни необходимой суммой фактов, ни, самое главное, подлинно научной методологией.

В немногих работах советского периода, посвященных Каткову, политическая и эстетическая программы Каткова рассматриваются почти без учета его биографии.⁵ Внимательное изучение жизни Каткова, особенно ее первой половины, выявляет причины, которые обусловили его превращение в адепта охранительной журналистики.

В юности Катков испытал немало лишений, познал и нужду, и труд ради заработка. Рано оставшись без отца, он еще до окончания гимназического курса вынужден был давать уроки, чтобы содержать себя и из этих же средств помогать матери и брату. В 1834 году Катков поступил на словесное отделение Московского университета, который закончил с отличием. Студенты иногда собирались специально для того, чтобы

послушать, как отвечает на экзаменах будущий редактор «Русского вестника». На лекциях Н. И. Надеждина и М. Г. Павлова, пропагандировавших пемецкую философию, Катков познакомился с учениями Шеллинга и Гегеля. Серьезно интересовался он и литературой.

Рано выявившиеся склонности к философии и искусству привели Каткова в 1837 году в кружок Н. В. Станкевича. Эрудиция и незаурядные способности молодого студента вскоре делают его одним из видных членов дружества, в которое входили Белинский, Бакунин, Боткин. Именно Белинский и привлек Каткова к сотрудничеству в «Отечественных записках», возлагая на него большие надежды. Мнение Белинского вскоре стали разделять и другие. Например, А. А. Краевский даже предлагал Каткову стать ведущим критиком в его журнале, хотя тот ничего, кроме нескольких рецензий в «Отечественных записках», еще не напечатал.

Особенно увлекся Катковым Белинский. Через два года знакомства их считали «неразрывными друзьями».⁶ Тремя годами позднее он видел в повом друге «натуру глубокую, но пока еще дикую и кипучую».⁷

Какие же основания были у Белинского для столь лестной характеристики? Что объединяет известного литератора и недавнего студента?

Прежде всего, это, конечно, общее увлечение Гегелем и активное сотрудничество в журнале Краевского, для которого Катков писал рецензии, делал переводы из Гейне, Рюккерта, Шекспира. Белинский даже находил возможным утверждать, что «„Отечественные записки“ издаются трудами *трех* только человек» — Краевского, Каткова и его самого.⁸

Наиболее фундаментальная из катковских статей в «Отечественных записках» — это рецензия на изданные в 1839 году И. П. Сахаровым «Песни русского народа». Статья получила высокую оценку Белинского: «Во всем, что ни пишет он, видно такое присутствие мысли...»⁹ Однако содержание этих мыслей несозвучно Белинскому.

Катков не замечает в народной массе каких-либо творческих возможностей. Единственная заслуга народа (да и то в далеком прошлом) сводится, в его интерпретации, к тому, что тот создал «необъятную монархию», причем она жизненно необходима самому народу.

В Катков правильно отметил, что Катков в этой статье скрыто полемизирует «с идеологами и апологетами николаевской политики обособления России от

⁴ Сементковский Р. И. М. Н. Катков. СПб., 1892, с. 5—6.

⁵ См.: Маслов В. С. «Русский вестник» и «Московские ведомости». — В кн.: Очерки по истории русской журналистики и критики, т. 2. Л., 1965; Китаев В. А. От фронды к охранительству. Из истории русской либеральной мысли 50—60-х гг. XIX в. М., 1972; Кантор В. М. Н. Катков и крушение эстетики либерализма. — Вопросы литературы, 1973, № 5.

⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., 1956, с. 403.

⁷ Там же, с. 436.

⁸ Там же, с. 557.

⁹ Там же, с. 405.

Западной Европы»,¹⁰ но почему-то не счел нужным указать, что в главном Катков не только не оспаривал программу официальной народности, но прямо пропагандировал ее. «Если нам дорога слава нашей России, — писал он, — то мы без замедления, чистосердечно и искренне, должны избрать своим лозунгом те три великие слова: православие, самодержавие и народность, которые изрекло правительство во благо нам и во благо народа и которые должны быть запечатлены в сердце каждого истинно русского». ¹¹ Говоря о монархии, Катков поднимается до поэтического пафоса: «... солнце озарило дивное зрелище, озарило дивную монархию, какой еще не видало человечество». В словах о «государстве, предназначенном свыше управлять кормою человечества»¹² нетрудно усмотреть зародыш будущих папрусифильских устремлений Каткова.

По всей вероятности, подобные мысли Катков высказывал еще раньше, ибо уже в 1837 году Белинский заметил в одном из писем: «Славный малый — он далеко пойдет, потому что уже и теперь у него убеждение в мире с жизнью». ¹³ Бескомпромиссность Белинского и его неумение кривить душой хорошо известны. Однако по каким-то причинам он ничего не возразил человеку, которого считал своим другом. Лишь через два года, да и то косвенным образом ответил Белинский на эту статью, о чем будет сказано позже.

Дружеское общение Каткова и Белинского на некоторое время прерывается. В 1840 году Катков уезжает за границу. В Германии Катков задержался дольше всего, чтобы прослушать курс лекций Шеллинга. Это было как раз в то время, когда философ разрабатывал основы своей «позитивной философии». В поисках истины Шеллинг обращался не к разуму, а к особому «опыту», который, по его представлениям, был недоступен рациональному познанию. Шеллинг проповедовал своеобразный идеалистический рационализм, отождествляя бытие с интеллектуальной интуицией. Философия Гегеля, как базирующаяся на началах разума, для Шеллинга являлась неприемлемой.

Катков многое усвоил из учения Шеллинга, тем более, что мистицизм немецкого философа, причудливо уживавшийся в катковском сознании с рационалистическими моментами, как нельзя более отвечал его душевному складу. «Мистика была всегда существенным качеством натуры Каткова. Но мистика эта не была туманною и гадательною, создающею

свои верования, свою личную религию. Это была мистика замечательно трезвая. Она позволила уму философа принять положительные верования церкви в той же силе и в том же смысле, как принимает их простой и неученый искренний христианин», — свидетельствовал биограф Каткова.¹⁴ Характеристика довольно точная. Хотя в ней и не упоминается имени Шеллинга, но сущность катковского мистицизма, основывавшегося на шеллингианстве с поправкой на «положительные верования церкви», очерчена верно.

Правда, увлекшись Шеллингом, Катков еще не полностью отказался от гегельянства. Однако катковский Гегель — это Гегель консервативный, принимающий все существующее как должное.

Для участников кружка Станкевича Гегель и его учение были исходным пунктом философской программы. Белинский, уже переживший период «примирения с действительностью», всей своей деятельностью страстно отрицал деспотизм и насилие, утверждал в качестве положительного идеала народную силу и разум. Для Каткова же народ был всего лишь инертной массой.

Мнения Белинского и Каткова должны были столкнуться. Так и случилось. В статье «Древние российские стихотворения» (1841) Белинский скрыто полемизировал со статьей Каткова «Песни русского народа». На первое место в народном песенном творчестве Белинский ставил разбойничьи песни, считая их выражением скрытого протеста против произвола господ. Катков же опасался, «чтоб они не увлекли нас далеко». ¹⁵ Не был Белинский согласен и с тем, что фольклор ничем не связан с письменной литературой. В устном народном творчестве великий критик видел необходимую ступень подготовки появления литературы.

Вполне возможно, что это выступление Белинского положило начало охлаждению Каткова к «неистовому Виссарйону» и его единомышленникам. Расхождение по эстетическим и историческим проблемам усугубилось и различными взглядами на современность. В 1843 году Катков сообщал в письме к В. А. Елагину о своих разногласиях с «партией „Отечественных записок“»: «Во многих местах смотрели на меня как на зверя, как на апостата, на изменника, покинувшего святое звание, на коем изображено $Kein + +Nichts = Werden$, иные вскользь изъявили сожалительное презрение, что я не снимаю шляпы, произнося божественные имена Бруно Бауэра и Фейербаха, другие, что не становлюсь на колени, когда

¹⁰ Кантор В. Указ. соч., с. 186.

¹¹ Отечественные записки, 1839, т. IV, отд. VI, с. 88.

¹² Там же, с. 30.

¹³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 189.

¹⁴ Любимов Н. А. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889, с. 34.

¹⁵ Отечественные записки, 1839, т. IV, отд. VI, с. 83.

грянет слово Гоголь. В Петербурге меня чуть не съели за то, что я не вижу всего спасения человечества в романах Жоржа Занда и в статьях Леру...»¹⁶

Прежние друзья стали Каткову совершенно безразличны. «... От многих бывших милых приятелей моих отшатнулся, или те от меня отшатнулись — право, не знаю», — писал он тому же Елагину.¹⁷ По всей видимости, Катков старался завоевать репутацию «благомыслящего» и поэтому уклонялся от всяких разговоров: «... я не пускаюсь ни в какие словопрения, редко произношу свои мнения и никогда не сопровождаю их доводами и объяснениями, не спорю...»¹⁸ Умственные интересы Белинского и его окружения теперь кажутся Каткову «детством», «игрою в жизнь», «наивным обезьянством» европейского образа жизни.¹⁹ В это время «в нем уже не было и тени прежнего студента-бурша, напротив, он имел вид величаво-глубокомысленный», — вспоминала Панаева.²⁰

Весьма любопытно, что Белинский еще до разрыва с Катковым, в 1841 году, определил его истинную цену, хотя до окончательного формирования позиции будущего редактора «Русского вестника» было очень далеко. Катков, писал Белинский В. П. Боткину, «носит в себе страшного врага — самолюбие, которое при его кровавом, животном организме черт знает до чего может довести его».²¹ Белинский прямо-таки предсказывает дальнейшую судьбу Каткова, подчеркивая, что тот обладает большой амбицией, но стремится плыть по течению. «Самолюбие ставит его в такое положение, что от случая будет зависеть его спасение или гибель, смотря куда он поворотит, пока еще время поворачивать себя в ту или другую сторону».²² Вскоре для Белинского становится совершенно ясно, что Катков «поворачивает» не в ту сторону, в какую устремлялся он сам. Это дало ему основания характеризовать бывшего друга как «Хлестакова в немецком вкусе», который «не изменился, а только стал самим собою».²³ Проницательность Белинского следует оценить особо высоко, ибо для остальных Катков пока оставался все тем же, а для властей поддерживающих он и в 1859 году являлся «подозрительным лицом», за которым велось секретное наблюдение.²⁴

Как только Катков перестает общаться с Белинским и его окружением, он пытается установить новые знакомства и связи, причем в основном с людьми, далекими от искусства и философии.

Но и эти контакты у него случайны и эпизодичны. Каткова теперь больше интересуют не искусство и философия, а чисто житейские проблемы. Он не имел никаких средств к существованию, кроме получаемых изредка заказов на переводы и рецензии, а приходилось не только жить самому, а еще и содержать мать и брата. Оставался один выход — служба.

Однако карьера чиновника не особенно привлекала Каткова. Он полпал, что для достижения цели необходимы родственные связи, покровители. Поэтому он старается заручиться поддержкой «сверху». Каткову начинает покровительствовать знавший его еще со времени университета попечитель Московского учебного округа граф С. С. Строганов. Протектировали талантливому молодому человеку и князь П. А. Вяземский, и ровесник Каткова граф Н. А. Милютин, в это время как раз начинавший входить в силу. Полагаясь на их влияние, Катков мечтал попасть на «порядочное место». «Maximum моей амбиции, — делился он в одном из писем своими надеждами и соображениями на будущее, — попасть к какому-нибудь тузу или тузику в особые поручения...»²⁵ и подчеркивал, что он бесповоротно простился с юнопескными «бреднями», перестал быть «сорванцом».²⁶

1843 год в биографии Каткова — знаменательный год. Еще далеко то время, когда он станет верным «псом самодержавия». Но и прежнего Каткова, способного увлекаться Гегелем, стремящегося даже в бюрократическом Петербурге воссоздать для себя гофмановскую атмосферу, больше нет.²⁷ Правда, нет еще и нового Каткова. Он, так сказать, переживает «мертвый сезон», находится на распутье. Ясно только одно, что к прошлому возврата нет.

Катков совершенно оставил литературно-критическое поприще, на котором он с таким успехом дебютировал. «Но доказывает ли это, что Катков никогда серьезно не любил литературы, что она служила ему только средством для достижения других, посторонних целей?» — за-

¹⁶ Цит. по: Кулешов В. И. «Отчетственные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., 1958, с. 29.

¹⁷ ГБЛ, ф. 99, карт. 6, ед. хр. 90, л. 1.

¹⁸ Там же, лл. 1 об.—2.

¹⁹ Там же, л. 2 об.

²⁰ Панаева А. Я. Воспоминания. [М.], 1948, с. 94—95.

²¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XII, с. 12.

²² Там же.

²³ Там же, с. 131.

²⁴ См.: Русский архив, 1885, кв. II, вып. 7, с. 449.

²⁵ Неведенский С. Катков и его время. СПб., 1888, с. 91.

²⁶ Там же, с. 94.

²⁷ По свидетельству И. И. Панаева, Катков (речь идет о 1840 году) был «очень молод, и его молодость проявлялась в нем страшными фантазиями. Раз как-то захотелось ему идти непременно в погребок и провести там вечер, как это делывал в Берлине знаменитый Гофман, которым все мы сильно увлекались в то время» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. [Л.], 1950, с. 233).

давался вопросом его биограф.²⁸ Но это, конечно, упрощенное представление.

Скорее всего, дело обстояло несколько иначе. Набравшись житейского опыта, Катков осознал, что обеспечить себе более или менее сносное материальное существование литературными трудами в России, где все служили, очень мало шансов. Его не удовлетворял тот чрезвычайно скромный образ жизни, который вел Белинский, да и вечно быть «под подозрением» властей не хотелось. Оставался лишь один путь, следуя которым можно было не отсиживать ежедневно часы в департаменте, — занятия наукой. Хотя ученый николаевских времен фактически был приравнен к чиновнику, он все же обладал несколько большей самостоятельностью и досугом. Этот путь и избрал Катков, стремившийся прежде всего к материальному благополучию.

В результате усиленных двухлетних занятий он защитил диссертацию на тему «Об элементах и формах славяно-русского языка». Работа эта явно выполнялась лишь как необходимая формальность для получения ученой степени, ибо и написана она была на тему, далекую от интересов автора, и выполнена ниже его возможностей. Рецензент «Москвитянина» так охарактеризовал катковскую диссертацию: «Тяжело произносить строгие приговоры труду добросовестному и благородному, но судить с недолжным снисхождением значило бы унижать автора. Способ им принятый ложен, начал нет, и вместо начала гипотеза ни на чем не основанная... К этому присоединилась несчастная мысль... вера в авторитеты, вера в немец... которые... всегда представляют вам большую примесь близорукого педантизма».²⁹

За все время пребывания в Московском университете Катков не папечатал в журналах ни единой строчки. Он не желал снова становиться участником журнальных битв, так как не хотел компромитировать себя, предпочитая покой забвения известности, сопряженной с волнениями и неприятностями. Только по «казенной необходимости» выпустил он в свет всего один научный труд «Очерки древнейшего периода греческой философии» (1853), прошедший в науке безмеченым.

Надо признать, что для такой осторожности у Каткова были основания. «Недреманное око» официальных и неофициальных цензоров тщилось во всем усмотреть крамолу. В 1850 году Каткову пришлось отводить от себя весьма серьезные обвинения в том, что составленные им программы по психологии, логике и истории «не выдержаны в духе христианского учения» и изобилуют ссылками на европейские ученых, чья деятельность не может быть одобрена верными слуга-

ми престола. Дабы опровергнуть мнение рецензента, профессора Фишера, Каткову пришлось доказывать, что немецкие философы Герbart и Бенеке, на труды которых он часто ссылаясь, принадлежат «в Германии к числу мыслителей с самым консервативным направлением во всех отношениях», и закончить свои объяснения панегириком русской церкви, занимающим почти две страницы.³⁰

Сам Катков впоследствии охарактеризовал научный период своей жизни в письме к Александру II (1866) в следующих выражениях: «Годы моей молодости протекли почти в отшельническом уединении. Весь преданный занятиям умозрительного свойства, я не принимал участия... ни в каких практических интересах и был чужд всему окружавшему».³¹ Здесь почти все правда, за исключением, разве, того обстоятельства, что «занятиям умозрительного свойства» предавался он не особенно усердно.

Едва ли есть основания утверждать, как это делает В. Кантор, что Катков «ждет своего часа».³² Мог ли он, уже привыкший к стабильному положению, провидеть, что готовит ему будущее? «Взлет» Каткова, его «звездный час» не осуществились бы, если бы радикально не изменилась общественно-политическая обстановка в России.

Белинский безусловно был прав, считая, что позиция Каткова зависит от случая. В годы николаевского царствования заведование редакцией «Московских ведомостей» он рассматривал как ту же службу. Недаром в первые годы редакторства Каткова газета сохраняла свое лицо неизменным.

Надо полагать, что и карьеристом Катков не был. Чуть больше года протерзался он на должности секретаря историко-филологического факультета Московского университета (июнь 1846—сентябрь 1847), хотя на этом посту он получал ряд преимуществ по сравнению с остальными преподавателями.³³

Однако судьба не идет навстречу его желанию «отсидеться в углу». В 1850 году Каткову приходится оставить университет, так как по новому положению кафедра, занимаемая Катковым, должна была быть предоставленной профессору безгословия.

Катков вновь остается на распутье. И снова случай определяет его дальнейший жизненный путь. В 1851 году он женится на дочери князя П. П. Шаликова и тут же получает заведование редакцией «Московских ведомостей». Еще через три года (начали действовать родственные связи) Катков «пазначен чиновником особых поручений VI класса при министре народного просвещения»

³⁰ ГБЛ, ф. 120, карт. 55, ед. хр. 28, л. 9, 11, 11 об.

³¹ Былое, 1917, № 4, с. 4.

³² Кантор В. Указ. соч., с. 189.

³³ См.: ЦГАЛИ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 1.

²⁸ Сементковский Р. И. Указ. соч., с. 19.

²⁹ Москвитянин, 1845, № 5-6, с. 239.

А. С. Норове.³⁴ Все эти годы Катков ведет «келейный» образ жизни, не стремясь к известности.

Только после смерти Николая I, когда вся страна начала жить надеждами на социальные перемены, когда «над Россией носился хаос желаний, стремлений, порывов»,³⁵ Катков решает выйти на общественную арену.

Его действия идеальнейшим образом соответствуют этике поведения буржуа, которые начали чувствовать себя в состоянии вершить крупные дела, но нуждались в определенных гарантиях своей безопасности. «Гласность», разрешенная Александром II, свидетельствовала, что царизм намеревается расширить права «благонадежных граждан», даровать им хотя бы видимость свобод.

Катков раньше других почувствовал, что в новых условиях демонстрация «умеренного» либерализма отвечает духу времени, что «наверху» пойдут ему навстречу, так как правительству нуждается в людях, которые сочетают в себе «умеренность и аккуратность» и инициативу «в рамках дозволенного». В докладной записке, поданной Катковым министру народного просвещения Норову 29 мая 1855 года (в ней содержалась просьба о разрешении издавать журнал), очень точно уловлено настроение высшей администрации, понимавшей, что в преддверии грядущих перемен необходимо несколько ослабить давление на общество, найти замену «разрушительным» идеям, поманить Россию хотя бы видимость общепольного дела. Именно об этом и говорилось в докладной записке Каткова: «Одних запретительных мер недостаточно для ограждения умов от несвойственных влияний; необходимо возбудить в умах положительную силу, которая бы противодействовала всему ей несродному. К сожалению, мы в этом отношении вооружены недостаточно».³⁶ В качестве «противодействующей силы» и предлагал Катков свой журнал.

Расчет оказался точным. В минимальные сроки вопрос об издании нового журнала был решен положительно.

Вначале Катков проводил умеренно либеральную программу. На первых порах «Русский вестник» не выходит за рамки защиты теории «чистого искусства», «чувства личной независимости, личного достоинства и самоуважения», выступает за «свободу печати и высказываний во всех областях общественной жизни».³⁷

Никаких новых истиц Катков не открывал. В защиту «чистого искусства» он выступал и прежде. Так, еще в 1839 году, в рецензии на перевод

«Илиады», выполненный Гнедичем, он утверждал: «...основа искусства, сущность его, это — не идеи, выражаемые им, а способ выражения идей через образы, в которых идея является не отвлеченною, а огелесившеюся, органически родившеюся в плоти и крови вечной и живой красоты. Чтобы понимать искусство, а следовательно и вполне наслаждаться им, должно сперва вполне понять и оценить в искусстве значение и достоинство изящной формы, отдать ей преимущество перед идеею...»³⁸ Да и остальные мысли, развивавшиеся на страницах «Русского вестника», отнюдь не блистали оригинальностью, являясь в основном интерпретацией тех «общих мест», что витали в воздухе. Недаром в 1862 году, когда Катков уже окончательно проявил себя в «повом качестве», «Искра» подчеркивала, что его превращение в общем-то не было совершенной неожиданностью. «По-видимому, между прежним мнением... „Русского вестника“ и нынешним о свободе слова целая бездна. Но это только по-видимому, на самом деле ничего подобного нет».³⁹

Но и такая программа декларировалась достаточно сдержанно. Катков не собирался помещать в своем журнале статьи, которые могли бы вызвать неодобрение цензуры. В начале 1858 года сотрудничавший в «Русском вестнике» Б. И. Утин предложил Каткову пространную рецензию на книгу Гайма о Гегеле. Памятуня, что пропаганда гегельянства не так давно была сопряжена с обвинениями в крамоле, Катков отклоняет рецензию. 22 мая 1858 года он пишет Утину: «Что же касается до статьи вашей о книге Гайма, то я должен признаться вам, что она несколько затрудняет меня. Речь в ней идет о предмете слишком обширном, слишком запутанном, а главное, слишком чуждом нашей публике (Катков совершенно «не помнит», что Гегелем русская публика и он сам серьезно интересовались почти за два десятилетия до этого времени, — В. М.). К вопросам философским она еще не подготовлена; „Русский вестник“ не имеет еще возможности с своей стороны начать это подготвление, а потому статья об особенностях развития Гегеля и его системы, неожиданно появившись на страницах журнала, непременно отпугнет публику и возбудит в ней довольно резонное недоумение, зачем предлагают ей трактат о некоторых тонкостях и оттенках предмета совершенно ей чуждого и не имеющего для нее никакого интереса».⁴⁰

Все же на начальном этапе борьбы революционных демократов с идеологией самодержавия, когда всякий голос в защиту прав личности способствовал рас-

³⁴ Там же.

³⁵ Шелгунов Н. В., Шелгунов А. Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания, т. I, с. 95.

³⁶ Любимов Н. А. Указ. соч., с. 48.

³⁷ Кантор В. Указ. соч., с. 195.

³⁸ Отечественные записки, 1839, т. VI, отд. VII, с. 147.

³⁹ Искра, 1862, № 49, с. 678.

⁴⁰ ЦГАЛИ, ф. 262, оп. 3, ед. хр. 5, лл. 1 об.—2.

ширению фронта демократического движения, когда политическая ориентация Каткова была довольно неопределенной, Чернышевский еще допускал: «а мы можем действовать заодно».⁴¹

После событий 1861—1863 годов уже нельзя было сохранять политическую индифферентность. Даже консервативная либеральность в этих условиях могла быть расцененной «сверху» как революционная. Один из столпов либерализма Б. Н. Чичерин недвусмысленно заявлял: «Теперь истинный либерализм измеряется не оппозицией, не прославлением свободы, не передовым направлением, а преданностью „Положению“ 19 февраля... Этого же должно держаться и разумное охранительное мнение. Консерватизм и либерализм здесь одно и то же».⁴²

Эту доктрину давно уже исповедовал и Катков, правда, на первых порах не столь откровенно. Но, как только политическая обстановка внутри страны поставила его перед дилеммой выбора между радикализмом и обскурантизмом, он решительно принимает сторону последнего. Чтобы не оказаться в числе опоздавших, Катков предпринимает решительную акцию — печатно обвиняет Чернышевского и его сторонников в намерении осуществить «всякого рода насильственные действия»,⁴³ что в условиях усиления реакции было равносильно доносу в III отделение. С этих пор журнал Каткова становится прибежищем всех антигиблистически настроенных писателей, а сам Катков «верным псом самодержавия».⁴⁴ Публицистика «Русского вестника» от начала до конца была выдержана в черносотенно-шовинистических тонах, а художественный отдел представлен, по определению В. И. Ленина, произведениями «с описанием благородных предводителей дворянства, благодушных и довольных мужичков, недовольных извергов, негодяев и чудовищ-революционеров».⁴⁵

Через два десятилетия, оценивая собственную деятельность на политическом поприще в шестидесятые годы, Катков в письме к Александру II скажет: когда «готовилось и совершалось падение крепостного права, открывалась эпоха реформ, разнуждался дух отрицания. Бог помог мне несколькими ударами сокрушить революционный призрак, носившийся тогда над Россией».⁴⁶ Даже если не принимать во внимание явно рекламный тон данного письма, то все же не приходится спорить с его автором о том, что он не точно указал цель своей

борьбы, умолчав, правда, о средствах, которыми он пользовался.

Однако нет оснований считать, что Катков вдруг предал идеалы юности, погнавшись за успехом. Вышеприведенные факты доказывают, что Катков все время эволюционировал «вправо», что его юношеский либерализм был кратковременен, что Катков и не помышлял об изменении существующего порядка вещей. Превращение Каткова в оголтелого черносотенца, наставника реакции — лишь следствие благоприятных для него политических условий, которые обеспечили расцвет именно этой стороны его идеологии.

Общественно-политическая трансформация Каткова была не постепенной, а, так сказать, «прерывистой». Но ничего загадочного или сложного в ней не было. Перед нами обыкновенная биография «бурша», в юности поддавшегося влиянию «фроды», но вскоре остепенившегося и развивающегося далее как типичный буржуа.

2

Биография В. В. Берви-Флеровского (1829—1918) складывается до определенного времени из ряда эпизодов, имеющих известное сходство с моментами жизни Каткова. Однако каждый раз реакция на почти одни и те же ситуации у них совершенно различна.

С самых юных лет главным качеством Берви являлось стремление к справедливости и уважению всякой индивидуальности. Уже в детстве он не выносил никакого насилия над собой. В ответ на намерение мачехи наказать его розгами мальчик дважды предпринял попытку самоубийства, и отец, сам обладавший довольно деспотическим нравом, запретил даже угрожать сыну, убедившись, что его можно сломать, но не согнуть.

Среда, окружавшая Берви в детстве, отнюдь не способствовала его нравственному и умственному развитию. Казанская гимназия, в которой он учился, представляла собой образец казенного заведения, где на первом месте стояла дисциплина, а учеба сводилась к зубрежке. В автобиографической повести «Забытая история» Берви писал, что он и остальные гимназисты «не имели никакого понятия о том, что существуют на белом свете политические движения и идеи, зажигающие воображение и ум народов».⁴⁷

Среди учителей гимназии не было никого, кто мог бы руководить развитием одаренного мальчика. Поэтому книги становятся его единственными друзьями и советчиками. Отец, настроенный весьма консервативно, дабы оградить незрелый ум сына от «заразы вольнодумства», спрятал все книги, которые могли бы

⁴¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1950, с. 712.

⁴² Наше время, 1862, № 40.

⁴³ Русский вестник, 1861, т. XXXIV, отд. 2, с. 79.

⁴⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 250.

⁴⁵ Там же, т. 22, с. 87.

⁴⁶ Былое, 1917, № 4, с. 21.

⁴⁷ Русская речь, 1880, № 8, с. 272.

посеять в нем мысли о возможности существования иного политического строя, кроме существовавшего в России. Но как всегда именно запретный плод оказался особенно привлекателен. Сильнее любого романа захватила Берви история французской революции. Под влиянием прочитанного мальчик неоднократно рисовал в своем воображении картину: «все человечество собралось тут, с своими знаменами, и заключало между собою вечный союз: „свободы, равенства и братства“». ⁴⁸

Физическая слабость подростка, его склонность к уединению и размышлениям не способствовали дружбе с одноклассниками. Больше того, гимназисты нередко издевались над непонятым для них поведением Берви. Он замкнулся в себе, но не ожесточился. «Чужие страдания тянуло» его «к себе неодолимою силою», при виде их в нем «раздавался крик отчаянья». ⁴⁹ Эти слова Галатова, героя одноименной повести Берви, в котором легко обнаружить черты характера автора, в полной мере применимы к нему самому.

Берви никогда не мог пройти равнодушно мимо чужого горя. В студенческую пору он предотвратил гибель крепостной девушки, которую вопреки ее желанию хотели обвенчать с пожилым вдовцом. Несмотря на трехкратный отказ молодой в церкви, священник намеревался закончить обряд. «...Тут строго вступается молодой человек, говоря: „Какое же вы имеете право, вы, священнослужитель, проявлять насилие?“ Тогда священник уходит в алтарь и снимает ризу». ⁵⁰

После того, как Берви блестяще окончил в 1849 году юридический факультет Казанского университета, перед ним открывались прекрасные перспективы. Диплом с отличием давал ему право начинать службу в министерстве юстиции.

Учитель Берви, профессор Мейер, хорошо знавший своего студента, напутствуя его перед вступлением в жизнь, выразил уверенность, что юноша не погрязнет в бюрократической рутине и употребит свои способности и знания на пользу обществу.

Действительно, Берви начинает службу в министерстве юстиции, твердо решив сохранить «правственную чистоту» и «не руководствоваться при этом никакими соображениями, кроме стремления к истине». ⁵¹

Отстаивать свои идеалы молодому чиновнику пришлось на первых порах в самых прозаических условиях. «В качестве

младшего помощника при столоначальнике он несколько лет подряд был осужден вписывать исходящие и входящие, переносить капризы и самодурство мелкого начальства...» ⁵² Но все это не задевало Берви. Он был даже склонен оправдывать своих мелких притеснителей, говоря, что они не в состоянии подпрыгнуть над обыденщиной и, пройдя в молодости через такую же «школу», просто не могут представить иных отношений между начальником и подчиненными.

Естественно, что Берви не сумел сойтись близко ни с кем из сослуживцев, занятых только карьерой и игрой в карты, и очень скоро стал «белой воропой».

Лишь исключительные способности и деловое усердие молодого чиновника делали его необходимым в министерстве. Берви усиленно эксплуатировали, но держали на вторых ролях. Все же утверждение, что директор департамента министерства «в течение шести лет не повышал его в чине», не соответствует действительности. ⁵³ Из личного дела В. В. Берви явствует, что он, согласно таблицы о рангах, каждые три года исправно повышался в чине, к 1860 году достигнув чина надворного советника, ⁵⁴ а в 1856 году был награжден «бронзовой медалью в память войны 1853, 1854, 1855 и 1856 годов». ⁵⁵ В 1859 году «министр юстиции изволил назначить» Берви чиновником особых поручений при департаменте министерства юстиции «с возложением на него обязанности заниматься библиотекою». ⁵⁶ При этом он «разрешил ему одному вход в свою отдельную библиотеку, где хранились все запрещенные издания, которые он, как министр, получал свободно». ⁵⁷ Трудно не увидеть здесь своего рода иронию истории. Некто иной, как граф Панин, призванный охранять устои империи, приобщил будущего революционного деятеля к «крамоле».

Тот же Панин, удивившись в знаниях и уме молодого чиновника, доверил ему и разработку проекта судебных преобразований в России, стоявшей накануне отмены крепостного права. Если бы Берви сумел угодить своему патрону, его несомненно ожидала бы быстрая карьера. Но как раз о карьере Берви думал меньше всего. Он надеялся, что его проект будет способствовать созданию суда, ограждавшего простой люд от произвола властей. Стоит ли удивляться, что ярый крепостник Панин, сухо воздав должное способностям Берви, нашел проект чрезмерно «радикальным» и положил его под сукно.

⁴⁸ Там же, с. 316.

⁴⁹ Русская речь, 1879, № 1, с. 16.

⁵⁰ Берви Е. И. Из моих воспоминаний. — Голос минувшего, 1915, № 5, с. 131.

⁵¹ Берви В. В. (Флеровский Н.). Три политических системы: Николай I, Александр II и Александр III. [Лондон], 1897, с. 35.

⁵² Берви Е. И. Из моих воспоминаний, с. 128.

⁵³ Плакида М. Бесстрашный труженик. Сталино, 1960, с. 22.

⁵⁴ См.: ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 47, ед. хр. 7439.

⁵⁵ Там же, л. 37.

⁵⁶ Там же, л. 45—45 об.

⁵⁷ Плакида М. Указ. соч., с. 23.

Некоторые свои мысли о доступном и справедливом суде для народа Берви частично изложил в статье «Очерки судебного управления в Англии» (Журнал министерства юстиции, 1859, т. I). «Статья Василия Васильевича об английском судопроизводстве, — вспоминала Е. И. Берви, — обратила на себя внимание юристов и словно подняла его фонды».⁵⁸

Этот труд Берви невольно заставляет вспомнить диссертацию Каткова. Для последнего наука была лишь средством обеспечить себе положение в обществе. Научные интересы Берви неотделимы от жгучих социальных проблем современности и интересов народа.

К 1861 году относится первое публичное выступление Берви. Об этом эпизоде, почему-то оставленном исследователями без внимания, он сам счел нужным упомянуть в краткой автобиографии. «Во время первой студенческой истории Чичерин, ради ее подавления в Москве, произнес громовую речь студентам о вреде отрицательных движений и об отрицательном значении великой французской революции. На это я ответил фельетоном в Петербургских ведомостях Корша. Этот фельетон создал мне известность в Петербурге и в других городах».⁵⁹

Небольшая газетная статья, написанная Берви, как нельзя лучше выражает и его общественную позицию, и политический темперамент. Поводом для выступления Берви послужила «Вступительная лекция по государственному праву, прочитанная Б. Н. Чичериным в Московском университете 28 октября 1861 года» и тремя днями позднее перепечатанная «Московскими ведомостями». Чичерин только что получил кафедру и спешил обнародовать свое отношение к политическому моменту. Мимолетом изложив студентам сущность своей «государственной» теории исторического процесса, Чичерин обрушивается на лагерь революционной демократии. В этом стане он не находит ничего, кроме «буйного разгула мысли», «умственного и литературного казачества», «дешевого либерализма», пренебрегающего трудом и наукой и питающегося «журнальными крохами». Призывая молодое поколение посвятить все свои силы учебе, оставив на будущее участие в общественной борьбе, Чичерин не остановился и перед тем, чтобы обвинить «подстрекателей» в антипатриотизме. «... У нас, — говорил он, — тот только может сознательно кидать камень в государство, в ком исчезло пламя любви к отечеству».⁶⁰

Выступление Чичерина искренне возмутило В. В. Берви. Со всем пылом молодости атаковал он московского профессора, в очень резком тоне пронизируя над демагогическими приемами Чиче-

рина: «Тут говорится и о господствующем будто бы у нас буйном разгуле мысли... (где и в чем?..), о нашем умственном и литературном казачестве, о том, что мы склонны толковать обо всем вкривь и вкось (как мы жалки в сравнении с г. Чичериным!), о вредном влиянии чтения газетных статей и шумных речей...»⁶¹

В немногих словах Берви сумел и дать достойную отповедь призывам к «осторожности» и одновременно продемонстрировал, что Чичерин не слишком глубоко знаком с научной литературой предмета, который преподает студентам. Блестящая эрудиция Берви вовсе не выглядит, как желание щегольнуть образованностью. Факты и имена, приведенные Берви, — только деловые аргументы и ничего более!

Политические взгляды Берви в этой статье представляются весьма умеренными. Он не помышлял о революционном преобразовании общества и даже предостерегал от таких действий, считая, что революция вредно отражается на развитии государства. Справедливо упрекая Чичерина в «небрежном» и «легкомысленном» обращении с «учением о повинности законам», Берви писал: «... легкомысленное обращение с этим вопросом породило в XVII веке в Англии ряд междоусобий и придало всему этому времени мрачный характер. Я не говорю о всем известных печальных опытах, сделанных во Франции и Германии...»⁶²

Сам он еще наивно верил, что в современной ему России возможно существование «чистой» науки, способной сохранять беспристрастие и находиться вне общественной борьбы. Именно в такую среду и стремился попасть молодой чиновник. Однако его собственные интересы в науке сосредоточивались на самых острых современных вопросах. Прочитав «Юридическую хронику» К. Д. Кавелина (Век, 1861, № 1—2), он тотчас же обратился к автору с огромным письмом, которому была придана форма журнальной статьи. Оно и озаглавлено, как журнальная работа: «Письмо о том, в какой степени некоторые неудачные русские учреждения вредят развитию фабричной и ремесленной промышленности». «Письмо...» дополняет, развивает и опаривает некоторые соображения, мимолетом высказанные Кавелиным, причем в нем уже отчетливо проявляются публицистические страстность и образность, присущие поздним трудам «революционера-мечтателя».

«Письмо...» Берви является началом разработки вопроса о русском рабочем классе, так полно освещенного через несколько лет в его книге «Положение рабочего класса в России» (1869). Берви с негодованием указывал, что правитель-

⁵⁸ Там же, с. 24.

⁵⁹ Русская мысль, 1905, № 5, разд. XV, с. 139.

⁶⁰ Московские ведомости, 1861, № 238.

⁶¹ СПб. ведомости, 1861, № 261.

⁶² Там же.

ство «отдало фабрикантам рабочих в руки и в полное распоряжение». ⁶³ Какие-либо жалобы бесполезны: «мудрено сладить с богатым и сильным фабрикантом! Что из этого выходит, самым убедительным образом доказывают происшествия Волжско-Донской железной дороги, которые стоят любого рассказа Бичер-Стоу...» ⁶⁴ Кавелин и другие юристы заинтересовались работами Берви.

В результате ему предлагают кафедру в Петербургском университете. Казалось бы, для молодого человека, тяготившегося министерской атмосферой (покинуть службу он не мог, так как она была единственным источником его существования), приглашение в «храм науки» — предел желаемого. Но Берви мало похож на восторженного неофита. Как ни радовался он возможности покинуть департамент, но еще не будучи утвержденным в должности и обсуждая с К. Д. Кавелиным условия своей работы, Берви выдвигает ряд требований, без удовлетворения которых не считает себя быть вправе наставником юношества. «Мои чувства и убеждения таковы. — писал он, — что я могу принять преподавание в здепнем университете только при существовании двух условий. Во-первых, университет должен быть в таком положении, чтобы преподаватель политических наук мог в нем добросовестно исполнять свои обязанности... В подобные эпохи нужно исказить политические учения, а добросовестный человек не может преподавать с кафедры ложь. Во-вторых. Я нахожу, что в государстве, где управление так сильно и склонно действовать так недобросовестно, как в России, профессор государственного права должен иметь такую самостоятельность, чтобы он не только во всякое время мог оставить кафедру, но даже оставить свое отечество. Только в таком положении он может надеяться, что будет постоянно высказывать свои истинные убеждения и что ум и совесть его не скрываются под давлением». ⁶⁵

В этом письме весь В. В. Берви. Он совсем не думает о себе. Он озабочен только тем, как лучше исполнить роль просветителя. Дает себя знать и политическая наивность. Берви всерьез верит, что для рядового чиновника в университете могут быть предоставлены какие-то особые права, с тем, чтобы он мог донести до своих питомцев «свет истины».

Стать профессором Берви не было суждено. Случайность меняет всю его жизнь. Впрочем, вряд ли применительно к Берви можно говорить о случайности. В. В. Берви принадлежал к тем людям, судьба которых не зависит от случая, ибо они никогда не поддаются обстоятельствам.

25 сентября 1861 года Берви, появив-

шийся в университете для устройства своих дел, попадает на студенческую манифестацию. Узнав на следующий день, что 42 участника ее арестованы и препровождены в Петропавловскую крепость, несмотря на заверения начальства о неприменении репрессий, Берви, как всегда, принимает чужую беду близко к сердцу.

Вместе со своим товарищем по министерству Арсеньевым Берви организовал сбор подписей под прошением на имя царя, в котором доказывалась невинность студентов и содержалась просьба о их помиловании. При этом, как указывал сам Берви, его главной целью было «открыть императору глаза на это дело». ⁶⁶

Прошение вызвало переполох в министерстве юстиции. Министр потребовал от всех общее объяснение, а от Берви (под предлогом, что он уже почти принадлежит к университету) особое. Все, в том числе и автор прошения, ждали неминуемой кары, но дело обошлось. При дворе сочли, что наилучшим выходом из создавшихся обстоятельств будет отнесение инцидента к разряду малозначительных. В действиях Берви и остальных чиновников не обнаружили «намерения сопротивляться закону и власти императора». ⁶⁷

Тем не менее на образцового чиновника ложится первая тень подозрения. В секретном отношении шефу жандармов князю Долгорукову от 7 марта 1862 года министр юстиции Панин указывал: «Во время службы Берви был поведения скромного, но в исходе прошлого года некоторыми своими поступками он возбудил сомнение в твердости его мыслей относительно служебного долга...» ⁶⁸

Окончательно решило участь Берви дело тринадцати тверских мировых посредников. Напомним вкратце суть этого дела. В феврале 1862 года тверское губернское дворянское собрание в адресе на имя Александра II заявило об отказе от всех сословных привилегий и апеллировало к царю с «всеподданнейшей просьбой» о предоставлении крестьянам возможности самим решать возникающие в связи с отменой крепостного права проблемы. Вслед за этим тринадцать мировых посредников, опираясь на решение дворянского собрания, обратились в губернское присутствие по крестьянским делам с заявлением. В нем говорилось о несогласии с Положением 19 февраля и о невозможности действовать вопреки своим убеждениям.

Эффект, произведенный этим заявлением, оказался неожиданным даже для ко всему привыкшего за время николаевского царствования дворянства. Уже

⁶⁶ Берви В. В. Три политических системы... с. 142.

⁶⁷ Там же, с. 146.

⁶⁸ Аптекман О. В. В. В. Берви-Флевровский. Л., 1925, с. 20.

⁶³ ИРЛИ, 20.360
с. XXXIX б. 2 , л. 4.

⁶⁴ Там же, л. 5.

⁶⁵ Там же, лл. 15, 15 об.

в конце того же месяца в газете министерства внутренних дел появилось извещение об «арестовании означенных лиц».⁶⁹

Правительство, конечно же, сознавало, что арест мировых посредников никаким законом подкреплён быть не может. Однако в условиях глухого недовольства общества результатами реформы и начавшихся в деревне волнений правительство решило напомнить, что любое неповиновение «монаршей воле» не может остаться безнаказанным, что и в «новые времена» сила монархии остается непоколебленной.

И этот расчёт полностью оправдался. Русское дворянство не осмелилось протестовать против грубейшего попрания его сословных прав. Единственным человеком во всей России, выступившим на защиту арестованных, оказался В. В. Берви. Необходимо подчеркнуть ещё раз, что и в этом случае никакими личными мотивами Берви не руководствовался, им двигало лишь чувство справедливости.

С исключительной прямоотой и резкостью Берви писал на имя царя (текст обращения полностью воспроизведён в книге О. В. Аптекмана), что правительство грубейшим образом нарушает всякую законность. Назвав царствование Николая I «жалким и позорным», Берви выговаривал его сыну: «...надеяться на искоренение крайней партии путем устраниения — совершенная нелепость...»⁷⁰ Сам Берви вовсе не был сторонником насильственного свержения строя, но он предостерегал царя: «Энергическое неудовольствие может распространиться весьма легко, и если в это время самая смелая часть образованного сословия будет ожесточена, если она будет симпатизировать революционным движениям и заговорам, то легко может случиться несчастие».⁷¹

В деле тверских мировых посредников Берви видел не частный случай, а событие европейского масштаба. Вот почему он обратился с заявлением и в посольство Британской империи, заключая его просьбой «сообщить о вышеизложенном Английской нации, ибо не хочу, чтоб народ такой почтенный, как народ английский, полагал, что деспотические и притеснительные действия русского правительства остаются без возражений со стороны притесненных».⁷²

Новая «выходка» Берви привела всех в растерянность. Подвергнуть аресту автора заявления вслед за тверскими мировыми посредниками не представлялось удобным, ибо это означало бы возведение расправы со всеми несогласными в систему и привело бы к окончательной дискредитации нового правительственного курса.

Помог «исторический опыт». Подобно Чаадаеву Берви направляют к медикам «на предмет освидетельствования его умственных способностей». Но ни городские врачи, ни больница Всех Скорбящих не находят у Берви никаких признаков умственного расстройства.

Если «верхи» стремились лишь к политической изоляции Берви, то приведенная в действие бюрократическая машина распространила свое усердие и на бытовую сторону жизни бунтовщика. Повод для материального ущемления скомпрометировавшего себя «образцового чиновника» не пришлось даже выискивать. Из больницы Всех Скорбящих был направлен запрос о возмещении министерством юстиции, по распоряжению которого происходило освидетельствование Берви, средств, затраченных на содержание пациента. Из министерства в больницу последовала бумага, датированная 24 июля 1862 года: «Канцелярия министерства юстиции, сопровождающая отношение конторы больницы Всех Скорбящих за № 1232 о доставлении десяти рублей тридцати копеек за пользование в одной служашего в департаменте министерства юстиции надворного советника Берви, имеет честь уведомить, что по докладу сего отношения г. товарищу министра юстиции, его превосходительство изволил приказать требуемые 10 руб. 30 коп. удержать из жалования Берви и отослать в контору больницы...»⁷³

После пребывания в сумасшедшем доме Берви был выслан в Астрахань. Недолгое пребывание на Волге помогло ему изжить все свои иллюзии, сделало его решительным противником монархии. В Астрахани Берви впервые столкнулся с подлинными революционерами и выступил как практический защитник прав народа. Хорошо зная законы и умея ими пользоваться, он неоднократно вступался за обманутых предпринимателями рыбаков и грузчиков.

И в заholустье, лишенный элементарных условий, Берви не оставлял научной работы. Именно в ссылке он написал несколько книг, пользовавшихся огромной популярностью у современников, и среди них знаменитое «Положение рабочего класса в России».

До выхода в свет этой работы интересы Берви и Каткова не сталкивались. Бывший друг Белинского, теперь всей России известный пропагандист ультраправых идей, разумеется, не мог иметь ничего общего с изгоем Берви. Для Каткова он вообще не существовал. Но стоило Берви опубликовать свою крамольную книгу, и Катков обрушивается на ее автора.

Катков посвятил «Положению рабочего класса в России» передовую статью в «Московских ведомостях». Следует подчеркнуть, что в передовицах катковской газеты ставились исключительно поли-

⁶⁹ Северная почта, 1862, № 39.

⁷⁰ Аптекман О. В. Указ. соч., с. 30.

⁷¹ Там же, с. 31.

⁷² Там же, с. 35.

⁷³ ЦГИА, ф. 1405, оп. 47, ед. хр. 7439, л. 69.

тические вопросы. Так что рецензирование «Московскими ведомостями» книги Берви — факт многозначительный.

Собственно рецензией эту статью называть нельзя. По существу содержания работы Берви «Московские ведомости» не сказали ничего. Поводом для атаки на Берви послужила одна из его мыслей, не определяющих пафос книги. Берви «имел неосторожность» заметить, что прибалтийская часть России и родственные ей по языку народности развивались бы успешнее при определенной экономической и культурной их самостоятельности. Шовинист Катков, неустанно твердивший о настоятельной необходимости для блага России полностью русифицировать все окраины, не смог пройти мимо подобного заявления.

Стремясь опорочить эту идею, Катков обвинил Берви в отсутствии патриотизма, а саму книгу расценил как «неистощимое тара-бара нашего автора». ⁷⁴ Катковская газета и прежде не отличалась особой сдержанностью в выражениях, но на сей раз превзошла самое себя. Катков не постеснялся вспомнить и о «душевном заблуждении» Берви. «Все это сумасшествие, скажут, — писал он. — Сумасшествие, да, но злое и опасное...» ⁷⁵

Не исключено, что деятельность Берви вновь стала объектом пристального внимания жандармерии не без «подсказки» «Московских ведомостей». Не располагая никакими доказательствами виновности Берви, шеф жандармов Шувалов был все же уверен: «не может быть сомнения, что он теперь в центре социалистов». ⁷⁶ И в известной мере он был прав, потому что неоднократно имел возможность убедиться, что «печать давно стала уже в нас силой», которая «заставляла открыто говорить о себе легальные и консервативные органы». ⁷⁷

И правительство жестоко мстило «отступнику». Всю свою жизнь Берви-Флеровский провел «в административной ссылке, в разных глухих захолустьях и трущобах, причем его гоняли с юга на север, с запада на восток и обратно... Сидел... в 32 острогах. В ссылке он жил в 9-ти городах. В одиночном заключении провел несколько лет...» ⁷⁸

Во время своих скитаний Берви жил жизнью народа в буквальном смысле этого слова, хорошо изучил нужды «коренных фабричных рабочих, работниц, родителей, работающих детей... крестьян и людей; выросших в лесопромышленных деревнях, проводивших зиму в лесу и т. д.». ⁷⁹ Ему довелось испытать всевоз-

можные лишения и вести постоянную борьбу за кусок хлеба. 26 ноября 1883 года Берви писал К. Д. Кавелину: «Я делаю все возможные усилия, чтобы найти себе работу, которая бы кормила мою семью, но все напрасно, мне остается одна литература. В литературе же к замалчиванию, к цензурным стеснениям в последнее время присоединился новый прием, стараются разрушить мою репутацию писателя, способного иметь читателей». ⁸⁰

Но за всю свою долгую жизнь Берви-Флеровский ни разу не изменил своим убеждениям, не пошел ни на какой компромисс с правительством.

История воздала должное и Каткову и Берви-Флеровскому. Имя Каткова уже в шестидесятые годы стало синонимом самой огултелой реакции и черносотенства. Берви-Флеровский всю жизнь отдал борьбе за улучшение участи народа. Его научная работа была высоко оценена К. Марксом. ⁸¹ Как на достоверный документ эпохи ссылался на «Положение рабочего класса...» В. И. Ленин. ⁸²

Ленин не останавливался специально на характеристике деятельности Каткова и Берви, но в ряде его трудов содержатся примеры того, как необходимо изучать биографию общественного деятеля в связи с идеологическим движением эпохи. «Отдельное», «индивидуальное» рассматривается у Ленина как проявление социального в различных разновидностях, зависящих от присущих личности свойств характера и определенных жизненных ситуаций.

Во многих работах гениального вождя пролетариата («Памяти графа Гейдена», «Карьера», «Памяти Герцена») фигурирует понятие «социального типа», который в своих поступках и высказываниях наиболее полно выражает психологию и мировоззрение определенной социальной группы или класса. При этом лепинская трактовка «социального типа» вовсе не исключает признания важной роли в историческом процессе «действия „живых личностей“ в пределах каждой... общественно-экономической формации...» ⁸³

Без учета диалектического единства типического и индивидуального проблема «личность и история» не может быть успешно разрешена. Фигуры Каткова и Берви-Флеровского, выразившие в своих деяниях различные полюсы идеологической борьбы 1860-х годов, с этих позиций представляют особо благодарный объект исследования, так как их судьбы под влиянием эпохи отделились в наиболее отчетливые, так сказать, классические формы.

⁷⁴ Московские ведомости, 1870, № 27.

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Аптекман О. В. Указ. соч., с. 57.

⁷⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 6, с. 89.

⁷⁸ Пругавин А. Две биографии. — Русские ведомости, 1910, № 2.

⁷⁹ Из письма В. В. Берви-Флеровского к Н. К. Михайловскому. — ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 63, л. 7.

20.360

⁸⁰ ИРЛИ, с. XXXIX б. 2, л. 17.

⁸¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 357—358.

⁸² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 574.

⁸³ Там же, т. 1, с. 430.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ГЕРЦЕНЕ И ТУРГЕНЕВЕ

(ПУБЛИКАЦИЯ М. Д. ЭЛЬЗОНА)

Публикуемые ниже материалы, связанные с именами А. И. Герцена и (главным образом) И. С. Тургенева, выявлены в результате сплошного просмотра писем одного из виднейших буржуазно-либеральных государственных деятелей второй половины XIX века А. В. Головинина к в. к. Константину Николаевичу, хранящихся в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота. Письма охватывают 1856—1886 годы и содержат подробные сведения о внутренней и внешней политике России данного периода. Их тематика определена положением А. В. Головинина — сначала секретаря в. к. (1850—1858 годы), затем министра народного просвещения (1861—1866 годы) и члена Государственного совета.

Александр Васильевич Головинин (1821—1886), сын прославленного флотоводца, известен главным образом как инициатор новых буржуазных уставов в области культуры и просвещения: университетского (1863), гимназического (1864) и цензурного (1865). Как писала А. Я. Панаева, «Головинин был первый министр просвещения, которым литераторы могли быть вполне довольны, потому что он делал по возможности все, что мог, для писателей».¹ Разумеется, эта достаточно высокая оценка деятельности А. В. Головинина должна быть скорректирована указанием на то, что действительно испытывая нечто вроде преклонения перед «любимцами муз», А. В. Головинин был достаточно тверд в своих симпатиях и антипатиях. Так, ратуя за известное ослабление цензурного режима, А. В. Головинин руководствовался главным образом желанием не столько способствовать свободе творчества, сколько предоставить власть придерживающим более широкую возможность знакомства с общественным мнением. Печальную славу А. В. Головинину приписали инспирированные им гонения на воскресные школы, а также активная антигерценовская кампания, вдохновителем которой он стал чуть ли не с первого удара «Колокола».

В. к. Константин Николаевич (1827—1892), глава так называемой «константиновской партии», сыграл чрезвычайно важную роль в подготовке и проведении как крестьянской реформы 1861 года, так и других буржуазных реформ (в частности, судебной 1864 года). С именем в. к. связаны также изменения в издании «Морского сборника», когда в число авторов этого сугубо специального журнала были привлечены И. А. Гончаров,

А. Н. Майков, С. В. Максимов, М. И. Михайлов, А. Ф. Писемский, А. А. Потехин и многие другие, и известная «литературная экспедиция» (1855—1856) — первая организованная поездка писателей по родной стране. Немалый вклад в осуществление обоих мероприятий внес А. В. Головинин.

К сожалению, объем настоящей публикации не позволил ввести в нее все, представляющее интерес для историка литературы. Опущенные письма содержат материалы, иллюстрирующие отношение «верхов» к творчеству А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. И. Тютчева и др. Отдельной публикации заслуживают документы, отражающие неприятие придворными кругами герценовских изданий (думается, что для подготавливаемого герценовского тома «Литературного наследства» неиспользованные здесь письма могли бы представить интерес).

Сквозная тема в письмах А. В. Головинина — тургеновская. С А. В. Головининым И. С. Тургенева связывало почти сорокалетнее знакомство, начавшееся в 1843—1845 годах, когда они вместе с В. И. Далем служили в канцелярии министра внутренних дел Л. А. Перовского (этот период отражен в опубликованных В. А. Громыным отрывках из записок А. В. Головинина «Для немощных»)² В дальнейшем их отношения не прерывались, но свелись к переписке и спорадическим встречам как в России, так и во Франции. В частности, в конце 50-х—начале 60-х годов И. С. Тургенев был посредником между А. И. Герценом—Н. П. Огаревым и А. В. Головининым—в. к. Константином Николаевичем в период подготовки крестьянской реформы: через него к в. к. подал огаревский проект. В свою очередь, через И. С. Тургенева к А. И. Герцену шли сведения «о различных интересных событиях, происходивших в высших сферах».³

Установить точный объем переписки И. С. Тургенева с А. В. Головининым пока не представляется возможным (в цитируемом ниже письме к в. к. от 27 сентября 1883 года А. В. Головинин упоминает неопределенное «собрание»). До публикации А. М. Гаркави⁴ было известно всего одно письмо И. С. Тургенева к А. В. Головинину⁵ и недатирован-

² Тургеневский сборник, III. Л., 1967, с. 216—220.

³ Батурицкий В. П. [Маслов Стокоз В. П.]. А. И. Герцен, его друзья и знакомые, т. I. СПб., 1904, с. 113.

⁴ Лит. наследство, т. 73, кн. 2, 1964, с. 67—84.

⁵ Русская старина, 1883, № 9 (прил.), с. 6.

¹ Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 265.

ная записка А. В. Головнина к И. С. Тургеневу.⁵ Теперь к известным семи добавляются пять фрагментов из четырех писем И. С. Тургенева к А. В. Головнину от 18 (30) марта,⁷ 6 (18) и 12 (24) ноября 1878 года, 11 (23) ноября 1879 года, приложенных последним к письмам к в. к. от 27 сентября и 2 и 4 октября 1883 года (в настоящей публикации эти фрагменты выделены в самостоятельный первый раздел «И. С. Тургенев — А. В. Головнину»).

Существенным дополнением к публикуемым фрагментам из тургеневских писем служат сведения, сообщенные А. В. Головниным в к. Константину Ни-

колаевичу, о личных встречах и беседах с писателем. Как можно судить, А. В. Головнин достаточно объективен в передаче высказанных И. С. Тургеневым мыслей о расстановке классовых сил в период первой революционной ситуации и его оценок внутренней (репрессивной) политики правительства, хотя не подлежит сомнению и зачастую нарочито подчеркивание им «верноподданических чувств» «чистого художника».

За ценные советы и указания, сделанные в процессе работы, публикатор приносит глубокую благодарность Л. Н. Назаровой.

И. С. Тургенев — А. В. Головнину

<Отрывки из письма от 18 (30) марта 1878 г.>⁸

Скажу Вам в двух словах: письмо Ваше меня глубоко тронуло и несколько взволновало.⁹ Если б что-нибудь могло поколебать мою решимость, то это было бы именно такое письмо. Но я вынужден сознаться, что, живя почти постоянно за границей, я не в состоянии продолжать тех пристальных наблюдений над русской жизнью, без которых невозможно воспроизводить ее с достаточной верностью и точностью. В таком случае лучше умолкнуть. Воспоминание о возбужденных сочувствиях и, пожалуй, принесение пользы вполне вознаграждает за ту невольную горечь, которая всегда появляется в душе при прекращении привычной деятельности. А потому двойное спасибо Вам за то, что высказали эти сочувствия...¹⁰

... Впрочем, мне теперь не до литературы. Я очень встревожен настоящим положением наших дел. Могу сказать, что я никогда не обманывался насчет

⁶ Щукинский сборник, вып. 8. М., 1900, с. 216.

⁷ Две цитаты из него приводились в печати: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., Письма в 13-ти т., т. XII, кн. 1. М.—Л., 1966, с. 298 (впервые: Лит. наследство, т. 73, кн. 2, 1964, с. 81—82). Далее ссылки на полное собрание сочинений и писем Тургенева даются сокращенно: «Письма» или «Сочинения».

⁸ ЦГАВМФ, ф. 224, оп. 1, № 350, л. 229—229 об. Далее ссылки на архив даются в тексте с указанием единицы хранения и листа.

⁹ Ответ на письмо А. В. Головнина, вызванное газетными сообщениями о том, что И. С. Тургенев принял решение прекратить печататься. Курсивом выделены опубликованные цитаты.

¹⁰ Отдельные текстуальные совпадения обнаруживаются в письме Тургенева к Х. Д. Алчевской, датированном тем же числом (см.: Письма, т. XII, кн. 1, с. 297).

его неизбежности и самый мир с Турцией меня обрадовал мало.¹¹ Война с Англией мне казалась всегда необходимым дополнением и последствием восточного вопроса.¹² Все это издавна подготовлено самой историей. Не сомневаюсь в том, что в конце концов турецкие славяне будут освобождены и их притеснители изгнаны, но Россия надолго будет разорена, и не увидит нам внутренних, столь необходимых реформ. Желая быть дурным пророком, но будущее представляется мне в мрачных красках...

<Отрывок из письма от 6 (18) ноября 1878 г.>¹³

... Жаль, глубоко жаль этого хорошего, умного, доброго, честного человека. По-немногу исчезают наши товарищи и сверстники, люди сороковых годов. Сколько их уже не стало! И все они были недогловечны! Никто не достиг 60-летнего возраста. Пробежите памятью их уже многочисленный список, и Вы убедитесь в этом. Я не сомневаюсь в том, что Вы глубоко почувствуете эту потерю: покойный был искренно к Вам привязан и всегда с дружеским чувством отзывался о Вас.¹⁴ Мне остается

¹¹ Сан-Стефанский мирный договор, подписанный 19 февраля (3 марта) 1878 года.

¹² Об этом же Тургенев писал накануне М. М. Стасюлевичу (см.: Письма, т. XII, кн. 1, с. 296).

¹³ Написано по поводу кончины ориенталиста и дипломата Н. В. Ханькова (1822—1878), с которым Тургенев познакомился в Париже в 1860 году. Подробнее об их отношениях см.: Розенфельд А. З. Тургенев и Н. В. Ханьков. — В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 77—88.

¹⁴ Письма А. В. Головнина к Н. В. Ханькову опубликованы в «Историческом архиве» (т. V. М.—Л., 1950, с. 342—391). Из переписки Тургенева с Ханьковым (1862—1878 годы) опубликованы только письма Тургенева (65).

также поблагодарить Вас за пересланные стихи Ив. С. Аксакова.¹⁵ Они очень трогательны, а форма их, как всегда у него, весьма изящна. Должно думать, что это изгнание скоро прекратится (№ 350, л. 205).¹⁶

⟨Отрывок из письма
от 12 (24) ноября 1878 г.⟩

...Третьягдни мы проводили покойного Николая Владимировича на его последнее жилище в Rêge Lachaise. Катрфаж¹⁷ и я произнесли несколько прощальных слов над его могилой. Одним хорошим человеком, одним товарищем сороковых годов стало еще меньше на свете (№ 350, л. 205 об.).¹⁸

⟨Отрывки из письма
от 11 (23) ноября 1879 г.⟩

...Я познакомился с цесаревичем (т. е. Александром Александровичем (впослед-

ствии Александр III), — М. Э.). Он произвел на меня очень выгодное впечатление. Натура, по-видимому, честная и открытая. Я принадлежу по убеждениям к оппозиции, но не оппозиции *династической*, и потому не мог не порадоваться (№ 350, л. 199).

...К сожалению, я не могу Вам дать никакого разъяснения насчет подписи кн. Вяземского к портрету императора Александра I. Мне эта подпись неизвестна.¹⁹ Архив Александра Ивановича Тургенева находится вместе с интереснейшими бумагами и письмами Н. И. Тургенева здесь, т. е. в Париже, у семейства этого последнего. Но семейство Ник. Ив. Тургенева ни за что не хочет поделиться всем этим богатством и отказало Пыпину, мне и другим. Так оно и остается под спудом... (№ 350, лл. 205 об.—206).²⁰

А. В. Головин — в. к. Константину Николаевичу

1

Париж, 18 (30) мая 1858 г.⟩

...Я видел здесь русских, имеющих сношения с Герценом,²¹ которому запрещено приезжать во Францию. Они спрашивали меня о влиянии, которое его публикации производят в России. Я сказал им весьма откровенно, что Герцен производит много вреда тем, что желчно, неприлично бранью, площадными ругательствами возбуждает против себя неудовольствие сильных людей, которых

он бранит и притом бранит иногда несправедливо, а похвалами иногда компрометирует молодых благонамеренных людей, которые желают административных улучшений, но вовсе не разделяют его политического образа мыслей. Поэтому я советовал им убедить Герцена перестать ругаться и хвалить, не называть лиц, но ограничиться серьезным, хладнокровным обсуждением административных вопросов. Мне отвечали, что он человек весьма горячий и которому трудно удержаться от острого словца, что он в душе республиканец и потому не согласится ограничить свою роль улучшениями только административными, а не политическими, и, наконец, что он хочет играть роль Немезиды, которая, сидя в Англии, карает такие преступления, которые у нас остаются безнаказанными. Я возразил на это, что острыми словцами своими он помогает у нас врагам прогресса и улучшений и служит не прогрессу, а реакции; что благонамеренные люди в России желают улучшений только административных, но отнюдь не политических, и убеждены, что политический переворот был бы величайшим для России несчастьем и притом, к счастью, невозможным, и, наконец, что Немезида его весьма близко походит на помощницу тайной полиции, ибо «Колокол» доносит правительство о таких преступлениях,

¹⁵ Имеются в виду стихотворения «Варвариню (послание Е. Ф. Тютчевой)» («Как будто вихрем бури злой...») и «Среди цветов поры осенней...». Оба воспроизведены А. В. Головинным в этом же письме (л. 206—206 об.).

¹⁶ И. С. Аксаков был выслан за речь против Берлинского трактата, произнесенную 22 июня 1878 года в собрании Славянского благотворительного общества. Подробнее об этом см. в комментарии Е. С. Калмановского в кн.: Аксаков Иван. Стихотворения и поэмы. Л., 1960, с. 273. (Библиотека поэта, большая серия).

¹⁷ Катрфаж Ж. Л. А. (1810—1892) — известный французский зоолог и антрополог.

¹⁸ См. также письма И. С. Тургенева к Я. П. Полонскому от 10 (22) ноября 1878 года и к П. В. Анненкову от 15 (27) ноября того же года (Письма, т. XII, кн. 1, с. 380—382) и письмо Ф. Н. Тургеневой к А. В. Плетневой от 16 (28) ноября 1878 года (Лит. наследство, т. 76, 1967, с. 413—414).

¹⁹ Имеется в виду «Надпись над бюстом имп. Александра I» (1814). См.: Вя-

земский П. А. Полн. собр. соч., т. III. СПб., 1880, с. 45.

²⁰ Архив братьев Тургеневых в 1905—1912 годах был получен А. А. Фоминим от П. Н. Тургенева и поступил сначала в БАН, а затем (в 1931 году) в Пушкинский Дом.

²¹ Имеются в виду П. В. Анненков и И. С. Тургенев.

о которых молчит III Отделение, и что, наконец, своими выходками он оскорбляет людей, которые не могут защищаться и оправдываться, ибо не имеют права обнародовать все, что знают. Мне обещали стараться уговорить его быть умереннее, но не знаю, удастся ли это. Если б удалось, я оказал бы большую услугу, ибо «Колокол» читается с жадностью толпою именно по случаю площадных ругательств. Если б в нем являлись только статьи серьезные, его стали бы читать люди дельные, а не толпа... (№ 333, лл. 9 об. — 10 об.).

2

23 мая 1858 г.

... Знакомые Герцена написали ему, что если он желает пользы России, то должен быть гораздо умереннее в своих статьях и не давать «Колоколу» вид пакивиля, но я весьма сомневаюсь в успехе этих внушений, потому что из слов помянутых лиц должен заключить, что Герцен в душе республиканец и желает не (так, как мы) административных улучшений, но политических и социальных переворотов (№ 333, л. 13—13 об.).

3

Париж, 27 мая (8 июня) 1858 г.

... Я писал Вашему Высочеству, что приятели Герцена писали ему отсюда и просили изменить характер своих изданий, рассуждать умеренно, хладнокровно, никого не хвалить и не браниться площадным образом. Он отвечал, что отныне никого не будет хвалить, но что он не может себя переделать и *будет бранить*, но вообще постарается быть хладнокровнее.²² — При этом случае я уз-

²² Письма П. В. Анненкова и И. С. Тургенева, содержание которых изложено А. В. Головинным, были А. И. Герценом уничтожены. В ответном письме от 3 июня (22 мая) 1858 года А. И. Герцен общал: «Так как человеку легко не хвалить, то хвалить не буду никого, бранить бурграфов можно меньше — но того натура требует... Тому, кто сказал, что издали ругаться не трудно, скажите, во-1-х, что вблизи их ругать нельзя, во-2-х, что середь разгара войны — я в Англии писал письма о России и середь последнего террора — напечатал *вблизи* свою французскую брошюру...» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. XXVI. М., 1962, с. 181). Приведенные отрывки из писем А. В. Головина позволяют уточнить комментарий к данному письму А. И. Герцена. Прежде всего, «тог, кто сказал» — несомненно А. В. Головин. «Бурграфы» (*Burggraves*) — пьеса В. Гюго (1843), все главные действующие лица которой — старики (иносказательно: ретрограды, монархисты).

нал здесь, что издация его имеют в России больше влияния, чем сколько я думал, и что кроме людей умеренных, желающих медленных, разумных и весьма толковых собственно административных улучшений, есть у нас и такие, которые этим не довольствуются, но желают большего и заражены идеями 1789 года. Говорят, что первая партия многочисленнее и имеет более людей талантливых, чем вторая, но говорят также, что правительство никак не должно останавливаться на пути улучшений и должно привлекать к себе людей первого рода, а что в случае реакции против улучшений они могут сблизиться со вторыми (№ 333, л. 17 об.).

4

Дьесп, 2 (14) августа 1861 г.

... Ханьков слышал от самого Герцена, что к нему явился кн. Трубецкой — адъютант герцога Мекленбургского,²³ сказал, что не может жить в России вследствие своих политических убеждений, и просил работы, обещая доставлять сведения о России. Герцен тотчас увидел, что у этого господина убеждения небольшие и сведения неважные, но, не желая просто отказать ему, предложил место наборщика в своей типографии. Российский князь принял это предложение и за 3 шиллинга в день работал весьма усердно. Сабуров²⁴ сказывал мне, что посольство ничего об этом не знало и затруднялось, куда послать Трубецкому полученное на его имя письмо... (№ 335, л. 98).

5

Париж, 25 октября (6 ноября) 1861 г.

... Я видел здесь с Пл. Чихачевым²⁵ и Тургеневым-писателем...

Тургенев, который имеет большое знакомство в литературном мире и слыл либералом, говорит, что нынешние молодые люди далеко опередили его и что его печатно называют отсталым.²⁶ Он сожалеет, если в Петербурге начнется сильная реакция, ибо она отдалит от правительства

²³ Трубецкой Н. Пл. (ум. после 1872 года) — адъютант герцога Георгия Мекленбург-Стерлицкого, офицер-артиллерист.

²⁴ Сабуров П. А. (1835—1918) — дипломат. В 1861 году — статс-секретарь миссии при Королевско-Баварском дворе.

²⁵ Чихачев П. А. (1812—1892) — путешественник и ученый.

²⁶ В «Полемиических красотах» («Современник», 1861, № 6) Н. Г. Чернышевский говорил о возникших идейных расхождениях между сотрудниками журнала и И. С. Тургеневым. См. также письмо И. С. Тургенева к Ф. М. Достоевскому от 30 октября (11 ноября) 1861 года (Письма, т. IV, с. 301).

умеренно-либеральных людей и возбудит страсти крайних людей. Притом молодежь, которая могла бы примкнуть к первым, неминуемо соединится с последними.

Тургенев рассказывал мне, что Долгоруков, издатель «Будущности»,²⁷ рассказывает здесь, и довольно верно, мой разговор с ним на Ваш счет, прибавляя только, что я принужден своим положением говорить таким образом. Следовательно, этот разговор сделается известным и дойдет до П«етер»бурга, а потому не позволите ли мне по приезде туда рассказать о нем государю. Я говорил, как Вы знаете, Долгорукову, что у нас конституция невозможна и была бы большим несчастьем для России, и приводил в доказательство слова либеральных современных писателей Англии Buckle²⁸ и Mill,²⁹ что нам необходимо самодержавие по крайней мере для нынешнего поколения, что сколько я Вас знаю, я убежден, что Вы умрете за государя и за наследника; что Вы понимаете весьма серьезно Вашу присягу и сверх того лично любите и глубоко уважаете государя. Долгоруков сказал на это, что он и его единомышленники будут искать Бернадотта.³⁰ Я не думаю, что в моих словах было что-либо для государя или для Вас неприятное. Смеею просить Вас отвечать мне несколькими строками в Берлин, Legation de Russie.³¹ Я поступлю, как Вы прикажете, но думаю, что после слов Долгорукова лучше рассказать государю мой разговор... (№ 335, лл. 134 об.—136).

6

Париж,
28 октября (9 ноября) 1861 г.

... Судя по письмам из России, там начинается сильная реакция в пользу крутых гасительных мер. Я говорил об этом с Тургеневым, имеющим большие связи между петербургскими литераторами и в университетах. Он сказал мне, что в России два разряда людей имеют влияние на молодежь: *люди умеренно-либеральные*, которые доказывают, что при нынешнем правительстве возможны административные

²⁷ Долгоруков П. В. (1816—1868) — князь, публицист, в 1860—1861 годах совместно с немецкими издателями выпускал газету «Будущность» (на русском языке). Сотрудничал в «Колоколе».

²⁸ Бокль Г. Т. (1821—1862) — историк, социолог.

²⁹ Милль Д. С. (1806—1873) — философ, экономист.

³⁰ Бернадотты — шведская королевская династия, ее родоначальник — наполеоновский маршал Ж. Б. Бернадот.

³¹ Legation de Russie — Российская миссия (русское посольство).

реформы и улучшения, что следует помогать ему и служить ему, и *люди крайние*, утверждающие, что нынешнее правительство враждебно улучшениям и что следует думать о ниспровержении оногo. Первые действуют и говорят открыто и возбуждают против себя стариков и людей жестоких и отсталых, не желающих никаких улучшений. Вторые работают во тьме, их не знают и не видят, и только в последнее время они выразились чудовищными прокламациями. В настоящее время каждая крутая мера правительства будет ослаблять влияние на молодежь людей первого рода и усиливать влияние вторых. Число сих последних будет увеличиваться, а первых — уменьшаться. Мне кажется, что это очень справедливо, и потому я пишу о том Вашему Высочеству... (№ 335, лл. 147—148).

7

Петербург, 28 декабря 1863 г.

... Говорят, что в Бадене находится Тургенев, который весьма интересный и приятный рассказчик и прекрасно читает. Здесь читали в рукописи и очень хвалят его последнее еще не напечатанное сочинение «Призраки». Уверяют, что по художественности изображений оно выше всего, что он когда-либо писал. Не пригласите ли Вы прочесть оно у Вас...³²

8

Петербург, 14 мая 1881 г.

... Сегодня у меня обедают Титов,³³ бар(он) Николаи,³⁴ Набоков,³⁵ товарищ его Фриш,³⁶ Перетц,³⁷ Пешуров.³⁸ Хотел

³² Впервые «Призраки» были напечатаны в «Эпохе» (1864, № 1—2). Наборная рукопись повести находилась в распоряжении П. В. Анненкова, который и давал ее для прочтения. Подробнее об этом см. в примечаниях Е. И. Кийко (Сочинения, т. IX, с. 474—480). Судя по письмам Тургенева Анненкову от 9 (21) и 13 (25) декабря 1863 года, высказывалось и противоположное изложенному в отрывке мнение о «Призраках» (см.: Письма, т. V, с. 184—185, 598).

³³ Титов В. П. (1807—1891) — дипломат, историк.

³⁴ Николаи А. П. (1821—1899) — государственный деятель, в 1881—1882 годах — министр народного просвещения.

³⁵ Набоков Д. Н. (1827—1904) — статс-секретарь, в 1878—1885 годах — министр юстиции.

³⁶ Фриш Э. В. (1833—1907) — юрист, государственный деятель.

³⁷ Перетц Е. А. (1833—1899) — юрист, в 1878—1883 годах — государственный секретарь.

³⁸ Пешуров А. А. (1834—1891) — вице-адмирал, член Государственного совета.

быть Тургенев, но сильно заболел. Я пригласил этих лиц и буду звать к себе обедать в Царское село разных персон, чтоб узнавать интересное для сообщения Вашему Высочеству... (№ 348, л. 7).³⁹

9

Царское Село, 27 августа 1881 г.

...Вчера провел у меня вечер Тургенев. Он приехал утром из Орловской губернии и сегодня уезжает за границу с намерением вернуться в феврале. Он прожил 4 месяца в своем имении, видел многих⁴⁰ и узнал многое. При его наблюдательности он, конечно, набрал сведений более всякого другого. Он сам говорит, что писатель — губка, которая вбирает в себя впечатления, а потом уже творческий гений делает из них то или другое — вперед нельзя угадать, что именно. В последние годы его губка была пуста, а теперь наполнилась. Он говорит, что крестьяне твердо уверены, что царь прибавит им земли, а помещикам заплатит, ждут и долго будут ждать; что все молодое, сколько-нибудь развитое, недовольно, что престижа для них не существует и что нет сомнения, что злодейские замыслы не прекратились.⁴¹ Приходится сказать: «Тяжела ты, шапка Мономаха», и молить внушения свыше... (№ 348, л. 148—148 об.).⁴²

10

Петербург, 2 октября 1881 г.

...На Ваш вопрос о Тургеневе⁴³ могу сказать, что он — олицетворенная доброта, дитя душой, поэт, удивительный чтец и рассказчик. Он имеет огромное знакомство между литераторами, музыкантами, художниками и русскими разного сорта, находящимися в Париже, но

³⁹ Фрагмент позволяет уточнить датировку («четверг») опубликованной записки А. В. Головина к И. С. Тургеневу на ту же тему с тем же перечнем имен (см.: Щукинский сборник, вып. 8, с. 216).

⁴⁰ В Спасском все лето (с 31 мая по 10 августа 1881 года) гостили Я. П. и Ж. А. Полонские. Туда же заезжали Л. Толстой, М. Г. Савина, Д. В. Григорович, Е. М. Гаршин (см.: Клеман М. К. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. М.—Л., 1934, с. 304—306).

⁴¹ Намек на события 1879—1881 годов (покушения А. К. Соловьева и С. Н. Халтурина, убийство Александра II).

⁴² Дополнительные сведения о содержании беседы см. в письме И. С. Тургенева к П. В. Шейну от 27 августа (8 сентября) 1881 года (Письма, т. XIII, кн. 1, с. 115).

⁴³ Ответ на неизвестное письмо.

так как он очень доверчив, то его рекомендации следует верить через Орлова⁴⁴ и наше посольство... (№ 348, л. 198).

11

Петербург,
24 ноября (6 декабря) 1881 г.

...Как я рад, что Тургенев Вам понравился.⁴⁵ Беседы с ним будут для Вас приятным развлечением. Он мастерски читает и мастерски рассказывает. Попросите его прочесть «Бежин луг» и пригласите к чтению Орлова, Лихачева.⁴⁶ «Бежин луг» представится Вам таким чудным, прелестным произведением, каковым никогда не являлся при собственном чтении. Всякая мелочь (Хорь, живые мощи) явится в чарующем виде... (№ 348, л. 307).⁴⁷

12

Петербург, 8 (20) января 1882 г.

...На вопрос о Тургеневе⁴⁸ должен сказать, что я часто видался с ним в 184 $\frac{5}{8}$ годах, а с того времени только изредка и потому многих его взглядов не знаю. Мне кажется, что К. П. Голенко,⁴⁹ который уезжает к Вам $\frac{10}{22}$ числа, мог бы познакомиться с Тургеневым и от себя сондировать его. То же может сделать Боголюбов⁵⁰ и Лихачев, если они с ним в хороших отношениях... (№ 349, л. 6—6 об.).

⁴⁴ Орлов Н. А. (1827—1885) — князь, сын А. Ф. Орлова, в 1870—1882 годах — русский посол в Париже. И. С. Тургенев был дружен с Н. А. Орловым, был шафером на его свадьбе.

⁴⁵ Ответ на неизвестное письмо в. к. Константина Николаевича о состоявшемся знакомстве с Тургеневым. До сих пор считалось, что это знакомство было «давним» (см.: Лит. наследство, т. 73, кн. 1, 1964, с. 415).

⁴⁶ Лихачев И. Ф. (1826—1907) — адмирал, в 1867—1883 годах — представитель морского министерства в Англии и во Франции.

⁴⁷ А. В. Головин ошибочно объединяет героев разных рассказов из «Записок охотника» («Бежин луг», «Хорь и Калиныч», «Живые мощи»).

⁴⁸ Ответ на неизвестное письмо.

⁴⁹ Голенко К. П. (1823—1884) — морской офицер, герой Севастопольской обороны, с 1872 года — управляющий Павловским имением Константина Николаевича.

⁵⁰ Боголюбов А. П. (1824—1896) — художник-маринист, внук А. Н. Радищева. Жил в Париже с 1873 года. В 1874—1883 годах часто встречался с И. С. Тургеневым. О дружеских отношениях художника и писателя см. в публикации Н. В. Огаревой «Тургенев в последние годы жизни» (Лит. наследство, т. 76, 1967, с. 441—482).

13

Царское Село, 24 августа 1883 г.

Пишу Вашему Высочеству под впечатлением только что полученного печального известия, которое я немедленно передал Вам по телеграфу о кончине Тургенева.⁵¹ При мысли о нем невольно вспоминается время, когда мы были молоды, преисполнены добрых стремлений, надежд, когда «leicht beieinander wohnen die Gedanken».⁵² Он Вас любил, уважал и с благодарностью говорил о внимании, которое Вы оказывали ему в Париже. Ваше Высочество изволили писать мне оттуда 4/16 февраля 1882 г.: «Вечером состоялся мой обед, который вышел гораздо более парадный, чем я воображал...»⁵³ Тургеневу, кажется, у меня понравилось, потому что он уехал в 12-м часу. Все время разговор был такой оживленный, что о каком-либо чтении не приходилось даже и заикаться. Жаль было бы променять на оное наш разговор. И разговор был в высшей степени приятный, не то чтоб один только Тургенев все время перорировал⁵⁴ и был как бы на сцене. Нет, разговор был совершенно общий, все в нем принимали участие, и Тургенев, никем не эксплуатируемый, играл в нем совершенно натурально преобладающую и главную роль.⁵⁵ Много интересного он рассказывал из своей жизни...⁵⁶ так умно, так живо, как будто в лицах...»⁵⁷

⁵¹ В обследованном собрании писем А. В. Головинина к в. к. Константину Николаевичу телеграмма отсутствует. См. о ней запись в дневнике в. к. от 26 августа 1883 года (Лит. наследство, т. 73, кн. 1, 1964, с. 416).

⁵² «Тесна вселенная, а ум обширен, Легко сосуществуют мысли в нем; В пространстве ж вещь всегда поможа вещи» — цитата из драмы Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна» (действие 2, явл. 2).

⁵³ На обеде присутствовали И. С. Тургенев, А. П. Боголюбов, И. Ф. Лихачев и др. (ЦГИА СССР, ф. 851, оп. 1, № 51, л. 5).

⁵⁴ От франц. «régoget» — красноречиво, разглагольствовать.

⁵⁵ Ср. запись в дневнике в. к. от 3 февраля 1882 года: «... все время разговор самый оживленный, свободный и интересный, и он нам всем оставил самое приятное впечатление» (Лит. наследство, т. 73, кн. 1, 1964, с. 415).

⁵⁶ В ЦГИА СССР, в архиве А. В. Головинина сохранились выписки из писем к нему в. к. за 1882—1883 годы, в том числе из цитируемого. Это позволяет восстановить опущенный Головинным важный фрагмент. После слов «из своей жизни» следовало: «... из своих наблюдений. Особенно интересны были его рассказы, как в 1852 г. его засадили на ме-

Теперь вновь приходится благодарить Вас за это письмо.

Душевно Вам преданный

Головинин

Я познакомился с ним в 1843 г. во время службы моей в Особенной канцелярии Министра внутренних дел, где он и Даль (Казак Луганский) также служили и где мы проводили вместе каждое утро.

Газета «Новости» вышла сегодня в черной рамке. Это весьма прилично. Любопытно будет видеть, как отнесутся к памяти покойного наши разные издания. Он был добрейшей души, слишком доверчив, незлопамятен, в нем было что-то детское, и потому его эксплуатировали (№ 350, лл. 165—166).

14

Царское Село, 29 августа 1883 г.

... Приятно читать в газетах английских, французских и немецких сочувственные отзывы о Тургеневе и видеть в телеграммах, как у нас во всех городах и многих учебных заведениях служат по нем панихиды.⁵⁸ За границей его также понимали и умели ценить... (№ 350, л. 169).

15

Царское Село, 31 августа 1883 г.

... На случай, если б Ваше Высочество не получали в Орианде «Русской старины» и «Новостей», позволяю себе представить Вам при сем вырезку из этой газеты, в которой изволите найти письмо Тургенева ко мне и его записку по делу об освобождении крестьян.⁵⁹ Эту записку, написанную Тургеневым в 1858 г., при-

сыл в Казанскую часть за письмо о смерти Гоголя и как ему здесь, в Париже, на днях пришлось таскаться по разным мытарствам (канцелярским, чиновничьим и полицейским), чтоб добиться разрешения для выставки картин наших художников. Все это он рассказывает» (ЦГИА СССР, ф. 851, оп. 1, № 51, л. 6—6 об.). О выставке см. в письме А. П. Боголюбова к И. Н. Крамскому от 2 (14) февраля 1882 года (Лит. наследство, т. 76, 1967, с. 468).

⁵⁷ Далее следовало: «... так, что видишь все в живой картине перед собой» (ЦГИА СССР, ф. 851, оп. 1, № 51, л. 6 об.).

⁵⁸ См.: Новости, 1883, 28 авг. (9 сент.), № 147; 29 авг. (10 сент.), № 148. («По поводу смерти И. С. Тургенева», рубрики «Телеграммы „Северного агентства“» и «Русская печать»).

⁵⁹ Новости, 1883, 31 авг. (12 сент.), № 150.

нес к Вам кн. Дм. Оболенский,⁶⁰ и она оставалась в Вашем богатом архиве в картоне бумаг по крестьянскому делу.

В 1881 г. я просил Ваше дозволение напечатать оную, если Тургенев согласится на это. Вот происхождение этой статьи... (№ 350, л. 170—170 об.).

16

Царское Село, 4 сентября 1883 г.

... «Накануне отъезда я был на отпевании Тургенева, которого я так любил. Я был у него в Буживале за месяц до его кончины. Он много страдал, и десять лучших докторов не могли определить болезни. По вскрытии тела оказалось, что у него был рак возле спинной кости. Он умер в полузабытии, длившемся трое суток. До того он сохранял полное сознание, успел продиктовать (в течение нескольких дней) рассказ о пожаре на пароходе „Николай I“, на котором он находился.⁶¹ Отпевание совершилось мирно и величественно. Отец Васильев⁶² (за отсутствием Прилежаева)⁶³ сказал прекрасное надгробное слово. Церковь была полна, и грусть была всеобщая...»⁶⁴

Полагаю, что слова Орлова о том, как он любил Тургенева, составляют лучшее опровержение возводимой на покойного клеветы. Орлов, как наш посол в Париже, не может не знать отношений Тургенева к живущим там русским. Он помогал тем, которые просили на хлеб, на лекарство, на дрова, на возвращение в Россию, но не давал денег на вредную пропаганду.⁶⁵ Замечательно, каким громадным сочувствием он пользовался во

⁶⁰ Оболенский Д. А. (1822—1881) — государственный деятель. В 50—60-х годах занимал должность директора комиссарятского департамента морского министерства.

⁶¹ Речь идет о «Un incendie en mer» («Пожар на море»). Впервые напечатан в кн.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1883, с. 212—213. (Авторизованный перевод с французского А. Н. Луканиной).

⁶² Протоиерей Д. В. Васильев.

⁶³ Прилежаев В. А. (1832—1887) — протоиерей, священник при русской посольской церкви в Париже.

⁶⁴ Текст, заключенный в кавычки, — выдержка из письма Н. А. Орлова Головинну от 30 августа (11 сентября) 1883 года из Эвиана.

⁶⁵ Реакция на письмо П. Л. Лаврова, опубликованное в парижской газете «Justice» от 26 августа (7 сентября) 1883 года о финансовой поддержке Тургеневым журнала «Вперед». См. письмо Г. А. Лопатина издателю «Daily News» от 9 октября 1883 года и предисловие к нему А. Н. Дубовикова (Лит. наследство, т. 76, 1967, с. 234—248), а также: Утевский И. С. Смерть Тургенева. Пб., 1923, с. 59—69.

всей России. Во всех концах ее служат наихиды. Есть личности, которым это не нравится и «которые» хотели бы уменьшить выражение этого сочувствия. С другой стороны, надобно сказать, что желательное сохранение приличия и достоинства. К сожалению, можно опасаться неуместных выходов, приписывания покойнику идей и стремлений политических, которых он вовсе не имел. Он был добрый впечатлительный художник с огромным талантом, но вовсе не политический деятель... (№ 350, лл. 173—174 об.).

17

Царское Село, 10 сентября 1883 г.

...Продолжая перечитывать Ваши письма, я нашел еще следующие слова Ваши о Тургеневе в письме из Парижа от 20 февраля нынешнего года: «Посетил я бедного Ив. Серг. Тургенева. Операция удалась превосходно,⁶⁶ но он опять, бедный, невыразимо страшно страдает своим старым недугом — грудной жабой, болезнью неизлечимой, от которой он может когда-нибудь совершенно неожиданно вдруг умереть. Ужасно его жаль...» (№ 350, л. 182—182 об.).

18

Петербург, 16 сентября 1883 г.

...Григорович, которому удалось устроить прилично, тихо, спокойно похороны Достоевского, хлопочет о том же для Тургенева и говорит, что полицейские власти весьма разумно и охотно ему помогают и вовсе не мешают. Это очень утешительно... (№ 350, л. 186 об.).

19

Петербург, 21 сентября 1883 г.

...Похороны Тургенева состоятся 27-го сентября. Замечательно, что люди, кажется, умные, не понимают, какие сильные удары он нанес нигилистам,⁶⁷ какое добро он тем самым оказал молодежи и услугу правительству. Рейтерн⁶⁸ вполне это понимает... (№ 350, л. 193 об.).

⁶⁶ И. С. Тургенев был прооперирован хирургом П. Сегоном 2 (14) января 1883 года (Клеман М. К. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, с. 322).

⁶⁷ Речь идет об «Отцах и детях» и «Нови». Подробнее о критических оценках обоих произведений см. в комментариях А. И. Батюто (Сочинения, т. VIII, с. 589—611; т. XII, с. 524—543). См. также письмо А. В. Головина к И. С. Тургеневу от 21 января 1877 года, отражающее его восприятие героев «Нови» (Лит. наследство, т. 73, кн. 2, 1964, с. 71).

⁶⁸ Рейтерн М. X. (1820—1890) — государственный деятель. В 1854—1858 годах

20

Петербург, 27 сентября 1883 г.

... Сегодня, в момент погребения Тургенева, я перечитывал собрание его писем ко мне и сделал для Вас прилагаемую интересную выписку.⁶⁹ Ваше Высочество изволите увидеть, что он был сердечно предан нашей царствующей династии и в душе монархист, но был противником образа действий агентов верховной власти. Теперь многие стараются объяснить воздаваемое ему почести желанием выразить сочувствие противнику правительства. Я думаю, что причины громадных размеров нынешних демонстраций многосложны и многочисленны. Есть чистое желание почтить память художника, который доставил нам много чистых эстетических наслаждений. Есть заветный долг русских воздавать «последний долг» покойнику, которого сколько-нибудь знали при жизни. Я не смею отрицать, чтоб у некоторых не было желания показать, что публично чествуют талант, который не состоял на службе, который был независим и никогда не выражал хвалы или сочувствия правительству, но следует помнить, что люди крайнего направления ненавидели Тургенева и что никто более его не нанес вреда нигилистам, не унизил их в глазах общества. В демонстрациях в его пользу выражается также нынешнее стремление многих заниматься общественными вопросами, рисоваться, шуметь, ораторствовать, и похороны Тургенева — отличная для этого okazия. Демонстрация приняла необыкновенно большие размеры собственно потому, что она затеяна в пользу своего бесспорного великого собрата, симпатичного писателя, литераторами, а эти лица более кого-либо имеют способов сделать известным событие, разгласить, возбудить симпатию, привлечь к делу. Ни военные в пользу военного, моряки в пользу моряка, юристы, медики не в силах возбудить к собрату такой энтузиазм, как литераторы к собрату, редакторы к сотруднику. Надобно сказать, что сочувствие к гениальному художнику делает честь обществу. Нельзя также не сказать, что у нас часто все преувеличивают и неумеренными похвалами вредят тому, кого хвалят.

О Тургеневе можно сказать, что сказал Тютчев о Пушкине:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.⁷⁰

служил в морском ведомстве, где входил в «константиновскую партию». В 1881—1886 годах — председатель комитета министров.

⁶⁹ См. выше отрывок из письма Тургенева от 11 (23) ноября 1879 года (№ 350, л. 199).

⁷⁰ Заключительные строки из стихотворения «29-е января 1837».

Постараюсь на днях представить Вашему Высочеству еще выписки из его писем ко мне... (№ 350, лл. 197—198 об.).

21

Петербург, 29 сентября 1883 г.

... Сколько мне известно из газет и «со слов» очевидцев, приличие «на похоронах Тургенева» было полное.⁷¹ Из членов Госуд. совета были, как мне сказывали, Неболсин и Стояновский.⁷² При отсутствии Сената по крестьян. делу отменило свое заседание, чтобы члены могли съездить на погребение.

Если справедливо, что президент Академии наук, имеющей в своем составе Отделение русского языка и словесности, послал от себя венок, то это делает честь Дм. Толстому... (№ 350, л. 200).⁷³

22

Петербург, 2 октября 1883 г.

За неимением ничего интересного, чтоб рассказать Вашему Императорскому Высочеству, представляю Вам при сем еще некоторые выписки из писем ко мне Тургенева.⁷⁴ Видел я Стасюлевича, который был в Буживале в последние дни его и сопровождал тело из Вержболова до Петербурга. Он говорит, что ничего нет справедливого в упреках семейству Виар-

⁷¹ См., например: *Новости*, 1883, 28 септ. (10 окт.), № 178. «Приличие» было обеспечено мобилизацией полиции и воицких сил. «Одним нигилистом меньше», — заявил Александр III, произведший ранее на Тургенева «очень выгодное впечатление». Подробнее об этом см. в сообщении Ю. Д. Левина («Вопросы литературы», 1966, № 11, с. 254—255; здесь же — библиография по теме).

⁷² Неболсин (Неболсин) Г. П. (1811—1896) — государственный деятель, экономист. Стояновский Н. И. (1820—1900) — судебный деятель; с 1882 года — председатель редакционной комиссии по составлению проекта гражданского уложения.

⁷³ К письму приклеена газетная вырезка (источник не установлен): «В числе венков к могиле И. С. Тургенева в церковь был прислан венок и от его сиятельства г. министра внутренних дел (Д. А. Толстого, — М. Э.) с надписью: „Глубокоуважаемому И. С. Тургеневу“. Толстой Д. А. (1823—1889) — граф, государственный деятель. С 1882 года, будучи министром внутренних дел и шефом жандармов, одновременно возглавлял Академию наук.

⁷⁴ См. выше фрагменты из писем Тургенева от 6 (18) и 12 (24) ноября 1878 года и от 11 (23) ноября 1879 года.

до, будто за Тургеневым не было надлежащего ухода,⁷⁵ и утверждает, что Тургенев был окружен днем и ночью самыми нежными попечениями, что у него была та же болезнь, как у покойного наследника. Он завещал движимость и права на издание его сочинений семейству Виардо, но родовое его имение Спаское-Лутовиново перейдет дочери его покойного брата. Она дочь любви, но узаконена велением покойного государя... (№ 350, лл. 203—204).⁷⁶

⁷⁵ М. М. Стасюлевич полемизирует с весьма распространенной точкой зрения, которой придерживались А. А. Мещерская, А. Ф. Онегин-Отто, М. Г. Савина, А. В. Топоров и др. и которая, по видимому, действительно была ошибочной.

⁷⁶ Имение И. С. Тургенева наследовала О. В. Галахова. Дочери у И. С. Тургенева (умер в 1879 году) не было.

23

Петербург, 4 октября 1883 г.

... Похороны Тургенева, которым правительство желало придать самые малые размеры, совершились в громадных размерах, в полном порядке и сдержанности. Они доказали многое: потребность общества проявлять свои симпатии, силу общества, умение полиции действовать спокойно, вежливо, не раздражать, и слабость администрации в том смысле, что при государе Николае Павловиче подобная демонстрация была бы немыслима. Никому и в голову не пришло бы похоронить таким образом любимого писателя, как теперь и в голову не придет просить о постановке ему памятника на площади; я уверен, что со временем ему будут поставлены памятники. Так неудержим в конечном результате ход вперед... (№ 350, л. 207—207 об.).

И. И. Мочалов

Л. Н. ТОЛСТОЙ И В. И. ВЕРНАДСКИЙ

Личные встречи Л. Н. Толстого с выдающимися русскими естествоиспытателями были сравнительно немногочисленными. Тем большую ценность как для биографии писателя, так и для более правильного понимания характера его идейного влияния на русскую научную среду представляют еще неизвестные материалы, свидетельствующие о том, что эти контакты являлись все же более обширными, а влияние более разнообразным и основательным, нежели об этом можно судить по имеющимся жизнеописаниям Л. Н. Толстого, а также и по его собственным дневникам и письмам.

Интересные в этом смысле, хотя во многом отрывочные и неполные материалы хранятся в Архиве Академии наук СССР. Мы имеем в виду фонд выдающегося естествоиспытателя, основоположника генетической минералогии, геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учения о биосфере и ноосфере и ряда других научных направлений, главным образом геологического цикла, академика Владимира Ивановича Вернадского (1863—1945).

По всей вероятности, знакомство с Л. Н. Толстым досталось ученому, так сказать, по наследству. Толстой знал его отца И. В. Вернадского (1821—1884), видного экономиста и статистика, в свое время широко известного в либеральных кругах русского общества. В частности, сохранились сведения об их встрече в по-

ябре 1856 года в Петербурге на квартире экономиста В. П. Безобразова, во время которой, помимо прочих, обсуждался вопрос об издании под редакцией И. В. Вернадского экономического журнала (на встрече присутствовали также А. А. Бакунин, П. В. Анненков, А. В. Дружинин и др.).¹

Контакты В. И. Вернадского с Л. Н. Толстым не являлись, как правило, деловыми в общепринятом значении, но носили прежде всего духовный, идейно-творческий характер, а потому к одним только имевшим место личным встречам, при всей их важности, они сведены быть не могут. Наиболее интенсивный период этих контактов приходится на отрезок времени с середины 1880-х годов до начала XX столетия.

Как Л. Н. Толстой, которому в 1885 году исполнилось 57 лет, так и В. И. Вернадский (бывший в два с половиной раза моложе) переживают в этот период критические фазисы своего духовного развития, но фазисы, существенно отличающиеся друг от друга по своему содержанию и истокам. Если Толстой продолжает коренным образом переосмысливать основания своего мировоззрения, одновремен-

¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 47, с. 100, 234, 374—375; Корнилов А. А. Годы странствий Михаила Бакунина. Л., 1925, с. 557—558.

по достраивая его «доверху», то Вернадский, преодолевая внутренние противоречия и сомнения, пока еще только закладывает фундамент своего мирозерцания.² Если, далее, для Толстого акцент его исканий явственно смещен в сторону социально-философских и религиозных проблем, то для Вернадского он смещен в сторону проблем научно-философских.³ Но оба мыслителя находятся в процессе поиска, становления — и это

² См. подробнее: Мочалов И. И. В. И. Вернадский — человек и мыслитель. М., 1970, с. 83—96.

³ См., например: Из дневников В. И. Вернадского. — Природа, 1967, № 10, с. 97—105; № 12, с. 55—60.

Возникновение братства

В первой половине—середине 1880-х годов в студенческой среде Петербургского университета, на естественном отделении физико-математического факультета которого учился в то время В. И. Вернадский, и в тесном кружке, сгруппировавшемся вокруг братьев Ф. Ф. и С. Ф. Ольденбургов, к которому примкнул и В. И. Вернадский, горячо обсуждался духовный кризис Л. Н. Толстого, его новые философские и нравственные искания. Теория непротivления злу и так называемых «малых дел» многих уже не удовлетворяла, но в целом толстовство было еще настолько популярным, возбуждавшим живейший интерес и сочувствие, что некоторые студенты, представители либерального и демократического течения, принимали активное участие в нелегальном издании сочинений Толстого («В чем моя вера?», «О деньгах», «Церковь и государство», «Исповедь» и др.).⁴ Как вспоминал много лет спустя Вернадский в подготовительных материалах к «Пережитому и передуманному», в этой издательской деятельности принимали участие и члены их небольшого кружка, в том числе он сам, Д. И. Шаховской, В. В. Водозовов, братья Ольденбурги и др.

В 1885 году в Петербург из Америки, через Лондон, приехал философ Вильям Фрей (В. К. Гейнс) (1839—1888). Выступления его как проповедника новой позитивной «религии человечества», в которой причудливо переплетались идеи утопического коммунизма, демократизма и абстрактного гуманизма, получили некоторую известность в петербургских кру-

⁴ Чеботарев И. Н. Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове и петербургском студенчестве 1883—1887 гг. — В кн.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М.—Л., 1927, с. 246; Корнилов А. А. Воспоминания о юности Ф. Ф. Ольденбурга. — Русская мысль, 1916, № 8, с. 56—58, 77.

то существенно общее, что их объединяет. Обоим близки и понятны страдания и нужды народных масс, обоим свойственна ненависть ко всяческим формам насилия и угнетения. И нет ничего удивительного в том, что представитель старшего поколения, духовные искания которого уже получили к этому времени широкий общественный резонанс, принимает близко к сердцу философские размышления представителя младшего поколения. В ряде случаев, прямо или косвенно, через посредство третьих лиц, пути писателя и ученого пересекались неоднократно. Этому способствовала вся общественная и социально-психологическая атмосфера переходной исторической эпохи.

Идейно Фрей был близок Л. Н. Толстому и по приглашению писателя провел несколько дней в Ясной Поляне (с 7 по 12 октября 1885 года), а позднее у них завязалась оживленная переписка.⁵ «Практическая часть учения Фрея повторяла учение Толстого с его вегетарианством и непротivлением злу насилем».⁶

Последнее со стороны революционно и демократически настроенной студенческой молодежи (А. И. Ульянов, В. В. Водозовов и др.) вызывало решительные возражения. В ольденбургском кружке идеи Фрея стали предметом оживленных дискуссий.⁷ Личное знакомство членов кружка с Фреем состоялось через толстовцев В. Г. Чергнова и П. И. Бирюкова. В отличие от Д. И. Шаховского, Ф. Ф. Ольденбурга и некоторых других членов кружка, В. И. Вернадский к учению Фрея относился «очень критически».⁸ Однако все они сошлись на том, что проповедуемая Фреем идея «братства» — а именно она являлась главным стержнем «религии человечества» — в целом правильно отражает их собственные поиски и стремления, которые уже вполне определились на протяжении нескольких лет студенческой жизни.

В 1886 году братья Ольденбурги, Д. И. Шаховской, В. И. Вернадский, супруги Гревсы, Н. Е. Старицкая (впоследствии жена В. И. Вернадского) решили поло-

⁵ Подробнее о взаимоотношениях Л. Н. Толстого и В. Фрея см.: Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого, т. III. М., [1923], с. 32—37.

⁶ Чеботарев И. Н. Указ. соч., с. 246.

⁷ Летом 1885 года В. И. Вернадский окончил Петербургский университет и был оставлен в должности хранителя Минералогического кабинета университета.

⁸ Вернадский В. И. Хронология (материалы к «Пережитому и передуманному»). Архив АН СССР, ф. 518, оп. 2, д. 28, л. 48.

жить начало более тесному объединению, назвав его «братством». Основной целью братства стало «путем личного самосовершенствования» служить своему народу на том поприще, которое каждый из них себе изберет. В братство с первых же дней вошли кроме указанных лиц А. А. Корнилов, А. Н. Краснов, Л. А. Оболянинов, Н. Г. Ушинский и некоторые другие. Еще будучи членами ольденбургского кружка, они решили 30 декабря каждого года собираться вместе для встречи Нового года. Эта традиция перешла и в братство. Последнее «общее собрание» состоялось 30 декабря 1921 года на квартире Вернадского в Петрограде. В числе гостей был большой друг братства, знаменитый шлиссельбуржец Н. А. Морозов. Членами братства все его участники считали себя до последних дней своей жизни.

Таким образом, в самом факте создания братства косвенно сказалось идейное влияние Л. Н. Толстого. Своеобразным проводником этого влияния оказался В. Фрей, который «успел заинтересовать небольшой кружок интеллигенции своими взглядами и... посеял добрые семена».⁹ Несомненно и значительна роль братства в духовном развитии принадлежавших к нему молодых людей — в будущем крупных ученых и литераторов, общественных и политических деятелей. Так, выдающимся востоковедом, академиком стал С. Ф. Ольденбург, известным ботанико-географом и путешест-

⁹ Бирюков П. И. Указ. соч., с. 35.

вешником являлся основатель Батумского ботанического сада профессор А. Н. Краснов, историками и литераторами, профессорами стали А. А. Корнилов и И. М. Гревс, микробиологом, профессором — Н. Г. Ушинский; исследованием творческого наследия Чаадаева в течение многих лет занимался Д. И. Шаховской (внук декабриста князя Ф. П. Шаховского). В 80-е годы прошлого века братство было одной из тех «неформальных» групп, которые содействовали появлению в нашей стране ценнейших кадров новой интеллигенции, шедшей на смену интеллигенции народнической. «Тесный дружеский кружок братства наложил неизгладимый след на всю мою жизнь», — отмечал много лет спустя В. И. Вернадский.¹⁰

В 1880—1890-е годы влияние Л. Н. Толстого в той или иной степени сказалось на общественной деятельности членов братства, два основных направления которой следует рассмотреть особо.

¹⁰ Вернадский В. И. Из воспоминаний. 1943. Архив АН СССР, ф. 518, оп. 1, д. 70, л. 3. См. также: Историческая анкета В. И. Вернадского. — Природа, 1967, № 9, с. 97. Товарищам по братству А. Н. Краснову и Н. Г. Ушинскому Вернадский посвятил статьи их памяти (см.: Вернадский В. И. 1) Из прошлого. Отрывки из воспоминаний о А. Н. Краснове. — В кн.: Андрей Николаевич Краснов (1862—1914). Харьков, 1916; 2) Памяти А. Н. Краснова. — Природа, 1916, № 10; 3) Памяти профессора Н. Г. Ушинского. — Там же, 1935, № 2).

Просветительская деятельность. Помощь голодающим крестьянам

С деятельностью кружка, оформившего впоследствии в братство, тесно связан первый выход его членов на общественную арену, за пределы столичного университета. Вскоре после создания кружка в 1882 году в его среде наметилась и устойчиво сохранялась в последующие годы область интересов, связанная с просвещением народных масс. Существенную роль при этом сыграло влияние со стороны Л. Н. Толстого, приступившего к этому времени к сочинению и изданию популярных книжек для народа. Просветительская деятельность писателя находила широкий общественный резонанс, в том числе и в среде университетской молодежи.

В мае 1884 года В. И. Вернадский совместно с С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбургскими, Д. И. Шаховским, Н. Г. Ушинским, А. Н. Красновым и др. организует кружок, целью которого было изучение народной литературы в прошлом и настоящем, составление ее общих и рекомендательных каталогов, переводы с иностранных языков, стилистическая переделка книг в целях их большей доступности, создание народных библиотек и т. п.

Кружок был тесно связан с Комитетом грамотности, созданным в 1861 году в качестве автономного учреждения при Вольном экономическом обществе, и издательством «Посредник» И. Д. Сытина, организованном по инициативе Л. Н. Толстого и работавшим при ближайшем его участии.¹¹

В отдельных собраниях кружка принимали участие А. И. Ульянов, И. Д. Лукашевич, В. В. Водозов и другие представители леворадикальной интеллигенции, а также толстовцы П. И. Бирюков и В. Г. Чертков. Благодаря последним Л. Н. Толстой (бывший к тому же в особенно дружеских отношениях с Д. И. Шаховским) был достаточно хорошо ос-

¹¹ Корнилов А. А. Воспоминания о юности Ф. Ф. Ольденбурга, с. 57; Гревс И. М. В годы юности. — Былое, 1921, № 16, с. 151—159; Вернадский Г. В. Братство «Приютин». — Новый журнал (Нью-Йорк), 1968, кн. 93, с. 151; Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1960, с. 62—66; Из дневников В. И. Вернадского. — Природа, 1967, № 10, с. 103—104; Бирюков П. И. Указ. соч., с. 5—7.

ведомлен о характере деятельности кружка.¹²

В этот период происходит сближение В. И. Вернадского и других членов кружка с выдающейся деятельницей в области народного образования А. М. Калмыковой (1849—1926), которая в 1885 году поселилась в Петербурге. Вскоре «А. М. Калмыкова» стала совсем близким человеком для Ольденбургов и Вернадских... Она сделалась желанным членом народного кружка.¹³ Много лет спустя В. И. Вернадский вспоминал: «С А. М. Калмыковой мы все — особенно Федор (Ф. Ф. Ольденбург, — *И. М.*), Митя (Д. И. Шаховской, — *И. М.*) и я — очень сошлись. Мы были даже на „ты“... После заседаний кружка мы очень много гуляли вдоль Невы... А. М. Калмыкова — умная женщина, очень хороший человек, любила себя окружать молодежью... Она осталась человеком со свободной мыслью — шестидесятиницей — до конца жизни».¹⁴

А. М. Калмыкова сблизилась и с Л. Н. Толстым и с издательством «Посредник». Именно при ее содействии осенью 1885 года состоялась встреча Толстого с В. Фреем в Ясной Поляне, вскоре после которой Толстой писал П. И. Бирюкову: «... поблагодарите Александру Мсихайловну за Фрея. Как мне кажется, она оценила его больше всех. Он пробыл 4 дня, и мне жалко было и тогда, и теперь, всякий день жалко, что его нет... Чистая, искренняя, серьезная натура, потом знаний не книжных, а жизненных, самых важных — о том, как людям жить с природой и между собой, — бездна».¹⁵

Летом 1885 года Л. Н. Толстой начинает редактирование популярной брошюры А. М. Калмыковой, посвященной Сократу. Эта работа его очень увлекает. В письмах он пишет: «Сократа я пачкаю и порчу и даже запутался в нем... Я им очень дорожу и надеюсь, что мы с А. М. Калмыковой доведем это до еще много лучшего».¹⁶ «Благодаря Сократу Калмыковой, перечитываю стойков и много приобрел».¹⁷ Деловые и дружеские отношения с А. М. Калмыковой приносили писателю большое удовлетворение. «Она прекрасный сотрудник», — отзывался Толстой о Калмыковой.¹⁸

Как известно, в пореформенную эпоху в России происходит процесс снижения производительности крестьянского хозяйства, а в 1880-е годы неурожай становятся уже хроническими. В 1891 году районы среднечерноземной полосы и степного Юго-Востока, т. е. главные хлебные житницы России, постиг небывалый неурожай, за которым последовал жестокий голод сотен тысяч крестьянских семейств. Социальная катастрофа, возникновение которой было вызвано преступной политикой правящих классов, разразилась.

В 90-е — «голодные» — годы Л. Н. Толстой выступает (начиная с 1891 года) с серией публицистических статей («О голоде», «Страшный вопрос», «Голод или не голод?» и др.), в которых вскрывает социальные корни нищеты и бедствий крестьянских масс, фабричных рабочих, клеймит антинародную политику царизма.¹⁹ Именно Толстой, призывает представителей так называемого образованного общества» прийти на помощь деревенскому населению, нащупывает «основное звено» этой помощи — организацию на местах бесплатных столовых.²⁰

На этот путь и становится значительная группа либеральной московской интеллигенции, в том числе и В. И. Вернадский, с осени 1890 года приступивший к педагогической и научной работе

тербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». В 1899—1902 годах держала книжный склад, созданный при содействии Л. Н. Толстого при издательстве «Посредник». Этот склад одно время служил местом явки для социал-демократов (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 46, с. 135, 492); оказывала материальную помощь изданию «Искры» и «Зари» (см. там же, с. 227—229). В 1902 году была выслана царским правительством за границу. После раскола партии оказывала финансовую помощь большевикам. Услугами книжного склада Калмыковой пользовался В. И. Ленин во время своего пребывания в ссылке (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 55, с. 61, 109, 112, 122, 126, 138, 145, 155). После Октябрьской революции до последних дней жизни Калмыкова была занята на ответственной педагогической работе. По словам Н. К. Крупской, В. И. Ленин относился к А. М. Калмыковой с «большим доверием, советовался с ней в целом ряде практических дел, говорил с ней о многих важных вопросах» (Правда, 1926, 2 апр., № 75, с. 3). См. также: Калмыкова А. М. 1) Обрывки воспоминаний. — Былое, 1926, № 1, 2) Встречи с Л. Н. Толстым. — Вестник литературы, 1921, № 9 (33).

¹⁹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 29, с. 86—172, 202—208, 215—230.

²⁰ Там же, с. 114—116, 132—143.

¹² Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 85, с. 141, 202.

¹³ Гревс И. М. В годы юности, с. 155.

¹⁴ Вернадский В. И. Хронология (материалы к «Пережитому и передуманному»), д. 31, лл. 51—52.

¹⁵ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 63, с. 296.

¹⁶ Там же, с. 255.

¹⁷ Там же, т. 85, с. 218.

¹⁸ Там же, т. 63, с. 270. А. М. Калмыкова принимала участие в народолюбивом движении, была тесно связана с группой «Освобождение труда» и пе-

в Московском университете в должности приват-доцента. Совместно с Вернадским в организацию помощи голодающим (сбор денежных пожертвований, устройство столовых, индивидуальная помощь некоторым особенно нуждающимся крестьянским семьям и т. п.) энергично включаются и другие члены братства — Д. И. Шаховской, А. А. Корнилов, Л. А. Оболянинов... Эта работа проходила в тесном контакте с Л. Н. Толстым и возглавляемой им группой энтузиастов.²¹

Деятельность российской интеллигенции по организации помощи голодающим крестьянам была с большим сочувствием и пониманием встречена в среде социал-демократии. Высоко оценил эту деятельность, в частности, Г. В. Плеханов.²²

В. И. Ленин, отмечая в согласии с общей оценкой Плеханова далекий от непосредственных задач классовой борьбы с самодержавием характер помощи голодающим крестьянам со стороны либерально-демократической интеллигенции, особо подчеркивал общечеловеческие, гуманные цели этой помощи. «Всякий, — писал он, — кто соприкасался так или иначе с публикой, направляющейся в голодные годы „кормить“ крестьян — а кто из нас не соприкасался с ней? — знает, что ее побуждало к этому простое чувство человеческого сострадания и жалости...»²³

Начало 1890-х годов в России было тяжелым во всех отношениях. К торже-

ству беспроблемной, казалось бы, политической реакции прибавились неурожай и голод, эпидемии холеры, разорение и вымирание крестьянских масс... И однако уже в тот период, давая оценку общественной значимости этих лет в жизни России, В. И. Вернадский приходит к оптимистическим выводам и прогнозам на будущее. Так, он пишет весной 1893 года: «Мне кажется, однако, что эти годы даром не прошли и что наблюдается усиление серьезного интереса к общественной жизни и возбуждение целого ряда идейных вопросов. То, что особенно тяжело давило — отсутствие идейности в обществе, — начинает спадать. Движение будет, кажется, очень отличное от ранее бывших 40-х и 60-х годов — хотя, конечно, довольно странно так предсказывать».²⁴ Несколько ранее к аналогичному, но еще более определенному и категоричному выводу приходит и Л. Н. Толстой. «Много я за нынешний год, — пишет он, — копясь во внутренностях народа и пытаюсь делать невозможное — помогать деньгами беде людской, многое я узнал, передумал и более всего проверил и подтвердил известное, а именно, что внешней беды нет, а все беды внутренние. Какая будет развязка, не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, — я уверен».²⁵

Ближайший ход событий полностью подтвердил справедливость этого предвидения. Именно с «голодных лет» в России начинается сначала постепенный, а затем все более ускоряющийся подъем оппозиционного движения, а с 1895 года в его развитии наступает самый глубокий за всю историю страны качественный поворот: революционное движение вступает в завершающий — пролетарский — этап борьбы с самодержавным строем.²⁶

²⁴ Письмо к Л. Ф. Пантелееву 15 марта 1893 года. ЦГАЛИ, ф. 1691, оп. 1, д. 123, лл. 5—6.

²⁵ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 66, с. 224 (письмо к Г. А. Русанову 31 мая 1892 года). «1891—1894 годы явились значительным этапом в жизни и творчестве Л. Толстого. Именно в эти годы он особенно ясно осознал социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы он пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может» (Опульская Л. Указ. соч., с. V). Сказанное может быть полностью отнесено и к молодому В. И. Вернадскому. Многочисленные дневниковые записи и письма этого периода убедительно говорят в пользу такого вывода.

²⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 93.

²¹ О деятельности в 1890-е годы Л. Н. Толстого и В. И. Вернадского и ближайших их соратников по оказанию помощи голодающим крестьянам и о контактах между ними см. подробнее: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 29, с. 86—172, 202—208, 215—230; т. 52, с. 43—44, 57, 59—60 и др.; Вернадский В. И. Новое бедствие. — Русские ведомости, 1905, 9 авг.; Корнилов А. А. Семь месяцев среди голодающих крестьян. М., 1893; Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих. — В кн.: Летописи Государственного литературного музея, кн. 2. М., 1938; Величкина Вера. В голодный год с Львом Толстым. — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1960; Опульская Л. Предисловие. — В кн.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 29, с. V—XVI; Вернадский Г. В. Братство «Приютино». — Новый журнал, 1969, кн. 95; Бирюков П. И. Указ. соч., с. 159—197, 303—308.

²² Плеханов Г. В. Соч., т. III. М.—Пг., 1924, с. 319, 320, 356.

²³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 322. См. также: Иванский А. Молодой Ленин. М., 1964, с. 639—648.

Размышления в связи с художественными произведениями Л. Н. Толстого. «Крейцера соната»

В первой половине 1892 года В. И. Вернадский прочитывает ряд художественных произведений Л. Н. Толстого. Очевидно, не без их влияния молодой ученый размышляет над некоторыми философскими и социально-этическими проблемами, о чем свидетельствуют два письма к жене, отправленные из Москвы в Полтаву. В первом из них Вернадский делится своими соображениями о такой, с его точки зрения, важной стороне образа жизни и поведения личности, которую он называет «гигиеной мысли».

«Какая важная вещь — гигиена мысли, — пишет Вернадский в одном из них. — Мне кажется, это важнее всего в жизни, потому что этим достигается стремление к гармонии и чувство гармонии созидает человеком этим путем. Надо не позволять себе думать о всем дурном, что пришлось сделать, нельзя мысль отвлекать исключительно в сторону личных, мелких делишек, когда кругом стоят густою стеною великие идеалы, когда кругом столько поля для мысли среди гармоничного, широкого, красивого — когда кругом идет гибель, идет борьба за то, что сознательно сочла своим и дорогим наша личность. Я даже стал набрасывать „Наброски о гигиене мысли“ — если что выйдет, пришлю тебе.

Я читаю Толстого — прочел его Севастопольские рассказы, военные очерки и теперь читаю „Крейцерову сонату“. Для меня встает вся его личность, по моему, удивительная в своей неизменности — и в мыслях о Севастополе и Кавказе, и в „Воине и мире“, и всюду в новых произведениях — это все тот же человек, чуткий, сильный. Основная черта — боль вследствие неимения глубокой веры в цельность жизни, вдумчивость и прочее». „Крейцера соната“, думаю (не кончил еще) сильное, замечательное произведение.²⁷

²⁷ Письмо к Н. Е. Вернадской 27 мая 1892 года. Архив АН СССР, ф. 518, оп. 7, д. 39, лл. 72—73. Литографированный оттиск «Крейцеровой сонаты», помеченный 1892-м годом, хранится в личной библиотеке В. И. Вернадского в мемориальном Кабинете-музее его имени (при Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР). Как известно, повесть была завершена Л. Н. Толстым в 1889 году, но длительное время находилась под цензурным запретом. Только после настойчивых хлопот (вплоть до личного свидания с царем) С. А. Толстой удалось добиться разрешения на опубликование, и «Крейцера соната» увидела свет в июне 1891 года в 13-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого».

Второе письмо более тесно связано с содержанием «Крейцеровой сонаты», основной темой которой, как ее определял сам Л. Н. Толстой, являлась «тема половой любви».²⁸ Эту же тему затрагивает в своем письме и В. И. Вернадский, переходя затем к сжатому изложению общего впечатления, сложившегося у него после прочтения «Крейцеровой сонаты». В частности, он пишет:

«Я вообще не понимаю деления любви на какую-то „чувственную“ — животную, и на какую-то возвышенную — идеальную. Мне кажется, вообще представление о чувственном, животном у нас является чем-то, право, комичным. Несомненно, бывают иногда болезненные проявления чисто чувственной страсти, такое направление даже воспитывается нашей обычной жизнью, — как, например, той же проституцией, той же светской „барышнической“ жизнью и т. п. Но в существе проявляется в жизни совсем иное, и когда мы говорим о любви, то мы видим проявление иного. Неужели это только проявления чисто „животного“ элемента — все произведения поэзии, скульптуры, живописи, музыки, вызванные „чувственной“ любовью? Наконец, вся жизнь молодых личностей, которые впервые сжигаются вместе и переживают во всем новое, неожиданное?

Все дело лишь в том, насколько вообще высока личность каждого из любящих и насколько они равны между собою. Но совершенно то же мы видим всюду: в дружбе, в общем разговоре, в общем времяпрепровождении и т. п. всюду низменность природы или малая культура наложат все тот же отпечаток пошлости. Мне кажется, пора не смотреть на „тело“ как на что-то презренное, и пора избавиться от узкого христианского (или монашеского) деления на дух и тело. Настоящая душевная жизнь, настоящая идейная сторона жизни состоит именно в использовании лучших сторон и тела и духа.

Кончил я „Крейцерову сонату“. Думаю, что много таких примеров в жизни. Но вот, что мне показалось и что ярко видно во всем произведении: 1. Писал старик, который забыл или потерял то чувство поэзии любви, которое «большей» частью есть в человеке, и увидел и вспомнил одну формальную сторону и 2. Все мотивы поступков выдуманы *post factum* и, что составляет всю силу произведения, несомненно должны были быть выдуманы Позднышевым — малообразованным (но много начитанным). Понимаешь — видно, что

²⁸ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 64, с. 235 (письмо к Г. А. Русанову 12 марта 1889 года).

могло дать смысл факту для такого человека».²⁹

Таким образом, при общей высокой оценке «Крейцеровой сонаты», В. И. Вернадский полемизирует с отстаиваемой Л. Н. Толстым в этом произведении аскетически-монашеской концепцией любви и брачных отношений (на эту тему много и горячо рассуждает главный герой повести Позднышев). Насколько верно сумел нащупать Вернадский основную слабость философско-

этической концепции «Крейцеровой сонаты», ее ахиллесову пятю, видно из того, что сам Толстой, сомневаясь в жизнеспособности этой концепции, пытался подойти к ее оценке с аналогичных, по существу, позиций. Так, он писал по поводу «Крейцеровой сонаты»: «Мысли, выраженные там, для меня самого были очень странны и неожиданны, когда они ясно пришли мне. И иногда я думал, что не оттого ли я так смотрю, что я стар».³⁰

²⁹ Письмо к Н. Е. Вернадской 4—5 июня 1892 года. Архив АН СССР, ф. 518, оп. 7, д. 39, лл. 82—83. См. также: оп. 2, д. 5, лл. 32—33, 52; оп. 7, д. 39, лл. 128, 141.

³⁰ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 65, с. 64 (письмо к Д. А. Хилкову 6 апреля 1890 года).

Встречи в Москве в 90-е годы

Переезд в Москву и активное участие в общественной жизни способствовали более близкому знакомству В. И. Вернадского с Л. Н. Толстым, его философскими взглядами и размышлениями. Со своей стороны, Толстой симпатизировал Вернадскому и его товарищам по братству, с которыми ему приходилось сталкиваться. В деле просвещения народа, борьбы с голодом и крестьянской нуждой Толстой видел в молодой, энергичной интеллигенции своих сподвижников и единомышленников.³¹

Иногда Толстой запросто, на правах старого знакомого, знавшего еще отца Владимира Ивановича, заходил на московскую квартиру Вернадских. Поводом для таких посещений было также желание Толстого взять на время отдельные произведения А. И. Герцена, творчеством которого писатель очень увлекался.³²

Памятная встреча произошла 29 апреля 1893 года. В этот день Вернадский записывает в дневнике: «Был у нас Л. Н. Толстой — с ним продолжительный разговор об идеях, науке etc. Он говорил, что его считают мистиком, но скорее я мистик. И я бы им быть был бы рад, мне мешают скептицизм.

Я думаю, что в учении Толстого гораздо более глубокого, чем мне то вначале казалось. И это глубокое за-

ключается: 1) основой жизни <должно быть> искание истины и 2) настоящая задача состоит в высказывании этой истины без всяких уступок. Я думаю, что последнее самое важное, и отрицание всякого лицемерия и фарисейства и составляет основную силу учения, <так> <как> тогда наиболее сильно проявляется личность и личность получает общественную силу.

Толстой> анархист. Науку — искание истины — ценит, но не университет» etc.

... Толстой гово<рил> о Герцене, кот<орого> брал у нас — <и> кот<орый> на него произвел сильное впечатление («Это треть всей русской литературы», по его словам».³³

Отголоски этой беседы встречаются в дневниковой записи 1 мая того же года. В. И. Вернадский обсуждает с женой и известным либеральным деятелем И. И. Петрункевичем вопросы, затронутые во время встречи с Толстым: «С Наташей — <разговор о> Герцене. „С того берега“ etc. ... Вечером <был> Петрункевич — разговор о Герцене, Толстом».³⁴

В октябре 1941 года, работая над материалами к «Пережитому и передуманному», В. И. Вернадский просматривает дневники 90-х годов. Вспоминая о встрече с Л. Н. Толстым в конце апреля 1893 года, он записывает: «Может быть», неожиданное посещение меня Толстым» (он зашел утром) было ответом на мое посещение».³⁵

В начале 1890-х годов встречи В. И. Вернадского и других его товарищей по братству с Л. Н. Толстым происходили также на частных собраниях москов-

³¹ Шаховской Д. И. Толстой и русское освободительное движение. — Минувшие годы, 1908, № 9, с. 313.

³² «Зиму 1887—1888 гг. Л. Н. Толстой» проводит в Москве: он с увлечением читает Герцена» (Бирюков П. И. Указ. соч., с. 84). В России ряд произведений А. И. Герцена тогда находился под запретом. В. И. Вернадскому удалось приобрести во Франции 10-томное заграничное издание его сочинений в период пребывания в научной командировке в 1888—1890 годах (Вернадский В. И. Из воспоминаний. 1943, л. 24).

³³ Вернадский В. И. Дневники. 1890—1894 гг. Архив АН СССР, ф. 518, оп. 2, д. 5, л. 50.

³⁴ Там же, л. 50 об.

³⁵ Вернадский В. И. Хронология (материалы к «Пережитому и передуманному»), д. 32, л. 78.

ской интеллигенции, на которых рассматривались вопросы о мерах по оказанию помощи голодающим крестьянам. Чаще всего эти собрания проходили на квартире И. И. Петрункевича, особенно сблизившегося после своего переезда в Москву с Вернадскими, Ольденбургскими, Д. И. Шаховским.³⁶

Об одном из таких собраний рассказывает в своих воспоминаниях А. А. Корнилов (рукопись хранится в фонде академического архива В. И. Вернадского).

«Первое знакомство мое с Львом Николаевичем, — пишет А. А. Корнилов, — произошло на большом собрании различных общественных деятелей, собранном в квартире Ивана Ильича Петрункевича, в тот самый момент, когда я, при переезде своем из Воронежской в Тульскую губернию, заезжал на несколько дней в Москву. Как сейчас помню это собрание и присутствовавших на нем, кроме хозяев дома Петрункевичей, Д. И. и А. Н. Шаховских (Анна Николаевна, жена Д. И. Шаховского, — *И. М.*), В. И. и Н. Е. Вернадских, А. И. Чупрова, Владимира Сергеевича Соловьева, В. А. Гольцева, Г. А. Джаншиева, И. А. Стебута, И. И. Иванюкова, Д. С. Старынкевича, Юлию Львовну, Л. Л. и В. Л. Любенковых, сыновей И. И. Петрункевича: Ивана, Владимира

и Александра, Павла Николаевича Миллюкова и многих других лиц — всего было более 50 человек.

Лев Николаевич прибыл на это собрание довольно поздно, когда почти все уже были в сборе. Мы его поджидали. Я хорошо помню, как он вошел с мороза, в полушубке, бодрой и ускоренной походкой. Быстро сняв с себя полушубок и оставшись в обычной своей блузе, он скорыми шагами вошел в залу, приветливо здороваясь со всеми направо и налево. Помню, как он тут же, познакомившись с женою Дмитрия Ивановича <Шаховского> Анной Николаевной и, видимо, желая подчеркнуть свою особую приязнь к ее мужу, остановился около нее <на> несколько минут, оживленно с нею беседуя. Помню еще, как он так же ласково поздоровался с дочерью Ивана Ильича и заговорил с ней о ее выставленном тогда на передвижной выставке портрете, написанном другом Толстого и вместе с тем другом Петрункевичей Николаем Николаевичем».³⁷

³⁷ Корнилов А. А. Воспоминания. 1917. Архив АН СССР, ф. 518, оп. 5, д. 68, л. 75. См. также: Альбом художественных произведений Николая Николаевича Ге. М.-СПб., 1903, л. 92 (Портрет Н. И. Петрункевич, 1893 г.); Петрункевич И. И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания. Прага, 1934, с. 276; Розенблом Н. Г. Лев Толстой в неизданной переписке и воспоминаниях современников. — Русская литература, 1960, № 4, с. 160—161.

³⁶ Грабарь В. Э. Воспоминания о В. И. Вернадском (без даты). Кабинет-музей В. И. Вернадского Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР; Шаховской Д. И. Указ. соч., с. 314—315.

Спор о личном бессмертии. Три стадии развития человека

Памятная встреча произошла в конце 1893 года. 19 декабря В. И. Вернадский и Д. И. Шаховской посетили Л. Н. Толстого на его московской квартире в Хамовниках. На следующий день Н. Е. Вернадская записала со слов мужа содержание состоявшейся беседы.

«Владимир и Дмитрий Иванович были вчера у Л. Н. Толстого. Разговор зашел о религии и о вере Владимира в личное бессмертие.

Лев Николаевич сказал, что совсем не чувствует потребности в этой вере. Он разделяет развитие людей на три стадии: в первой центром является собственная личность человека, во второй этим центром является семья, общество, даже человечество, в третьей — бесконечность и сознание своей связи с ней. По мнению Льва Николаевича, люди, выдвигающие личность как центр жизни и считающие себя стоящими на третьей стадии развития, ошибаются, так как они в действительности еще продолжают находиться на первой. Они, быть может, умом и постигают бесконечность мира или его

первопричину и связь с ним, но это у них еще не стало чувством жизни, поэтому невозможно передать это чувство или сознание тем, у кого этого чувства нет, — умом, теоретически его не поймешь и не объяснишь. Нужно реально чувствовать свою связь с бесконечным миром и любить его. Так Лев Николаевич понимает религиозное чувство.

Мысль о смерти ярко выдвигает перед человеком то, чем он дорожит. Если он любит только себя и знает, что ему недолго осталось жить — он будет стараться наслаждаться жизнью; если он любит больше всего семью, общество, человечество — он положит душу свою за них; если же он любит бесконечный мир — то он посвятит себя исканию истины и стремлению познать ее, стремлению познать волю творца и исполнить ее. Он часто повторял, что стоит на строго реальной почве, на фактах, на действительности, не уходит в метафизику, которую считает вредной.

Когда Владимир ему сказал, что он, собственно, не может опровергнуть бессмертия души, то он ответил, что

вовсе об этом и не задумывается, что ему этого и не нужно, что он точно так же не постарается опровергать это, как если бы ему сказали, что в его саду гуляет 17 слонов, что это совсем не важно для смысла жизни. Если любишь бесконечный мир, то смерть отдельного человека не является чем-то важным, «потому что» то, что любишь, продолжает существовать и после твоей смерти бесконечно. Только сам человек перестает сознавать это. Конечно, если нет реальной любви и чувства бесконечности, то смерть тяжела. Если же это живое сознание и широкое чувство бесконечности живо в душе, то смысл жизни не утрачивается, несмотря на существование смерти и на отсутствие личного бога. Если же нет этого чувства бесконечности, то могут быть только два других выхода: вера в личного бога или пессимизм, отчаяние, сознание бессмысленности всего — раз существует смерть.

Дмитрий Иванович с этим вполне согласился. По его мнению, в каждом человеке есть бесконечное, «потому что» он не создан внезапно, а существовал вечно, но его сознание конечно, «потому что» оно началось и кончится, но в его мыслях есть элементы бесконечного и может быть любовь к бесконечному и сознание своей связи с ним. Владимир же считал разделение Льва Николаевича узким. По его мнению, бесконечность можно понимать различно. Это, во-первых, — пространство, Вселенная, во-вторых, — мир сознания, и с этой точки зрения личность бесконечна и бессмертна, «потому что» весь мир — плод ее сознания и творчества. Только в личности проявляется сознание.³⁸

Приводимые здесь философские рассуждения Л. Н. Толстого о трех стадиях развития человека непосредственно перекликаются с «замечательной записью», по выражению П. И. Бирюкова, сделанной писателем в дневнике 31 октября 1889 года.³⁹ «Человек переживает 3 фазиса», — пишет Толстой и далее излагает свое понимание этих фазисов, по содержанию совпадающее в основном с характеристикой трех стадий развития человека, данной им в беседе

³⁸ Вернадский В. И. Хронология (материалы к «Пережитому и передуманному»), д. 32, лл. 77—79.

³⁹ Бирюков П. И. Указ. соч., с. 110.

с В. И. Вернадским и Д. И. Шаховским 19 декабря 1893 года.⁴⁰

Однако запись в дневнике 31 октября 1889 года является чрезмерно личностной, обращенной главным образом «на себя», в ней явно проскальзывают автобиографические мотивы. Не случайно сам Л. Н. Толстой по поводу этой записи отмечал в письме к П. И. Бирюкову, что для него «это слишком задушевное, не сложившееся еще вполне, не выразившееся душевное движение».⁴¹ В ближайшие годы Л. Н. Толстой продолжал размышлять над этими коренными вопросами смысла человеческого бытия, о чем свидетельствуют письма и дневники данного периода.⁴² При этом его раздумья принимают все более обобщенно-философский характер, становятся все в большей степени объективированными, освобождаясь от сугубо личных воспоминаний и переживаний. По-видимому, к концу 1893 года эта тенденция достигает своей завершающей стадии, о чем и свидетельствует приведенная выше запись беседы с Толстым.

Возвращаясь к этой беседе, 5 октября 1941 года В. И. Вернадский записывает: «Я совсем забыл об этом разговоре с Толстым и что я у него был, и вчера это случайно вскрылось... Я знал, что одно время я верил в личное бессмертие и что в моих письмах есть на это указания. Но уже давно — особенно после моего охвата жизни как планетного, космического явления и создания понятия живого вещества, т. е. после 1916 года, для меня вопрос о личном бессмертии «ставится» как вопрос научного опыта.

Для меня выяснилось: 1) что человек — личность — тоже планетное явление (поофера), 2) что в мире, космосе, в основе — вечность во времени и в пространстве-времени, 3) что «существует» только один путь познания истины: коллективно, поколениями построенного научного — не философского и не религиозного — ее искания. Одиночные искания истины безнадежны».⁴³

⁴⁰ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 50, с. 170—172.

⁴¹ Там же, т. 64, с. 323 (письмо к П. И. Бирюкову 1 ноября 1889 года).

⁴² См., например: там же, т. 50, с. 221—224; т. 52, с. 94—95, 101—103.

⁴³ Вернадский В. И. Хронология (материалы к «Пережитому и передуманному»), д. 32, л. 79.

В начале века

Наступившее XX столетие принесло Л. Н. Толстому тяжелые переживания. В начале 1901 года он опасно заболел. Болезнь совпала с разнуданной травлей писателя в черносотенной печати, последовавшей вслед за отлучением его в конце февраля от церкви. Вскоре

после этого события Толстой на его московской квартире навестили Д. И. Шаховской, В. И. Вернадский, А. А. Корнилов. Хотя Толстой, в связи с болезнью, никого не принимал, но для этих посетителей сделал исключение. Разговор зашел об отлучении Толстого

и об отношении к этому различных слоев общества. Толстой резко обрушился на либералов. «Спор об этом принял общий характер, — вспоминал А. А. Корнилов. — Заспорили все окружающие Толстого, но мы, чувствуя, что взволновали его, стали прощаться...»⁴⁴

Болезнь Толстого прогрессировала, что вызывало серьезное беспокойство всех, кто его знал и любил.⁴⁵ От своих друзей он получает много писем со словами ободрения и сочувствия. С аналогичным письмом обратился к Толстому летом 1901 года В. И. Вернадский, находившийся с семьей на отдыхе в Полтаве. Он писал:

«Глубокоуважаемый Лев Николаевич, позвольте от моей жены и меня выразить Вам чувство нашего глубокого волнения при вести о Вашей болезни и чувство сердечной, искренней радости нашей, когда мы узнали о ее благополучном течении. Нам редко приходится видеть Вас, но мы сохраняем самое сильное и дорогое нам впечатление от всякого свидания с Вами, и с глубоким, искренним сочувствием всегда следим и считаемся с мнением Вашим и Вашей деятельностью. Хотя мы во многом придерживаемся других взглядов и мнений, чем какие охватывают Вас, — но не бесследно прошли и проходят в нашей духовной жизни Ваши стремления высказать правду, как Вы ее понимаете. С чувством горячей любви и искреннего, самого высокого уважения привыкли мы издавна относиться к Вам, и потому я решаюсь послать Вам эти несколько строк, выражающих наше чувство. Мы верим и надеемся, что еще долго дано Вам будет жить среди нас — Ваша мысль и Ваша жизнь так нужна всем, желающим искренно понять Истину, которая Вам так дорога.

Ваш В. Вернадский».⁴⁶

⁴⁴ Цит. по: Розенблюм Н. Г. Указ. соч., с. 162.

⁴⁵ См. подробнее: Буланже П. А. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 годах. — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. II, с. 157—174; Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV. М.—Пг., 1923, с. 38—66.

⁴⁶ Письмо к Л. Н. Толстому 9 июля 1901 года. Отдел рукописей Государственного литературного Музея Л. Н. Толстого. Это письмо, как и другие цитируемые в настоящей статье архивные материалы, было обнаружено нами при подготовке книги «В. И. Вернадский — человек и мыслитель» (М., «Наука», 1971). Полный текст его приводится С. Д. Политыко в публикации «О Толстом. Из неизданного» (Природа, 1978, № 9, с. 10). В комментариях автор справедливо отмечает, что «в „Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого“

В преддверии приближающейся революционной бури самодержавие стремилось расколоть ряды оппозиционного движения, в частности посредством разжигания национальной розни. Вместе с развитием сил революции происходила консолидация крайне правых черносотенных элементов. Воинствующий антисемитизм был написан на их знамени. Он прорвался наружу в виде еврейских погромов, волна которых прокатилась по ряду городов и селений России весной 1903 года. Особенно жестоким и бессмысленным был разгул темной толпы «христиан», наусаживаемой антисемитами и черносотенцами во время еврейского погрома в Кишиневе, начавшегося 6 апреля. В ответ на кишиневские события группа видных московских деятелей науки и культуры, в их числе Л. Н. Толстой и В. И. Вернадский, посылают городскому голове Кишинева коллективную телеграмму протеста, окончательный текст которой был отредактирован Толстым.⁴⁷

В период революционных потрясений 1905—1907 годов В. И. Вернадский в качестве члена Государственного совета от Академической курии (Академии наук и университетов) ведет борьбу за всеобщую амнистию и законодательное запрещение смертной казни. Ряд его публицистических статей этого времени, направленных против разгула в стране кровавого белого террора, перекликается со знаменитым «Не могу молчать» Л. Н. Толстого.⁴⁸

В 1908 году большая группа известных политических и общественных деятелей, представителей науки и культуры обратилась с воззванием «К русскому народу», призывая развернуть борьбу против правительственного террора, добиться

факт личного знакомства В. И. Вернадского и Льва Николаевича не учтен» (там же, с. 7—8), имея в виду, очевидно, фундаментальный труд Н. Н. Гусева (т. I—II. М., 1958—1960). Однако, цитируя не по оригиналу, а по «выпискам», хранящимся в Отделе рукописей Государственного литературного Музея Л. Н. Толстого, две выдержки из дневниковых записей В. И. Вернадского от 29 апреля 1893 года и 10 марта 1942 года (там же, с. 7—8), С. Д. Политыко утверждает, что якобы «свои дневниковые записи В. И. Вернадский делал нерегулярно (?) на карточках (?); дневника в обычном понимании он не вел (!)» (там же, с. 7), а это совершенно не соответствует действительности.

⁴⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 54, с. 513; т. 74, с. 111.

⁴⁸ Вернадский В. И. 1) Смертная казнь. — Речь, 1906, 10 июля; 2) Патриотизм и черная сотня. — Новь, 1906, 1 дек.; 3) Смертная казнь. — Там же, 1907, 11 янв.; 4) Когда же конец? — Там же, 1907, 23 февр.

безусловного запрещения смертной казни и с этой целью создать «Всероссийскую лигу борьбы против смертной казни имени Л. Н. Толстого». Среди подписавших это воззвание были, в частности, И. А. Бодуен де Куртене, В. В. Вересаев, В. И. Вернадский, А. К. Глазунов, И. А. Кабуков, В. И. Качалов, В. Г. Короленко, В. Ф. Комиссаржевская, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, В. И. Немирович-Данченко, С. Ф. Ольденбург, Г. В. Плеханов, И. Е. Репин, Л. В. Собинов, С. И. Танеев, О. Л. Книппер-Чехова, А. С. Фаминцын и другие.⁴⁹

В ноябре 1910 года Л. Н. Толстого не стало... Но влияние его мысли и исканий продолжается. 9 августа 1911 года В. И. Вернадский записывает: «Все, что говорит Толстой о науке, целиком может

⁴⁹ Вернадский В. И. Материалы разных лет. Архив АН СССР, ф. 518, оп. 4, д. 136.

быть приложено к религии. Представим себе человечество его идеала — что же дальше? Что будет являться содержанием этой жизни? Как можно остановить вечное движение человеческого духа, раз самоуглубление является одной из основ этого учения? Если искать рамки в себе — то неизбежно возродится научная мысль, художественное творчество, так как они плоть от плоти человеческой личности. Можно разделить их лишь в тех случаях, когда мерилом не является свободная человеческая личность.

С другой стороны, сложность жизни неизбежно требует научной борьбы с ее следствиями.

...Толстовство может существовать лишь на фоне научной работы — и является полезным коррективом для отдельных людей».⁵⁰

⁵⁰ Вернадский В. И. Записная книжка. 1911. Там же, оп. 1, д. 161, л. 98.

Последние записи

В 1941—1943 годах В. И. Вернадский вместе с большой группой академиков находился в эвакуации в живописном курортном местечке Боровое, расположенном на территории Казахской ССР. Здесь он интенсивно работает над своей итоговой монографией, «книгой жизни», как он ее называл, «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» (опубликована в 1965 году), а также подбирает и обрабатывает материалы к автобиографической книге «Пережитое и передуманное». В Боровом он вновь перечитывает «Анну Каренину», «Смерть Ивана Ильича» Л. Н. Толстого, а в связи с работой над «Пережитым и передуманным», разбирая материалы личного архива, восстанавливает в памяти обстоятельства своих встреч с писателем в 1890-е годы, о чем свидетельствует ряд записей этого периода, часть из которых уже приводилась выше.

Приведем здесь еще одну, наиболее полную запись, датированную 10 марта 1942 года:

«Занимался с Аней⁵¹ — симметрия.

Ясно становится, что вернуться в Москву весной едва ли будет возможно — мы очень неполно знаем о происшедшем и о происходящем на фронте.

Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Юбилейное издание. 1938 г. Том 83. Письмо № 296, стр. 475. 1 февраля 1885 г. Ясная Поляна:

«...Как ужасно тяжело жить без любви, и еще тяжелее умирать. Я, когда один, всегда яснее, живее представляю себе смерть, о которой думаю всегда, и

когда я представил себе, что умру не в любви, то стало страшно. А в любви только можно жить счастливо и не видеть, как умрешь...»⁵²

Просматривал сейчас юбилейное издание «полного собрания сочинений Л. Н. Толстого», которое имеется в здешней библиотеке, — отчасти как старшего современника, с кругом людей которого приходилось сталкиваться и с влиянием которого приходится считаться. Для меня Толстой «близок» — благодаря тому, что Д. И. Шаховской был к нему близок, что к нему были близки Чертков, Бирюков, Калмыкова — наш кружок 1880-х годов. «Были близки» Петрункевичи и особенно Софья Владимировна Папина.⁵³

Я как раз как-то не думаю о смерти, хотя мне сейчас скоро 79 лет. И нет у меня страха смерти.

Из сохранившихся записей моих встреч с Толстым. (Наташа записала). Оказалось, что я раз был у Толстого в Москве и с ним вел спор о бессмертии души, которое я тогда защищал — а Толстой отрицал. Я помню, когда — в это же время — Толстой зашел к нам, в голланд, кажется, 1891 г., и помню разговор с ним. Он говорил И. И. Петрункевичу,

⁵² Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 83, с. 475—476 (письмо к С. А. Толстой 1 февраля 1885 года).

⁵³ Графиня С. В. Папина, либеральная общественная деятельница, находившаяся в дружеских отношениях с Л. Н. Толстым, В. И. Вернадским и их семьями. В ее имении Гаспра на южном берегу Крыма Л. Н. Толстой жил с сентября 1901 года по июнь 1902 года во время своей болезни.

⁵¹ Анна Дмитриевна Шаховская, дочь Д. И. Шаховского, личный секретарь В. И. Вернадского в последние годы его жизни.

что я симпатичный — тогда я составлял отчет о помощи голодающим.⁵⁴

Страшны страдания — страшно такое умирание, как «у» моего отца. Но не смерть сама по себе.

... Я думаю, что возможно, что не все исчезает — «не исчезают» отдельные изотопы, которые материально отличают материальную субстанцию живого от косной материи — но тут личность не причем».⁵⁵

* * *

В лице Л. Н. Толстого жизненные обстоятельства столкнули В. И. Вернадского с человеком, во всем творчестве и деятельности которого, несмотря на блуждания и ошибки, ярко и глубоко воплотилось разумное гуманистическое начало. Для Вернадского Толстой был не только гениальным писателем — одновременно он являлся аккумулятором невидимой, но самой мощной и действенной «энергии» сознания, великим представителем тех, которых ученый называл «несущими знамя сознания».⁵⁶ Толстой для Вернадского являл собою прекрасный пример творчески-преобразующей роли сознательно начата в человеческой истории, т. е. оказался воплощением того, что для Вернадского субъективно было самым дорогим, что составляло фундамент его мировоззрения, а в последние годы жизни ученого воплотилось в созданном им учении о ноосфере.⁵⁷

Л. Н. Толстого и В. И. Вернадского глубоко роднит то, что оба они — каждый по-своему и разными путями, но всем своим творчеством в искусстве, науке, философии, публицистике, всей своей деятельностью и образом жизни — утверждали основания мировоззрения, принципиально отличного от мировоззренческих систем прошлых историче-

ских эпох по своей философской направленности и социально-этическим идеалам, того мировоззрения, в котором вторая и третья «стадии развития человека», в их понимании Толстым, гармонически сливаются в единое целое и суть которого можно выразить определением — антропокосмизм.⁵⁸ Вот почему как к Толстому, так и к Вернадскому в равной мере может быть приложен нарисованный Н. Г. Холодным «портрет антропокосмиста».

«Существенно отличаются антропоцентризм и антропокосмизм, — пишет Н. Г. Холодный, — по характеру внушаемых ими основных побуждений к деятельности как интеллектуальной, так и физической. Антропоцентрист работает главным образом для себя, антропокосмист — для человечества и для Космоса. Для первого весь смысл труда в увеличении благосостояния личного или той небольшой ячейки, которую он считает „своей“ например, семьи. Его воля и ум всегда работают центростремительно. Для второго главное в труде — его значение для общества, человечества, Вселенной. Все его силы направлены, по преимуществу, центробежно. Себе он оставляет, как высшую награду, радость творчества, сознание исполненного долга, уверенность в том, что его усилия в какой-то мере, хотя бы и ничтожной, способствуют движению вперед его народа и всего человечества, а, стало быть, и эволюции космического целого...»⁵⁹

Для счастья грядущих поколений трудились Л. Н. Толстой и В. И. Вернадский. И не случайно поэтому столь современным и жгуче злободневным является оставленное ими бесценное творческое наследие, в котором будущее открывает новые, нами пока невидимые, стороны и грани.

⁵⁴ Впервые этот термин был предложен учеником и сотрудником В. И. Вернадского, крупным советским естествоиспытателем, академиком АН УССР Н. Г. Холодным в изданной в 1944 году в Ереване книжке «Мысли дарвиниста о природе и человеке» (второе ее издание под несколько измененным названием вышло в 1947 году в Киеве).

⁵⁹ Холодный Н. Г. Мысли натуралиста о природе и человеке. Киев, 1947, с. 54. Нетрудно видеть, что «антропоцентризм» и соответствующий ему тип «антропоцентриста» в интерпретации Н. Г. Холодного фактически совпадают с «первой стадией развития человека» в ее понимании Л. Н. Толстым.

⁵⁴ Отчет помещен в кн.: Корнилов А. А. Семь месяцев среди голодающих крестьян, М., 1893. Приложение, с. 1—36 (совместно с В. В. Келлером и А. А. Корниловым).

⁵⁵ Вернадский В. И. Дневники. 1941—1943. Архив АН СССР, ф. 518, оп. 2, д. 21, лл. 67, 68 об.

⁵⁶ Вернадский В. И. Из записок, 1892. Там же, оп. 1, д. 215, л. 3.

⁵⁷ См.: Вернадский В. И. 1) Химическое строение биосферы Земли и ее окружения, М., 1965; 2) Размышления натуралиста, кн. 2. Научная мысль как планетное явление, М., 1977.

К. Н. Григорьян

ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Летние месяцы 1927—1929 годов А. Белый проводил на Кавказе, путешествовал по горному краю, обогащался впечатлениями, много размышлял... Поездки по Кавказу оставили значительный след и в его выступлениях в печати. В 1928 году были им опубликованы путевые записки («Кавказские впечатления») и очерк «Армения».¹ В том же году была издана книга А. Белого «Ветер с Кавказа» (М., 1928).

Возвратившись с Кавказа в Кучино,² А. Белый в письмах к Р. В. Иванову-Разумнику делился своими впечатлениями от поездки по Армении: «...Окинув ретроспективно истекшие 4 месяца, — писал он 30 августа 1929 года, — я понял, что в этом году наиболее сильные впечатления дала Армения; хотя мы просидели три с лишком недели в Эриване, однако и Эривань, и 3 поездки в окрестности... глубочайше задели: задели — памятники древности... взволновала старина Армении, особенно зодчество ее: и зрительно и познавательно... Поездка в ущелье Гехарт³ (и путь, и ночь в монастыре, и природа, и воздух места) живет как очень значительное переживание...»⁴

К Грузии А. Белый питал особые симпатии. В беседе с грузинскими поэтами он назвал ее даже своей родиной. Вспоминая отца, известного математика Н. В. Бугаева, свое детство, он писал: «...Воскресли рассказы отца; ведь он родился под Тифлисом; любил Грузию и все рассказывал о каком-то Чавчавадзе,⁵ с которым дружил дед; представьте: от хозяйки Мейерхольдов (очень культурная армянка) я услышал именно об этом самом Чавчавадзе; дуде деда; и казалось, что воскресло раннее детство, отец, рассказывающий о Грузии, о деду, о Чавчавадзе. И стало грустно, но — светло».⁶

А. Белый путешествовал по Грузии, побывал в Батуми, Цагвери, Бакуриани, «попытался взойти» на живописную вершину Цхра цхаро (Девять родников). Некоторое время он жил в Коджорах (в 18 километрах от Тбилиси), где зани-

мался живописью «с яростью и самозабвением», пытаясь передать на бумаге свои цветовые ощущения, «коджорские колориты» (с. 237).

Своим недолгим пребыванием в Тбилиси А. Белый был весьма доволен, где нашел он близких по духу и творческим устремлениям людей, где встретили его тепло и радушно. «...В Тифлисе сошелся с группой грузинских поэтов, — писал А. Белый 12 августа 1927 года в письме к Р. В. Иванову-Разумнику, — люди милые, интересные, культурные; меня очень тронули 1) жаркой любовью к Пушкину, Лермонтову и др. нашим классикам, 2) ощущением своей преемственности и связью с символизмом... Брюсова, Блока, меня здесь знают, часто трогательно любят; словом: в Тифлисе мы с К. Н.⁷ неожиданно попали совсем в свою среду» (с. 234).

А. Белый подружился с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе — основателями содружества грузинских поэтов-символистов «Циспери канцеби» («Голубые роги»), возникшего в 1915 году под влиянием западноевропейского (французского) и русского символизма. «Более всего меня тронуло в „Голубых рогах“ то, — писал А. Белый, — что они, будучи талантистыми поэтами, еще просто хорошие, честные, сердечные люди...» (с. 234).

Для писателей Кавказа А. Белый был «посланником» русской литературы. Так его воспринимали и в Армении, и в Грузии. «Как будто после Вас, — писал Т. Табидзе А. Белому, — мы во второй раз родились для поэзии. А до этого пребывали в восточной лени и омархайизме, если в этом и есть поэзия, все же она не одухотворена страданьем мысли, чем и мы, и весь мир обязаны русской поэзии».⁸

В грузинской столице А. Белый вместе с женой Клавдией Николаевной жил у В. Э. Мейерхольда. А. Белый тепло пишет об этой встрече, о замысле постановки на сцене своей исторической эпопеи «Москва».

Вид города, его веселый шум, пестрый состав населения — все это было для А. Белого ново, непривычно, ярко. Вечерами он бродил по тихим улочкам Тбилиси, останавливался у открытых окон, откуда доносились звуки музыки Бетховена, Шумана, Листа. Ярко и своеобразно воспринимал А. Белый и красоту древнего города. «...Над Тифлисом мне открылся Врубель, — писал он, — вся его техника — почвы Тифлиса; К. Н. гениально выразилась, что перья врубелев-

¹ Красная новь, 1928, № 4, с. 73—143; № 8, с. 214—258.

² Кучино — поселок в 22 километрах от Москвы (по Горьковской железной дороге).

³ Гехарт, или Айрванк, — памятник архитектуры XII—XIII веков. Находится в 38 километрах от Еревана.

⁴ Литературная Армения, 1967, № 1, с. 79, 81.

⁵ Александр (?) Чавчавадзе (1784—1846).

⁶ Дружба народов, 1966, № 2, с. 233 (далее ссылки на этот журнал приводятся в тексте).

⁷ Клавдия Николаевна Васильева-Бугаева (1886—1970) — жена А. Белого.

⁸ Табидзе Тициан. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964, с. 239.

ских ангелов, павлиньи хвосты орнаментов — просто зарисовки земель, растрек которых образует правильные квадратики, как ... квадратные мазки кисти Врубеля. И очень над Тифлисом стал появляться Демон у обоих...» (с. 233).

Образ Демона на Кавказе буквально преследовал А. Белого. Он не раз возвращался к нему при путешествии по Военно-Грузинской дороге. Беспокойное воображение рисовало целые картины с характерным мирозерцанию А. Белого мистическим звучанием. «Никто не отметил, — писал он, — что Дарьяльское ущелье — сплошной готический портал (поздняя готика, «style flamboyant»⁹), что разблеск колоритов камней — радуга, разбитые крылья павших существ; и Демон Врубеля—Лермонтова взвизгивает над ним, что ничего мрачного и темного в нем нет, — наоборот: много светлого, радужного, что оно — культура, и сложено из гигантских „земляничных листиков“; не понимаю Пушкина, отметившего „ужасность“ его; оно „ужасно“ в другом смысле: „ужасно красиво“, как говорили некогда в провинции» (с. 233).

М. Горький характеризовал личность А. Белого как «беспокойного деятеля словесного искусства, непрерывно ищущего новых форм изображения мироощущений».¹⁰ Эта особенность личности поэта-символиста сказалась в его письмах, в попытках передать свои «мироощущения» при созерцании природы горного края. Она давала ему богатую пищу для поэтических раздумий. «Мироощущение» А. Белого крайне субъективно, но ярко, глубоко. В образе Кавказа он видел не «дикую природу», а «старость культуры», «прапракультуру» (с. 235). Он выражал одновременно и восторг, восхищение, и удивление, что никто ничего подобного не заметил. Даже Пушкин и Лермонтов «проглядели», не «узрели» «лик» Казбека. «Ни у кого ничего про Казбек, — писал А. Белый, — он — благой; громадный белый великан подошел к горам, окаймляющим ущелье, белой рукой охватил гребешок высокой горы, приподнял разметанные в небе бурей белые космы и положил голову на готические порталы под ним; туловища великана не видно, а лицо удивительное: глаз его не забуду. Особенно левый глаз: глядят над Военно-Грузинской» дорогой тысячелетним зрачком...» (с. 234).

Дарьяльское ущелье рисовалось в воображении А. Белого, как гигантский «космический храм», «место очищений», как «культура древнейших мистерий» (с. 235).

Кавказ назвал А. Белый «школой для познания», где он искал отзвуки собственным думам, искал подтверждение

своим поэтическим и философским построениям.

Представленные ниже отрывки из писем А. Белого к Р. В. Иванову-Разумнику (ИРЛИ, ф. 79, оп. 3, № 81) являются дополнением к публикациям «Андрей Белый в Грузии» (Дружба народов, 1966, № 2) и «Андрей Белый об Армении» (Литературная Армения, 1967, № 1).

1

Цихис-Дзири, 7 июня 27 года

... Однажды, когда лил дождь и было особенно сыро, когда мы собрались в Тифлис, чтобы не видеть хмури клябей небесных, перед нашей верандой появились: Всеволод Эмилиевич с Зинаидой Николаевной; и очень взбодрили; было легко и просто; в результате их наезда мы ускорили наш наезд на них; и прожили у них, в Тифлисе, пять дней (я в комнате Вс. Эм., К. Н. в комнате З. Н.); я очень благодарен тифлисской поездке; и Тифлису, и Грузии, и спектаклям «Театра имени Мейерхольда», и изумительному плану Вс. Эм. ставить «Москву» на спирали, где размещены одновременно все 17 картин, так что можно пустить в ход все 17 картин одновременно; многообразие мест в едином моменте времени: «аккорды» сцен и перманентность действия без зацепок.¹¹ К. Н. давнишняя знакомая З. Н.-ны; а я сблизился очень со Вс. Эм. за эти дни; и было изумительно просто и хорошо с ним; много говорили о Вас и Мих. Александровиче.¹² Вс. Эм. очень устал, разбит, раздражен; и моменты даже пугал нас своим состоянием...

2

Кучино, 12 августа 27 года

... Начиная с Тифлиса, Грузинская дорога — прекрасна; и мне особенно прекрасны места, именуемые в путеводителях неинтересными, именно: окрестность Мцхета, древний Собор и изуми-

¹¹ Постановка «Москвы» А. Белого Вс. Мейерхольдом не была осуществлена. 25 декабря 1926 года А. Белый писал В. Э. Мейерхольду: «Теперь у меня готова вполне „Москва“ (драма). На днях получу ремингтон, который и готов предоставить в Ваше распоряжение; во всяком случае, предлагаю Вам ее, так сказать, официально». Драма «Москва» А. Белого была включена в постановочный план Театра им. Мейерхольда на сезон 1927—1928 года. В июле 1927 года текст драмы был возвращен автору для доработки. А. Белый новый текст не представил, хотя в планах театра она числилась вплоть до 1930 года (Мейерхольд В. Э. Переписка М., 1976, с. 259, 414).

¹² Михаил Александрович Чехов (1891—1955) — актер.

⁹ Пламенеющий стиль (в поздней готике).

¹⁰ Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 26. М., 1953, с. 396.

тельный «Мцири», под которым ныне «Загес» и огромная статуя Ленина; «Мцири» и... «Ленин»; «электрификация» и его разрушенный через Куру мост... Помпей... Пикаантое место! Но для меня и прекрасное место, где мы с Кл. Ник. многое пережили.

Я когда-нибудь почитаю Вам записи в моем «Дневнике» — себе самому: о первых, смутных впечатлениях от Казбека и Военно-Грузинской дороги, если не будете скучать.

Кстати: посередине дороги я чуть не «перестал быть»; пришлось вспомнить чебутыкинскую¹³ поговорку: «Он ахнул не успел, как на него медведь напел». В Пассанауре я «ахнул не успел», как на меня (вот нелепица-то!)... медведь напел. Я думал, ручной Мишка (ограды не было): пошел его пообнимать, поласкать (люблю медведей!). Мишка же оказался не ручным и злым; он оскалдился, мгновенно облапил ногу около бедра и стал что есть мочи тащить к другому привязанному Мишке, чтобы вдвоем покончить со мной; я стал вырывать ногу, еще думая, что Мишка играет (неприятной показалась лишь могучая сила лап, да цапкость их и ощущение, что никакой силой из лап выпетиться нельзя); а он, негодяй, разинув пасть, приложил уже огромный клычище, чтобы... прокусить ногу; я, напрягая последние силы, рванул ногу; он — за мной; ошейник дакнул ему горло, и только оттого нога оказалась непрокушенной; тут он стал меня с силой подтаскивать, и я увидел какого-то господина тчетно бьющего палкой Мишку; я сказал: «Дайте палку»; не помню, как палка оказалась в руках и я с непонятной для меня силой свиснул Мишку по переносице; и это была счастливейшая удача: переносица у медведей самое болезненное место (если бы свиснул по черепу, эффекта не получилось бы, пришел бы «капут»); удар припался в «точку»; Мишка отшвырнул меня, и я выкатился по камням, спиной, из сферы его влияния, еще не соображая, что собственно произошло, пока какой-то подскочивший человек не крикнул мне, что я счастливо отделался от смерти.

Вот ведь от чего зависит жизнь: мы на волоске от смерти — всегда...

3

Кучино. 19 августа 27 года

... Мы с К. Н. были у Мейерхольдов в Тифлисе, многое пережили вместе; и — признаюсь: за эти 4—5 тифлиских дней я очень полюбил Всеволода Эмилиевича; и о многом мы с ним хорошо и сердечно поговорили... Я начинаю

¹³ А. Белый ошибочно приписывает Чебутыкину (Чехов, «Три сестры») поговорку другого персонажа той же пьесы — Соленого.

серьезно мечтать о том, чтобы Чехов, бросив тяжеловесный рыдван Мхата II-го, перешел бы к Мейерхольду, который как режиссер дал бы М. А. надлежащую оправу; на талант Чехова, разумеется, он посягать не будет; а оформление ему, конечно, дать может; Чехов же пока как режиссер не выявился; да и не знаю: может ли он быть режиссером; именно: в несоизмерности дарований возможна работа Чехова с Мейерхольдом; мысль эта только с виду парадоксальна. Да и не принадлежит мне: эту мысль развивал мне Вс. Эм. в Тифлисе. Кстати о Тифлисе; я был там два раза: в мае и июне-июле; у Мейерхольда и у грузинских поэтов; последние, узнав о моих «sejours» в Грузии, уговорили меня прочесть в Тифлисе публичные лекции;¹⁴ отказаться было почти невозможно, ибо это была их форма гостеприимства; я согласился сначала с крихтом; потом, когда лекции уже были объявлены от имени «Союза грузинских писателей» крихт одно время перешел просто во внутреннее стенание...

... Статья одного из редакторов «Зари Востока», заранее написанная обо мне и меня уничтожающая, была не допущена к печати; заведующий агит-отделом Грузии был в восторге от новых горизонтов, которые я открываю марксистской критике; в редакции «Зари Востока» на другой день были горячие дебаты; против меня, и, главным образом, за меня; в результате — сочувствен-

¹⁴ Лекции А. Белого были организованы по инициативе грузинских поэтов, прочитаны во «Дворце искусств» (Дом грузинских писателей). Темы лекций: «Читатель и писатель», «Личность и поэзия Блока». Их краткое содержание было изложено в заметке, напечатанной в газете «Заря Востока» (в отделе «Искусство» с портретом А. Белого). «Если в первой лекции о писателе и читателе А. Белый выдвинул много, может быть, и спорных, и парадоксальных положений, — писал автор заметки, — то слушая вторую, трудно было не поддаться очарованию острого и стройного построения лектора, вскрывающих личность и поэзию Блока... Лекция о Блоке явилась как бы продолжением, как бы иллюстрацией к предыдущей лекции... каковы задачи критики, которая хочет быть настоящей критикой.

Основной тезис второй лекции — „Блок-символист, но не мистик...“ Вывод — Блок сейчас отчасти забыт. Но лектор убежден, что наступит время, когда Блок будет также возрожден, как чудесно возрожден в наши дни Пушкин, и тогда он станет тем, кто он есть на самом деле — одним из величайших наших поэтов» (А. Б. Личность и поэзия Блока (на лекции Андрея Белого). — Заря Востока, 1927, 2 июля, № 1516).

ная рецензия; и кроме того: прошла более чем лестная для меня статья поэта Табидзе под заглавием «Андрей Белый».¹⁵

Я испугался этому своему «успеху»; тоже произошло и на лекции моей «Читатель и писатель», в которой я предлагал ликвидировать с мещанским понятием «читательская масса», которой нет, быть не может, а есть читательский авангард, или «чит-ячейка», чуждая «демократическому» понятию «масса»; масса есть функция скорости и в этом смысле — функция времени, что псевдомарксисты упустили из виду; «ячейка + линия будущих времен», или время-пространство, равны массе, или населению земного шара в будущем, всегда большему, чем какая угодно масса данного момента времени; в этой же лекции я предлагал чит-ячейкам заняться учреждением «Общества полезных сведений о художественных ремеслах»; этот «Опсорх», подобный «Авиахиму», будет возможно лишь после свержения монархии критика, который всегда критянин, а не истинно-критикующий; Октябрьская революция должна быть углублена расстрелом понятия «масса» и свержением монополии острова Крита; должен возникнуть «Чит-Пис-Крит», или «Совет читательских, писательских и критических» депутатов. Возвращаясь к «Чит-Пис-Криту» я кончил лекцию...

Я думал, что меня поколотят, а меня стали хвалить. До сей поры ничего не понимаю: в чем дело?

4

Каджоры. 19 июля 29 года

...В прошлом году я, изучая карту Кавказа, открыл название одной местности, «Шови», и априори решил: здесь — прелестно; сюда бы попасть; наведя справки у старожила (в Сачхери),

¹⁵ Речь идет о статье Тициана Табидзе «Андрей Белый», напечатанной в газете «Заря Востока» (1 июля 1927 года) с примечанием от редакции: «В порядке обсуждения». В статье А. Белый и А. Блок характеризуются, как «два трепетных крыла русского символизма», вынесших «на своих плечах последующую поэзию... И Блок и Андрей Белый жили в предчувствии грядущих бурь и, понятно, почему из всех видных русских писателей после Октября они остались в России и не расстались с народом». Они названы в статье «двумя карриатидами, которые держат на своих раменах дооктябрьскую литературу, и которые нашли путь после Октябрьской России, приветствуя в революции великое начало труда и мира». В заключении Т. Табидзе писал: «...Созвучность Андрея Белого (с современностью) гораздо больше приспособляемости и срединности т. н. присяжных попутчиков».

я узнал: место — земной рай, в ледниках: путь: Кутаис—Они—Слога (137 верст по Военно-Осетинской); и тотчас прочел в газетах: «Первого июля открывається новый курорт „Шови“...» Мы решили: надо попасть; списались с тифлисскими друзьями; они прислали телеграмму: «27-го будем в Сачхери: едем Кутаис—Шови вместе». Мы с К. Н. Ликовали. Приехали Яшвили, Табидзе, Лордкипанидзе с известием: им удалось устроить машину в Шови на понедельник 30 июня из Кутаиса; машина нас ждет. Мы — в восторге: 20-го июня трогаясь в Кутаис, чтобы, осмотрев его, 30-го ехать в Шови; 28-го приезжаем; в Кутаисе — сухая бурица; небо — портится; 29-го узнаем сюрприз: произошло недоразумение; машина, прождав нас 29-го, ушла в Шови с кем-то (место нас); и надо ждать, кажется, 1-го июля.

Едем в Гелатский монастырь 29-го; все портится: настроение; лошади, на которых едем, отказываются везти; какой-то полукородивый не то сван, не то имеретин, видя наше застревание на дороге, сибиллически кричит: «Ничего не удадите: ничего не увидите!» Кое-как, распрягли лошадей, выволакиваем пролетку; и под крапающим дождем тащимся к Гелатскому монастырю; перед ним дорога размыта; мы вынуждены в расстоянии получаса повернуть назад.

30-го, в понедельник, узнаем: дорога на Шови размыта на 2 недели; наш автомобиль, проскочив в Шови без нас и без ливня, там застрял волей судьбы; вне его — нет машин в Шови (сообщение лишь до Они); надо возвращаться назад; хотим к побережью; известия: ужасные ливни размывают автомобильные дороги; на море — шторм; тогда нас соблазняет какая-то барышня ехать до Они, а потом на арбе до Шови; но у нас уже взяты билеты в Тифлис; оказывается: 1-го июля на две машины в Они — разбойничье нападение; опускаю ряд других нападений на нас в Кутаисе, включая нападение вшей и клопных полчищ; совершенно деморализованные попадаем 2-го июля в Тифлис; все планы — разбиты, хоть уезжай в Кучино; и вдруг неожиданно подставляются Каджоры, где проводим 5 дней. Это было в прошлом году. А в этом — красоты Шови не дают покою... нарочно ликвидируем Армению и 22 мая оказываемся в Тифлисе, чтобы в Курортном управлении выхлопотать комнаты в Шови; с помощью друзей нам наполь бронируют 2 комнаты; я вношу 1/2 цены; Шови — за нами; пути — налажены; едем на июнь в Красную поляну: ждать Шови.

Чтобы попасть к 1-му надо выезжать 28—27-го июня; мелькает ассоциация: как в прошлом году; я не суверен: но эта ассоциация 28-го и 28-го рябит в сознании; но вопрос решает пароходное расписание; 28-го лишь пароход уходит из Адлера. И в этом году, как и в про-

шлом, 28-го июня трогаемся в Шови; 30-го из Батума, чтобы с утра, понедельничным «авто» — 1-го ехать в Шови; с Батума до Кутаиса — грозица, буря, рой исключительных дорожных пакостей обрушивается: с Адлера до Кутаиса; я, кроме того, получаю грипп; и в гриппе тащимся с сундучицами под тропическим ливнем к клопиной гостинице в Кутаисе (извозчиков нет: поезд пришел в 2 ночи).

Трясет лихорадка; тем не менее — не спим ночь, чтобы в 6 часов утра при каких угодно погодях и не взирая на грипп ехать в Шови; в 8 отходит машина; в 7 нам говорят: никакого сообщения с Шови не было и не будет; проехать в Шови нельзя: я в ярости на «Курупр», раздающий комнаты в несуществующем курорте и взимающем плату заранее. Узнаем точно: в Шови проезда нет; в ярости берем билеты на Тифлис; и уже, садясь в вагон, узнаем: дорога то есть, но в ночь с 30-го на 1-е ливнем размыло дорогу в Шови: день в день! А пакость в том, что нас обманули, заставив взять билеты в Тифлис; сношение с Шови прервано на 1 лишь день. Но ряд ужасных маленьких пакостей заставляет нас тем не менее переть в Тифлис вместо Шови к недоумению встретившейся дамы (знакомой), едущей в Шови 2-го июля (машина — идет: это для нас она не ходит); я, вернее мы с К. Н., вопреки рассудку, из чувства ритма, отказываемся ехать в Шови; и аналогично едем в Тифлис.

Сваливаемся 2-го июля в Тифлис вопреки всякому ожиданию, как и в прошлом году: тоже, — 2-го июля неожиданно оказались в Тифлисе; у меня жар, гриппице; «поэты» не понимают мотивов нашего нежелания ехать в Шови. А 3-его июля узнаем: машина, на которую нас влекли (единственная, циркулирующая между Шови и Кутаисом), слетела под откос; дама влекшая нас на нее, — в больнице (в Они); шофера ампутировали ногу; четыре — тяжело раненых.

Тогда я пишу отказ от Шови в Главкурупр, и благодаря любезности друзей гостеприимно, но неожиданно, мы устроены в Каджорах: в той же гостинице, в тех же 2-х комнатах, при том же нашем друге, Мелитоне.

И когда мне теперь говорят: в третий раз вы таки попадете в Шови, я уже не верю, ибо я прочел ритм западной Грузии, который начинается с Сурамского перевала, тянется сквозь Кутаис и заканчивается мной «воспетой» батумской бухточкой: делать пакости; ритм Карталии: оказывать гостеприимство; и — выручать. Батумская бухточка в день нашего выезда из Батума (30 мая 29 года) наградила небывалым штормом (ветер в 10 баллов), едва мы выехали из Батума при тихом море и ясной погоде, так что пароход не мог попасть в Поти (пронесся мимо); но едва начались воды

Абхазии, ветер снал; и 30 июня, на обратном пути (Батум—Кутаис), взревел штормице; и из Аджаристана вместе с нами ухнула грозица, размывшая дороги в Шови; ровно год назад, когда мы после катастрофы с Шови решили ехать на побережья, там взревел шторм.

Случай, или не случай; но я устал от этих неслучайных случайностей: от случайностей, начинающихся с нами при приближении к Батуму или к Сурамскому перевалу...

Дорогой друг, — не сердитесь на то, что письмо переполнено неинтересными случайностями; верьте: моя внешняя жизнь в переездах только и состоит из случайностей, для меня не случайных и до того запугавших меня, что я уже заранее отказываюсь, отрекаюсь от нас нелюбящего Кавказского хребта. Или стоит сухая, устойчивая погода; но как только приедут поэты и скажут: «Ну теперь ничто уже нас не оставит от поездки в Кахетию», — так тотчас набегают тучи; и начинает лить изливный дождь, портя на этот раз дороги в Кахетию; если бы не он, я, вероятно, был бы раз пять в Кахетию; когда мне говорят: «Отчего вы не были в Кахетии», я только стискиваю зубы; ведь «им» не объяснишь, что при слове «Кахетия», произносимым перед нами с К. Н. в самом соблазняющем смысле, — вся область от Дагестана до Тифлиса переполняется тучицами; так и в этом году; третьего дня приехал Яшвили и сказал: «В субботу едем в Кахетию». А вчера, в четверг, — ливень; сегодня в месте Кахетии — густой дым: там, вероятно, портятся дороги.

Так же в прошлом году с Военно-Грузинской: 3 недели — ни облачка; спустились в Тифлис, записались на 2 места во Владикавказ; в ночь накануне отъезда — буря; ливень 8 часовой, — до момента отхода машины; от мест пришлось отказаться, но, когда дописывал «отказ», дождь прервался; послал отказ; и тучи мгновенно рассеялись; стояли безоблачные дни до нашего отъезда; и «Хребет» дразнил нас издалека.

Интересна психология архитекторики «случаев», 3-ий год пакостящих нам пребывание на Кавказе: объяснил бы мне кто-нибудь их!

Я-то уже давно объяснил их себе; ибо из них и состоит моя внешняя жизнь... Засел за... краски: хочется хоть в намеке уловить колориты каджорских глубин, показывающих не земли, а как бы «стеклянное море» и на нем двенадцать оснований; одно — подобное камню «яспису», другое «топазу»... каждый вечер сидим на вершине, скривив головы; и видим не землю, а — радугу на «стеклянном море»; кончается это тем, что начинаем кататься; и силиться увидеть глубину — головой вниз, ногами вверх.

И это имеет глубокое философическое основание, ибо, то, чем мы занимаемся в Каджорах диаметрально противополо-

ложно тому, чем занимаются в Каджорах сюда приезжающие отдыхать (в субботу и воскресенье) тифлиские «завы»; они приезжают съездить папалык и напиться при вершине т. е. в расстоянии 50 шагов вверх от вида, прекрасней которого не знаю; 99% и не знают, что в Каджорах есть такой вид; недавно в наш отельчик приезжала компания: выпили

2 ведра кахетинского; и уехали, не дойдя до вершины.

Мы же каждый день выпиваем два ведра... «стеклянного моря»; и спускаемся в отель, пьяные от вида.

Но увь, — вид видом, а грусть грустью. Переживаем эту грусть все 22 часа минут часа два сидения на «высокой горе»...

В. М. Тамахин

ПОЭТИКА КАРТИН ПРИРОДЫ В «ТИХОМ ДОНЕ»

Сложна и многообразна идейно-эстетическая функция шолоховского пейзажа. Наполненный многоцветным ароматом, живописными переливами красок, волнующими мелодиями, он воспринимается как поэтическое откровение сыновней любви писателя к родине и народу. Дивные речные поймы, необъятная богатая степь, усеянная курганами, широкий суходол, предрассветная тишина, заоблачная синь, трепетное марево, душистая пшеница, скромная красота сияющей белыми лепестками ромашки — все эти образы и картины нашей отечественной природы, светлые и грустные, умиротворяющие и грозные, всегда будут пленять читателя прелестью художественного совершенства, глубокой одухотворенностью, радостями, печалью, думами и чаяниями человека.

К сожалению, в нашей критике долго удерживались ошибочные представления о пейзаже в «Тихом Доне» и «Поднятой целине». Одни находили в нем только «пассивно-биологическое описание природы»;¹ другие считали его «порой совершенно немотивированным, а потому ненужным»,² третьи упрекали писателя в излишней эстетизации «явлений природы в ее искусственно надуманных красках»;³ четвертые сводили этот компонент к простому заимствованию из классики.

В 1940 году В. Гоффеншефер, возражая против подобных трактовок, писал, что Шолохов прибегает к пейзажу «с особой любовью и заставляет его играть непосредственную роль в характеристике людей и событий».⁴ Но в то

уже время исследователь фактически подтвердил мысль о наличии у Шолохова немотивированного, а значит, ненужного пейзажа. Так, он скептически отнесся к такому, например, пейзажу в «Тихом Доне»: «День стекал к исходу. Мирная, неопишуемо сладкая баюкалась осенняя тишь. Небо, уже утратившее свой легкий полновесный блеск, тускло голубело. Над канавой сорили пыльный багрянец бог весть откуда занесенные листья яблони. За волнистой хребтиной горы скрывалась разветвленная дорога, — тщетно она манила людей шагать туда, за изумрудную, неясную, как сон, нитку горизонта, в неизведанные пространства, — люди, прикованные к жилью, к будням своим, изнывали в работе, рвали на молотбе силы, и дорога — безлюдный тоскующий след — текла, перерезая горизонт, в невидь. По ней, пороша пылью, топтался ветер».⁵

Эту картину В. Гоффеншефер назвал «вставкой», подчеркивая тем самым, что он не считает ее составной частью гармонически цельного шолоховского пейзажа. Автор эпопеи неожиданно сравнивается им с подростком-казаченком («куженком») из третьей книги «Тихого Дона». По мнению критика, здесь Шолохов «ломающимся баском», «неокрепшим еще голосом» повторяет Л. Толстого. Словом, В. Гоффеншефер великолепно в эстетическом отношении картину, полную глубокого смысла, свел к раздражительности, которая якобы встречается и «в ряде других мест».⁶

Спустя несколько лет В. Кирпотин писал, что в «Тихом Доне» — вероятно, не без влияния Толстого — появляются иногда морализующие нотки при сопоставлении человека с природой.⁷

¹ Чарный М. В чем сила «Поднятой целины». М., 1934, с. 97.

² Мышковская Л. О «Поднятой целине» Шолохова. — Красная новь, 1933, № 5, с. 327.

³ Гречишников В. К. Земля в цвету. — Литература в школе, 1938, № 2, с. 46.

⁴ Гоффеншефер В. Михаил Шолохов. (Критический очерк). М., 1940, с. 170.

⁵ Шолохов Михаил. Собр. соч. в 9-ти т., т. II. М., 1965, с. 356 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

⁶ Гоффеншефер В. Указ. соч., с. 180—182.

⁷ См.: Кирпотин В. Тема природы в «Тихом Доне» Шолохова. — Октябрь, 1946, № 12, с. 183.

Подобные суждения публиковались в то время, когда уже по первой книге «Тихого Дона» талант Шолохова был высоко оценен А. С. Серафимовичем, А. М. Горьким, А. В. Луначарским, когда эпопея и первая часть «Поднятой целины» нашли широчайшее признание в нашей стране, когда «Тихий Дон» вызвал восхищение у миллионов прогрессивных читателей на всех континентах планеты.

В начале 60-х годов А. Ф. Бритиков, полемизируя с В. Гоффеншефером, справедливо утверждал: «...если посмотреть на „вставку“ в контексте, то она оказывается органической частью цельного пейзажного фона, — и смысл его — вовсе не в противопоставлении».⁸ Но далее его суждения фактически сближаются с трактовкой В. Гоффеншера, который, как известно, говоря «о прекрасной природе, манящей дороге и людях, занятых своими буднями», заключал: «Не ищите рядом описаний тяжелой работы... Нет, не о молотбе идет речь».⁹ По мнению критика, мораль, заключенная в пейзаже, противопоставлена соре сватве Коршунова с Мелеховым. А. Ф. Бритиков ту же картину рассматривает как «эмоциональный аккомпанемент, усиливающий конкретную психологическую коллизию (а не отвлеченную моральную идею) — сору старика Мелехова с Коршуновым». И далее: «Противопоставление (у Шолохова, — В. Т.) остается моралью поэтической, моралью-метафорой».¹⁰ Таким образом, расхождения двух исследователей в трактовке пейзажной зарисовки совсем незначительные: один видит в ней отвлеченную мораль, другой — хотя и художественно-метафорическую, но все-таки мораль. А. Ф. Бритиков указывает еще на одну функцию того же компонента — параллелизм. В подтверждение своего вывода он пишет: «На озлоблении старика Мелехова, на его мстительном чувстве к Коршунову (тот требует, чтобы Григорий жил с Натальей) — отблеск не угасшей еще радости, что сын, Григорий — жив, и вот в нем нуждается этот гордец и богач Коршунов...» (здесь и далее курсив мой, — В. Т.).¹¹

Значит, Коршунов нуждается в Григории. А разве меньше в нем «нуждается» Пантелей Прокофьевич? Коршунов просит свата ответить, долго ли Григорий будет «измываться над Натальей»? (II, 355). И вскоре: «Мирон Григорьевич растерянно и жалко заморгал. — Живет она — ни девка, ни баба, ни честная вдова, ить это страшно как-то... — Чем я пособлю?.. — со сдержанным бешенством начал наступление

Пантелей Прокофьевич. — Ты мне скажи толком. Я-то аль рад тому, что сын с базу ушел? Мне-то аль от этого прибыло? Ить вот какие народы!

— Ты ему напиши, — глухо диктовал Мирон Григорьевич...

— Дите у него от этой... ..

— И от этой будет дите! — крикнул, багровея, Коршунов. — Разве можно так над живым человеком? А?.. Раз смерти себя предавала и теперь калека... и ее топтать в могилу? А?.. Сердце-то, сердце-то... — на придуренный шепот перешел Мирон Григорьевич, одной рукой царапая себе грудь, другой притягивая свата за полу, — аль у него волчиное?

Пантелей Прокофьевич сопел, отворачивался в сторону.

— ...баба высохла по нем, и иной окрома нету ей жизни. Живет же у тебя в холошках!..

— Она нам лучше родной! Замолчи ты! — крикнул Пантелей Прокофьевич и встал.

Разошлись они в разные стороны, не прощаясь» (II, 356—357).

Нет, здесь не ссора, как полагают авторы критических работ, а драматическая сцена, свидетельствующая о не высказанной до конца отповской боли. Если семья Коршуновых испытывала срам от того, что их дочь, отвергнутая мужем, ушла из отчего дома в семью свекра, то старик Мелехов был подавлен двойным позором: сын ушел из родного куреня, от собственного пая земли, от законной жены в батраки к помещику с чужой женой. Вот почему Пантелей Прокофьевич «сопел и отворачивался в сторону», когда Мирон Григорьевич добивался ответа. Не знал Коршунов, сколько энергии потратил старик, чтобы «образумить» сына... Легко понять, почему Пантелей Прокофьевич каждому встречному сообщал, что Григорий «первый крест изо всего хутора имеет» (II, 353), почему он так обрадовался копейному подарку купца Мелехова и, будто забыв о собственном достоинстве, стал хвастаться им перед Коршуновым. Помимо того, что Григорий был жив, непомерный наплыв радости Пантелея Прокофьевича обусловлен и наградой. Ведь именно она должна была, по убеждению Пантелея Прокофьевича, реабилитировать во мнении людей «блудного сына» и восстановить в известной мере пошатнувшуюся честь ранее слаженной семьи.

Словом, нет оснований светлые тона природоописания ставить в параллель настроению старика Мелехова как «отблеск не угасшей еще радости» в напряженном диалоге с Коршуновым, растревожившем душевную рану. В анализируемом пейзаже, разумеется, есть мотивы, соотносящиеся с человеческой жизнью, но, конечно же, не в форме «морали-метафоры»; они служат средством более эмоционального выражения тяжести непомерного бремени, взвален-

⁸ Бритиков А. Ф. Мастерство Михаила Шолохова. М.—Л., 1964, с. 142.

⁹ Гоффеншефер В. Указ. соч., с. 181.

¹⁰ Бритиков А. Ф. Указ. соч., с. 142, 143.

¹¹ Там же, с. 142.

пого на плечи трудового народа империалистической войной, которая неожиданно-негаданно «повыдергивала» сильные рабочие руки из деревень, хуторов и станиц. Оставшиеся осиротевшие женщины, подростки и старики «изнывали в работе, рвали на молотье силы», не замечая ни красоты окружающей природы, ни маящей изумрудной дали.

Рассматриваемый шолоховский пейзаж полифоничен и многозначен. Тут и умиротворяющая «неописуемо сладкая баюкалась осенняя тишь», которая непосредственно контрастируется с непрестанными беспокойными заботами людей, прикованных «к жилью, к будням своим»; тут и лирический подтекст — авторская мечта, пробужденная маящей разветвленной дорогой, зовущей за изумрудный отсвет горизонта «в неизведанные пространства»; тут и «дорога — безлюдный тоскующий след — текла, перерезая горизонт, в невидь. По ней, пороша пылью, топтался ветер». Эпитет «безлюдный» в сочетании с распротраненной метафорой создает впечатление пустынной, будто осиротевшей степи. Метафорический эпитет «тоскующий след», кажется, наполняет всю ее неутешной ноющей болью, и на дороге, уходящей «в невидь», в представлении читателя возникает образ следа, по которому понуро уходили кормильцы оставшихся семей на пагубную, кровопролитную войну.

Неповторимые образы природы в «Тихом Доне» опосредствованно, но осязаемо конкретизируют всю глубину печали и тревог людских в разгар первой мировой войны. Разумеется, в содержании данного пейзажа есть соотнесенность с судьбами индивидуальных образов-персонажей, однако ограничить идейно-художественную роль этого компонента «семейными неурядицами», «полифонией ссоры» сватев Коршунова и Мелехова — значит предельно умалить масштабность его идейно-художественной функции.

К сожалению, это далеко не единственный случай приблизительного, а иногда совсем неверного понимания картин природы у Шолохова. Внимание многих критиков вторилек, например, пейзаж в финале второй книги «Тихого Дона». В. Гоффеншефер увидел в нем «элементы толстовского противопоставления»,¹² А. Ф. Бритиков — морально-наставительную интонацию, хотя и не высказанную «с той прямолинейностью, что у Толстого»,¹³ и т. п. На самом же деле писатель, прибегая к реалистической символике, противопоставил христианскому смиренному высшую цель борьбы за право на жизнь.

Обратимся непосредственно к содержанию картины, рисующей могилу Ва-

лета: «Через полмесяца зарос махопый холмик подорожником и молодой полынью, заколосился на нем овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повисла любушка-донник, запахло чабрецом, молочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатила черная вязь славянского письма:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.

Старик уехал, а в степи осталась часовня горючие глаза прохожих и прозежных извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.

И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом» (III, 392—393).

Представляется, что с помощью этого пейзажа переданы два различных взгляда на жизнь, два противоположных мировосприятия. Если часовня с ликом божьей матери и славянской вязью вводит в повествование религиозный мотив, трактуемый эпоху непримиримой классово-борьбы как «годину смуты и разврата» (поэтому-то в нем и слышится призыв к христианскому всепрощению), то буйное весеннее пробуждение символизирует утверждение права «на жизнь, на любовь, на размножение», раскрывает животворное начало революционной борьбы, за идеалы которой отдал свою жизнь правдолюбивый, непреклонный большевик Валет.

Выражению этой идеи служит и композиция картины. Ее обрамлением случайно выступает тонко переданное художником весеннее дыхание природы: вначале рисуется цветение растительного мира, а затем — процесс обновления жизни. Оптимистический лейтмотив является господствующим, определяющим.

В шолоховских картинах природы, которыми так богат «Тихий Дон» и которые не перестают привлекать внимание литературоведов, каждый исследователь находил что-то свое, открывал какое-либо новое их качество. «Особенно характерны для Шолохова, — замечает, например, В. В. Гура, — сопоставления между жизнью природы и скрытыми переживаниями человека. Подобные параллели в сильной мере определяют

¹² Гоффеншефер В. Указ. соч., с. 183.

¹³ Бритиков А. Ф. Указ. соч., с. 144.

своеобразие авторского стиля, служат важным средством раскрытия диалектики души...»¹⁴ Однако этот компонент все еще недостаточно рассматривается как своеобразное зеркало идейного содержания шолоховских произведений. Необходим дальнейший углубленный анализ.

Природа постоянно сопутствует героям Шолохова в их думах, стремлениях и поступках. Поэтому многие явления природы даны писателем через восприятие персонажей. В этих случаях пейзаж является средством раскрытия внутреннего мира того или иного действующего лица. Приведем конкретные примеры.

Вид большого города подавляюще действовал на раненого Григория Мелехова, который был доставлен в Москву. «... Чувствовалась осень: на деревьях бульваров при свете фонарей блеклой желтизной отсвечивали листья, ночь дышала знобкой прохладой, мокро лоснились плиты тротуаров, и звезды на пологом небосклоне были ярки и холодны по-осеннему... Где-то на окраинах трубили паровозы. „Может, какой в Донцину сейчас пойдет?“ — подумал Григорий и поник под частыми укулами тоски». И еще: «За железной тесьмой ограды маслено блеснула вода пруда, мелькнули перильчатые мостки с привязанной к ним лодкой. Повеяло сыростью. „Воду и то в неволю взяли, за железной решеткой, а Дон...“ — неясно думал Григорий» (II, 372—373).

Ничто в городском ночном пейзаже не восхитило Мелехова: ни «голубой, переливчатый блеск электричества», ни благоустроенный водоем, ни «пышное природы увяданье». Соответствующие метафоры, эпитеты («блеклый», «знобкий», «мокрый», «холодный»), вся совокупность художественных средств раскрывают близкое к ознобу состояние героя, исходившего тоской по дому, по родному краю. Неспроста гудки паровозов тянут его на Донцину, а пруд за железной решеткой будит воспоминание о раздолье Дона.

Пейзаж помог писателю передать не только интимное мироощущение героя в один из моментов его жизни, но и настроение, свойственное многим казакам и «иногородним», которым тоже опостыла затянущаяся империалистическая война и которых так же, как и Григория, неотступно томил тоска по родному крову.

Куда бы ни забросила судьба Григория Мелехова, в мыслях он никогда не расставался с родиной. Она являлась в его воображении то в лицах близких ему людей, то в картинах природы, то в эпизодах повседневных трудовых будней.

1916 год. Далеко от хутора Татарского расположился на болотистом участке

12-й казачий полк. И вот там перед взором Григория предстал пейзаж: «... в лесу, на вершине холма, наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей невидимой птицы; неизменно грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы. Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота, доглавает на себе дымный костер Стожаров, Большая Медведица лежит боку от Млечного Пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дыплом, лишь на севере ровным мерцающим светом истекает Полярная звезда» (III, 45).

Ведь именно таким это небо видел Григорий дома, и потому оно особенно сильно напоминало ему родные места. Оттого-то Стожары, как казалось ему, похожи на дымный костер, а Большая Медведица — па опрокинутую повозку с косо вздыбленным дыплом. Способствуют образу воспринятому домашней обстановки выделенные нами эпитеты, метафоры и сравнения.

На фоне столь близкого дупе Григория одухотворенного пейзажа вдруг возникает как неотъемлемая часть его никогда не тускнеющий образ Аксипья. «Григорий вздрагивает. Ему кажется, что он на секунду ощутил дурнопахляный, тончайший аромат Аксипьяных волос...» (III, 46).

С каждой новой картиной перед нами все полнее раскрывается богатый, легко ранимый и тонко чувствующий внутренний мир Григория Мелехова с его ненасытной жаждой правды, красоты и справедливости. Вынужденное пребывание в банде Фомина уже с самого начала не могло не угнетать Григория. В общении с природой в его дупе зрело решение при первом же удобном случае вырваться из плена во что бы то ни стало. Кульминационный момент этого внутреннего состояния героя раскрыт Шолоховым: также через восприятие пейзажа: «Жарко калило землю солнце. Пахло на проулке пресным запахом пыли, лебедой и конским потом. В левадах, на высоких вербах, усеянных лохматými гнездами, кричали грачи. Степная речушка, вскормленная где-то в вершине лога ключами родниковой воды, медлительно текла по хутору, деля его на две части. С обеих сторон к ней сползали просторные казачьи дворы, все в густой заросли садов, с вппшиями, заслонившими окна куреней, с разлапистыми яблонями, простирившими к солнцу зеленую листву и молодую завязь плодов.

Затуманившимися глазами смотрел Григорий на поросший кучерявым подорожником двор, на крытую соломой хату с желтыми ставнями, на высокий колодезный журавль...» (V, 469).

В изображенной картине все привычно-обыденное, но тем не менее прямищепродное для сельского жителя. Все это напоминало Григорию о мирном труде,

¹⁴ Гура В. В. Жизнь и творчество М. А. Шолохова. М., 1960, с. 136.

но которому истосковались его руки будило воспоминания о далеком детстве, о промелькнувшей молодости, о напрасно растрченных силах, о непоправимых заблуждениях и ошибках. Здесь мирный пейзаж, рисующий трудовую жизнь людей, служит контрастным фоном для рельефной передачи удрученного состояния героя, способность которого видеть прекрасное в будничном, обыкновенном обостряет его душевную боль. Но боль эта очистительная, она приводит героя к решительному разрыву с бандой. Непреодолимая сила влекла Григория к детям, к труду, к новому берегу. И вот он снова один на один с матерью природой: «В степи было тихо. Только жалобно перекликались на песчаных бурунах кулики да где-то далеко-далеко чуть слышно звучал собачий лай.

В черном небе — золотая россыпь мерцающих звезд. В степи — тишина и ветерок, питанный родным и горьким запахом полыни... Григорий приподнялся на стременах, вздохнул облегченно, полной грудью» (V, 470). Перед нами картина, очень полно характеризующая манеру автора живописать пейзаж: налицо шолоховская полифония зрительных и слуховых образов природы, в них все овеяно ароматом трав и голосами степи. Тишина, россыпь звезд, знакомый запах полыни ассоциируются у читателя со вздохом облегчения Григория; черное небо, жалобная перекличка куликов, горький запах той же полыни воспринимаются как предвещение предстоящих еще трагических коллизий в его жизни.

Пейзаж как выразительное средство психологического анализа привлекается писателем и для характеристики настроения, динамики души других персонажей. Прилив нежного чувства к Анне Погудко вдруг озарил внушенный мир Ильи Бунчука ярким теплым светом, и он, нагнув голову, «будто под ударом, — сказал с пафосной шутливостью:

— Анна Погудко... пулеметчик номер второй, ты хороша, как чье-то счастье!

— Глупости! — сказала она уверенно и улыбнулась. — Глупости, товарищ Бунчук!.. Я спрашиваю: во сколько мы пойдем на стрельбище?

От улыбки стало как-то проще, доступней, земней. Бунчук остановился с ней рядом; ошалело глядя в конец улицы, где застряло солнце, затопляя все багровым половодьем, ответил тихо:

— На стрельбище? Завтра» (III, 214).

Обилие солнечного света (метафора — «затопляя все багровым половодьем») полностью соответствует душевному состоянию влюбленного Бунчука.

В слиянии с природой герои Шолохова проявляют способность к восприятию прекрасного, находят простое человеческое отдохновение как бы в награду за свои труды. Вот какой увидел степь Михаил Кошевой в один из дней своей

службы в табунщиках: «В зените, за прядью опаловых облачков, томилось солнце. От жаркой травы стлался тягучий густой аромат... А кругом, — насколько хватал глаз, — зеленый необъятный простор, дрожащие струи марева, полуденным зноем скованная древняя степь и на горизонте — недосыгаем и сказочен — сизый грудастый курган... Мишка испытывал давно не веданное им чувство покорной умиротворенности. Степь давила его тишиной, мудрым величием» (IV, 33). В восприятии героя природа предстала перед ним живой, одухотворенной то человеческими признаками (например, метафора — «томилось солнце»), то знакомыми ему с детства предметами (специфический аромат трав, «грудастый курган» и т. п.).

С помощью пейзажа Шолохов проникает в потаенный мир человека, раскрывает нерасторжимую связь своих любимых героев с природой как органической частью большой Родины.

После выздоровления перед Аксиной «иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал... мир... все казалось ей невиданно красивым, все цвело густыми и нежными красками, будто осяянное солнцем.

Проглянувший сквозь туман клочок чистого неба ослепил ее холодной синевой; запах прелой соломы и оттаявшего чернозема был так знаком и приятен, что Аксиныя глубоко вздохнула и улыбнулась краешками губ; незамысловатая песенка жаворонка, донесшаяся откуда-то из туманной степи, разбудила в ней неосознанную грусть. Это она — услышанная на чужбине песенка — заставила учащенно забиться Аксиныно сердце и выжала из глаз две скупые слезинки...» (V, 291—292). Способность Аксины видеть в родной природе богатство красок, улавливать волнующие, знакомые с детства звуки, запахи свидетельствует о ее духовной красоте.

Довольно часто пейзаж символически предвещает какие-либо события в жизни общества или отдельных героев («пейзаж-намеки»), он получил особое распространение в советской прозе первых лет революции. Пейзаж-символ встречается и в эпосе Шолохова, как, впрочем, и в других его произведениях. Однако у автора «Тихого Дона» он выполняет более многообразные и сложные идейно-эстетические функции, чем в литературе 20-х годов. Реалистическим символом является, к примеру, пейзаж в первой главе третьей части «Тихого Дона»: «Сухов телело лето... На отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым пологом висела над Обдольем. Ночами густели над Доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром, дождь, вхолостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые крахи.

По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископченные телятами, стоил над бурными затравевшими могилами» (II, 237).

Этот пейзаж, как и предыдущий, также дан через одновременное восприятие повествователя и героев романа. Зрительно-осознаваемые образы природы, знаменующие приближение первой мировой войны, не комментируются автором, но они по своему содержанию красноречивы и сами по себе: это — ночные грозы, не приносящие на землю плодородия, они, будоража ее, сеяли только тревогу. Крики и стоны сыча — символ, основанный на народных повериях, который «поясняется» собирательным образом в форме многоголосья:

— Худому быть, — пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголосоки.

— Война пристигнет.

— Перед турецкой кампанией накликал так вот.

— Может, опять холера?

— Добра не жди, с перкви к мертвецам слетает» (II, 237—238).

Уточнение символического смысла одной детали, показанной опять-таки через восприятие персонажей, служит ключом к пониманию идейно-художественной роли образа-предзнаменования в целом. Как правило, подтекст того или иного пейзажа выявляется у Шолохова с помощью обширной системы изобразительно-выразительных средств (разного рода эпитеты, метафоры, сравнения и т. д.). Для иллюстрации возьмем пример из этой части эпопеи. Когда инициатива перешла в руки Донского ревкома и положение белогвардейщины на Дону оказалось безнадежным, войсковой атаман Каледин с горечью вынужден был признать, что население не только его не поддерживает, но и настроено крайне враждебно. Это состояние обанкротившегося правителя угадывается даже в характере пейзажа: «Город, завуальрованный туманом и инеем, дремотно молчал. Слух не прощупывал обычного пульса жизни. Орудийный гул... мертвил движение, висел над городом глухой невысказанной угрозой» (III, 288). Эпитет «завуальрованный» создает впечатление, что город будто исчез из поля зрения Каледина и его окружения. Метафоры «дремотно молчал», «висел угрозой» и др. знаменуют приближение скорой катастрофы. Еще более отчетливо и выразительно символика, предвещающая самоубийство бывшего войскового атамана Каледина: «За окнами сухо и четко кричали перелетавшие вороны. Они кружились над белой колокольней, как над падалью» (III, 288). Подчеркнутое сравнение довольно однозначно и прямо выражает и содержание символа, и отношение автора к событию. Как только Каледин застрелился, вновь описывается

злобно-мертвящий крик воронья: через окно доносилось «обрекающее, надсадное и звучное карканье ворон» (III, 290). В первом случае этот образ служил предвестником того, что Каледин как социальный труп должен уйти из жизни. Во втором он приобрел более широкое обобщение: вся белогвардейщина — социальный труп, который будет выброшен за борт истории вслед за Калединым.

Пейзаж-символ предвещает роковой плен экспедиции Подтелкова и Кривошлыкова: «На западе густели тучи. Темнело. Где-то далеко-далеко, в полосе Обдолья вилась молния, крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зарница. В той стороне блекло светилось зарево, прикрытое черной полою тучи. Степь, как чаша, до краев налитая тишиной, таила в складках балок грустные отсветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору. Даже травы, еще не давшие цвета, излучали непередаваемый запах тлена» (III, 367). Все эти образы, наводящие тревогу, ассоциируются с подавленным душевным состоянием Подтелкова, предчувствовавшего беду. «Пропали мы, Мишатка!..» — сказал оп Кривошлыкову.

Пейзаж в восприятии Ивана Алексеевича Котлярова накануне его трагической гибели символически отражает оптимистические устремления и тягу стойкого революционера к Москве, откуда исходила направляющая воля большевистской партии: «...голубым видением вставшие вдали отроги меловых гор, а над ними, над текучим стремнем гребнистого Дона, в неохватной величавой синеве небес, в недоступной вышине — облачко. Окрыленное ветром, с искрящимся, белым, как парус, надвершием, оно стремительно плыло на север, и в далекой излучине Дона отражалась его опаловая тень» (IV, 350—351).

А. Хватов справедливо пишет: «Хотя уже Иван Алексеевич и ощутил холодное дыхание близящейся смерти, мир предстал ему светлым и сияющим... облачко, плывущее на север, навевает мысли о родине, охваченной революционным ураганом... о Москве, где решались судьбы революции и куда тянулось сердце коммуниста в эти последние минуты его земного бытия».¹⁵

В третьей книге Петро Мелехов, убежденный белогвардеец, в диалоге с Григорием пытается уговорить брата не переходить на сторону красных: «Мутиться ты... Боюсь, переметнешься ты к красным... Ты, Гришатка, до се себя не нашел.

— А ты нашел? — спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными черными

¹⁵ Хватов А. На страже века (Художественный мир Шолохова). М., 1975, с. 134.

хлопьями песуются оттуда облака» (IV, 25).

Нами взят один из многочисленных примеров одновременного восприятия природы персонажем и повествователем. Григорий в эти минуты испытывал двойственные чувства, однако подбор образительно-выразительных средств языка отчетливо раскрывает содержание реальной символики картины. Данный пейзаж, служа предзнаменованием судьбы героя, предшествует образу-символу предпоследней главы романа, когда Григорий в финале своих исканий и метаний «поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца» (V, 482).

Иногда пейзаж-символ у Шолохова относится не к какому-либо отдельно взятому конкретному событию или персонажу, как это мы видели выше, а приобретает силу исключительно широкого обобщения, как бы превосходящая результаты важнейших исторических процессов. Так, в пятьдесят первой главе неспроста дан пейзаж в пору весеннего пробуждения.

«Незримая жизнь, оплодотворенная весной, могущественная и полная кипучего биения, разворачивалась в степи: буйно росли травы; сокрытые от хищного человеческого глаза, в потаенных степных убежищах понимались брачные пары птиц, зверей и зверушек, пашни щетинились неисчислимыми острями выметавшихся всходов. Лишь отживший свой век прошлогодний бурьян — перекастиполе — понуро сутулился на склонах рассыпанных по степи сторожевых курганов, подзащитно жался к земле, ища спасения, но живительный, свежий ветерок, нещадно ломая его на иссохшем корню, гнал, катил вдоль и поперек по осиянной солнцем, восставшей к жизни степи» (IV, 333).

Функция пейзажа здесь заключается в том, чтобы противопоставить кипучее биение жизни отжившему свой век прошлогоднему бурьяну, все еще жавшемуся к земле, «ища спасения». В этом противоборстве побеждает весна. Так, с помощью развернутого образа-символа тонко вводится мотив обреченности старого мира и силы и неодолимости нового, революционного.

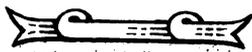
Как уже неоднократно отмечалось исследователями, многозначителен по своему идейно-эстетическому содержанию символический пейзаж в финале эпопеи. В нем чувствуется и точка зрения автора, его голос, и восприятие Григория Мелехова: «Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сия-

ющим под холодным солнцем миром» (V, 486). Перед Григорием простирается огромный, сияющий мир. Именно таким он казался ему теперь, озаренному прозрением. Скорее всего, это шаг к будущему, если не сказать — в будущее. Правда, солнце пока холодное, но это уже не «черный диск», представившийся ему после похорон Аксиньи. Читателю хочется надеяться, что родина услышит искренние раскаяния героя в тяжелых трагических заблуждениях, поймет и простит его или смягчит меру своего возмездия. И тогда Григорий по праву переступит порог родного дома и со свойственной ему честностью и трудолюбием займет достойное место в строительстве новой жизни.

Встречается у Шолохова и такой традиционный символ, как ущербленный месяц — знак какой-либо утраты, тяжелых переживаний и бедствий. Повторяясь в «Тихом Доне» несколько раз в самых различных ситуациях, он довольно многозначен: в одних случаях он «намекает» на судьбу Аксиньи, Григория, оттеняет подавленное состояние героев, в других предсказывает обреченность повстанческого контрреволюционного движения, в третьих — символизирует временную оторванность Григория от народа.

Анализ привлеченных материалов показывает, что пейзаж в «Тихом Доне» в той или иной форме всегда соотносен с действиями, поступками, переживаниями отдельных лиц, социальных слоев или с явлениями общественной жизни. Эта соотношенность осуществляется художником прямо или опосредствованно через созвучие мотивов, эмоциональную настроенность, переключку деталей и т. д. Одно из основных заданий шолоховского пейзажа — передача времени — исторического и художественного, что выступает немаловажным источником эпического в произведении. Картины природы в «Тихом Доне» проникнуты глубоким лиризмом и максимально приближены к читателю. Трудно, конечно, перечислить все функции шолоховского пейзажа, поэтому, подытоживая, назовем лишь главные из них. Во-первых, он является средством психологического анализа, во-вторых, выступает средством выражения настроения автора и персонажей и, в-третьих, служит способом изображения времени и места действия. Исследование этого компонента показывает, что в произведениях писателя нет «безучастных» и «равнодушных» картин, все они являются органической составной частью единого художественного целого и каждая из них выполняет определенную роль в раскрытии авторского замысла.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Л. Ф. Ериов

НОВЫЕ РУБЕЖИ ПОЛЬСКОЙ РУСИСТИКИ

Процесс развития русистики в ПНР привел за последнее десятилетие к существенным качественным сдвигам. Ныне польская русистика с ее растущим числом исследовательских центров (в 70-е годы вместо 10 вузов, которые прежде готовили русистские кадры, стало 19; значительно увеличился выход в свет научной литературы) воспринимается как важная, широко разветвленная отрасль национальной филологической науки. Здесь оттачивается искусство исследования межлитературных и межкультурных связей, всесторонне изучается культура братского славянского народа.

Более того, именно в сфере русистики особенно глубоко и полно реализуются передовые идейно-эстетические принципы марксистского литературоведения и лингвистики. В этой связи нелишне напомнить, что такие течения, как структурализм, эстетизм или импрессионизм, и другие подобные им неоформалистские, позитивистские тенденции, существенно повлияв на работы эссеистского направления, практически миновали основное русло русистских исследований.

В совершенствовании их научного аппарата немалое значение имела опора на труды общеметодологического направления. Вот почему, наряду с работами специального характера, весьма полезен был выход в свет таких итоговых монографий, как «Личность и общество» (1971) Тадеуша М. Ярошевского, «Методология истории» (1973) Ежи Топольского, «Класс, идеология, литература» (1976) Витольда Навроцкого. Книги эти, созданные на солидном философском, социологическом фундаменте, помогают поднять на новый уровень методологию собственно филологических изысканий.

1

Все авторы, пишущие по вопросам польской русистики (в настоящем обзоре речь пойдет преимущественно о советнике), единодушно признают динамичный характер ее развития в 70-е годы. Думается, можно говорить о большем. На начало 70-х годов приходится принципиально новый период в истории этой важной общественной дисциплины.

Именно в эту пору с особой ясностью складывается представление о русистике как не только чисто филологической, но

и необычайно общественно значимой отраслью гуманитарного знания. Отсюда возрастание интереса к взаимосвязям смежных наук (социология, философия, педагогика).

Какие же моменты характеризуют лицо современной польской русистики? Если говорить о главных, то их, видимо, будет три: широко известная дискуссия 1973—1974 годов на страницах журнала «Nowe Drogi», образование Общества польских русистов и, наконец, формирование направления в области исследования взаимосвязей славянских литератур (под руководством профессора Базыли Бялоковича).

Ускорению развития польской русистики всемерно содействовала проведенная в 1973—1974 годах на страницах теоретического журнала ПОРП «Nowe Drogi» дискуссия о состоянии, задачах и перспективах этой отрасли гуманитарного знания. Дискуссия была открыта статьей Б. Бялоковича «Актуальные проблемы польской русистики» (1973, № 1). В ней освещался широкий круг проблем: задачи формирования научных и педагогических кадров, степень разработанности и теоретической оснащенности программ, пробелы в области методики преподавания русского языка и литературы и многое другое.

Немало места было отведено собственно литературоведческим вопросам. Автор наметил задачи, стоящие перед польской русистикой. Среди них одной из насущных, по его мнению, является развитие исследований в области сравнительного литературоведения.

И до 70-х годов ощущалась тяга к сравнительно-историческим штудиям. Однако на практике нередко получалось так, что описательно-регистрационный подход брал верх над проблемно-аналитическим. Из многочисленных видов межлитературных связей (контактные, генетические, типологические) изучались и регистрировались преимущественно первые, да и то зачастую на довольно узком, собственно литературном фоне. Намечая пути существенного улучшения дел в этой сфере, автор статьи «Актуальные проблемы польской русистики» утверждает, что избежать «поверхностной регистрации и интерпретации фактов» можно посредством интенсивного изучения социально-исторических, общест-

венно-политических явлений с позиций марксистско-ленинской методологии. Это подразумевает широкую опору литературоведов на такие смежные науки, «как история, социология, философия, использование которых обуславливает плодотворное развитие сравнительных исследований» (с. 85).

В статье Б. Бялокозовича привлекалось внимание и к таким недостаточно изученным разделам литературной науки, как принципы и категории художественного мышления, проблемы традиций и новаторства, периодизации и научных направлений и др. Особую тревогу автора вызвало то обстоятельство, что растущий интерес польского читателя к советской литературе не подкреплялся соответствующими усилиями научных работников. «Слишком мало русистов специализируется по советской литературе, слишком мало в этой области защищаются кандидатских и докторских диссертаций. В результате не хватает научных и научно-популярных работ по современной советской литературе и литературной жизни в СССР. Преодоление этой диспропорции — дело очень важное не только с научной, но и с идеологической точки зрения» (с. 83).

Ощущение того, что польская русистика вступает в новый период своего развития, что на этом этапе нужны более высокие требования, — вот лейтмотив большинства суждений участников дискуссии. Многие тезисы статьи Б. Бялокозовича были поддержаны и развиты в выступлениях ученых-литературоведов и лингвистов (Анатоль Минович, Антони Кмита, Станислав Сятковский, Юзеф Борсукевич, Телесфор Позыняк, Зыгмунт Гарбовский, Виктор Скрунда и другие). Особенно оживленно обсуждалась проблема роли и места русистики в системе гуманитарного знания, более того — в современной культуре.

Здесь столкнулись две концепции. Широкий взгляд на цели и задачи русистики продемонстрировал Анатоль Минович. Он polemизировал с теми участниками дискуссии (Александр Дорос, Владыслав Возневич), которые несколько суженно трактовали эти задачи, сводили их всего лишь к практической подготовке учителей русского языка. С точки зрения А. Миновича, в существующих программах замечается недооценка культурно-исторической роли филологических дисциплин и одностороннее прагматическое использование их в деле подготовки будущих кадров.

Само заглавие обширной статьи Станислава Сятковского «Некоторые общественные и дидактические аспекты русистики» («Nowe Drogi», 1973, № 12) свидетельствовало о стремлении автора гармонично совместить социальный и собственно педагогический моменты. Автор много места отвел и методическим вопросам, координации усилий литературоведов и лингвистов в формиро-

вании нового облика современной русистики.

Итоги этой дискуссии были подведены в статье Б. Бялокозовича «Проблемы развития польской русистики» (1974, № 11).

Однако масштабы этого обсуждения не ограничивались рамками журнала «Nowe Drogi». Дискуссия была перенесена на страницы других изданий — «Miesięcznik Literacki», «Przegląd Humanistyczny», «Slavia Orientalis», «Język Rosyjski», «Wychowanie», приобрела общенациональный характер. В ней принял участие широкий круг авторов (Ежи Енджеевич, Данута Кулаковская, Францишек Селицкий, Ольгерд Спиридович, Войтек Помыкало и другие).

Не забывая о насущных задачах педагогики, дидактики, методики, участники дискуссии затрагивали вопросы большого социально-философского, методологического плана. Шел откровенный разговор о трудностях и недостатках предшествующего этапа, о тех «стереотипах» и «упрощенных решениях», которые серьезно мешали развитию науки. При этом исследовательская мысль неизменно обращалась к узловым проблемам современности.

В статье Романа Срочиньского «Гуманистический смысл споров вокруг исследований по русской и советской литературе в народной Польше» («Przegląd Humanistyczny», 1974, № 11) особое внимание было обращено на необходимость углубленного изучения гуманистических ценностей литературы социалистического реализма. Это тем более важно, по мнению автора, что «непосредственно связано с процессом развития польской социалистической культуры». («Przegląd Humanistyczny», 1974, № 11, s. 79). Интернациональному аспекту русистских исследований посвятил свой отклик один из крупнейших специалистов в области педагогики Войтек Помыкало (см. его выступление «Фундаментальная проблема интернационального воспитания» — журнал «Wychowanie», 1973, № 3).

Участниками дискуссии были поставлены принципиальные вопросы научного и идеологического порядка, проблемы, связанные с активизацией роли филологов-специалистов в процессе строительства социалистической науки и культуры. В ходе ее были выявлены узкие места, «белые пятна», некоторые ошибочные тенденции. Однако к этому далеко не сводились усилия участников представительного форума. В центре внимания оказались задачи позитивного свойства. Были намечены перспективы развития русистики на ближайшие годы, выработаны те исследовательские основы, опора на которые поможет дальнейшему совершенствованию инструментария ученых.

Важное значение имели и три общепольских совещания русистов и слави-

стов, проведенные в 1974, 1976 и 1977 годах.

Свидетельством растущего авторитета польских русистов является факт проведения в Варшаве VII Международного съезда славистов (1973), III Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (1976), а также Международного симпозиума преподавателей русского языка и литературы в Люблине (1978). К участию в их работе был привлечен широкий актив польских русистов. К III Конгрессу МАПРЯЛ были приурочены превосходные издания тезисов и докладов, фундаментальные библиографии основных русистских трудов польских и зарубежных ученых (в трех томах, охватывающих три сферы знания: литературоведение, языкознание и дидактику).

Наглядно раскрываются зрелость и мастерство польских специалистов на международных, национальных и региональных конференциях и симпозиумах. Помимо названных живой отклик имели международные конференции, посвященные 70-летию М. А. Шолохова (1975), 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции (1977), 150-летию Л. Н. Толстого (1978) и ряд других. Здесь намечаются перспективы будущих разысканий, шлифуется методология, крепнут связи польских русистов с учеными Советского Союза, братских социалистических стран.

Подтверждением крепнущих контактов польских русистов с литературоведами Советского Союза стал мастерски сделанный перевод учебника для высшей школы «История русской советской литературы» (под ред. проф. П. С. Выходцева). Польские ученые творчески поняли свою задачу. Они не ограничились обычным переводом, но снабдили пособие обширным справочным аппаратом, предварили книгу обстоятельной статьей Б. Бялокозовича о польско-советских литературных связях.

2

В 70-е годы происходит качественный перелом в развитии польской русистики. Она все более завоевывает авторитет как особая ветвь гуманитарного знания, раставая как с остатками поверхностно-публицистического, нередко весьма тенденциозного «эссеистского» подхода к исследовательским задачам, так и с наследием отвлеченно-формализованной элитарной русистики. Этот процесс консолидации на подлинно научной основе не мог не привести к осознанию необходимости дальнейшего объединения усилий специалистов всех профилей (литературоведение, лингвистика, дидактика). В середине 70-х годов создаются объективные предпосылки к их интеграции в системе общего организа-

ционного целого. Вот почему возникновение в 1976 году Польского общества русистов стало естественным и закономерным актом.

Первоочередной целью этого Общества является, конечно, практическая высоко-профессиональная помощь более чем 30-тысячному коллективу преподавателей русского языка. Однако велики задачи его и как координирующего научного центра.

С первых месяцев своего существования Общество русистов взяло хороший старт. Во всех воеводствах возникли отделения, начал выходить орган Общества журнал «Przegląd Rusycystyczny». Первые номера этого издания подтверждают программное заявление «От редакции»: освещать достижения польской русистики в тесном контакте с мировой русистической мыслью (особенно с советской), а также с опорой на успехи таких гуманитарных наук, как философия, социология, история, педагогика. Именно об этом свидетельствуют интересные статьи Базыли Бялокозовича «Октябрьская революция и развитие международной русистики», Тадеуша М. Ярошевского «Ленинская концепция понятийно-дискурсивного познания» и другие работы.

Журнал «Przegląd Rusycystyczny» — принципиально важное явление в польской русистике. Вот почему необходим хотя бы краткий обзор этого специализированного издания.

Среди великих русских писателей XIX века (Пушкин, Гоголь, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, Чехов), пожалуй, только личность и творчество Ф. М. Достоевского вызывали в довоенной Польше наибольшее число односторонних, несправедливо-тенденциозных оценок, доживших и до наших дней. Наследие автора «Преступления и наказания», «Записок из Мертвого дома», «Братьев Карамазовых» нередко служило у недругов двух крупнейших славянских народов источником нагнетания вражды и недоверия. Долгое время создавались легенды и мифы о Достоевском как мистике и антигуманисте, Достоевском-ксенофобе, а применительно к Польше — полонофобе.

Заслуга журнала «Przegląd Rusycystyczny» состоит и в том, что уже в первом его номере опубликован цикл статей, явивший собой новую главу в интерпретации проблемы «Достоевский и Польша». Спокойно и объективно, на значительном фактическом материале освещается этот вопрос в статьях Людвиги Язукевич-Оселковской «Достоевский в польских вузах», Дануты Кулаковской «Этико-воспитательные функции творчества Достоевского» и Лидии Круковской «Вечны ли мифы?».

Л. Язукевич-Оселковская доказательно пишет о Достоевском не только как о великом художнике, но и великом гуманисте. Однако именно это положение

ние на практике нередко, по мнению автора, подвергалось сомнению или вовсе отрицалось. Происходило это потому, что исследователи внеисторически и внешне социально рассматривали художественное наследие писателя, Достоевского-мыслителя изучали в отрыве от Достоевского-художника. В результате длительное время получали распространение субъективистские, зачастую весьма тенденциозные трактовки. Подобные взгляды стали достоянием не только отдельных монографий и статей, но, к сожалению, проникли и на страницы коллективных итоговых трудов, учебных пособий.

Автор статьи «Достоевский в польских вузах» в этой связи подвергает критике раздел о Достоевском, помещенный в единственном польском учебнике по русской литературе для высшей школы (общая редакция Мариана Якубца). «Хотя и сделан здесь упор, — замечает Л. Язукевич-Оселковская, — на этической и психологической проблематике, но все-таки в этом послевоенном труде польских русистов проявилась явная недооценка философско-моральных и социально-общественных вопросов, неотъемлемо связанных с творчеством Достоевского. Следует упомянуть, что этот труд предназначен не только для студентов-филологов, но и для широких читательских кругов. И в наше время наблюдаем живучесть мифа о полонифобстве Достоевского независимо от предпринятых попыток его опровержения в работах последних лет и несмотря на явный алогизм этого мифа в контексте гуманизма писателя. Разумеется, все эти проявления до сих пор находили отражение в процессе преподавания русской литературы в польских вузах» («Przegląd Ruscystyczny», 1978, № 1, s. 84—85).

Обычно в работах польских литературоведов и публицистов о Достоевском такое крупное произведение писателя, как «Записки из Мертвого дома», не привлекается для анализа. Вот почему автор статьи «Вечны ли мифы?» Л. Круковская, подробно разбирая именно «Записки из Мертвого дома», убедительно развенчивает застарелую легенду. «Непредвзятые же чтение этого произведения, — пишет она, — не только не говорит о не любви Достоевского к полякам, о его враждебности, но, напротив, свидетельствует о большом уважении писателя к ссыльным полякам, к их мужеству, человеческому достоинству. Вскользь говоря о несогласии с их идеями, Достоевский, едва-едва выйдя с каторги как политический преступник, находясь под постоянным политическим надзором, не страшится писать о польских революционерах, сосланных на каторгу, с сочувствием и даже признаваться в том, что отчуждение некоторых из них он переживал с болью» («Przegląd Ruscystyczny», 1978, № 1, s. 92).

В центре статьи Д. Кулаковской «Этико-воспитательные функции творчества Достоевского» — моральные проблемы в наследии великого художника. Новой интерпретации здесь подвергается этическая концепция Достоевского, в частности интересно формулируется типология страдания в его творчестве, раскрываются богатство и многоаспектность этого понятия. Вывод автора статьи, написанной с четких марксистских позиций, звучит вполне в духе предшествующих выступлений журнала: «Защита Достоевского перед искажителями его идейно-художественного наследия — это не только, так сказать, наш профессиональный долг русистов, но нечто гораздо большее — это защита великих гуманистических традиций нашей социалистической культуры» («Przegląd Ruscystyczny», 1978, № 1, s. 89).

Характерный в прошлом для некоторой части русистов, идеализированный, слабо дифференцированный подход к модернистскому искусству XX века, тенденциозное освещение отдельных проблем истории и теории советской литературы первых десятилетий ее развития нынче сменяются спокойно-аналитической манерой повествования. Вместо сомнительной ценности так называемой «металлической» периодизации («серебряный век», «золотой век») утверждается научный принцип рассматривания историко-литературного процесса. Пожалуй, именно конец 60-х — начало 70-х годов дает взлет такого типа разысканий (см., например, сборник «Po obu stronach granicy» (1972), который уже рецензировался на страницах «Русской литературы» («Русская литература», 1973, № 2, с. 228—230)).

В том же русле ведет изучение русской литературы XX века и советской литературы начальной поры ее становления Телесфор Позыняк в статье «Образ революции в поэзии Константина Бальмонта и Валерия Брюсова» («Przegląd Ruscystyczny», 1978, № 1). Последовательно выдержанный социальный анализ, дифференцированное отношение к различным течениям модернизма — все это позволяет нарисовать объективную картину эволюции русской поэзии 1900—1910-х годов. Взятые только две, но столь типические судьбы — Валерий Брюсов и Константин Бальмонт. На их примере прослежено, как служение истинно демократическим, революционным идеалам приводит одного художника в лагерь сражающегося народа, а другого — непонимание характера народной революции — к отвлеченно-вербальному стиху, к анемии таланта и в финале — в эмиграцию.

Творческий путь В. Брюсова стал, по словам исследователя, «символом пореволюционных судеб русской литературной интеллигенции, помнящей о своей общественной родословной. Принять такое решение не хватило духа у Бальмонта

и многих других, и в этом коренятся истоки их поражения как личностей и художников» («Przegląd Rusycystyczny», 1978, № 1, с. 81).

Неоднократно отмечалась слабая работанность новейшего этапа советской литературы польской русистикой. Концом 50-х—началом 60-х годов, беглым и не всегда объективным рассмотрением лирической или «молодежной» прозы обычно ограничивались критические обзоры, вузовские программы. Некоторые авторы даже называли период 60-х и, особенно, 70-х годов «неведомой землей», хотя на начало 70-х годов и приходится возрождение внимания к наиболее крупным явлениям современной литературы (творчество Юрия Бондарева, Виктора Астафьева, Василия Шукшина).

«Przegląd Rusycystyczny» стремится ликвидировать существующие «белые пятна». Отсюда пристальный интерес журнала к актуальным проблемам и современному состоянию советской литературы. Так, например, во втором номере за 1978 год помещена статья Владзимежа Стохеля «Познавательльно-воспитательные элементы военной прозы Василия Быкова», содержащая краткий, но емкий разбор основных черт творчества белорусского писателя. Отмечая патристическое и интернациональное звучание произведений В. Быкова, их высокую гуманистическую направленность, автор статьи не ограничивается выявлением только познавательльно-воспитательного аспекта творчества художника. В. Стохель раскрывает эстетическое своеобразие прозы писателя, сочетающей эпическую строгость и необычайную эмоциональную динамику, предметность и конкретность наблюдений с точностью психологического анализа и глубиной филолоско-этических обобщений.

В третьем номере журнала за 1978 год Зинаида Петрова в статье «Поэтика стиха Леонида Мартынова» на примере поэзии Л. Мартынова 1960—1970-х годов делает попытку раскрыть отдельные образно-метафорические, лексико-синтаксические и версификационные особенности творчества крупнейшего современного поэта-философа. В центре внимания автора статьи «Субъективизация повествования в русском советском очерке 50—60-х годов» Марии Кузьмин («Przegląd Rusycystyczny», 1978, № 4) — исследование процессов становления и формирования лирической прозы. Анализируя творчество Г. Троепольского, С. Залыгина, В. Солоухина, Е. Дороша, автор выявляет те социально-эстетические факторы, которые определили поиски новых художественно-публицистических средств, расширивших возможности литературы социалистического реализма.

Как видим, новый журнал точно выбирает задачи и цели исследования, с верных позиций освещает вопросы истории и теории. Уже первые номера этого ежеквартального издания свидетельствуют

о том, что в центре внимания авторов находятся проблемы, связанные с развитием русской классической и советской литературы, фольклора и лингвистики, методики преподавания языка и литературы, сравнительного языкознания и литературоведения. Весьма широко представлен раздел обзоров и рецензий. Словом, польская русистика обогатилась изданием, которое уже сейчас играет видную роль в формировании этой важной общественной дисциплины.

Для польской русистики 70-х годов характерно значительное расширение ее географических границ. Помимо ценных трудов, созданных учеными таких крупных университетских центров, как Варшава, Краков, Вроцлав, Люблин, Познань, Гданьск, все больше появляется работ исследователей из городов Белосток, Ополе, Быдгощ, Сосновец, Зслёна-Гура, Жешув, Ольштын, Кельце, Щецин и др.

Создаются капитальные труды теоретического, историко-литературного и прикладного характера. Среди них выделяются такие периодические издания, как «Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria» (очередной, пятый том вышел в 1979 году в Варшаве), «Prace Rusycystyczne» (т. IV, Краков, 1973), «Slavica Wratislaviensia» (т. XII, Вроцлав, 1977), «Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filologia Rosyjska» (т. 5, Гданьск, 1975). Свои научные сборники по мере накопления материалов выпускают и многие другие университеты и педагогические институты. Так, например, обращают на себя внимание том трудов «Ze Studiów Rusycystycznych», вышедший в 1975 году в Люблине, «Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne», опубликованные в 1973 году в Белостоке.

Захватывая в свою орбиту значительные пласты историко-литературного материала, современная польская русистика существенно расширяет свое поле деятельности. Если попытаться хотя бы кратко очертить тематику и проблематику основных работ, то и тогда перечень их будет весьма внушительным. Здесь читатель найдет труды, посвященные фундаментальным разделам методологии марксистско-ленинского литературоведения, основным принципам нового художественного метода. Историко-литературный процесс, начиная с эпохи 20-х годов и кончая днем сегодняшним, изучается не менее интенсивно. М. Шолохов и В. Шукшин, К. Федин и Ю. Бондарев, поэзия периода Великой Отечественной войны и проза 70-х годов, драматургия и лирика, детская литература и многое-многое другое входит в круг интересов польских ученых-литературоведов.

Современная польская русистика развивается не только вширь, но и вглубь. Такие узловые проблемы, как традиции и новаторство, национальное и интерна-

диональное, категории гуманизма и народности, основные этапы и закономерности эволюции советской литературы, ее мировое значение, все чаще становятся предметом внимательного изучения. Например, в трудах Владислава Грабского и Романа Срочиньского (особенно в их статье «Этико-воспитательные ценности советской литературы») находим углубленную разработку проблемы традиций и новаторства в системе современной культуры. Их концепция учитывает наличие двух типов цивилизаций в современном мире. Вот почему неразрывное единство таких понятий, как традиция—культура—личность—социалистическая нация—содружество социалистических наций, противостоит буржуазным моделям, построенным совсем на иных ориентирах: современность—отчужденная личность—индустриальное общество—космополитизм.

Нельзя не отметить важной роли, которую стали играть в 70-е годы такие издания, как журнал «Pokolonia», газета «Sztandar mlodych», в деле популяризации достижений польской русистики среди молодежи. На страницах названных периодических органов часто выступают видные специалисты, печатаются статьи и обзоры, посвященные актуальным проблемам этой отрасли филологической науки.

3

В польской русистике всегда были интересные творческие индивидуальности, крупные имена. В 70-е годы возникает нечто новое—целые школы и направления.

Отличительная особенность научного направления, возглавленного профессором Б. Бялоковичем,—углубленное решение проблем восточнославянских литературных связей, а также истории и теории советской литературы. Серьезная методологическая оснащенность трудов Б. Бялоковича, его внимание к изучению важнейших вопросов науки—все это привлекает интерес других русистов-исследователей, научную молодежь. Школа профессора Бялоковича объединяет ныне более двадцати кандидатов и ряд докторов филологических наук.

Сложные проблемы мировоззрения Достоевского, Л. Толстого, русских революционных демократов изучаются в работах Дануты Кулаковской. По советской литературе и польско-советским связям плодотворны труды Зыгмунта Збыровского. Проблемам метода социалистического реализма, а также восприятию русской советской прозы посвящен цикл работ Романа Срочиньского.

В статьях и книгах учеников Б. Бялоковича есть одна особенно привлекательная черта—стремление авторов к синтезу, к нахождению итогового ха-

рактера. Среди такого рода работ выделяются монографические исследования Марии Хаенцкой и Яна Ярцо.

Несмотря на то, что литературе периода Великой Отечественной войны посвящено немало трудов, монография М. Хаенцкой «Русская советская поэзия 1941—1945 годов» (1978) вносит много своего, нового. Осмыслия поэзию 1941—1945 годов как закономерное звено в развитии советской литературы на переломе десятилетий, автор создает свою типологию поэтических жанров, наряду с лирикой и эпосом уделяя особое внимание сатире. М. Хаенцкая стремится от отдельных наблюдений перейти к вопросам широкого свойства как в области тематики и проблематики (личность и общество, человек и история, народ и государство), так и в сфере поэтики (композиция, сюжет, стиль, стихосложение).

В работе Яна Ярцо «Литературное творчество Василия Шукшина» (1978) обстоятельный разговор о социально-философских и нравственно-эстетических истоках прозы автора «Калины красной» позволил исследователю создать необходимую базу для анализа неповторимой творческой индивидуальности художника. Впервые в литературоведении творчество писателя изучается на общем фоне развития русской советской литературы 1960—1970-х годов. При этом особенно полно говорится о традиционном русском литературном направлении, берущем начало еще в XIX веке, а ныне представленном плеядой крупных художников—М. Алексеев, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин. Особо подчеркивается, что это мощное направление тесно связано с крестьянской тематикой и основами народной культуры, с ее глубинными социально-историческими, философско-эстетическими исканиями. Корни творчества Шукшина и уходят в эту почву, питаются соками народной жизни.

Значение вклада Б. Бялоковича в современную польскую русистику определяется, как мне представляется, прежде всего тем, что его теоретико-методологические труды создают плодотворную базу для успешного решения многих перспективных задач. Шагом вперед в творческой биографии ученого стало создание им книги «Из истории польско-русских литературных связей в XIX веке» (1971). Здесь Б. Бялокович не только дает систематический обзор, но и всесторонне анализирует важнейшие аспекты этой проблемы. Автором раскрыта методика исследования генетических, историко-сравнительных и типологических взаимосвязей двух славянских литератур.

Основные ключевые проблемы современного сравнительно-исторического литературоведения были либо разработаны, либо поставлены в этой книге. Не случайно она вызвала такой широкий

отклик и признание научной общест-венности. Достаточно сказать, что в Польше, СССР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, ГДР и Австрии появи-лось около 40 печатных рецензий. Все авторы отмечали оригинальность кон-цепции польского ученого, новизну и убедительность его выводов, совер-шенство методологии.

В 70-е годы существенно расшири-лись основные направления деятельно-сти ученого, обогатилась их тематика. Не только вопросы взаимоотношений польской и русской классических лите-ратур, но и проблематика советской многонациональной литературы входит в поле зрения исследователя. Все боль-шее место в его трудах занимают про-блемы методологии и методики сравни-тельно-исторического литературоведе-ния.

В этой связи прежде всего следует отметить доклад «Польско-восточносла-вянские литературные отношения как исследовательская проблема», открывав-ший научную сессию Комитета славя-новедения Польской академии наук («Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria» (Ossol., Wrocław, 1974, s. 7—49)). Методологическое значение этой работы состоит в том, что ее автор, опираясь на достижения передовой ли-тературоведческой науки и собственные многолетние разыскания, сделал плодотворную попытку создания общей тео-рии компаративистики применительно к задачам исследования взаимосвязей западных и восточных славянских лите-ратур (польская, русская, украинская, белорусская).

Интересны в теоретическом плане две работы Б. Бялокозовича последних лет: «О некоторых проблемах польской сла-вистики и русистики» («Przegląd Huma-nistyczny», 1974, № 11) и «Задачи и на-правления развития польской слави-стики и русистики» («Przegląd Huma-nistyczny», 1976, № 11). В этих статьях не только фиксируются результаты раз-вития означенных дисциплин в после-военные годы, анализируется современ-ное состояние их, но и содержится про-грамма действий на обозримый период времени.

Вклад передовой польской мысли в развитие русистики важен и значи-телен. В частности, именно по этой при-чине в 70-е годы были убедительно опровергнуты теории, которые лишь мнимо выражали искания националь-ного литературоведения. Окончательно развеялась дымовая завеса так назы-ваемой «польской точки зрения», кото-рую усердно и не без успеха насаждало эссеистское крыло русистики второй половины 60-х годов. Как показал спо-койный и непредвзятый анализ, на са-мом деле все обстояло несколько иначе. Поборники «польской точки зрения» по существу отстаивали отнюдь не само-стоятельную национальную концепцию, а

всего лишь повторяли знакомые мотивы буржуазной европейской и американ-ской советологии. Именно об этом спра-ведливо писал Роман Срочиньский в статье «Гуманистический смысл разно-гласий в исследованиях русской и со-ветской литературы периода Народной Польши» («Przegląd Humanistyczny», 1974, № 11).

«Собственная точка зрения польской русистики, — как совершенно верно го-ворил Б. Бялокозович в докладе от 16 марта 1974 года на совещании поль-ских русистов в Яблонне, — должна основываться на прогрессивных тради-циях польского литературоведения и ли-тературной критики, включать конст-руктивное сотрудничество с советскими учеными и передовыми русистами дру-гих стран».

Статья Б. Бялокозовича «Принципы создания учебника и построения лек-ционного курса советской литературы в контексте закономерностей историко-литературного процесса» («Język Rosyj-ski», 1976, № 4) содержала раздумья ученого над тем, каким должен быть польский учебник по советской лите-ратуре. Особый интерес представляли мысли о структуре курса и его пери-одизации, о соотношении социально-ис-торического и литературно-эстетического начал и некоторые другие.

По мнению Б. Бялокозовича, такое пособие, опираясь «на всестороннее изу-чение результатов научных исследова-ний», явило бы собой «итог синтеза». «В то же время, — продолжает автор, — некоторое отличие польского учебника или лекционного курса от русского, чешского, немецкого, болгарского, вен-герского, югославского или румынского вполне оправданно и полезно. Напри-мер, в польских учебниках следует бо-лес широко учитывать творчество тех писателей и поэтов, в произведениях которых отразилась польская тематика, которые были более тесно связаны с польской культурой, переводили поль-скую художественную литературу и со-действовали развитию и укреплению польско-советских литературных связей. Однако учет своеобразия польской куль-турной традиции и собственного твор-ческого поиска не может менять об-щей картины развития советской лите-ратуры, вести к ее искажению, к нару-шению исторической перспективы и не должен означать, что можно переносить схемы, принципы, терминологию, пери-одизацию одной литературы на другую» («Język Rosyjski», 1976, № 4, s. 7—8).

Дольский синтез русской и советской литератур отнюдь не сводится к повто-рению того, что делается в самом Совет-ском Союзе. И было бы странно, если бы все обстояло иначе. Ценность взгляда со стороны в том и состоит, что подмеча-ются такие явления и закономерности, которые далеко не всегда могут быть раскрыты самими участниками этих про-

цессов. Объединение же усилий ученых ведет к взаимному обогащению.

Весьма показательное такое явление академической и университетской польской русистики наших дней, как рост внимания к изучению не только наследия признанных классиков, но и творчества современных советских писателей, которые воплощают новые черты литературы социалистического реализма (Виктор Астафьев, Юрий Бондарев, Василий Белов, Сергей Залыгин, Валентин Распутин, Василий Шукшин).

Проделанная за последние годы большая работа по изучению русского языка, истории и теории русской классической и советской литературы, по восприятию творчества русских писателей в Польше достойна глубокого уважения и признательности. Польские ученые все более интенсивно и целеустремленно исследуют историко-литературные процессы, совершающиеся в СССР, проблемы межлитературных связей.

Вместе с тем в богатом и разнообразном арсенале польских русистов могут быть отмечены отдельные участки, которые ждут своего исследования. Именно так обстоит дело с изучением целой

эпохи с 1930 по 1955 год в истории советской литературы. По-прежнему остро ощущаем недостаток работ в области изучения метода социалистического реализма, что существенно затрудняет выяснение вопроса о новаторском характере искусства слова в СССР. Насущной задачей становится создание итогового труда по советской литературе, основанного на принципах марксистско-ленинского литературоведения и учитывающего специфические особенности польского читателя.

Русистика — передовой отряд польской литературоведческой мысли. В 70-е годы она развивалась по тем же основным направлениям, что и другие фундаментальные дисциплины гуманитарной науки: методология, историко-генетические исследования, сравнительно-типологические и, наконец, исследования в области поэтики художественных произведений как в широком, так и в узком значении этого слова.

Польская русистика на подъеме. Она всемерно расширяет и углубляет братский союз двух социалистических культур и литератур.

В. А. Ковалев

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ *

Рецензируемая книга принадлежит перу видного советского литературоведа, чл.-корр. АН СССР В. Р. Щербины. Она будет интересна для учителей, студентов педвузов, широкого круга школьных работников, методистов, ученых педагогического профиля, деятелей органов народного образования и просвещения, а также для критиков и литературоведов, работников «смежной» с педагогикой профессии, преследующей также социально-педагогические цели, неотрывной от дела популяризации художественной литературы в массах, дела воспитания подрастающих поколений. Возможно, опыт В. Р. Щербины даже побудит других литературоведов заняться вопросами литературного образования в стране — школьного и внешкольного — вплотную и систематически. Уж очень важны и актуальны эти вопросы в наше время!

Суждения автора зачастую носят отчетливо полемический характер и довольно критичны в отношении имеющихся недостатков и «недоработок» в постановке литературного образования в средней школе.

* Щ е р б и н а В. Р. Проблемы литературного образования в средней школе. (Методологические наблюдения и размышления). М., «Просвещение», 1978, 270 с.

Книга состоит из отдельных статей, дающих в итоге полное представление и об общих задачах и целях литературного образования в школе, и о специфике современного этапа в развитии школы, и о связи школьных дел с задачами социального воспитания в период развитого социализма, с теми задачами, которые в 70-е годы решают коммунистическая партия и советский народ, реализуя исторические решения XXV съезда партии.

«По ходу дела» автор высказывает ряд интересных суждений литературоведческого свойства, касающихся таких вопросов, как современность художественной классики, связь литературы с другими видами искусства, влияние на развитие литературы НТР, системность в изучении теоретико-литературных понятий, реакционная сущность модернизма и др. Все это делает книгу насыщенной сведениями, крайне необходимыми методисту и учителю средней школы, вооружающей их теоретически и методологически.

Книга В. Р. Щербины — пример квалифицированной, действенной помощи со стороны ученого академического профиля средней школе, пример «выхода» науки в сферу практической работы по воспитанию молодежи.

Проследим за авторской мыслью по разделам книги.

В начальном разделе, заголовок которого повторяет название книги, автор высказывает общие соображения. Пафос раздела — в указании на имеющиеся нерешенные проблемы в постановке литературного образования в школе, в частности при определении объема и целей изучения литературы в школе, при разработке научных критериев отбора материала и др. Особенно заботит автора наблюдающееся ослабление интереса школьников к чтению литературы, к изучению классики. Причины этого явления достаточно сложны, но из их числа автор выделяет те, которые могут быть устранены работниками народного просвещения и учителями школ, в особенности «искусственное, ничем не оправданное затягивание времени изучения произведения» (с. 23), «замедленность литературного образования» (с. 26). В. Р. Щербина соглашается с мнением методистов, что любовь учащихся к литературе нужно пробудить уже в младших классах, что нельзя подолгу задерживаться на дотошном «анатомировании» художественных произведений, что систематический курс литературы следует начинать раньше, не с восьмого, а с седьмого класса. Вообще литература должна занять более значительное место в школьном преподавании, чем занимает в настоящее время.

В разделе «Единство познания и воспитания» затрагивается множество вопросов, но среди них ведущим является положение о необходимости правильного сочетания разных аспектов изучения литературы в школе — познавательного, нравственного, психологического, эстетического и функционального. Нельзя впадать в крайности, например противопоставлять «отображающую функцию» литературы ее «историко-функциональной сущности». В. Р. Щербина призывает учителей в полной мере использовать в своей педагогической практике достижения современной науки о литературе, опереться на итоги научного литературоведения, которое давно уже изжило в анализе литературы такое противопоставление.

Соблюдая принцип историзма, принцип рассмотрения художественного произведения в конкретных исторических и социальных условиях, учитель должен раскрывать в классике «общее социально-психологическое содержание, остающееся действительным и актуальным в духовной жизни последующих поколений» (с. 32), подчеркивать на уроках «социально и нравственно утверждающие стороны литературы» (с. 34), положительные идеалы писателей, поиски ими реальных путей обновления общества. На примерах из творчества М. Горького («Мать»), А. Толстого («Петр I») автор намечает конкретные пути раскрытия активной функциональной роли литературы, ее долговременной жизнеспособности в изменяющихся обстоятельствах социального раз-

вития. В этой связи он обращается к новым материалам, опубликованным в сборнике «Переписка А. М. Горького с общественными деятелями» (1976), в которой четко и ясно выражена горьковская точка зрения по этому вопросу.

В. Р. Щербина поддерживает стремление методистов и учителей к освещению проблемного содержания литературы (проблемы единства слова и дела, гражданского долга и права человека на личное счастье и т. д.). Обстоятельно характеризует он проблематику творчества М. Шолохова, показывает ее широкое познавательное и воспитательное значение. Вместе с тем он предостерегает учительство против увлечения «псевдопроблемами», которые порою выдвигала на первый план литературная критика (в лице сторонников так называемого «критического направления» в 50—60-е годы; в суждениях М. В. Бахтина о «полифоничности» произведений классической литературы, лишавшей их цельности, определенности авторской позиции). Непланируемым в этой связи оказывается замечание автора о КЛЭ: «...пестрый набор всякого рода субъективистских оценок явлений литературы собран в ряде томов „Краткой литературной энциклопедии“. Из совокупности входящих в эти тома заметок составляется весьма одностороннее, а иногда неверное представление об облике ряда писателей и литературных явлений, понятий, течений. В частности, одни писатели безмерно и необоснованно поднимаются, а другие — незаслуженно приижаются...» (с. 75).

В связи с оценкой этого раздела книги мне хотелось бы кратко высказаться по вопросу о так называемом «проблемном изучении литературы», которое уже ряд лет внедряется некоторыми методистами в практику школы. Существо этого метода изложено в книге В. Г. Маранцмана и Т. В. Чирковской «Проблемное изучение литературного произведения в школе» (1976). Что такое «проблемный анализ», предлагаемый этими авторами? Послушаем их: «Проблемный анализ как специфический путь разбора предполагает, что вопрос, возникший в сознании учащихся при чтении литературного произведения, организует сам процесс изучения. Поиски решения общего, перспективного вопроса приводят к возникновению новых, дополнительных. Решение одного вопроса вызывает появление другого. Проблемный анализ — это своего рода цепная реакция вопросов, разбор, построенный на соединении связанных друг с другом проблемных ситуаций». По мнению авторов, преимущества такого способа изучения литературы в том, что «проблемный анализ воспитывает в учащихся умение защищать выбранную точку зрения, логически аргументировать читательские впечатления и выводы раз-

бора. Литературный анализ как бы выстраивается усилиями самих учеников».¹

Конечно, активность учащихся на уроках, нацеленность их на постановку проблем — хорошее дело, но когда не учитель, а ученик, с возникшими у него при чтении вопросами, «организует сам процесс обучения», то эта новация становится сомнительной, вносит в преподавание литературы элементы случайности и субъективизма. Не лучше ли все же учителям и учащимся следовать в анализе определенной и продуманной системе и учиться не просто упорно «защищать выбранную точку зрения», но выяснять истину, стараться глубже понять замысел художника, систему образов произведения, оценить познавательное, историческое значение произведения, его роль в духовной жизни современника? Не лучше ли придерживаться реальных проблем, заключенных в произведении, стремиться к познанию и усвоению сложных образных концепций писателя? Зачем создавать некие искусственные «проблемные ситуации», которые могут увести учащихся в сторону от текста произведения?..

В следующем разделе «Классика и современность» автор, продолжая разговор о «проблемном аспекте», подчеркивает, что с учетом этого аспекта успешнее будет решен в школьном преподавании вопрос о соотношении классики и современности: «Потребность вывести образы и проблемы литературы в реальную жизнь молодого поколения, включить их в жизнь как действенную, активную силу нашей современности ощущается сейчас особенно остро» (с. 80). Но это надо делать не путем «специального тематического искусственного подтягивания» классических произведений к нашим дням; ясное выделение реальной, непреходящей и неиссякающей проблемности классики — вот что нужно на уроках литературы.

Автор возражает против включения в школьные программы посредственных и слабых произведений (по признаку актуальности проблематики), ибо это снижает уровень литературного образования в школе, отталкивает школьников от классики.

В разделах «Литература — искусство слова» и «Слово тоже есть дело. (Вопросы связи изучения литературы и языка)» В. Р. Щербина останавливается на воспитании у школьников эстетического вкуса и необходимости усиления «языкового» аспекта изучения литературы, развития речевой культуры учащихся. Много интересного для себя найдет учитель в этих разделах, в которых затрагивается также немало смежных проблем. Так, автор напоминает слова И. С. Тургенева: «Без тонко развитого

вкуса нет полных художественных радостей; а никто еще не родился с тонким вкусом...» Значит, глубина восприятия художественных произведений может быть выработана лишь ценою целенаправленных усилий! Нельзя забывать и того, что через современные средства массовой коммуникации к зрителям и слушателям непрерывно идет пестрый поток разнородных впечатлений, зачастую рожденных отнюдь не шедеврами искусства, и это притупляет восприятие, ведет к пассивному усвоению информации, без определенной системы и обдумывания, без внутренних усилий личности.

Возражает автор против «неправомерного акцентирования в суждениях о вопросах образования лишь на моменты интересности или неинтересности». Овладение знаниями, изучение произведений искусства требует от школьника определенного напряжения, усидчивости. Надо воспитывать трудовую психологию учащихся, добиваясь того, чтобы «внешне, с первого взгляда неинтересное, трудное сделать увлекательным» (с. 117).

Касаясь вопроса об изучении в школе родного языка, В. Р. Щербина критикует «приоритет теоретического изучения языка в школе перед практическим» (с. 126). Возражает он против резкого сокращения занятий по языку в старших классах.

Интересны страницы книги, посвященные критике структуралистских подходов к изучению произведения, когда литература рассматривается «не как отображение многообразия действительности, а как комбинация сложившегося набора структурных элементов, так называемых топосов, своего рода отвлеченных моделей, повторяющихся тем, сюжетов» (с. 143).

Очень важен раздел книги «Система теоретико-литературных понятий», посвященный изучению в школе основ теории литературы. Автор подчеркивает, что «в процессе усвоения литературоведческих понятий получает дальнейшее развитие и само художественное восприятие» (с. 148), углубляется понимание того «массива художественных впечатлений», которым перегружено сознание современного школьника. В главе содержатся советы педагогам по организации учебной работы над системой эстетических понятий. Учащиеся должны иметь ясные представления о терминах «герой», «тип», «характер», «тема», «идея», «композиция», «сюжет», «мотив», «художественная деталь» и т. д., разбираться в основах стиховедения и драматического искусства. Автор напоминает, что «одна из особенностей духовной жизни наших дней состоит в том, что основным плацдармом столкновения взглядов является сфера наших понятий и связанных с ними принципов» (с. 152). В разделе дается литературоведческое разъяснение таких понятий, как правди-

¹ Цит. по статье М. Смусиной, активного популяризатора этой методики («В мире книг», 1978, № 11, с. 21).

вость литературы, идейная позиция писателя, жизненный материал, содержание искусства и т. д.

Подробно излагает автор свою точку зрения по проблемам стиля и метода, полемизирует и с «расширительным, всеобъемлющим истолкованием категории стиля, уравнивающим ее с особенностями литературы вообще» (с. 169), и с «тенденцией сведения вопросов художественного стиля к так называемой лингвистической стилистике» (с. 171).

В разделе «Характер. Нравственность. Сила примера» автор останавливает внимание читателей на нравственном содержании литературы, которое находит выражение прежде всего в образах, «имеющих значение силы примера», в «людях подвига, веры и ясно осознанной цели», в характерах, отражающих процессы «обновления и развития личности». Подвергнуты критике «дегероизаторские взгляды», основанные на отрицании необходимости изображения «положительных начал жизни», взгляды, ведущие к искаженным представлениям об эпохальной задаче советского искусства, проникнутого пафосом утверждения нового мира социализма, прогрессивных идеалов, социально и нравственно целеустремленных характеров.

Два заключительных раздела посвящены вопросам организации литературного образования в современной школе. Рассмотрены формы изучения литературы в школе (факультативы, самостоятельное чтение учащихся, применение принципа вариативности, допускающего в указанных программах границы выбор произведений, и т. д.), связь изучения литературы с изучением истории, а также других видов искусства, взаимодействие литературы, кино и телевидения и др. Автор обращает внимание читателей на то, что неумеренное и бездумное созерцание кинофильмов и телепередач «развивает пассивность восприятия, духовное безразличие, пресыщенность поверхностными впечатлениями, отучает от серьезного чтения художественной литературы» (с. 247).

В этом кратком обзоре разделов

книги я поневоле мпновал страницы, содержащие многочисленные «попутные» суждения В. Р. Щербины теоретико-литературного и историко-литературного характера, так или иначе связанные с практикой школьного преподавания литературы, суждения, с которыми с большой пользой для себя, даже в тех случаях, когда они остаются неразвернутыми, знакомятся учителя средней школы. Автор обращает внимание на сложность и многогранность дела литературного образования, зовет педагогов к творческим исканиям, к сопоставлению своего личного педагогического опыта с исканиями современного литературоведения и современной методики литературы, в данном случае соединившихся на страницах рецензируемой нами целенаправленной и целеустремленной книги.

Автору настоящих строк, редактировавшему учебник для десятого класса «Русская советская литература» и «Методическое руководство» к нему, представляются очень важными все поставленные В. Р. Щербиной проблемы литературного образования в школе. И хочется выразить уверенность в том, что выход книги послужит улучшению литературного образования, заставит многих деятелей народного просвещения энергичнее решать насущные проблемы. Среди таковых: совершенствование школьных программ по литературе, достижение стабильности учебников по литературе для всех классов, создание «методических руководств» ко всем имеющимся учебникам, систематическое, через каждые два—три года, издание новых пособий-брошюр по текущей советской литературе (в дополнение к учебнику). И рядом с этим должна быть всемерная забота об улучшении преподавания в школе, ибо никакие программы, учебники и руководства не смогут сами по себе, без напряженных творческих усилий учителя и методиста, привести к требуемому большому росту знаний учащихся в области литературы и искусства, повышению культуры учащихся, совершенствованию их художественно-эстетического воспитания.

И. Н. Крайнева

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА БЕЛЬГИЙСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦЫ *

В обобщающих обзорах зарубежной славистики последнего времени — в основных ее звеньях — неизменно обращается внимание на два важнейших обстоятельства. Прежде всего, это расширение круга научных исследований

в области русистики и все более прорывающая себе дорогу тенденция к историзму и объективности в освещении наследия революционных демократов.¹ По мнению советских ученых, укрепле-

«Slavica Gadensia Analecta», 1]. 402 p. Перевод на английский язык осуществлен при участии автора.

¹ Современная советская историко-литературная наука. Актуальные вопросы. Л., 1975, с. 331—332.

* Maegd-Soep Carolina de. The emancipation of women in Russian literature and society. A contribution to the knowledge of the Russian Society during 1860-s. Ghent state univ., 1978 [The series

ние методологии современной русистики за рубежом зависит во многом от успешности дальнейшего развития контактов с нашей историко-литературной наукой.²

Насколько плодотворны эти контакты с советской литературоведческой школой — в частности, академической школой — свидетельствует недавно вышедшая в свет в английском переводе монография бельгийского автора, доктора Каролины де Магд-Соэп «Эмансипация женщин в русской литературе и обществе». В подзаголовке значится: «К изучению русского общества 1860-х годов».

Книга К. де Магд-Соэп строится на фактическом материале, собранном автором в библиотеках и архивохранилищах Советского Союза.

Во вступительной заметке исследовательница говорит о своей глубокой признательности К. И. Чуковскому, в свое время с большим вниманием отнесшемуся к ее работе.³

Поясняя в Предисловии необходимость обращения к теме женской эмансипации, К. де Магд-Соэп формулирует цель и предмет своего исследования. «Избрав в качестве предмета нашего исследования развитие женского самосознания, — пишет она, — мы в то же время пытались привести в него (изучение, — И. К.) русский взгляд на вещи в важнейших его чертах. Литература является удивительным проводником в глубины... социального сознания всей русской интеллигенции»; «это увлекательнейшая задача — выявить соотношение между художественным и жизненным типами новых женщин...» (с. 11, 12).⁴

² Григорьев А. Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л., 1977, с. 282—283.

³ Д-р К. де Магд-Соэп высказывает благодарность в адрес советских библиотек и академических учреждений, литературоведов и историков, которые своими советами оказали ей помощь в работе над монографией. Это С. и Н. Бонди, У. Фохт, П. Кочина, С. Машинский, М. Новикова, З. Паперный, Л. Розенблом, П. Зайончковский, В. Жданов — в Москве; А. Алексеев, О. Чемена, Е. Егоров, Л. Лотман, Л. Назарова — в Ленинграде.

⁴ Интересно соотнести работу К. де Магд-Соэп, отличающуюся серьезностью подхода к решаемой проблеме, с работами зарубежных литературоведов родственного по отношению к ней тематического ряда, но с иными, чем в рецептируемой монографии, исходными посылами анализа «женской» темы в литературе. См., например: 1) Benson R. Cr. Women in Tolstoy. The ideal and the erotic. Urbana [a. o.], Univ. of Illinois press [1973]; 2) Seeley F. Dostoevsky's women. — The Slavonic and East-European Review, 1960—61, vol. 39; 3) Lafitte S. La femme dans le roman russe avant 1917. — Europe, nov.—déc., 1964 и

Такая двуединая задача определила структуру монографии, которая четко распадается на две части: первая — это своеобразный очерк из истории женского движения в России, вторая — литературоведческая в собственном смысле слова — предполагает изучение женских образов и проблемы эмансипации женщины в русской литературе, в основном в романах И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. Г. Чернышевского.

С точки зрения методологии, книга К. де Магд-Соэп во многом продолжает традицию, заложенную известной монографией английского ученого Юджина Ламперта «Очерки бунтарства», где была предпринята попытка довольно полно воссоздать деятельность Белинского, Бакунина и Герцена, их роль в истории русской общественной мысли.⁵

К. де Магд-Соэп в первой части своей книги, опираясь на материалы, опубликованные в «Современнике», «Отечественных записках», «Экономическом указателе», пытается показать, каким образом «женский вопрос», будучи «социальной проблемой» (с. 36), участвует в «размежевании консервативных, либеральных и демократических сил в обществе» (с. 36). Важным позитивным моментом исследования является указание на сопряженность «женского вопроса» с потребностями русского освободительного движения, в том числе — с борьбой прогрессивных сил русского общества против крепостничества (с. 78). Здесь как документ эпохи широко используется дневник Елены Штакеншнейдер.

Бельгийская исследовательница демонстрирует основательное знакомство с сочинениями В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского; ею подробно разбирается концепция женской эмансипации М. Л. Михайлова.

Опираясь на документы, работы советских ученых,⁶ К. де Магд-Соэп прослеживает общий путь женского движения: как от первых форм протеста в семейном быту, через утверждение

др. В совокупности своей эти работы образуют цикл в современной западной критике.

⁵ Lampert E. Studies in rebellion. London, 1957. (См.: Басин Е. Я. Новые тенденции в освещении истории русской философской мысли за рубежом. — Вопросы философии, 1959, № 10, с. 179—181).

⁶ К. де Магд-Соэп хорошо знает монографию В. Г. Базанова «Из литературной полемики 60-х годов» (Петро-заводск, 1941), работы А. И. Батюто, С. М. Бонди, Б. И. Бурсова, Г. А. Бялого, Л. М. Лотман, Л. Н. Назаровой, Н. К. Пиксанова, А. П. Скафтьмова, других исследователей, Некрасовский и Тургеневский сборники ИРЛИ, научно-библиографические указатели К. Д. Муратовой, А. Д. Алексеева, В. Э. Бограда.

своего права на образование, утверждение полезности своей для общественной жизни, русская женщина поднимается до участия в революционном движении (с. 84). Здесь идет речь о героических женщинах русской истории — женах декабристов, сестрах милосердия, участницах студенческих волнений, членах организации «Земля и воля».

Исследовательница разъясняет исторический смысл понятий «домостроя», «обломовщины» — в трактовке Добролюбова, — излагает добролюбовскую концепцию Катерины в «Грозе». К. де Магд-Соэп находит место в своей книге для краткой выразительной характеристики крестьянских героинь Некрасова.

Обращаясь к романам русских классиков, автор ставит своей задачей проследить, так сказать, и «обратную связь» — силу их воздействия на современниц, их роль в выработке идей и принципов, в соответствии с которыми формировались поколения «новых людей», что справедливо, по мнению исследовательницы, прежде всего в отношении романов Тургенева и Чернышевского.

В этой связи К. де Магд-Соэп приводит и комментирует известное полемическое высказывание Л. Н. Толстого, где он утверждает, что не верил в существование «тургеневских женщин» до тех пор, пока с появлением его романов они действительно не появились в жизни. Довольно четко задача выявления «обратной связи» прослежена на материале романа «Что делать?».

Называя Пушкина «первым феминистом в русской литературе» (с. 329) и выстраивая галерею женских образов от пушкинской Татьяны до Веры Павловны у Чернышевского (указывая при этом, что «русские писатели редко ограничивали себя изображением атмосферы чистой художественности, но анализировали также все социальные процессы» — с. 325), исследовательница стремится в то же время адекватно выразить и те социально-психологические сдвиги в русском обществе, которые вызвали к жизни героини романов.

Одновременно проводится мысль об эволюции самосознания русской женщины. Сначала это самостоятельность мышления и стремление поступать в соответствии с велениями сердца и ума, затем — сила души и возможность жертвы во имя идеала — по контрасту со слабевольным героем (проблематика «лишнего человека»), далее — через влияние Ж. Санд — бунт против «традиционно женского» образа жизни и требования права на образование и права на труд, участия в жизни общества наравне с мужчиной (в этом К. де Магд-Соэп видит смысл образа Елены Стаховой) и, наконец, это осознание необходимости борьбы за материальную («экономическую», по выраже-

нию исследовательницы) гарантию своей независимости (героиня Чернышевского).

Согласно К. де Магд-Соэп, Вера Павловна прошла в своем духовном развитии все стадии развития женского самосознания. «В своем романе, — указывает она, — Чернышевский показывает, что рост самосознания женщины явился естественным и неизбежным следствием ее участия в экономической и социальной сферах жизни» (с. 338).

Обращаясь к творчеству Тургенева, исследовательница анализирует два типа эмансипированных женщин в его романах — позитивный в собственном смысле слова и карикатуру на «эмансипе», которую К. де Магд-Соэп видит уже у молодого Тургенева в образе вдовы Заднепровской (рассказ «Два приятеля», 1852).

Важно отметить следующее: К. де Магд-Соэп отводит как несостоятельный вывод А. Гранжара о том, что симпатии Тургенева к славянофильству заставляли его писать карикатуры на эмансипированную женщину (с. 220).

Она разделяет позицию Г. А. Бялого, согласно которой все элементы будущих тургеневских романов могут быть найдены в его рассказе «Переписка». В нем, по мнению критика, берет свое начало нить, объединяющая всех тургеневских героинь — Наталью, Асю, Лизу, Елену и Марианну; в качестве их литературной предшественницы (вслед за К. Чуковским, Ш. Корбе, В. Евгеньевым-Максимовым) исследовательница рассматривает некрасовскую Сашу из одноименной поэмы.

Смысл же образа Саши она расшифровывает с помощью высказывания Веры Фигнер, где известная революционерка, вскрывая значение этого идеального образа в жизни своего поколения, указывает, что поэма учила тому, как жить, за что бороться, учила стремиться к гармонии слова и дела. К. де Магд-Соэп пишет, что мысль Веры Фигнер заставила ее обратить внимание на тот «значительный вклад, который внес Некрасов в движение за женскую эмансипацию в России» (с. 223, 224).

По мнению автора, слова тургеневской Натальи в «Рудине» о глубокой способности русской женщины не только *понять* смысл самопожертвования, но и *действовать* в соответствии с ним, в целом характерны для ее строя души. В этой связи К. де Магд-Соэп особо отмечает, что с точки зрения структуры любовной коллизии тургеневский «Рудин» и роман Гончарова «Обломов» аналогичны.

В качестве итога своего исследования К. де Магд-Соэп выдвигает мысль о том, что «рост женского самосознания и новая позиция женщины в обществе действительно были тесно связаны с социальным, политическим и экономическим развитием русского общества»

(с. 341). С этим выводом пельзя не согласиться.

Однако в монографии К. де Магд-Соэп не все равноценно. Если, например, романы Гончарова прокомментированы наиболее живо, то этого нельзя сказать о «Дворянском гнезде» Тургенева, которому в монографии явно «не повезло». Чрезвычайно обеднен конфликт, и образ героини обрисован весьма посредственно, по существу сведен к образу довольно унылой провинциальной девушки, потерпевшей катастрофу в любви и обретшей душевный покой в религиозном чувстве. В трактовке К. де Магд-Соэп остаются, по существу, невыявленными подлинно нравственная высота и источник возвышающего душу трагизма одной из самых прекрасных героинь русской литературы.

Тургеневскую Лизу лишают счастья, но, как нам представляется, просветляющая, очищающая сила трагизма героини именно в том состоит, что она сама, по собственному выбору отказывается от того, чего ее лишают, — от самой возможности счастья, — сохраняя таким образом цельность своей натуры и своим добровольным решением в конечном итоге ликвидируя вовсе давящее воздействие обстоятельств, «судьбы». В противоплении такого рода (а перед нами именно *противление*, которое является любимым предметом художественного исследования прежде всего Льва Толстого и Ф. М. Достоевского), думается, и следует видеть то национальное начало, которое иные авторы упрощенно сводят к религиозной оболочке, к пресловутому «смирению».

Положив в основу собственно литературоведческой части книги *тематический* принцип разбора материала, К. де Магд-Соэп искусственно сужает для себя и рамки изучения произведения, будучи вынуждена говорить лишь о системе образов, причем в таком узком плане. Естественнее было бы строить анализ, исходя из природы конфликта в романах Тургенева, Гончарова, Чернышевского, то есть из того материала, который завязывает сюжетный узел.

В заключение хотелось бы высказать некоторые соображения в связи с вопросом об отношении русской литературы к наследию Жорж Санд, который, безусловно, не мог быть обойден в монографии о женском движении в России. Приходится сожалеть, что этот важный вопрос в книге К. де Магд-Соэп оказывается «распылен» в различных главах, так и не получив должного освещения.

Исследовательница справедливо отмечает, что восприятие и освоение идейно-художественного наследия Жорж Санд на русской почве было иным, чем на Западе.⁷ В то же время глубинный

смысл его освоения русской литературой полностью не раскрывается ею. (Этому мешают, по-видимому, и несколько «облегченной» отношение к эстетике французской писательницы в целом ряде современных работ).

В монографии К. де Магд-Соэп мы видим довольно однолинейное противопоставление сороковых годов шестидесятым в плане восприятия творчества Ж. Санд. Действительно, к семидесятым годам, если судить по материалам русских журналов, оно, казалось бы, уже основательно было забыто. Однако в данном случае не следует упускать из виду и тот факт, что «большая» литература 60-х годов выросла из натуральной школы 40-х, в эстетике которой идеал Ж. Санд получили особенное и своеобразное развитие. То есть в конечном итоге литература эпохи шестидесятих годов «генетически» сохраняла в себе — разумеется, в «претворенном» виде — отдельные зерна эстетики французской писательницы.

Думается, что противопоставление «идеальности» Ж. Санд «идеальности» в романе Чернышевского «Что делать?» у К. де Магд-Соэп в общем неоправданно и является следствием недостаточного внимания к эстетике Ж. Санд, к одному из важных законов этой эстетики. В чем его смысл?

Состав «идеального», «идеальности» в понимании писательницы далеко не прост. В этом отношении, на наш взгляд, многое проясняет, казалось бы, частное высказывание Ж. Санд о Гофмане, где она фактически имеет в виду и законы собственного творчества.⁸ Ж. Санд говорит о Гофмане, что в его произведениях «чувствуется человек *причинности* и *действительности*, который управляет человеком *идеальности*». Если принять во внимание то обстоятельство, что понятие о литературном типе и типичности формируется именно на основе представлений о «причинности» (детерминированности, обусловленности) и «действительности», то станет понятно, что «человек идеальности» соотносим и «управляется», как сказано, по существу «человеком типичности» (ибо это и есть «человек причинности и действительности»)⁹.

боту Е. Н. Купреяновой «Жорж Санд в оценке Золя и Достоевского. (К вопросу о национальной типологии русского и французского реализма)». — В кн.: Сравнительное изучение литератур. Сб. статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976, с. 527—532.

⁸ Уместно напомнить здесь, что влияние Гофмана на творчество Ж. Санд в работах исследователей ее творчества не прошло незамеченным (см.: Трескунов М. Жорж Санд. Критико-биографический очерк. Л., 1976, с. 209).

⁹ Отметим в этой связи, что мы видим известным методологический просчет

⁷ В качестве принципиальной схемы ответа на этот вопрос укажем на ра-

Отмеченная особенность («человек причинности и действительности управляет человеком идеальности»), думается, позволяет уже по-иному отнестись к вопросу о соотношении идеальности Чернышевского и Ж. Санд — иначе, чем это делает К. де Магд-Соэп.

в попытках некоторых современных исследователей (в том числе — недавнего времени) «развести» явления «типичности» («типизации») и «идеальности» («идеализации»). Если задуматься о природе этих явлений, серьезно вникнуть в характер их формирования в художественной ткани произведения, способ и законы их существования, то выясняется, что и то, и другое имеет общую природу: в первом случае предполагается процесс сведения множественности явлений (или человеческой реакции) к единичности с выделением существенного; далее — идеальность, например, может постулироваться типичностью и наоборот; наконец, законом существования того и другого, в частности, может быть этикетность литературы. Однако

Уместно также вспомнить, что первые романы Жорж Санд не рассматривались как «женские», поскольку в центре их всегда была политическая проблема, вызывавшая сочувствие и интерес.¹⁰

В целом же, по нашему мнению, монография К. де Магд-Соэп «Эмансипация женщин в русской литературе и обществе», которая имеет дело с важным периодом в литературно-общественном развитии России и насыщена богатейшим фактическим материалом, в большинстве своем незнакомом или малознакомом зарубежному читателю, несомненно будет полезна как зарубежным славистам, так и читателям, интересующимся русской литературой.

это составляет предмет особого разговора.

¹⁰ См., например: Владимирова А. И. Жорж Санд и литературно-общественное движение ее времени. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1976, т. 35, № 6, с. 539—541.

И. С. Чистова

АНГЛИЙСКИЙ АВТОР О ЛЕРМОНТОВЕ *

Осенью 1977 года в Лондоне вышла в свет монография члена Королевского географического общества Великобритании Лоуренса Келли «Лермонтов. Трагедия на Кавказе». Осенью 1978 года ее автор стал лауреатом ежегодного Челтнемского фестиваля — книга о Лермонтове вошла в число лучших литературных работ, отмеченных традиционной премией. Монография Келли, написанная увлекательно, темпераментно, созданная на основе большого фактического материала, опирающаяся на значительное число биографических источников, была с интересом встречена критикой, вызвала появление ряда кратких откликов и развернутых рецензий.

Книга Келли о Лермонтове относится к излюбленному англичанами жанру биографий. Современное английское литературоведение насчитывает немало статей о Лермонтове, но, предназначенные для довольно узкого круга исследователей, они носят специальный характер и рассматривают достаточно частные вопросы. Как правило, это установление творческих связей Лермонтова с европейской поэзией XIX века, определение его места в истории русского романа, влияния на прозу Достоевского и Толстого. Принадлежащее английскому историку русской литературы Янко

Лаврину исследование о Лермонтове¹ (первая и до сих пор единственная в Англии биографическая работа о поэте) посвящено главным образом проблемам творчества (историко-литературные параллели, «байронизм» Лермонтова и т. д.); биография поэта интересует Лаврина лишь как своего рода «комментарий» к поэтическим текстам, особенно к ранней лирике. Примечательно название первой главы его книги — «Биографическая основа», где главное внимание уделено выявлению черт характера Лермонтова, связанных, по мысли исследователя, с его шотландским происхождением.

Лоуренс Келли ставил перед собой иную задачу: «создание полной биографии Лермонтова, с жизнью и творчеством которого были знакомы лишь немногие его (Келли, — И. Ч.) соотечественники».²

Келли написал не сухое ученое сочинение, но живой очерк жизни и деятельности поэта, может быть даже несколько беллетризованный; это популярная биография, читательский адрес которой достаточно широк. Она обращена не только к знатокам, историкам литературы,

¹ Lavrin Janko. Lermontov. London, 1959.

² См. интервью с Л. Келли, опубликованное в газете «Вечерний Тбилиси» (1978, 25 авр.).

* Kelly Laurence. Lermontov. Tragedy in the Caucasus. London, 1977, 259 p.

но и к тем, кто просто любит Лермонтова, помнит его стихи и интересуется всем, что связано с именем поэта. Не случайно в книгу, композиция которой в этом отношении чрезвычайно продуманна, введены и самые тексты лермонтовских стихотворений в лучших из известных переводах (приложение 1).

Вместе с тем книга Келли вполне отвечает требованиям научного издания. Непринужденное, свободное повествование, живописность рассказа и определенное изящество стиля сочетаются в ней с очевидным стремлением к исторической достоверности, к пристальному вниманию к историко-литературным фактам и обстоятельствам.

Л. Келли тщательно изучил литературу о Лермонтове; в библиографическом указателе, помещенном в конце книги, — более 120 названий. Этот указатель (с. 243—250) вместе с именованным и предметными указателями (с. 251—259) и подробными примечаниями делает издание особенно ценным. В преамбуле, предваряющей список литературы, автор характеризует наиболее значительные из трудов современных советских исследователей.³

Стремясь «понять Лермонтова через письменные свидетельства, оставленные им самим и его современниками» (с. 18), Келли обращался не только к печатным источникам; он имел в виду и архивные разыскания. Исследователь хорошо знаком с лермонтовскими материалами западных собраний, в том числе с документами, принадлежащими потомкам А. М. Вережагиной. Заслуживает внимания его сообщение о том, что «перед последней войной в Нормандии была возможность найти неизвестные письма Лермонтова к его родственникам по линии Стольциных и Философовых... Во время оккупации немцами Нормандии в 1940—1944 годах эти письма погибли» (с. 19).

Лоуренс Келли своей книге дал подзаголовок: «Трагедия на Кавказе». Это не значит, что Келли ограничивает повествование тематически; смысл подзаголовка — в точном указании на особый ракурс изложения событий и их интерпретацию. Трагедия на Кавказе — это развязка трагедии всей жизни поэта. Келли пишет биографию Лермонтова под определенным углом зрения: Кав-

каз (его природа, люди, история) как важнейший фактор формирования личности поэта, его мировоззрения, философии, нравственного и эстетического идеала. Это интересный, свежий и чрезвычайно привлекательный аспект исследования.

Лоуренс Келли сам прошел по лермонтовским маршрутам — от Пятигорска по Военно-Грузинской дороге до Тбилиси. И когда автор книги о Лермонтове, не менее своего героя очарованный величием и красотой Кавказа, пишет об эмоциональной силе кавказских впечатлений поэта, он не может скрыть и собственной увлеченности.⁴ Не случайно «кавказские сюжеты» книги наиболее выразительны — особенно первая глава «Детство на диком Востоке», повествующая о поездках мальчика Лермонтова с бабушкой на Кавказ. События развертываются на широком историко-этнографическом и географическом фоне, встречается немало ярких жанровых и портретных зарисовок; очень удачно введены страницы кавказских повестей Бестужева-Марлинского. И по манере письма, и по содержанию эта глава безызыщно и советским биографам Лермонтова. Впрочем, есть здесь и некоторые просчеты. Стремление как нельзя более наполнить книгу живописными подробностями приводит в иных случаях к тому, что наряду с действительно первоклассным материалом, почерпнутым из малодоступных источников (часто это английские издания), попадаются и некие дежурные приметы русского быта.

Дальнейшее повествование о судьбе Лермонтова в общем ориентировано на известные биографические работы о поэте — и в отношении привлекаемых источников, и в отношении композиции (мы имеем в виду деление на главы, соответствующие важнейшим этапам биографии). Существует, однако, некоторая диспропорция в распределении материала. Рассказ о детстве, отрочестве и петербургской юности поэта — периоде, хронологически достаточно протяженном и чрезвычайно богатом событиями, весьма существенными для понимания всей дальнейшей эволюции поэта, ведется в пределах одной сравнительно короткой главы. Пытаясь ничего не упустить, Келли нередко прибегает к чересчур поспешному изложению фактов. Это приводит к недостаточной четкости в подаче материала, хронологическим смещениям, отдельным неточностям, и фактическим, и концепционным (история дуэли Пушкина, характеристика взаимоотношений Лермонтова с пушкинским кругом), и даже прямым ошибкам (Лермонтов не мог быть знаком

³ В беседе с корреспондентом «Вечернего Тбилиси» Келли отметил, что, работая над книгой, он пользовался в основном работами русских ученых: «Я очень благодарен за помощь известным лермонтоведам Ираклию Андронику и Виктору Мануйлову...», которые не только обеспечили меня соответствующими источниками, но и многое дали мне, чтобы я, как говорится, прошился духом той эпохи, в которой жил и творил Лермонтов».

⁴ Это отмечал и Дональд Рейфилд, автор рецензии на книгу Келли в журнале «The Slavonic Review» (1979, т. 57, № 1).

с И. С. Тургеневым в университетские годы, они встретились впервые лишь в 1839 году). Некоторые моменты биографии, достаточно значительные, все-таки оказались вне поля зрения Л. Келли (четыре лета в Середниково, драматическая история взаимоотношений поэта с Натальей Ивановой, героиней многих лирических стихотворений 1831—1832 годов, и т. д.).

События, относящиеся к первой и второй ссылкам поэта, переданы весьма обстоятельно. Эти разделы книги написаны особенно просторно, в соответствии с избранным автором аспектом биографического повествования. В то же время подчеркнутый интерес к кавказской проблематике часто приводит к неоправданно щедрой демонстрации «фонового» материала, который местами приглушает звучание основных моментов. В главе «Поручик Лермонтов на войне» большее внимание уделяется самой войне — описанию стратегии и тактики ведения боя, анализу действий военачальников, характеристике военного быта. Вместе с тем вопрос об отношении Лермонтова к кавказской проблеме не представлен во всей его действительной сложности. Как известно, Лермонтов, не оправдывавший в иных случаях действий русских военных властей, считал присоединение Кавказа к России исторически неизбежным и необходимым.

В оценке кавказских событий Лермонтов был близок определенным кругам грузинской интеллигенции, которые видели в России защиту от внешних врагов и высоко оценивали ее экономическое и культурное влияние. Не случайно идеологическое сходство, скажем, поэмы Н. Бараташвили «Судьба Грузии» (1839), где автор одобряет решение царя Ираклия II о присоединении Грузии к России, и следующих строк из поэмы «Мцыри»:

Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.
И божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов,
За гранью дружеских штыков.

Рассказ о трагической гибели поэта у подножия горы Машук завершает книгу. Эта глава безупречна с точки зрения полноты и необходимой точности фактов (с учетом различных версий). Что же касается их интерпретации, то она в отдельных случаях представляется спорной.

Известно, что Николай I, недовольный участием Лермонтова в экспедиции на левом фланге, с особо порученной ему казачьей командой, «повелеть соизволил... дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось

ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку».⁵

Поясняя сущность распоряжения царя, Келли обращает внимание на следующее, теперь малоупотребительное, значение слова «фронт»: «строевые занятия», и приходит к заведомо ошибочному заключению о том, что Николай, настаивая, чтобы Лермонтов «состоял во фронте» (Келли полагает, что Лермонтов должен был учить новичков маршировке), хотел оградить его от опасности, связанной с пребыванием на переднем крае боевого расположения войск. Но для такого толкования нет достаточных оснований. На самом деле Николай I возражал против того, чтобы Лермонтов как-то выделялся из общей массы рядовых офицеров, несущих гарнизонную службу (именно так он расценивал участие Лермонтова в отряде генерала Галафеева, не относящемся к Тенгинскому полку, куда был назначен Лермонтов), и требовал, чтобы поэт «тянул лямку» там, куда его направили в наказание за совершенный проступок.

Историю ссоры Лермонтова с Мартыновым на балу у Верзилиных в Пятигорске, отношение секунданта к предстоящему поединку, настроение и поведение его участников Келли характеризует во всех известных по многим мемуарам подробностях и добавляет еще одну деталь, ранее, как он считает, неизвестную — последние слова, сказанные Лермонтовым перед смертью: «Я в этого дурака стрелять не буду!». Эти слова сообщил Келли ныне живущий в Женеве потомок секунданта Лермонтова кн. Жорж Васильчиков, располагающий материалами семейного архива. Вполне понятен энтузиазм, с которым встретил сообщение Васильчикова автор книги о Лермонтове.

Рассказ правнучатого племянника А. Васильчикова Лоуренс Келли сделал отправной точкой своего представления о причинах дуэли, во многом близкого версии, убедительно оспоренной в специальных работах, в первую очередь в книге Э. Г. Герштейн «Судьба Лермонтова» (М., 1964). Замечу, что факты, приведенные Келли со слов Жоржа Васильчикова, известны по печатным источникам. Э. Г. Герштейн ссылается на газету «Наблюдатель» (1881, № 1); назовем также брошюру А. Голубева «Князь А. И. Васильчиков» (СПб., 1882, с. 39).

Несколько слов о внешнем виде книги. Она превосходно оформлена — изящно, с большим вкусом. Хорошо подобраны иллюстрации (автор благодарит за помощь, оказанную ему научными сотрудниками Русского музея и Пушкинского Дома) — среди них несколько лермон-

⁵ См.: М а н у й л о в В. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., 1964, с. 163.

товских рисунков, никогда в Англии не публиковавшихся. Л. Келли высоко оценивает мастерство Лермонтова-художника и предоставляет возможность судить о нем и читателям своей книги.

Содержательная и хорошо написанная работа Келли о Лермонтове безусловно привлечет к себе внимание биографов поэта — как в нашей стране, так и за рубежом.

Д. М. Буланин

ДРЕВНЯЯ БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В «ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ДООКТЯБРЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»*

В процессе развития любой науки периодически возникает потребность обобщить результаты, достигнутые в отдельных конкретных исследованиях, подвести итоги определенного этапа в историографии. Эту потребность могут удовлетворить работы различных жанров: коллективные монографии, итоговые статьи крупных ученых, обзоры, словари. Так, например, важные этапы в изучении древнерусской литературы зафиксированы в двух академических историях русской литературы,¹ статьях А. С. Орлова, В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева,² важной работой в этом плане будет подготавливаемый «Словарь писателей, деятелей книжной культуры и литературных памятников Древней Руси». Такого рода итоговой работой в изучении древней белорусской литературы является «История белорусской дооктябрьской литературы». Этот труд — весьма значительное событие в историко-литературной науке.

Обзор древнего периода белорусской литературы занимает почти половину объема книги (с. 13—288) и написан известными учеными В. А. Чемерицким, А. Ф. Коршуновым, А. И. Мальдисом.³

* История белорусской дооктябрьской литературы. Ред. В. В. Борисенко, Ю. С. Пширков, В. А. Чемерицкий. Минск, «Наука и техника», 1977, 640 с.

¹ История русской литературы, т. I—II. М.—Л., 1941—1948; История русской литературы, т. I. М.—Л., 1958.

² Орлов А. С. Мысли о положении работ по литературе русского средневековья. — Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз., 1947, т. VI, вып. 2, с. 89—93; Адрианова-Перетц В. П. Основные задачи изучения древнерусской литературы в исследованиях 1917—1947 гг. — ТОДРЛ, т. VI, 1948, с. 5—14; Лихачев Д. С. Изучение русской литературы X—XVII веков за 50 лет. — Русская литература, 1967, № 3, с. 88—101; Дмитриев Л. А. Обзор изданий памятников древнерусской литературы (1917—1978). — Там же, 1979, № 1, с. 183—199.

³ Провести четко границу между древней и новой литературой, как всегда, очень трудно. В «Истории белорусской

История древней литературы рассматривается в обзорных главах и в главах, посвященных наиболее выдающимся писателям и публицистам (Франциск Скоруина, Сымон Будный, Мелетий Смотрицкий, Афанасий Филиппович, Симеон Полоцкий); это традиционное построение такого рода книг — так построена десятитомная академическая «История русской литературы».⁴ Периодизация древней белорусской литературы представляется удачной: она отражает основные этапы в истории Белоруссии. Первоначально белорусские земли входили в состав Киевской Руси (первый раздел — «Литература древней Руси»), затем в состав Великого княжества Литовского (второй раздел — «Литература XIV—начала XVI в.»), которое в 1569 году вместе с Польшей образовало федеративное государство, известное под названием Речи Посполитой (третий раздел — «Литература XVI—первой половины XVII в.»); имеются разделы «Переводная литература XV—XVII вв.» и «Литература второй половины XVII—XVIII вв.». При рассмотрении каждого периода древней белорусской литературы приводятся необходимые исторические сведения, обзор памятников архитектуры и изобразительного искусства, указывается на взаимное влияние письменной литературы и фольклора.

Ученые, которые писали разделы книги, посвященные древней белорусской литературе, находились в трудном положении: трагическая история Белоруссии обусловила тесную, иногда неразрывную связь белорусской культуры с инославянскими культурами. Поэтому выделить собственно белорусские памятники в отдельных случаях затруднительно. Авторы пишут, что издание произведений на польском, церковнославянском и латинском языках «в значитель-

литературы» обзор памятников XVII и XVIII веков объединен в один раздел.

⁴ Это издание почему-то не включено в библиографию, приложенную к «Истории белорусской литературы» (с. 620—626). Отсутствие его тем более удивительно, что в библиографию вошли вузовские учебники по древнерусской литературе Н. К. Гудзия и И. П. Еремича.

ной степени усложняет, а порой и затрудняет определить тот круг литературных памятников, которые безоговорочно можно рассматривать как явление белорусской культуры» (с. 148). Следует, впрочем, отметить, что создание того или иного произведения на чужом языке еще не исключает его из национальной литературы; ведь французские стихи А. С. Пушкина не перестают быть стихами русского поэта и «Саломея» О. Уайльда, написанная по-французски, остается достоянием английской литературы. Поэтому авторы книги вполне правомерно относят латинскую поэму Н. Гусовского «Песнь о зубре» к числу памятников белорусской литературы; ряд произведений церковной публицистики закономерно считается «общим достоянием белорусской и украинской литератур» (с. 160).

В «Истории белорусской литературы» достаточно четко охарактеризованы специфические особенности древней белорусской письменности. Так, например, при характеристике летописания указывается на «своеобразный летописный стиль, лаконичный, выразительный, близкий к языку деловой письменности Великого княжества Литовского» (с. 62). Всесторонне рассматриваются особенности церковно-полемической публицистики, когда «с обострением религиозной полемики и оживлением церковно-клерикальных элементов происходит возрождение таких ранее забытых жанров церковной письменности, как проповедь, слово, трактат, диалог и т. п.» (с. 150). При этом следует подчеркнуть разнообразие печатной продукции белорусских типографий конца XVI—первой половины XVII века.⁵ Очень важна характеристика такого специфического жанра, как мемуарная литература, расцвет которой приходится на XVII век (глава «Историко-мемуарная литература» — с. 202—217). Особая глава посвящена возникновению (первые стихотворные опыты принадлежат Франциску Скорине) и развитию белорусской силлабической поэзии (с. 217—225).

Укажем на некоторые аспекты культуры Белоруссии, на которые, возможно, следовало бы обратить внимание в «Истории белорусской литературы». Можно было, хотя бы очень кратко, отметить основные этапы в истории белорусского языка. Затем можно было сказать, хотя бы несколько слов, об особенностях палеографии в белорусских землях, которые начали отчетливо проявляться довольно рано.⁶ Вероятно, можно

было шире показать связь белорусской культуры с культурами других народов. В особенности это относится к религиозной публицистике конца XVI—первой половины XVII века. Противодействие насильственной колонизации и католической пропаганде вызвало, в частности, большой интерес к византийской литературе. Становятся популярны, например, сочинения Григория Паламы, Нила Кавасилы,⁷ Геннадия Схолария.⁸ Показателен интерес к патристике как основе последующей византийской богословской литературы.⁹ Усиливаются связи с Афонской монастырской колонией;¹⁰ усваиваются даже административные порядки афонских монастырей: «Все православные монастыри в воеводствах Киевском, Волынском и Брацлавском, по примеру афонских монастырей, подчинены были „проту“, как главному начальнику монастырей».¹¹ Получают широкую популярность и неоднократно издаются сочинения Максима Грека.¹² Греческое духовенство принимало активное участие в полемике с католиками и униатами в XVI—XVII веках. Укажем хотя бы на александрийского патриарха Мелетия Пигаса.¹³ Кстати, не случайно названия православных полемических сочинений в большинстве своем греческие («Апокрисис» — ответ, «Антиграфи» — ответ,

⁷ См. во втором послании А. М. Курбского Кюзме Мамоничу (РИБ, т. XXXI, СПб., 1914, стлб. 428).

⁸ «Диалог» Геннадия Схолария издан в Вильно в 1585 году.

⁹ Архангельский А. С. Очерки из истории западнорусской литературы XVI—XVII вв. — Чтения в Обществе истории и древностей Российских, 1888, кн. I, с. 96—104.

¹⁰ Напомним, что Иоанн Вишенский почти всю жизнь прожил на Афоне (ср. судьбу Иоанна Книгинского).

¹¹ Волынь. Исторические судьбы юго-западного края, СПб., 1888, с. 143.

¹² С и н и ц ы н а Н. В. Рукописная традиция XVI—XVIII вв. собраний сочинений Максима Грека. (К постановке вопроса). — ТОДРЛ, т. XXVI, 1971, с. 263—264. В «Истории белорусской литературы» справедливо указывается на архаизм языка Василя Суражского (с. 162). Следует, однако, отметить, что его сочинение «О единой истинной православной вере» в значительной части восходит к «Слову на латинво» Максима Грека, причем язык Максима значительно модернизирован (К о п е р ж и н с к и й К. Украинський письменник XVI століття Василь Суразький. — Науковий збірник за рік 1926. Записки українського наукового товариства у Києві тепер історичної секції Української Академії наук, т. XXI, 1926, с. 38—72).

¹³ М а л ы ш е в с к и й И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви, т. 1—2. Киев, 1872.

⁵ Ср.: Лукьяненко В. И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI—XVII вв., вып. 1—2. Л., 1973—1975. Вероятно, эту работу нужно было включить в библиографию.

⁶ См., в частности, о белорусской скорописи: Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956, с. 377—386.

«Тринос» — плач, «Палинодия» — противоположная песнь, «Литос» — камень и т. д.).¹⁴ В отдельных случаях можно было указать на влияние западноевропейской литературы. Так, например, Мелетий Смотрицкий в «Триносе», где он персонифицировал православную церковь в образе матери (с. 182), несомненно ориентировался на известное сочинение Савонаролы «De ruina ecclesiae».¹⁵

¹⁴ Учитывать влияние византийской литературы важно при рассмотрении отдельных памятников белорусской письменности. Можно, например, сопоставить «Хронологию» Андрея Рымши (с. 220) с распространенными в Византии описаниями двенадцати месяцев (Krumbacher K. Geschichte der Byzantinischen Litteratur. München, 1897, S. 753—754). Здесь же литература вопроса.

¹⁵ Влияние этого сочинения Савонаролы, между прочим, усматривают в одном из произведений Максима Грека (Висковатый К. К вопросу о лите-

раченне Белоруссии как посредницы между западноевропейской и древнерусской культурами общеизвестно и не нуждается в иллюстрациях.

«История белорусской дооктябрьской литературы» — первое в историографии полное и всестороннее изложение древней письменности Белоруссии. Эта книга является важным этапом в процессе исследования своеобразия белорусской культуры. Она важна не только для специалистов по древней белорусской литературе, но и для ученых, которые занимаются неразрывно связанными с Белоруссией древнерусской и древней украинской литературами. Эта книга свидетельствует о высоком уровне современной белорусской медиевистики.

ратурном влиянии Савонаролы на Максима Грека. — *Slavia*, t. XVII, № 1—2, с. 128—133; Иванов А. И. Максим Грек и Савонарола. — ТОДРЛ, т. XXIII, 1968, с. 217—226.



ПАМЯТИ Н. И. ПРУЦКОВА

8 марта 1979 года после тяжелой продолжительной болезни скончался старший научный сотрудник сектора новой русской литературы Пушкинского Дома доктор филологических наук Никита Иванович Пруцков.

Институт русской литературы, которому Никита Иванович отдал более 27 лет своей жизни, понес невосполнимую утрату.

Выдающийся ученый, энергичный и умелый организатор, с 1966 по 1978 год руководивший в Пушкинском Доме сектором новой русской литературы, Пруцков был редактором ряда крупных и ответственных коллективных трудов: 8-го тома академической «Истории русской литературы» (1956), 1-го тома «Трудов отдела новой русской литературы» (1957), 2-го тома двухтомной «Истории русского романа» (1964), сборников «Проблема характера в современной советской литературе» (1962), «Идеи социализма в русской классической литературе» (1969), «А. Н. Островский и литературно-театральное движение XIX—XX веков» (1974), «Современная историко-литературная наука. Актуальные проблемы» (1975) и др. Н. И. Пруцков оставил после себя свыше десяти монографий и более сотни научных статей по различным вопросам истории русской литературы.

Н. И. Пруцков родился 15 (28) марта 1910 г. в г. Козлове (Мичуринске) в семье служащего. В 1928 году он закончил Воронежскую опытно-показательную школу-коммуну им. III Интернационала и поступил на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета Воронежского университета. Глубокое влияние на формирование его историко-филологических интересов оказали преподаватели университета тех лет М. Б. Храпченко, Л. И. Тимофеев, Ю. И. Данилин, М. Н. Крашенинников. Окончив Воронежский университет в 1931 году, Н. И. Пруцков до 1934 года преподавал литературу, русский язык и социально-экономические дисциплины в сельскохозяйственных техникумах и работал в РОНО Семилукского района Воронежской области. Уже в 1930-е годы он зарекомендовал себя как талантливый организатор общественных, пропагандист и лектор. В 1934 году

Н. И. Пруцков был принят в аспирантуру Воронежского педагогического института на кафедру русской классической литературы, успешно завершил кандидатскую диссертацию на тему «В. П. Боткин и литературно-общественная борьба 40—60-х годов XIX века», защищенную в январе 1938 года в Московском институте философии, истории и литературы.¹ В 1938—1943 годах Н. И. Пруцков работал в Омском педагогическом институте им. А. М. Горького, вначале в должности заведующего кафедрой русской литературы, доцента, затем — декана факультета русской литературы и языка, а с августа 1941 года — директора института. Тяжелые военные годы застают молодого коммуниста (с 1940 года) Н. И. Пруцкова в Омске и Тобольске, где он ведет большую общественную и научно-педагогическую работу, выступает с лекциями на общественно-политические и литературные темы перед массовыми аудиториями, публикует статьи в местных газетах, ведет работу пропагандиста.

В то время вышли в свет его первые печатные работы: «Творчество Писемского 40—50-х годов и гоголевское направление» (Учен. зап. Омского пед. ин-та, 1941, вып. 1), «Очерки из истории гоголевского направления в русской литературе. От рефлексии и скептицизма к революционному отрицанию действительности и поискам положительных идеалов» (Омск, 1943). В октябре 1943 года Министерство просвещения по его просьбе перевело Н. И. Пруцкова из Омского в Грозненский пединститут на должность доцента и заведующего кафедрой русской литературы и языка. В Грозном под редакцией Н. И. Пруцкова выходят в свет три выпуска филологической серии «Ученых записок Грозненского пединститута» (1945—1947),

¹ Отдельные части диссертации впоследствии были опубликованы. См.: «У истоков революционно-демократического реализма в русской литературе середины XIX века» (Грозный, 1946), «В. П. Боткин и литературно-общественное движение 40—60-х годов XIX столетия» (Учен. зап. Грозненского пед. ин-та, 1947, вып. 3).

а также литературно-художественные сборники «Победа» и «Герои-грозненцы» (1945), фольклорный сборник «Песни гребенских казаков. Публикация текстов, вступительная статья и комментарий Б. Н. Путилова» (1946). В Грозном вышли отдельными изданиями первые литературоведческие книги и брошюры Пруцкова: «Мировое значение русской литературы в борьбе за идеалы демократии и передовое искусство» (1945), «К вопросу о социально-исторических источниках мирового значения русской классической литературы» (1946), «Проблемы художественного метода передовой русской литературы 40—50-х годов XIX столетия» (1947). Здесь же, в Грозном, ученый приступает к разработке темы, которой суждено было впоследствии стать одной из магистральных в его творческой биографии: «Ленинизм и русская передовая культура XIX столетия» (Учен. зап. Грозненского пед. ин-та, 1947, вып. 3).

В 1948 году Н. И. Пруцков был по представлению Грозненского пединститута откомандирован в докторантуру при ИМЛИ АН СССР. Выполненный под руководством профессора Н. Л. Бродского капитальный труд Н. И. Пруцкова «Творчество Глеба Успенского» был успешно защищен в качестве докторской диссертации на заседании Ученого совета ИМЛИ в июне 1951 года. Это была первая фундаментальная монография о писателе-демократе XIX века, отдельные части которой позднее были опубликованы в разных академических, учебных, научно-популярных и массовых изданиях.²

В августе 1951 года Н. И. Пруцков был по конкурсу принят на должность старшего научного сотрудника в Пушкинский Дом АН СССР, где полностью раскрылся недоюжинный, своеобразный талант исследователя русской классической литературы. Белинский, Боткин, Герцен, Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Григорович, Достоевский, Дружинин, Писемский, Салтыков-Щедрин, Толстой, Тургенев, Глеб Успенский, Фет, Чернышевский, Чехов, Владимир Соловьев, Мамин-Сибиряк, Подъячев, Куприн — вот неполный перечень имен русских писателей, которым посвятил свои содержательные исследования Н. И. Пруцков. Он постоянно был в творческом поиске: он неустанно искал и находил незаслуженно забытые факты и эпизоды литературно-общественной борьбы, открывал малоисследованные аспекты наследия классиков, уме-

ло сочетая при этом интерес к выяснению идейно-политической позиции изучаемого писателя с проникновением в его творческую лабораторию, с постижением «тайн» его мастерства и стиля. В этом отношении заслуживают упоминания следующие работы ученого: монография «Вопросы литературно-критического анализа» (1960), «Две концепции образа Венеры Милосской. (Глеб Успенский и Фет)» (Русская литература, 1971, № 4), «Об одной параллели («Анна Каренина» Толстого и «Дама с собачкой» Чехова)» (в кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971), «Достоевский и Владимир Соловьев» (в кн.: Русская литература 1870—1890-х гг., сб. 5. Свердловск, 1973), «Толстой и Мамин-Сибиряк» (там же, сб. 6, 1974), монография «Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы» (1974).

Исследовательское внимание Н. И. Пруцкова было постоянно приковано к методологическим проблемам науки о литературе, изучению которых посвящены следующие его труды: «В. И. Ленин о Глебе Успенском» (Учен. зап. ИМЛИ, 1952, т. 1), «Г. И. Успенский о письме К. Маркса в редакцию журнала „Отечественные записки“» (Вопросы философии, 1953, № 3), «Бессмертный образ. (По страницам воспоминаний о Ленине)» (Пропагандист, 1956, № 4), «Вождь, друг. (По страницам воспоминаний о Ленине)» (Дон, 1960, № 4), «Ленинское понимание „эпохи подготовки революции“ и историко-литературная наука» (в кн.: Наследие Ленина и наука о литературе. Л., 1969), «Высказывания советских литературоведов на тему „Ленинское наследие и задачи современного литературоведения“» (Русская литература, 1970, № 1), «В одно слово с Ф. Энгельсом. (Три очерка Гл. Успенского)» (в кн.: Русские писатели и народничество. Вып. 1, Горький, 1975).

К этой проблеме примыкает другая, весьма занимавшая Пруцкова-исследователя: о связи классического наследия с нашей современностью, о восприятии русской литературы советской литературой. Ей посвящены такие работы ученого, как монография «Русская классическая литература и наша современность» (1965), статьи «Классическое наследие, революция и наша современность» (Дон, 1965, № 4), «Идеи социализма в русской классической литературе» (Вестн. АН СССР, 1966, № 1), «Классическое наследие, революция и наша современность» (в кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л., 1969), «Преемственность революционных идей и поколений» (Русская литература, 1969, № 4), монография «Русская классическая литература и революционная Россия» («Наука», 1971),³ статьи «О значе-

² См., например, монографии «Глеб Успенский» (М., 1971), «Творческий путь Глеба Успенского» (М.—Л., 1958), «Gleb Uspensky» (New York, 1972), брошюры и статьи «Глеб Успенский» (М., 1952), «Глеб Успенский в шестидесятые годы» (Тула, 1952), «Глеб Успенский семидесятых—начала восьмидесятых годов» (Харьков, 1955) и др.

³ Расширенный вариант этой монографии под заглавием «Русская литература XIX в. и революционная Россия» печатается в издательстве «Просвещение».

нии научных традиций» и «Жанры и проблематика современных историко-литературных исследований» (обе в кн.: Современная советская историко-литературная наука. Л., 1975), «Художественное освоение „перевала русской истории“ (основные тенденции)» (Русская литература, 1977, № 1), «К методологии исследования русской литературы „эпохи подготовки революции“» (Русская литература, 1977, № 4) и др.

Партийный подход к проблемам теории и истории литературы был органически присущ Пруцкову-коммунисту. В свете высказываний классиков марксизма-ленинизма о роли социальной утопии в развитии социалистических идей Н. И. Пруцковым созданы такие работы, как «Социально-этическая утопия Достоевского» (в кн.: Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969),⁴ «Утопия или антиутопия?» (в кн.: Достоевский и его время. Л., 1971), «Достоевский и христианский социализм» (в кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. I. Л., 1974), «Щедрин — критик иллюзорных представлений Г. И. Успенского» (в кн.: Салтыков-Щедрин. 1826—1976. Л., 1976), «Сибирская утопия Т. М. Бондарева „Торжество земледельца“» (в кн.: Очерки литературы и критики Сибири. (XVII—XX вв.). Новосибирск, 1976).

Разработка вопросов современной эстетики и теории социалистического реализма нашла отражение в следующем цикле статей Н. И. Пруцкова: «Вопросы современной эстетики» (Дон, 1957, № 10), «Некоторые вопросы современной критики» (Нева, 1957, № 6), «К спорам о предмете искусства» (в кн.: Вопросы советской литературы, т. 7. М.—Л., 1958), «О новаторстве и оригинальности в литературе социалистического реализма» (Русская литература, 1959, № 1), «О новаторстве и оригинальности в творческой практике советских писателей» (в кн.: Вопросы советской литературы, т. VIII, 1959), «Судьбы народа — судьбы человека» (Дон, 1959, № 2) и др.

Обладая богатым научно-педагогическим опытом, Н. И. Пруцков принимал участие в создании специальных трудов для средней и высшей школы. В учебнике «История русской литературы второй половины XIX века» (под ред. С. М. Петрова), выдержавшем с 1963 по 1978 год четыре издания, Пруцкову принадлежат главы «Литература 60-х годов», «Литература 70-х годов», а также раздел «Глеб Успенский». Неоднократно печатается он в журнале «Литература

в школе».⁵ Активное участие он принимал в создании комментированных изданий произведений классиков для массового читателя: Лескова, Подъячева, Тургенева, Глеба Успенского, Чернышевского, Чехова. Как член союза журналистов Пруцков выступал со статьями в общественно-политической печати и на страницах литературно-художественных журналов («Дон», «Нева», «Урал»). Н. И. Пруцков был активным участником различных научных конференций и методологического семинара Пушкинского Дома.

Н. И. Пруцков состоял членом многих научных советов, в том числе Ученого совета и специализированных советов ИРЛИ, Бюро научных советов «Проблемы теории марксистско-ленинского литературоведения, поэтики и стилистики художественной литературы» при ОЛЯ, «Истории общественной мысли» при Президиуме АН СССР, руководил подготовкой аспирантов и докторантов, неоднократно с 1952 по 1974 год избирался секретарем парторганизации Пушкинского Дома. Последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, Н. И. Пруцков отдавал много сил завершению двух важнейших коллективных трудов, ответственным редактором которых он был: четырехтомной академической «Истории русской литературы»⁶ и сборника «Наследие В. И. Ленина и методология исторического исследования литературы»;⁷ много и плодотворно он работал для журнала «Русская литература», являясь с 1967 года членом его редколлегии, им было написано много статей, заслуживших высокую оценку читателей журнала.

Большая общественная и научная деятельность Н. И. Пруцкова была отмечена орденом «Знак Почета» и медалями.

Талантливый, темпераментный исследователь, энергичный и требовательный педагог, умелый организатор, отзывчивый наставник и товарищ — таким запомнился и надолго останется в памяти всех знавших его Никита Иванович Пруцков.

⁵ Пруцков некоторое время по совместительству заведовал кафедрами русской литературы в бывшем ЛГПИ им. Покровского и советской литературы в ЛГПИ им. Герцена, читал лекции в Высшей профсоюзной школе, в периферийных вузах.

⁶ Как участник 3-го тома Н. И. Пруцков написал три главы: «Литературно-общественное движение 60—70-х годов XIX в.», «Школа беллетристов-разночинцев 60-х годов», «Г. И. Успенский».

⁷ В сборнике перу Н. И. Пруцкова принадлежат статьи: «О своеобразии пореформенного развития России», «Перелом в сознании и поведении народных масс», «В поисках путей в будущее», «Художественное освоение перевала русской истории».

⁴ Эта статья в переводе на немецкий язык была издана в ГДР в составе сборника лучших исследований советских ученых о Достоевском (в кн.: *Dostojewskis Erbe in unserer Zeit*. Berlin, 1976).

- Абдуллин Я. Г., Фасеев К. Ф. Н. Г. Чернышевский и татарская общественная мысль. Казань, Татарское книжное изд-во, 1978. 64 с.
- Альберт И. Д., Вишневецкий И. П. А. И. Куприн. (Семинарий). Отв. ред. И. И. Дорошенко. Львов, «Вища школа», 1978. 92 с.
- Аникин В. П. Теоретические проблемы историзма были в науке советского времени. Учебное пособие для студентов-заочников филол. фак. гос. ун-тов. [В 3-х вып.]. М., МГУ, 1978. (Вып. 1, 96 с.; вып. 2, 97 с.).
- Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. М., Изд-во МГУ, 1978. 294 с.
- Белоусов Р. С. Тайна Иппокрены. М., «Советская Россия», 1978. 318 с.
- Большаков Л. Н. Ваш друг Лев Толстой. Поиски. Находки. Исследования. Челябинск, Южно-Уральское книжное изд-во, 1978. 239 с.
- Борисов Ю. Н. «Горе от ума» и русская стихотворная комедия. (У истоков жанра). Под ред. Е. И. Покусаева. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1978. 105 с.
- Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига—Пушкина. М., «Книга», 1978. 287 с.
- Вопросы романтического метода и стиля. Межвузовский тематический сборник. [Ред. коллегия: ... Н. А. Гуляев (отв. ред.) и др.] Калинин, КГУ, 1978. 172 с.
- Голованова Т. П. Наследие Лермонтова в советской поэзии. Л., «Наука», 1978. 192 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Джавахишвили Г. Д. Нико Николадзе и русская журналистика. Тбилиси, Изд-во Тбилисского ун-та, 1978. 333 с.
- Днепров В. Д. Идеи, страсти, поступки. Из художественного опыта Достоевского. Л., «Советский писатель», 1978. 382 с.
- Достоевский. Материалы и исследования. [Т. 3. Ред. Г. М. Фридляндер]. Л., «Наука», 1978. 293 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Древняя Русь и славяне. [Сборник статей. Отв. ред. Т. В. Николаева]. М., «Наука», 1978. 447 с. (АН СССР. Ин-т археологии).
- Евграфов К. В. Знакомые незнакомцы. Литературные герои и их прототипы. М., «Современник», 1978. 319 с.
- Из истории взаимосвязей братских литератур. (Вторая половина XIX—начало XX вв.). [Сборник статей. Отв. ред. Н. Е. Крутикова]. Киев, «Наукова думка», 1978. 207 с. (АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко).
- Из истории русской фольклористики. [Сборник. Отв. ред. А. А. Горелов]. Л., «Наука», 1978. 275 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Касаткина В. Н. Поэзия Ф. И. Тютчева. М., «Просвещение», 1978. 175 с.
- Кирпотин В. Я. Избранные работы. В 3-х т. [Т. 1. Пушкин. Лермонтов. Салтыков-Щедрин]. М., «Художественная литература», 1978. 492 с.
- Книга в России до середины XIX века. [Доклады конференции. Октябрь 1976 г.]. Под ред. А. А. Сидорова и С. П. Луппова. Л., «Наука», 1978. 320 с. (АН СССР. Науч. совет по комплекс. пробл. «История мировой культуры», БАН СССР).
- Коновалов В. Н. Литературная критика народничества. Казань, Изд-во Казанского ун-та, 1978. 116 с.
- Королев А. А. Времен связующая нить... [Л. Н. Толстой и М. П. Новиков]. Тула, Приокское книжное изд-во, 1978. 79 с.
- Конрад Н. И. Избранные труды. Литература и театр. [Сост. А. И. Владимирская. Отв. ред. М. Б. Храпченко]. М., «Наука», 1978. 462 с. (АН СССР, Отделение лит-ры и языка).
- Кузнецова М. В. Творческая эволюция А. П. Чехова. Томск, Изд-во Томского ун-та, 1978. 262 с.
- Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы XVIII—XX вв. 1917—1975. М., ИНИОН, 1978. 207 с. (АН СССР. ИНИОН).
- Леопарди Д. Этика и эстетика. [Сост., пер. и коммент. С. А. Ошерова. Предисл. Б. Г. Реизова]. М., «Искусство», 1978. 470 с.
- Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., «Художественная литература», 1978. 359 с.
- Макаровская Г. В. «Медный всадник». Итоги и проблемы изучения. Под ред. Е. И. Покусаева. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1978. 95 с.
- Митрофанова В. В. Русские народные загадки. Л., «Наука», 1978. 180 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Мотылева Т. Л. «Война и мир» за рубежом. Переводы. Критика. Влияние. М., «Советский писатель», 1978. 438 с.
- Муренина Г. П. По памятным местам Н. Г. Чернышевского. [Путеводитель]. Саратов, Приволжское книжное изд-во, 1978. 16 с.
- Николаев М. П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский. Тула, Приокское книжное изд-во, 1978. 144 с.
- Новикова А. М., Александрова Е. А. Фольклор и литература. Семинарий. М., «Просвещение», 1978. 143 с.
- Одинокое В. Г. Поэтика романов Л. Н. Толстого. Новосибирск, «Наука», 1978. 160 с. (АН СССР. Сибирское отделение).

НОВЫЕ КНИГИ

- От романтизма к реализму. Из истории международных связей русской литературы. [Сборник. Отв. ред. М. П. Алексеев]. Л., «Наука», 1978. 320 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Очерки по истории славянских литературных связей. [И. Д. Альберт, И. П. Вишневский, Л. Н. Климова и др. Под общей ред. И. П. Вишневского]. Львов, «Вища школа», 1978. 152 с.
- Проблемы типологии литературного процесса. Межвузовский сборник научных трудов. [Ред. коллегия: С. Я. Фрадкина (гл. ред.) и др.]. Пермь, ПГУ, 1978. 144 с.
- Проблемы художественного метода и жанра. [Сборник научных трудов. XXXI Герценовские чтения. Науч. ред. А. Л. Григорьев]. Л., ЛГПИ, 1978. 96 с.
- Расули М. М. К проблеме взаимодействия и взаимообогащения русской и узбекской литературы. Ташкент, «Фан», 1978. 293 с. (АН УзССР, Ин-т языка и литературы им. А. С. Пушкина).
- Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов. Загреб—Любляна, сент. 1978 г. Доклады советской делегации. [Ред. коллегия: М. П. Алексеев и др.]. М., «Наука», 1978. 520 с. (АН СССР, Отделение лит-ры и языка, Советский комитет славистов).
- Спивак Р. С. А. Блок. Философская лирика 1910-х годов. Учебное пособие по спецкурсу. Пермь, ПГУ, 1978. 112 с. (Пермский гос. ун-т им. А. М. Горького).
- Табакьян П. В. Поэтика и перевод русских народных сказок. Спецкурс по сопоставительной стилистике. Днепропетровск, 1978. 37 с. (Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией).
- Травушкин Н. С. Чернышевский в годы каторги и ссылки. М., «Художественная литература», 1978. 349 с.
- Турбин В. Н. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Об изучении литературных жанров. М., «Провещение», 1978. 239 с.
- Туркаев Х. В. Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей. (Роль русской литературы и родного фольклора в становлении национальной литературы. 60-е гг. XIX—40-е гг. XX в.). Грозный, Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1978. 348 с.
- Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. [Пер. с англ. Вступит. статья А. А. Аникста. Коммент. Б. А. Гиленсона]. М., «Прогресс», 1978. 325 с.
- Цветаева М. И. Мой Пушкин. [Сборник. Вступит. статья В. Орлова. Подгот. текста и коммент. А. Эфрон и А. Саакянц]. Челябинск, Южно-Уральское книжное изд-во, 1978. 190 с.
- Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература. [Сборник научных трудов. Ред. коллегия: В. И. Кулешов и др.]. М., 1978. 167 с. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).
- Щенников Г. К. Художественное мышление Ф. М. Достоевского. Свердловск, Средне-Уральское книжное изд-во, 1978. 175 с.
- Армия и литература. Сборник литературно-критических статей. [Вып. 2. Сост. Г. А. Ершов, М. З. Рудин]. М., Воениздат, 1978. 399 с.
- Бляхина-Топорская Х. С. Автор «Красных дьяволят». [О П. А. Бляхине]. Волгоград, Нижне-Волжское книжное изд-во, 1978. 78 с.
- Бурмакин Э. В. Мировоззрение и искусство. (Некоторые аспекты взаимодействия искусства и науки в развитии соц. о-ве в условиях НТР). Томск, Изд-во Томского ун-та, 1978. 235 с.
- Ваншенкин К. Я. Лица и голоса. [Русская советская поэзия]. М., «Современник», 1978. 239 с.
- Воспоминания об А. Твардовском. Сборник. [Сост. М. И. Твардовская]. М., «Советский писатель», 1978. 488 с.
- Вслух про себя. Сборник статей и очерков советских детских писателей. [Сост. А. И. Вислов и Ф. Е. Эбин. Кн. 2]. М., «Детская литература», 1978. 350 с.
- Габбасов Э. Г. Историко-революционный роман и его воспитательское значение. Алма-Ата, о-во «Знание» КазССР, 1978, 31 с.
- Гейдеко В. А. Постоянство перемен. Социально-нравственные проблемы современной русской советской прозы. М., «Современник», 1978. 223 с.
- Виталий Закруткин в книгах и в жизни. Слово о писателе. [Сборник статей]. Ростов н/Д., Книжное изд-во, 1978. 126 с.
- Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. [Сборник статей. Ред. коллегия: Б. Т. Удодов (науч. ред.) и др.]. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1978. 161 с.
- «Литература, рожденная Октябрем (советская литература за 60 лет)», выставка. Москва. 1977—1978. Путеводитель [по выставке]. М., Лит. музей. 1977 (вып. дан. 1978). 40 [7] с.
- Лобанов М. П. Надежда исканий. Литературно-критические статьи. М., «Современник», 1978. 432 с.
- Ломидзе Г. И. Чувство великой общности. Статьи о советской многонациональной литературе. М., «Советский писатель», 1978. 271 с.

- Мастер, мудрец, сказочник. Воспоминания о П. Бажове. [Сборник. Сост. В. А. Стариков]. М., «Советский писатель», 1978. 590 с.
- Михайлов А. А. Поэты и поэзия. Портреты, проблемы, тенденции развития современной поэзии. М., «Просвещение», 1978. 223 с.
- Мкртчян Л. М. Родное и близкое. Статьи. М., «Советский писатель», 1978. 431 с.
- Новиков В. В. Советская литература на современном этапе. М., «Художественная литература», 1978. 159 с.
- Орлов В. Н. Гамаюн. Жизнь А. Блока. Л., «Советский писатель», 1978. 710 с.
- Песня дружбы. Дни советской литературы в Азербайджане. Октябрь, 1975. [Сборник. Под ред. Ю. Н. Верченко и др.]. Баку, «Азернешр», 1978. 119 с.
- Петелин В. В. Алексей Толстой. М., «Молодая гвардия», 1978. 384 с.
- Писатель и жизнь. Сборник историко-литературных теоретических и критических статей. Под ред. С. Д. Артамонова [и др.]. М., Изд-во МГУ, 1978. 257 с.
- Проблемы советской литературы. Метод, жанр, характер. [Сборник трудов. Вып. 1. Ред. коллегия: И. Г. Клабуновский (отв. ред.) и др.]. М., МГПИ, 1978. 167 с. (Московский гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).
- Прокушев Ю. Л. Кремень-слеза. О новой поэме Е. Исаева «Даль памяти». М., «Правда», 1978. 61 с.
- Революция. Жизнь. Писатель. [Сборник статей. Ред. коллегия: А. М. Абрамов (науч. ред.) и др.]. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1978. 148 с.
- Рыбак Л. А. Об экранизации литературных произведений. [В 3-х вып. Вып. 3. Советская литература на экране]. М., Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1978. 49 с.
- Рюриков Б. С. Идеологические основы эстетики. М., «Искусство», 1978. 216 с.
- Соктоева К. Б. Судьбы народов Сибири в русской советской литературе. Новосибирск, «Наука», 1978. 143 с.
- Срывцев А. Н. Поэты с нами. Литературные портреты. [Предисл. В. Трушкина]. Кемерово, Книжное изд-во, 1978. 96 с. [Об А. Ольхоне, И. Молчанове-Сибирском, К. Лисовском, М. Скуратове, Е. Буравлеве].
- Сучков Б. Л. Действительность искусства. Литературно-критические статьи. [Автор вступит. статьи Е. Книпович]. М., «Советский писатель», 1978. 360 с.
- Тендитник Н. С. Ответственность таланта. [О творчестве В. Распутина]. Иркутск, Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1978. 111 с.
- Тренин В. В. В мастерской стиха Маяковского. М., «Советский писатель», 1978. 182 с.
- Трубецкой Б. А. Связь времен. Проблемы эстетики, критики, журналистики. [Сборник статей]. Кишинев, «Лит. артистикэ», 1978. 220 с.
- Бондаренко Л. И. А. С. Макаренко. Список литературы. 1963—1977. Л., ЛГПИ, 1978. 28 с. (Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).
- Виноградова В. Л. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». [Вып. 5. Р-С]. Л., «Наука», 1978. 264 с. (Ин-т русской лит-ры, Ин-т русского языка).
- Дробленкова Н. Ф. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР, 1958—1967 гг. [В 2-х ч. Ч. 1. 1958—1962]. Л., «Наука», 1978. 206 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Писатели Коми — детям. Библиографический словарь. [Подгот. И. М. Ванеева, В. Н. Демин, В. И. Мартынов и др.]. Сыктывкар, Коми книжное изд-во, 1978. 144 с.
- Урубкова Л. Декабристы и Москва. Указатель литературы 1825—1977. Под ред. Л. Я. Шерайбера. М., 1978. 42 с. (Московский гос. ин-т культуры, Центр. гор. Публ. б-ка им. Н. А. Некрасова).
- Холмов М. И. Русская детская журналистика (1785—1917). Указатель материалов. Л., ЛГУ, 1978. 71 с. (Ленинградский гос. ун-т им. А. А. Жданова. Фак. журналистики).
- Шеляпина Н. Г. Библиография литературы о Л. Н. Толстом. 1968—1973. М., «Книга», 1978. 231 с. (Гос. музей Л. Н. Толстого).

Технический редактор *М. Н. Кондратьева*

Корректоры *Г. А. Александрова, Р. Г. Гершинская и Г. А. Мошкина*

Сдано в набор 04.05.79. Подписано к печати 02.08.79. М-11102. Формат 70×108^{1/16}. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 15 = 21.00 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 25.87
Тираж 15830. Тип. зак. 339.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение, 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, 1
Редакция журн. «Русская литература», тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12